

С.С. Конкин А.С. Конкина

Михаил  
Бахтин

Страницы  
жизни и  
творчества

Михаил Бахтин





С. С. КОНКИН, Л. С. КОНКИНА

---

*Михаил  
Бахтин*

*(Страницы  
жизни  
и творчества)*

Саранск  
Мордовское  
книжное  
издательство  
1993



ББК 83.3Р7  
К64

К 460300000—048 76—92  
М 130 (03)—93

ISBN 5—7595—0741—9

© Конкин Семен Семенович,  
Конкина Лариса Семеновна, 1993

*Память противостоит уничтожающей силе времени... благодаря памяти прошедшее прочно входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединяется с прошедшим в одну линию...*

*Д. С. Лихачев*



Книга, предлагаемая вниманию читателей,— первый на русском языке опыт биографических очерков, посвященных жизненному и творческому пути Михаила Михайловича Бахтина.

Авторы отдадут себе отчет и в трудностях предпринятого ими дела, и в той ответственности, которую они взяли на себя, выступая с этой книгой. Работая над ней, готовя ее к печати, они не забывали, в частности, о том предостережении, которое было высказано в печати. «Появилась,— писал один из литературоведов,— первая биография Бахтина — не у нас, в США: но сие не в укор нам. Не найдется сейчас в стране храбреца, на такое отважившегося; и, наверное, откуда-то из-за океана Бахтин воспринимается более целостно. А уж нам, пока живы, материала б поднакопить да оставить потомкам, XXI-веку. А от большего что-то удерживает»<sup>1</sup>.

В другой своей статье этот же автор несколько смягчил свою позицию, заметив, что биография Бахтина могла бы быть написана и у нас. Но при одном непременном условии: основу ее сюжета должен составить бахтинский «диалог с голодом», потому что вся его жизнь — «многолетнее бегство от голода, гнавшегося за ним по пятам, иногда подступавшего совсем близко, вплотную к нему, хотя все же и не сумевшего настичь жертву, которая явно была им намечена»<sup>2</sup>.

При всем нашем уважении к маститому литературоведу (к тому же довольно часто упоминающему о Бахтине) мы не можем все же ни согласиться с его строгим предостережением, ни последовать его благому совету. Давно и справедливо сказано: «Довлеет дневи злоба его».

Иначе говоря, у каждого времени и у каждого поколения есть свои заботы и свои возможности для их разрешения. Никакие, даже самые высокие думы и соображения о наших потомках XXI столетия не могут и не освобождают нас от наших забот и обязанностей, в частности, в отношении М. Бахтина. Время идет, и вокруг его имени начинают слагаться и накапливаться разного рода легенды и вымыслы, иногда — просто небылицы, искажающие реальный облик и

<sup>1</sup> Турбин В. Бахтин сегодня. Послесловие к научным конференциям в югославском городе Нови-Сад и Махачкале (Дагестан) // Литературная газета, 1991.— № 5.— С. 11.

<sup>2</sup> Турбин В. Н. Карнавал: религия, политика, теософия // Бахтинский сборник. I.— М., 1990.— С. 10

условия жизни ученого. В одних случаях эти искажения идут от незнания реальных фактов, в других — от желания «погреться» в лучах его нынешней славы.

Весьма скромную задачу поставили перед собой авторы предлагаемых очерков: дать в руки читателей краткую биографию М. Бахтина, о жизненном пути которого у многих его последователей и почитателей имеются (если вообще имеются) самые смутные представления. Речь идет не о *научной* биографии ученого, а лишь о *страницах его жизни и творчества*, какими они видятся нам в свете тех материалов, которыми мы располагаем. При этом считаем необходимым заметить, что и результаты научной деятельности М. Бахтина мы рассматриваем тоже всего лишь как факты его биографии. Мы считаем, что анализ его книг и статей, процесса формирования всего творческого облика ученого — дело специальных исследований, которые уже и начались.

В работе над нашей книгой мы опирались на различные источники — письменные и устные.

Значительная часть сведений была получена нами от самих Бахтиных в процессе длительного и близкого общения с ними в Саранске в 1962—1969 годах. Это общение, хотя и нерегулярное, продолжалось и в те годы, когда М. Бахтин жил в Подмосковье и в Москве (1970—1975).

Однако львиную долю наших материалов о М. Бахтине, о его жизни и деятельности мы получили в архивохранилищах страны. Пользуясь случаем, мы приносим глубокую и искреннюю благодарность работникам архивов С.-Петербурга, Москвы, Орла, Одессы, Витебска, Великих Лук, Вильно, Кустаная и Саранска за помощь в отыскании необходимых документов, за предоставление различных справок.

Глубокое удовлетворение доставляет нам тот факт, что *первая* биографическая книга о М. Бахтине издается Мордовским книжным издательством в Саранске — в городе, в котором ему довелось жить и работать в продолжение целой четверти века. Здесь он нашел не только уют, но и обрел много искренних и бескорыстных друзей.

Мы с признательностью примем все разумные критические замечания, полезные советы и пожелания, которые помогут нам в нашей дальнейшей работе над биографией выдающегося литературоведа и мыслителя нашего времени.

# I. ВЫДАЮЩИЙСЯ ФИЛОЛОГ И МЫСЛИТЕЛЬ XX ВЕКА

(Вместо предисловия)

*Много званых, а мало избранных...*

Из Евангелия от Матфея



Вспоминая о днях похорон Михаила Бахтина, С. С. Аверинцев писал: «... В дни те мы потеряли не только высокоодаренного и универсально образованного литературоведа, специалиста высшей квалификации — но нечто иное, невозполнимое...

Бахтин был в определенном смысле единственным среди многих, как всякий человек, сумевший в каждом своем слове быть самим собой. Он воспринимается не только как разрешитель поставленных наукой задач, который достиг таких-то и таких-то результатов, но прежде всего как личность»<sup>1</sup>.

С того времени началась большая и долгая жизнь научно-теоретического наследия М. Бахтина, — всего того, что было им сделано, что уцелело от гибели и стало достоянием ближайших и отдаленных потомков.

В наши дни общепризнанным становится убеждение в том, что система филологических и философских взглядов М. Бахтина представляет собой одно из примечательнейших явлений в истории науки XX столетия. Все лучшее, что было создано им в этих областях знаний и что выдержало испытание временем, навсегда вошло в золотой фонд русской духовной культуры. И не только русской, но и всемирной, о чем неопровержимо свидетельствует тот резонанс, который вызвали его исследования на Западе<sup>2</sup>.

М. Бахтин начал свою научную деятельность на рубеже 1910—1920-х годов. Но с 1929 года имя молодого ученого исчезло со страниц литературных и научно-теоретических изданий — журналов, сборников. Исчезло на-

долго — почти на три с половиною десятилетия. И только в самом начале 1960-х годов имя его, словно из небытия, всплыло вновь<sup>3</sup>. Это произошло после того, как вторым изданием вышла в свет книга М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (1963), а вслед за ней и новый его труд — монография «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965). Это было совершенно новое явление в истории нашего литературоведения, вызвавшее восторженные отклики ученых самых различных отраслей знаний — литературоведов и историков, философов и фольклористов, искусствоведов и культурологов.

В это время автор этих книг уже оставил преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях Мордовии, тихо и спокойно жил в Саранске, общаясь с немногими близкими друзьями и коллегами по работе на кафедре русской и зарубежной литературы университета, которую до ухода на пенсию возглавлял.

Выход в свет двух названных книг М. Бахтина всколыхнул научный мир, в особенности — вузовскую молодежь: аспирантов и молодых преподавателей, озабоченных своей будущей судьбой в науке. К книгам М. Бахтина потянулись лингвисты и литературоведы, философы и искусствоведы, психологи и культурологи, поэты и прозаики — все, кому дорого живое человеческое слово, в котором светится *мысль и душа народа-языкотворца*.

В последующие полтора десятилетия достоянием читателей стали новые, ранее неизвестные исследования М. Бахтина прежних лет. И с их страниц повеяло взволнованным пафосом подлинно научного поиска, горячим стремлением к познанию истины, — стремлением, свободным от всего того, что *предписывает, ограничивает и угнетает*. Поражала разносторонность научных интересов ученого и глубина его обобщений и выводов, всегда основанных на большом фактическом материале. Свободно владея рядом древних и новых европейских языков, М. Бахтин ввел в научный оборот огромное количество фактов из истории литературы и научной мысли народов Запада<sup>4</sup>. В связи с этим не раз вставал вопрос о том, кем был М. Бахтин в своих научных устремлениях — литературоведом, лингвистом, философом, культурологом? Ответы — разные. С. Аверинцев

## 1. Выдающийся филолог и мыслитель XX века 11

так говорил, отвечая на поставленный вопрос: «Как ученый Бахтин не вмещается в понятие «литературовед»: он скорее философ. Определенные издержки в усвоении работ Бахтина были связаны, я думаю, с тем, что в нем прежде всего видели непоколебимый литературоведческий авторитет, что его воспринимали как ментора, за которым можно повторять без страха ошибиться или попасть впросак. Но Бахтин — это мыслитель, а мыслитель существует не для того, чтобы за ним повторять, а для того, чтобы его слушать — и услышать...»<sup>5</sup>

Сам М. Бахтин считал себя все-таки литературоведом. Так, в своей «Автобиографии» (1944) он писал: «Уже в университете началась моя научная деятельность: сначала я специализировался по философии (у проф. Ланге и проф. А. И. Введенского), а затем я перешел к литературоведению, которому и посвятил всю свою последующую жизнь»<sup>6</sup>.

Позднее М. Бахтин уточнил свою мысль. В статье «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа» (1959—1961) он писал: «Приходится называть наш анализ философским прежде всего по соображениям негативного характера: это не лингвистический, не филологический, не литературоведческий или какой-либо иной специальный анализ (исследование). Положительные же соображения таковы: наше исследование движется в пограничных сферах, то есть на границах всех указанных дисциплин, на их стыках и пересечениях» (V, 473).

Философское литературоведение и языкознание, гуманитарное мышление и явились в конечном счете главным предметом исследований М. Бахтина. В заметках «К методологии гуманитарных наук» он говорит: философия «начинается там, где кончается точная наука и начинается инонаука. Ее можно определить как метаязык всех наук (и всех видов познания и сознания)» (IV, 384).

Исходя из этого убеждения, М. Бахтин и обратился прежде всего к исследованию метаязыка литературоведения. Об этом свидетельствуют, в сущности, все основные его работы: монографии о Достоевском и Рабле, «Слово в романе», «Роман воспитания и его



значение в истории реализма», «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике», «Из предыстории романного слова», «Эпос и роман» и другие.

Некоторые исследователи обратили уже внимание на своеобразное понимание М. Бахтиным литературоведения, на место и значение этой отрасли знания во всей системе его научного мышления. Так, В. С. Библер в книге «Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры» утверждает: «На первый взгляд может показаться, что в понятии «литературоведение» дело М. М. Бахтина страшно суживается, ограничивается одним из «подразделений» искусства (где — живопись, или — музыка, или — архитектура, даже — где «поэзия»...). То ли дело «общая теория текста», или «гуманитарное знание в целом», или — «антропология», или — философия, как она должна пониматься в XX веке»... И — вдруг — нечто относительно узкое и определенное».

Дело, однако, в том, что литературоведение, по словам исследователя, — «сфера необъятная, и дай Бог какому-то исследователю отважиться на радикальное преобразование всей «науки о литературе».

Развивая свою мысль, В. С. Библер продолжает: «...Литературоведение (... знание одной из форм искусства) в понимании Бахтина не только уже, но и *шире*, чем, скажем, — «теория текста» или — «философия»... Познание любого текста (делового и личного; устного и письменного) — есть познание его как текста потенциально *литературного*, то есть включающего в себя, в свою конструкцию и «предполагаемый вопрос», и «ответный текст», и «возможный контекст», и «идею автора»...

Только достроив некий нейтральный текст до текста воображаемого *художественного произведения* с героями и авторами (общающимися друг с другом), исследователь становится действительно гуманитарием. Это, кстати, означает, что гуманитарий — тогда гуманитарий, когда он не только исследователь (текстолог), но и художник, *писатель*... По идее Бахтина живопись и музыка, архитектура и скульптура (продолжим список — философия и наука...) могут быть поняты как свидетельство жизни человеческого духа лишь тогда, когда они доведены до формы «художественной речи», до

## 1. Выдающийся филолог и мыслитель XX века 13

«литературы», когда мы, неудовлетворенные идеей *текста...*, «дополняем» эту идею до идеи художественного (-литературного) *произведения...*

Литература — для Бахтина — это не одна из разновидностей искусства, но суть (точнее — смысл) искусства как человеческой деятельности. Человек там, где речь; речь там, где диалог; диалог — там, где литература»<sup>7</sup>.

Мы привели эту большую выписку для того, чтобы видеть объем того содержания, которое М. Бахтин вкладывал в понятие «литературоведение».

Исходя из этих убеждений, М. Бахтин и обратился к исследованию казалось бы самого простого и элементарного — сущности *слова*. И пришел к выводу: «Язык, слово — это почти все в человеческой жизни» (IV, 313).

Установил М. Бахтин также и диалогическую природу слова, внутренне присущую ему многоголосность. В упоминавшейся ранее статье «Проблема текста ...» читаем: «Проблема двуголосого слова. Понимание как диалог. Мы подходим здесь к переднему краю философии языка и вообще гуманитарного мышления, к целине... Возможности и перспективы, заложенные в слове; они, в сущности, бесконечны» (V, 491).

М. Бахтин говорил о *слове* как *деянии*, как о средстве общения между людьми. «Целый переворот в истории слова, — отмечал он, — когда оно стало выражением и чистым (бездейственным) осведомлением (коммуникацией)» (IV, 310).

Слово — первоэлемент литературы и основное орудие культуры, средство диалогического взаимодействия и взаимообогащения культур различных народов, стран, эпох. В ранее упоминавшихся заметках «К методологии гуманитарных наук» М. Бахтин писал: «Взаимопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и культур обеспечивает сложное единство всего человечества, всех человеческих культур (сложное единство человеческой культуры), сложное единство человеческой литературы. Все это раскрывается только на уровне большого времени» (IV, 390).

Так от *слова* — элементарной единицы речевого общения — протягивал М. Бахтин нить к движению и взаимодействию культур, в конечном счете — к всеединству человечества.

Развернутое учение о *диалоге* — основополагающая идея всей творческой деятельности М. Бахтина. В статье «К переработке книги о Достоевском» он утверждал: «Жизнь по природе своей диалогична. Жить — значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т. п. В этом диалоге человек участвует весь и всю жизнь ... Он вкладывает всего себя в слово, и это слово входит в диалогическую ткань человеческой жизни, в мировой симпозиум... Вещная модель мира сменяется моделью диалогической» (IV, 336—337).

И в другом месте: «Не может быть изолированного высказывания. Ни одно высказывание не может быть ни первым, ни последним. Оно только звено в цепи и вне этой цепи не может быть изучено» (IV, 359).

Не сразу М. Бахтин пришел к идее диалога. В книге «Автор и герой в эстетической деятельности» она только намечается (диалог личностей). В работах по языкознанию, вышедших под именем В. Н. Волошинова, диалог охарактеризован как категория социальная, как средство общения людей («*быть* — значит *общаться*»). В книгах о Достоевском диалог выступает категорией всеобъемлющей, универсальной. В связи с этим ученый писал о *полифонизме* как новой разновидности художественного мышления. «Нам кажется, — писал он, — что можно прямо говорить об особом *полифоническом художественном мышлении*, выходящем за пределы романного жанра. Этому мышлению доступны такие стороны человека, и прежде всего *мыслящее человеческое сознание* и *диалогическая сфера его бытия*, которые не поддаются *художественному* освоению с *монологических позиций*» (II, 312).

М. Бахтин считал, что, в отличие от своих предшественников, Достоевский «сделал дух, то есть последнюю смысловую позицию личности, предметом эстетического созерцания, сумел *увидеть* дух так, как до него умели видеть только тело и душу. Он продвинул эстетическое видение в *глубь-высоту* сознания» (IV, 331).

Так М. Бахтин ставил и решал проблему диалога — центральную во всей системе его эстетических и философско-литературоведческих взглядов.

На рубеже 1960—1970-х годов, когда идеи М. Бахтина входили в научный оборот, в сознание читателей,

причастных к филологии, философии, искусствознанию и культурологии, выяснилось, что ему, автору монографических исследований о Достоевском и Рабле, принадлежит еще ряд книг, вышедших в свет во второй половине 1920-х годов под именами В. Н. Волошинова («Фрейдизм: Критический очерк», «Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке») и П. Н. Медведева («Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику»). Одновременно называли и целый ряд журнальных статей, опубликованных в те же годы под именами И. И. Канаева и все того же В. Н. Волошинова<sup>8</sup>.

Выяснилось все это не потому, что сам М. Бахтин стал афишировать свое авторство. Обнаружилось это помимо его желания и воли. Исследователи не могли не обратить внимания на идентичность идей, основных обобщений и выводов, содержащихся в этих работах, с тем, что они находили в исследованиях, бесспорно принадлежавших М. Бахтину. Естественно возникал вопрос о том, не повторял ли автор «Проблем поэтики Достоевского» своих ближайших предшественников (и учеников) без необходимых в таких случаях ссылок на них, на их книги и статьи?

Заметим, кстати, что именно к такому, в сущности, предположению и пришел (довольно запоздало) автор одной из недавно опубликованных полемических статей под интригующим заглавием: «М. М. Бахтин или В. Н. Волошинов (к вопросу об авторстве книг и статей, приписываемых М. М. Бахтину)?»<sup>9</sup>

Имея в виду именно такого рода предположения и умозаключения, М. Бахтин и говорил (в доверительных беседах с немногими близкими ему людьми) о том, что работы, о которых идет речь, принадлежат в большей их части ему<sup>10</sup>. Дело в данном случае совсем не в том, какая часть названных книг и статей была написана самим М. Бахтиным, а какая — его друзьями (и учениками) — В. Волошиновым и П. Медведевым. Правда в том, что без его концептуальных идей помянутые книги и статьи совсем не увидели бы света в том их виде, в каком вошли они в русскую науку 1920-х годов — философско-лингвистическую, литературоведческую, эстетическую и культурологическую. При всем при этом Ми-

хаил Михайлович решительно возражал против того, чтобы считать В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева подставными лицами, утверждая, что они в известной мере были его соавторами. И потому не допускал даже и мысли о том, чтобы делать по этому вопросу какие-либо публичные заявления<sup>11</sup>. Что касается авторских прав или какой-то части этих прав, говорил, что вопрос этот и в ту пору его не интересовал, теперь же — тем более. Важным признавался тот факт, что содержание работ, о которых идет речь, обсуждалось в их дружеском кругу с царившей в нем «карнавальная» атмосферой.

Оригинальную и, на наш взгляд, наиболее близкую к истине интерпретацию этой сложной проблемы (историко-психологической) мы находим в недавно вышедшей книге В. С. Библера «Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры». «Волошинов и Медведев (участники кружка), — читаем мы здесь, — были, одновременно, — *ролями* Бахтина... Бесспорно, что решающее участие в написании этих книг (ранее нами названных. — Авторы) принимал М. М. Бахтин. И главное: в этих *своих* книгах Бахтин *не* совпадал с самим собой, чуть шутейно имитировал «другой поворот» мысли.

В этих «чужих книгах» как бы опробовался собственный стиль Бахтина, — но на «границе» с *иным* стилем и *иной* формой мышления. «Формальный метод», и особенно «Марксизм и философия языка», были игрой Бахтина в «типичное литературоведение» и «типичную социологию» тех лет. В них есть, конечно, своеобразие бахтинской мысли, но это своеобразие дано очень приглушенно, отстраненно, — в иной... интонации, иным голосом. Это — *возможный* академический Бахтин, лишенный уникального мировоззренческого пафоса.

Но *такой* Бахтин был невозможен для М. М. Бахтина. Была возможна лишь ироническая игра в *этой роли*... Впрочем, — игра очень всерьез, — поскольку и «Фрейдизм» и «Формальный метод» выявляют существенные «иные Я» М. М. Бахтина, постоянно скрытые в нем, и постоянно, — скорее движением его мысли, чем ее остановками, — оспариваемые. Это — не глубинное «другое Я» (Каган ...), но — столь же необходимые «пограничные», «передразниваемые», маргинальные «другие Я»<sup>12</sup>.

Это наблюдение позволяет многое понять в проблеме, интересующей нас здесь. Многое, но не все. И потому эпизод этот в биографии М. Бахтина, по-видимому, так и останется тайной, поскольку сам Михаил Михайлович не желал разъяснять его смысла до конца. В этих обстоятельствах мы должны согласиться с мнением С. С. Аверинцева о том, чтобы «оставить проблему нерешенной и считать ее не подлежащей решению»<sup>13</sup>.

В критических материалах, посвященных М. Бахтину, затронут принципиально важный вопрос о его предшественниках, — о том, продолжением и развитием каких традиций явилось все его миросозерцание, направление и весь характер его научной деятельности. Ответы — разные.

В последнее время В. Турбиным настойчиво внушается мысль о том, что М. Бахтин — человек «не от мира сего». Он — некая «тайна», заглянувшая в наш современный мир «оттуда». «Я слежу за поисками истоков, корней Бахтина, — говорит В. Турбин, — но остаюсь в убеждении: он не может быть выведен из каких бы то ни было событий XX века, из истории философии, эстетики и науки о литературе. Разумеется, он читал все то, что издавалось вокруг него. Но он сам говорил на каком-то другом языке, нам пока недоступном, а мы, бедные, пытаемся изложить его в привычных понятиях — в тех по крайней мере, которыми оперировали его современники».

Среди современников М. Бахтина, замечает далее В. Турбин, были такие гениальные люди, как В. В. Розанов, П. А. Флоренский, А. Н. Бердяев. Но «их язык — наш язык». А М. Бахтин — «это тайна, и овеян он духом какой-то недостижимости, год от года непреложнее ощущаемой мною». И потому вывод автора этих строк столь же категоричен, как и безотраден: не понять, не разгадать «тайны» М. Бахтина никаким «Бахтинским конференциям»!<sup>14</sup>

В. Турбин в сущности зовет нас к тому, чтобы оставить М. Бахтина «в покое» до поры, пока другой человек не придет «оттуда» же и не «разгадает» нам бахтинской тайны. Между тем сам В. Турбин бывает едва ли не на всех Бахтинских конференциях, организуемых у нас и за пределами нашей страны, выступает там с

докладами, с сообщениями и воспоминаниями, дает этим конференциям высокие оценки. Уместно спросить: зачем он это делает? Неужели для того, чтобы сделать научный и человеческий облик М. Бахтина еще более таинственным и загадочным?

В исследованиях последних лет (помимо прочего) определились основные контуры решения и той проблемы, о которой идет речь.

Бесспорным признается тот факт, что научно-теоретическое мировоззрение М. Бахтина формировалось в атмосфере духовного наследия многих веков, под благотворным влиянием двух мощных традиций — общеевропейской и отечественной. Это, по словам одного из современных авторов, целые «оазисы культуры», тщательно усвоенные и растворенные «энергией мысли исследователя»<sup>15</sup>.

Еще в студенческие годы (как, впрочем, и в последующие) М. Бахтин прошел строгую школу немецкого философского мышления XVIII—начала XX вв., прежде всего — школу Канта, Гегеля, Шеллинга. Но молодой русский мыслитель не пошел по пути своих западных учителей. Он отказался от соблазнительной логической стройности их философских систем, от их учения о *всеобщем*, в котором терялось *частное* и *единичное* — человек. Рассматривая «мир как событие — (а не как бытие в его готовности)», М. Бахтин проводил четкую грань между «мыслью о мире» и «мыслью в мире». «Мысль, — писал он, — стремящаяся объять мир, и мысль, ощущающая себя в мире (как часть его)» (IV, 384). Не отвергая «мысль о мире», он все-таки делал акцент на «мысли в мире», в котором его волновали прежде всего проблемы нравственного развития людей и человечества. «Наша *мысль* и наша *практика*, — читаем мы в статье «К методологии гуманитарных наук», — не техническая, а *моральная* (то есть наши ответственные поступки), совершаются между двумя пределами: отношениями к *вещи* и отношениями к *личности*» (IV, 391).

Эта сторона воззрений М. Бахтина уже отмечена исследователями. «Не философическая *обобщенность*, — говорит один из них, — является той специфической чертой книг и статей Бахтина, благодаря которой они втягивают в себя читательское сознание и заставляют воспринимать свое содержание как истину о своем

## I. Выдающийся филолог и мыслитель XX века 19

предмете ... Проникновенность и глубину произведения М. Бахтина обретают потому, что, говоря о своем конкретном предмете, поднимая ту или иную литературоведческую проблему, они одновременно ставят и решают проблему человеческого бытия»<sup>16</sup>.

С самых первых шагов своей научной деятельности М. Бахтин отстаивал мысль о человеке как единственной ценности в нашем мире. «...Все в этом мире, — утверждал он, — приобретает значение, смысл и ценность лишь в соотношении с человеком, как человеческое. Все возможное бытие и весь возможный смысл располагаются вокруг человека как центра и единственной ценности ...» (V, 509).

Затронув вопрос о том, что наша мысль и наша практика движутся между отношениями к вещи и отношениями к личности, М. Бахтин не уставал говорить о *личностном* пределе в развитии человека. «Чем глубже личность, то есть ближе к личностному пределу, — писал он, — тем неприложимее генерализующие методы...» Развивая эту мысль, продолжал: «...Генерализация и формализация стирают границы между гением и бездарностью» (IV, 390—391).

Личностное начало в человеке неотделимо от его свободы, от права на свободу мысли. Предельное овеществление человека «неизбежно привело бы к исчезновению бесконечности и бездонности смысла (всякого смысла)».

М. Бахтин отвергал «аквариумный» режим жизни, при котором человеческая мысль обречена на то, чтобы то и дело, словно рыбка в аквариуме, «наталкиваться на дно и на стенки». Между тем как «мысль знает только условные точки; мысль смывает все поставленные раньше точки» (IV, 385).

М. Бахтин родился и жил в России. Всем своим существом он был связан прежде всего с русской национальной культурой — литературой, философией, религией, научной мыслью. Исходя из внутренней диалогичности слова, он говорил, что «для слова (а следовательно, для человека) нет ничего страшнее *безответности*». «Слово хочет быть *услышанным*, понятым, отвеченным... Оно вступает в диалог, который не имеет *смыслового* конца...» (IV, 324).

М. Бахтин не мог не стремиться к тому, чтобы быть



услышанным прежде всего в родной стране, своими современниками. Другое дело, что стремление это было жестоко оборвано грубой силой складывавшегося вокруг тоталитарного режима. Характер и весь смысл творческого развития ученого оказался в противоречии с этим режимом. «Доминанта бахтинского представления о человеческой сущности,— говорит С. Аверинцев,— определяется одной идеей: идеей свободы. Ради свободы человеку и нужен простор «целого», между тем как расщепление, дробление «целого», урезание полноты бытия есть интеллектуальное покушение на человеческую свободу. Личность, согласно ключевой концепции Бахтина, имеет «неотчуждаемое ядро», о котором гносеологически возможно, но также и нравственно допустимо знать только то, что раскроет сама личность внутри свободного диалога, причем модус такого раскрытия остается неокончательным, незамкнутым... Однозначность тождественна для Бахтина с несвободой и, следовательно, со смертью... В этом пункте легко почувствовать, до какой степени это русский мыслитель»<sup>17</sup>.

В этих размышлениях заключена, на наш взгляд, самая суть того, что мы называем «истоками» и «корнями» бахтинского мировоззрения, всего направления его научно-теоретической деятельности. Недаром с самого начала 1920-х годов он с пристальным вниманием прислушивался к голосам таких отечественных мыслителей, как Владимир Соловьев, Павел Флоренский, Георгий Федотов, Лев Карасавин, Александр Бердяев, Иван Ильин. Постоянным был интерес М. Бахтина к «младшим символистам» — Андрею Белому и особенно к Вячеславу Иванову. Он знал, конечно, слова последнего: «Достоевский и Вл. Соловьев властительно обратили мысль нашего общества к вопросам веры»<sup>18</sup>.

Есть основание полагать, что не без известного влияния Вл. Соловьева и Вяч. Иванова М. Бахтин обратился и к исследованию творчества Достоевского.

В диалоге с названными русскими религиозно-философскими мыслителями М. Бахтин стремился определить линию собственного духовного развития и нравственного поведения. У нас, к сожалению, слишком мало материалов для того, чтобы более наглядно проследить и представить весь процесс движения бахтинской мысли

этого времени. Роковым образом сказалось на этом процессе вмешательство в его жизнь в 1928 году такого ведомства, как ОГПУ. Не исключено, что, предвидя возможность ареста, Михаил Михайлович мог сам уничтожить какие-то материалы этой поры...

Нельзя не сказать и о том, что с середины 1920-х годов М. Бахтин проявил определенный интерес к марксизму, о чем свидетельствуют его работы, выполненные в содружестве с В. Волошиновым, И. Канаевым и П. Медведевым. «В марксизме,— отмечает один из исследователей,— его привлекал ярко выраженный социальный историзм и возможности социокультурологической трактовки языка. Вместе с тем, полемизируя с формальной школой, взращенной на русской почве, и с теорией вчувствования, имеющей немецкие корни, Бахтин иногда как бы доводил до логического конца социологический метод по отношению к предмету культуры. Отсюда — некоторые крайности неопитского марксизма в работе «Формальный метод в литературоведении» ... и даже в книге, посвященной философии языка...»<sup>19</sup>.

Приходится только сожалеть о том, что вопрос этот пока не исследован в полном его объеме, как он того несомненно заслуживает. Отдельные замечания, высказываемые в некоторых статьях попутно, этой проблемы не решают.

Научные работы М. Бахтина в значительной их части отличает пафос полемичности. В одних случаях этот пафос выражен отчетливо, в других — в той или иной мере приглушенно. Но М. Бахтин — полемист особого типа. Полемический пафос его исследований связан с его учением о *диалоге*, обусловлен этим учением. Он считал, что всякое «понимание всегда ... диалогично», что «исследование становится спрашиванием и беседой, то есть диалогом» (IV, 306, 309). В научном споре Михаила Михайловича интересовали не столько его противники или оппоненты сами по себе. Его занимал прежде всего *предмет* спора, поиск *истины*. Поэтому ему чужды были такие понятия, как «разгромить», «сокрушить», «разоблачить» противника, начисто отбросить одну точку зрения и утвердить, «узаконить» на ее месте другую. Так, считал он, поступают только безнадежные догматики, которые всегда остаются с тем, что у них было. М. Бахтин исходил из убеждения в том,

что истинное понимание «восполняет текст: оно активно и носит творческий характер», что «понимающий не должен исключать возможности изменения или даже отказа от своих уже готовых точек зрения и позиций», что «в акте понимания происходит борьба, в результате которой происходит взаимное изменение и обогащение», что только «творческое понимание продолжает творчество, умножает художественное богатство человечества» (IV, 366).

М. Бахтин не уставал повторять мысль о том, что всякий «текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом)», что только «в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад и вперед, приобщающий данный текст к диалогу» (IV, 384).

Потому-то, говорил М. Бахтин, «ни одно научное направление... не сохранялось в своей первоначальной и неизменной форме». «Не было,— продолжал он,— ни одной эпохи в науке, когда существовало только одно-единственное направление (но господствующее направление почти всегда было). Не может быть и речи об эклектике: слияние всех направлений в одно-единственное было бы смертельно науке (если бы наука была смертной). Чем больше размежевания, тем лучше, но размежевания благожелательного. Без драк на меже. Кооперирование. Наличие пограничных зон (на них обычно возникают новые направления и дисциплины» (IV, 360).

Все эти идеи М. Бахтина нашли, в частности, свое подтверждение в его полемике с формалистами. Обращаясь к 1920-м годам и имея в виду своих оппонентов из группы ОПОЯЗ, Михаил Михайлович писал в заметках «К методологии гуманитарных наук»: «Мое отношение к формализму: разное понимание спецификаторства; игнорирование содержания приводит к «материальной эстетике» (критика ее в статье 1924 года); не «делание», а творчество (из материала получается только «изделие»); непонимание историчности и смены (механическое восприятие смены). Положительное значение формализма — (новые проблемы и новые стороны искусства), новое всегда на ранних наиболее творческих этапах своего развития принимает односторонние и крайние формы» (IV, 392—393).

Имея в виду бахтинское отношение к формалистам,

С. Аверинцев справедливо писал, что из всех видов отрицания его «делом могло быть только «отрицание отрицания», которое дает из перемножения минусов самый окончательный, самый всеобъемлющий диалектический плюс...»<sup>20</sup>.

М. Бахтин разделял «принцип дополнительности» Нильса Бора: «противоположности не противоречивы, а дополнительные». Этот принцип, считал Михаил Михайлович, находит свое подтверждение и в области гуманитарной. В тех же заметках «К методологии гуманитарных наук» он, в частности, отметил: «Овеществление и персонификация... Два предела мышления; применение принципа дополнительности... Принцип дополнительности я также воспринимаю диалогически» (IV, 392, 393).

В другой своей (более ранней) работе — «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа» М. Бахтин писал: «Два сопоставленных чужих высказывания, не знающих ничего друг о друге, если только они хоть краешком касаются одной и той же темы (мысли), неизбежно вступают друг с другом в диалогические отношения. Они соприкасаются друг с другом на территории общей темы, общей мысли» (IV, 310).

Изучение научно-теоретического наследия М. Бахтина давно уже вышло за грани академической науки. По мере выхода в свет новых, ранее неизвестных работ ученого росли ряды тех, кто принимал и разделял его плодотворные идеи, применяя их в практике своей научной деятельности. В связи с этим можно было бы назвать исследования Д. С. Лихачева, С. С. Аверинцева, В. С. Библера, Л. М. Баткина, Н. К. Бонецкой, Е. В. Волковой и некоторых других ученых<sup>21</sup>.

Однако в широком увлечении произведениями М. Бахтина обнаружились и серьезные изъяны, издержки. Во многих статьях и заметках, к сожалению, преобладает поверхностное увлечение цитатами, плохо скрытое желание отдать «дань моде». Нередко слышатся восторги там, где их меньше всего можно было бы ожидать. «... Из Бахтина, — справедливо говорит один из ученых, — выдергивают... цитаты «попроще», какие-то трюизмы, играющие в его тексте скромную роль связок прослоек... Между тем заветные идеи Бахтина выражены в весьма специальных и достаточно сложных

(с точки зрения читательского восприятия) суждениях»<sup>22</sup>.

Тревожные ноты звучат и в статье другого исследователя. «... С тех пор как работы Бахтина стали «модой», — говорит он, — нередко пишущие о них вырывают «из Бахтина» отдельные фразы и даже слова, а содержание собственных работ этих пишущих зачастую сводится к простому повторению слов «полифония», «карнавализация» и т. д. При этом поклонники (а иногда и противники) Бахтина готовы облыжно записать его в «формалисты», «структуралисты» (или сблизить его идеи с модными на буржуазном Западе психоаналитическими концепциями Фрейда и Юнга), игнорируя тот бесспорный факт, что Бахтин на всех этапах своего пути был ученым, чье творчество противостояло и ныне противостоит теоретическим концепциям формализма»<sup>23</sup>.

Преодоление цитатнического подхода к М. Бахтину, к его произведениям и идеям — одна из важных задач бахтиноведения на современном этапе развития наших гуманитарных наук. Возникла необходимость в обстоятельных монографических исследованиях различных сторон деятельности ученого и ведущих концептуальных его идей. В этом деле не должно быть места ни бездумной апологетике (которой, к сожалению, немало), ни зряшному нигилизму. Примером может служить сам М. Бахтин, который хорошо видел и свои действительные научные достижения, и не скрывал того, что мешало ему подняться над общим уровнем науки своего времени, когда нивелирующая рука тоталитарного режима «поправляла» и ученых. Михаил Михайлович говорил, в частности, об известной незавершенности многих своих мыслей. Незавершенности, по его словам, внешней, т. е. «не самой мысли, а ее выражения и изложения». «Иногда, — говорил он, — трудно отделить одну незавершенность от другой... множественность ракурсов. Сближение с далеким без указания посредствующих звеньев» (IV, 380).

Важнейшую сторону творческой жизни М. Бахтина составила его педагогическая деятельность в средних и высших учебных заведениях страны. Начал он эту деятельность еще в 1918 году в небольшом уездном городе Невеле, продолжил в Витебске, в Кустанае, в Подмосковье и завершил в 1961 году в Саранске —

столице Мордовии. Целых три с половиною десятилетия звучал его голос в школьных классах и в вузовских аудиториях. Внимательно и любовно вводил он своих слушателей в увлекательный мир художественной культуры — литературы, музыки, живописи, умело раскрывая их специфику, их познавательные-воспитательные возможности. Михаил Михайлович в разное время учил своих учеников знанию истории и социологии, языкам (русскому, немецкому, французскому), эстетике (философской и словесного творчества), философии языка и общего искусствознания. Даже скупые протокольные записи заседаний кафедры (в вузах Мордовии) свидетельствуют о том, с какой настойчивостью и последовательностью отстаивал Михаил Михайлович свои убеждения и стремления к тому, чтобы привить студентам глубокие научные знания по филологии. Он постоянно заботился об их культуре — эстетической, речевой, нравственной. Многие его ученики в Подмосковье и в Мордовии поныне с благодарностью вспоминают о нем как о своем добром и внимательном наставнике. Вспоминают, как часто он цитировал им по памяти произведения (на языке оригиналов) Гомера и Вергилия, Петрарки и Шекспира, Байрона и Гёте, Рабле и Стендаля. Всем своим обликом он являл им, своим ученикам, пример человека энциклопедической образованности и высокой культуры. И потому есть все основания сказать, что многолетняя связь М. Бахтина со средней и высшей школой, с учащейся молодежью составили одно из отраднейших явлений в истории нашего народного образования и просвещения...

Человек глубоких и всесторонних познаний, М. Бахтин отличался удивительной труженнической скромностью, бескорыстностью и истинно душевной щедростью. Он был достойным представителем русской творческой интеллигенции, — той старой интеллигенции, которую безжалостно крушил тоталитарный режим с первых дней своего утверждения на Русской Земле...

На поприще научной и педагогической деятельности М. Бахтин вступил в трудные годы насильственной ломки веками сложившихся форм народной жизни и культуры. На его глазах и на глазах людей его поколения осуществлялись социальные эксперименты с непредсказуемыми последствиями. В ходе этих экспериментов

складывался и отрабатывался в своих основных структурах и деталях тот самый командно-бюрократический государственный и общественно-политический строй, который вверг великую и богатую страну в глубочайший кризис — социально-политический, экономический, духовный. В этих обстоятельствах сохранить свой человеческий облик, свою внутреннюю свободу дано было далеко не каждому. Михаил Михайлович смог это сделать.

М. Бахтина никогда не могли сбить с избранных позиций даже самые ретивые околонучные чиновники, всегда и всюду спешившие со своими указами и всегда ссылавшиеся на какие-то свои «права», данные им соответствующим комитетом партии и даже будто бы самим народом (вспомним ходячую в ту пору фразу «народ не поймет»). Когда такие «деятели» находили идеи нашего ученого чрезмерно дискуссионными, т. е. не укладывающимися в рамки «установленных норм» и предписаний, перед ним открывалось два пути: угодливо следовать «установкам» (что и делали в то время весьма и весьма многие) или отказаться от опубликования своих исследований. М. Бахтин избрал второй путь, работая (как принято говорить в таких случаях) в «стол». И делал он это не год и не два, а целые десятилетия. Так, рукопись книги «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» пролежала в его столе целых двадцать пять лет (она была завершена им еще в 1940 году).

Это обстоятельство не могло не удручать Михаила Михайловича. Но он не падал духом и верил в будущее. Справедливо рассматривая научный диалог как хор равноправных и несмолкаемых голосов, он верил, что придет тот день и час, когда в этом хоре будет услышан и его Голос.

Время это пришло. Пришло и признание — свободное и широкое. Пришло потому, что в подлинной науке действуют свои законы. Преодолевая все конъюнктурные наслоения, эти законы прокладывают себе дорогу и ставят все на «свое место» вопреки всем житейским симпатиям и антипатиям.

Мы оставили здесь в стороне целый ряд актуальных научных проблем, поставленных М. Бахтиным в его творчестве. Среди них — принципиально важные во-

просы эстетики (философской и словесного творчества), общего языкознания и теории литературы (речевых жанров, становления и развития романа, хронотопа, народной смеховой культуры и многих других). Приходится сожалеть только о том, что многие плодотворные идеи и открытия М. Бахтина только теперь вошли или входят в научный диалог, расширяя горизонты различных отраслей гуманитарной науки.

Готовя к изданию книгу «Вопросы литературы и эстетики», М. Бахтин, помимо прочего, заметил, что статьи, включенные в нее, объединяются «одной темой на разных этапах ее развития». И вслед за этим продолжал: «Единство становящейся (развивающейся) идеи» (IV, 380).

Проследить и показать это *единство идеи* в творческом наследии М. Бахтина — благодарная задача исследователей.

\* \* \*

Около двух десятилетий прошло со дня смерти М. Бахтина. За эти годы о различных периодах его жизни было опубликовано несколько статей. Вышли в свет и немногие воспоминания о нем людей, более или менее регулярно с ним общавшихся и близко его знавших. Материалы эти опубликованы главным образом в Саранске, где Михаил Михайлович прожил в общей сложности около четверти века<sup>24</sup>.

Первый очерк о жизни и деятельности ученого был опубликован в столице Мордовии еще при жизни Михаила Михайловича — в 1973 году. Речь идет об очерке, помещенном в книге «Проблемы поэтики и истории литературы», посвященной 75-летию со дня рождения и 50-летию научно-педагогической деятельности. Книга была подготовлена кафедрой русской и зарубежной литературы Мордовского университета им. Н. П. Огарева, которую Михаил Михайлович возглавлял до своего ухода на пенсию<sup>25</sup>. Очерк был кратким. В нем были приведены самые элементарные биографические сведения о юбиляре. Но и этот очерк недоступен читателям из-за того, что сама книга, изданная небольшим тиражом, превратилась в библиографическую редкость.



С конца 1970-х годов автор этих строк обратился к архивным разысканиям. Найденные материалы были обобщены в статьях «Путь ученого», «Новые страницы из жизни Михаила Бахтина», «Арест и приговор», «Бахтин в ссылке»<sup>26</sup> и некоторых других.

В 1989 году в Саранске состоялись первые в нашей стране Бахтинские чтения. Чтения были подготовлены и проведены университетом им. Н. П. Огарева. Они собрали большую аудиторию со всей страны. В связи с этим событием вышли две книжки — «Михаил Михайлович Бахтин в Саранске (Очерк жизни и деятельности)» и «Михаил Михайлович Бахтин (Библиографический указатель)»<sup>27</sup>.

Все названные здесь очерки и статьи не дают, однако, полного и цельного представления о жизненном и творческом пути М. Бахтина. К тому же они практически недоступны (из-за малых тиражей) широкому кругу читателей России и других стран.

Между тем в некоторых центральных газетах — в «Литературной газете», в «Комсомольской правде» — время от времени появляются статьи, в которых факты биографии ученого искажаются. Это, в частности, относится к статье И. Вирабова в «Комсомольской правде» под вычурным названием: «М. Бахтин: Если народ на площади не смеется, то «народ безмолствует». Помимо прочего, автор статьи сообщил читателям о следующем: «Органы завели «дело Бахтина», потом отправили его в Соловецкую тюрьму. Тянулись жуткие дни, доносы, допросы, беды сваливались одна за другой; и в тридцать четыре года он получил (!): перенесенную ампутацию ноги, потерянных друзей и отвернувшихся знакомых плюс назначение в дальние края, ссылку в Кустанай».

О «достоинствах» авторского «слога» пусть судят сами читатели. Мы же скажем лишь о том, что в Соловецкую тюрьму М. Бахтина не отправляли. Допросы были, но только в первые дни после ареста. Всё это происходило в Ленинграде. Из-за постоянных воспалительных процессов и многократных текущих операций Михаил Михайлович вынужден был согласиться на ампутацию правой ноги, но произошло это в 1938 году, когда ему было уже сорок три года. Что касается «московских учеников» М. Бахтина, заметим, что в 1960

или 1961 годах к нему в Саранск действительно приезжали молодые в ту пору литературоведы (С. Бочаров, Г. Гачев и В. Кожин). Но двое из них в последующие годы в Саранске не бывали.

В другом месте своего очерка И. Вирабов уверял: «В Саранск к Учителю (т. е. М. Бахтину.— Авторы) поехали ученики. Вокруг него толпились теперь молодые литераторы из Москвы, к ним теперь обращалась за помощью жена, они мчались и везли продукты... Они хотели его поддержать и утешить»<sup>28</sup>.

Очерк И. Вирабова вызвал резкое порицание со стороны В. Турбина. Но не за то, конечно, что И. Вирабов назвал одним из учеников М. Бахтина и В. Турбина. Известный московский литературовед был немало шокирован примитивными рассуждениями очеркиста о бахтинском мировоззрении, о совсем не простых взглядах Михаила Михайловича на «монологи» и «диалоги», на карнавализацию и прочее. В. Турбин заподозрил И. Вирабова даже в том, что он каким-то образом перепутал М. Бахтина с известным всем нам со школьных лет Павкой Корчагиным<sup>29</sup>.

Дело, однако, в том, что, справедливо возмущаясь вольными импровизациями собственного корреспондента «Комсомольской правды» на «бахтинские темы», В. Турбин забыл сказать о том, что в своих импровизациях И. Вирабов опирался на воспоминания... В. Кожина и самого же В. Турбина<sup>30</sup>. Вот о чем решил рассказать В. Турбин в одной из своих статей: «Лет двенадцать я был камердинером Бахтина, его верным слугой: почему-то так получилось (!), что легло на меня попечение об устройстве быта четы Бахтиных. Леса муромские, дорога на Арзамас, Лукоянов, а потом — холмы Мордовии и Саранск, Бахтина пригревший (а быть может, и спасший). С поздней осени 1962 года туда езжено-переезжено: был снабженцем, возил из Москвы медикаменты, масло, ветчину, осетрину...»<sup>31</sup>.

В другой статье, повествуя о целях своих путешествий в Саранск, В. Турбин с воодушевлением продолжает: «Когда я привозил в отдаленный (?) Саранск московские яства, выгружал их (!), и мы раскладывали их на столе, это было, как я впоследствии осознал, ритуалом триумфа: завершалась некая многолетняя тя-

жба с голодом, человек одерживал над ней верх»<sup>32</sup>.

Читая эти строки, иные читатели и впрямь могут поверить В. Турбину (как поверил ему И. Вирабов) в том, что жители Саранска в 1960-е годы умирали от голода, что супруги Бахтины были спасены от мучительной смерти именно им, московским снабженцем-камердинером, который дважды в год навещался в столицу Мордовии к своим друзьям и «выгружал» им на стол из своего портфеля привезенную снедь, чем приводил их будто бы в неописуемый восторг!

Напраслина? Бесспорно! Не было в Саранске той поры ни голода, ни мора, а у Бахтиных — нужды в особом «камердинере». Михаил Михайлович и Елена Александровна действительно во многом нуждались, но только не в продуктах питания. Нуждались они в помощи бытовой, повседневной. Такую помощь оказывали им их соседи по квартире, добрые и заботливые университетские друзья и знакомые. Люди эти делали свое благое дело, не дожидаясь приезда в Саранск московских «учеников» М. Бахтина и его «камердинеров». Многие из этих друзей Бахтиных до сих пор живут в Саранске, вспоминают о них, не ставя себе в особую заслугу ту помощь, которую в свое время им оказывали.

В. Турбин пытается уверить читателей в том, что нет в его автоквалификации «ни гордыни, ни самоуничижения» («камердинер он и есть камердинер»), что все его такого свойства воспоминания представляют собой всего лишь «обозначение точки зрения» автора на сущность обозреваемого им дела.

«Сущность дела» и досужие вымыслы — разные вещи, и странно, что В. Турбин не видит тут никакой разницы...

В. Кожинов в своих воспоминаниях о М. Бахтине развивает другие, но схожие сюжеты. Так, он утверждает: «... Я переписывался с ним (М. Бахтиным. — Авторы) и вдруг неожиданно получил письмо от его жены, которая очень просила меня приехать в Саранск. Ее просьба была связана с тем, что она тяжело заболела, боялась, что уже не выживет, умрет, и видела во мне человека, которому она может, так сказать, с рук на руки сдать (!) М. Бахтина»<sup>33</sup>.

И это — всерьез! И это — о Бахтине!<sup>34</sup>.

Так, отдельными штрихами, едва заметно в биографию М. Бахтина вносятся разные небылицы и домыслы, в конечном счете — ложь.

В таких обстоятельствах есть только один путь к правдивому воспроизведению страниц жизни и творчества выдающегося ученого и мыслителя — путь строгого следования бесспорным документальным материалам. К счастью, сохранились и некоторые архивные источники, к которым мы и будем в дальнейшем обращаться.

... Почти восемь десятилетий продолжался жизненный путь Михаила Михайловича Бахтина, начавшийся в 90-х годах XIX столетия. Революционные события 1905—1907 годов, первая мировая война, февральская революция и октябрьский вооруженный переворот 1917 года, гражданская война, невиданные дотоле разруха и голод начала 1920-х годов, годы нэпа, страшные годы насильственной коллективизации, новый голод 1932—1933 годов, кровавые репрессии, граничившие с геноцидом, Отечественная война и разгром фашизма в 1941—1945 годах, последовательное и настойчивое разорение российской деревни в послевоенные годы, постепенное вползание великой страны в годы всеобъемлющего кризиса — все эти события отечественной истории Михаил Бахтин пережил вместе с народом, никогда не отделяя собственной человеческой судьбы от судьбы народной. Принадлежа по рождению и воспитанию к интеллигентной среде России дореволюционной, он в полной мере разделил трагическую судьбу русской интеллигенции, — той ее части, которая была совестью и гордостью нации, хранительницей ее интеллектуальной мощи. Это была та часть интеллигенции, которая, кажется, самим фактом своего существования отвергала тоталитарный режим власти. Той власти, которая в продолжение десятилетий глушила или истребляла живые творческие силы народа, настойчиво стирая грань между талантливостью и бездарностью.

Три с половиною десятилетия Михаил Бахтин не мог публиковать своих исследований, имевших первостепенное значение для развития наших гуманитарных наук. Он преодолел этот остракизм. Преодолел все лишения и невзгоды, выпавшие на его долю. Только на самом закате жизни к нему пришло признание, а вместе с ним и относительный душевный покой.

## II. ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ

Помню раннее, свежее, тихое утро...  
Помню большой, весь золотой, под-  
сохший и поредевший сад... и — за-  
пах антоновских яблок, запах меда и  
осенней свежести.

И. А. Бунин



Михаил Михайлович Бахтин был вторым сыном в молодой семье Михаила Николаевича и Варвары Захаровны Бахтиных. Родился он 1895 в ноябре месяце, о чем в Метрической книге Петропавловского Собора города Орла под № 83 была произведена следующая запись: «Михайл. Родился 4, крещен 8. Родители: орловский купеческий сын Михаил Николаев Бахтин и законная его жена Варвара Захарьева, оба православные. Восприемники: орловский купеческий сын Павел Николаевич Бахтин и орловского купца Николая Козьмина Бахтина жена Екатерина Павлова. Таинство крещения совершили иподиакон Орлов и псаломщик Успенский»<sup>1</sup>.

Итак, не из дворян, а из купеческого сословия вышел будущий ученый...

Говорить об этом приходится потому, что немногие биографы М. Бахтина писали и поныне утверждают, что родители и другие предки (близкие и отдаленные) его вышли будто бы из дворянского сословия. Так, в одном из биографических очерков, посвященных М. Бахтину, Вадим Кожин писал: «Отец его принадлежал к старинному дворянскому роду, известному с XIV века и давшему России ряд выдающихся общественных и культурных деятелей — в частности, поэта И. И. Бахтина, одного из основателей первого сибирского журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», и видного критика, сподвижника Катенина и Грибоедова Н. И. Бах-

тина, который в 1840—1850 годах был государственным статс-секретарем»<sup>2</sup>.

Вслед за В. Кожинным эту версию повторили — Е. Конышев<sup>3</sup> и американские ученые К. Кларк и М. Холквист. В своей книге, посвященной русскому ученому, исследователи из Иельского университета говорят об этом так: «Его (имеется в виду Михаил Михайлович.— Авторы) отец Михаил Федорович (?), нетитулованный дворянин, вел свою родословную с XIV века. Были дворянские семьи по фамилии Бахтиных в Москве, Орле и в Сибири. Прадед Бахтина весь свой капитал от продажи трех тысяч крепостных отдал на организацию в Орле Кадетской школы, которая до 1918 года называлась Бахтинской. Дед Бахтина основал коммерческий банк со многими отделениями, в одном из которых отец (Михайла Михайловича.— Авторы) работал управляющим»<sup>4</sup>.

Эти и подобные сведения, основанные на догадках или умозаключениях, не соответствуют действительности. Они не подтверждаются известными нам родословными книгами дворян Российской империи. Дворян Бахтиных было немало — и в Москве, и в Орле и Орловской губернии, и в Сибири. Но ближайшие предки Михаила Михайловича не имели к ним никакого отношения. Можно лишь предположить, что до Крестьянской реформы 1861 года они были крепостными какой-то ветви дворян Бахтиных, давших им свою фамилию. Такие случаи в дореформенной России встречались редко...

Версия о дворянском происхождении М. Бахтина не была подтверждена и им самим. Напротив, в собственноручно написанных документах (в «Автобиографии», в анкетах) он неизменно отмечал, что родился в «семье служащего» (иногда писал — «банковского»), вышедшего из мещанского сословия города Орла<sup>5</sup>. Об этом со всей несомненностью свидетельствует, в частности, тот факт, что в течение девяти лет, начиная с 1897 года, Михаил Николаевич Бахтин избирался членом (гласным) в Орловскую городскую думу от купеческого сословия города и в именных списках личного состава думы неизменно именовался «купеческим сыном»<sup>6</sup>. По действовавшему с 1892 года положению, в городские думы могли избираться жители, располагавшие недви-

жимой собственностью (домами, торговыми или промышленными предприятиями и пр.), оцениваемой не менее чем в 1000 руб.

Родословная М. Бахтина известна нам пока лишь с начала 70-х годов прошлого века. В 1873 году его родной дед (по отцу) Николай Кузьмич Бахтин числился в сословии не очень богатых орловских купцов. Вместе с братом Иваном Кузьмичем Бахтиным он купил в центральной (дворянской) части Орла довольно просторную усадьбу с каменным двухэтажным флигелем, сараем, другими надворными строениями и садом. Стоимость всего этого имущества оценивалась по данным 1875 года в 2800 руб. Позднее братья Бахтины построили на этой усадьбе еще и деревянный дом<sup>7</sup>.

Известно также, что купцам Николаю и Ивану Бахтиным принадлежали в Орле еще две усадьбы с каменными и деревянными домами, службами, с разными надворными постройками. Вся эта их недвижимая собственность оценивалась в 5 тыс. руб<sup>8</sup>. К сожалению, мы не располагаем определенными сведениями относительно того, каким видом торговли занимались купцы Бахтины. Можно сказать лишь о том, что торговля эта была (по местным условиям) довольно крупной.

В 1890-х годах за Николаем Кузьмичем Бахтиным числилась лишь одна усадьба, — та, которая находилась в центральной части города — на углу улиц Георгиевской и Садовой (теперь это улицы Тургенева и М. Горького). Две другие усадьбы были, по-видимому, каким-то образом поделены с братом Иваном Кузьмичем, о котором те же архивные источники не содержат никаких сведений.

Имя Николая Кузьмича Бахтина в перечне орловских купцов встречается только до 1894 года<sup>9</sup>. В последующие годы владелицей всей его недвижимой собственности становится жена Екатерина Павловна Бахтина. Во всех документах почти целого десятилетия она именуется «купчихой»<sup>10</sup>. И это несмотря на то, что у Николая Кузьмича и его жены было два сына — Михаил и Павел. Причем Михаилу Николаевичу в это время было уже 26 лет и у него была уже семья. По-видимому, к обычным купеческим делам у него не было ни большого интереса, ни способностей. Имея хорошее по тем временам коммерческое образование, он пред-

почел им, этим делам, службу в банковских учреждениях.

К мещанско-купеческому сословию города Орла принадлежала и мать Михаила Михайловича, Варвара Захаровна. Она была старшей дочерью в семье Захара Даниловича Овечкина, числившегося с 1870-х годов в сословии «временных купцов». Его большая (для губернского города) усадьба располагалась в центральной части города на берегу реки Орлик, которая в ту пору была судоходной. Куплена она была Захаром Даниловичем еще в 1850-х годах<sup>11</sup>. Здесь, на этой усадьбе, З. Д. Овечкин имел два дома — деревянный и двухэтажный каменный, флигель и лавку на берегу реки, различные надворные постройки, каретное заведение и плодовый сад. Все это имущество оценивалось в 6 тыс. руб<sup>12</sup>.

Из архивных источников, ставших доступными в самое последнее время, известно, что Михаил Николаевич Бахтин родился, по-видимому, в 1868 году, а жена его Варвара Захаровна, — в 1873<sup>13</sup>. Их бракосочетание состоялось в июне 1893 года. В марте 1894 года родился их первенец — сын Николай, названный этим именем в честь деда, который был одним из его воспитанников<sup>14</sup>.

Через год и семь месяцев в молодой семье Бахтиных появился второй сын. Новорожденного нарекли именем Михаила и в честь отца, а больше, пожалуй, в благодарение высокочтимому в семье Бахтиных архангелу Михаилу, праздник которого торжественно отмечается Православной церковью 8 ноября (по ст. ст.)»<sup>15</sup>.

В последующие годы у Михаила Николаевича и Варвары Захаровны родились еще три дочери — Мария, Екатерина и Наталья<sup>16</sup>.

Многое забывается в нашей быстротечной жизни, часто буднично суетливой и потому бесплодной. Никогда не забываются лишь впечатления раннего детства. Не забываются наверное потому, что окрашены они той непосредственностью, искренностью и свежестью чувств, которые свойственны именно раннему детству.

Никогда не забывал о своих детских годах и Михаил Бахтин, — о тех годах, которые прошли в родном городе на берегах полноводной Оки и тихого Орлика. Садовая улица, на которой жили Бахтины, не случайно носила такое название: она действительно с обеих сто-



рон была окружена тенистыми садами. Хороши были эти сады в дни буйного весеннего цветения. Не менее великолепны и в пору созревания плодов, когда, казалось, весь окрестный воздух был напоен ароматом антоновских яблок.

Всегда помнились семейные традиции и обычаи, которые складывались, бережно хранились и неукоснительно исполнялись. В этих обычаях и традициях не было и тени того, о чем мы узнаем о купеческих нравах из пьес А. Н. Островского. У Бахтиных все было иначе, по-другому. Можно сказать, что это была одна из тех русских семей, из которых выходили Мамонтовы и Морозовы, Третьяковы и Вавиловы, Щукины и Дягилевы...

Душой всего дома была бабушка Екатерина Павловна, отличавшаяся незаурядным природным умом, глубокой религиозностью, чисто народной мудростью. Она всюду успевала, все видела и понимала, всем помогала, всех утешала. Недаром после смерти мужа она взяла в свои руки все хозяйство и несла этот нелегкий груз в продолжение почти целого десятилетия.

Варвара Захаровна, обремененная детьми, занималась главным образом с ними. А были они разными — даже ее любимые мальчики, так привязанные друг к другу и столь же несхожие своими характерами. Особенно много хлопот и переживаний доставлял ей ее Миша, часто страдавший от тяжелых заболеваний, особенно опасных в детские годы<sup>17</sup>. К счастью, все обходилось благополучно: недуги отступали, и Миша возвращался к нормальной жизни, к любимым играм и занятиям.

Примером для детей в семье была не только их бабушка, но и отец, Михаил Николаевич. Это был человек строгих нравственных принципов — неподкупной совести, достоинства, чести. Его отличало трудолюбие и скромность. Михаил Николаевич много читал, любил природу, охоту и рыбную ловлю — благо в Орле для этого были самые благоприятные условия и возможности. Недаром в продолжение многих лет он избирался председателем правления Общества рыболовства и охоты<sup>18</sup>. В часы досуга он старался приобщить к любимым занятиям и своих сыновей-подростков.

В доме Бахтиных любили и ценили книги — произведения литературы художественной и научной. Читались

и комментировались поэмы Гомера и Вергилия, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха и «Происхождение видов» Ч. Дарвина. Старшие, Николай и Михаил, уже в гимназические годы стали увлекаться русскими символами — поэтическими сборниками и прозой Дмитрия Мережковского и Вячеслава Иванова, Александра Блока и Андрея Белого. С любовью, даже с некоторой гордостью вспоминали и читали произведения писателей-земляков — уроженцев Орловского края. А здесь в разное время провели свое раннее детство, а иногда подолгу жили и работали Тургенев и Тютчев, Павел Якушкин и Лесков, Писарев и Апухтин, Леонид Андреев и Бунин, Фет и Пришвин...

В комнатах просторного бахтинского дома часто звучала фортепьянная музыка — произведения Глинки и Балакирева, Чайковского и Варламова. Любили Моцарта, Бетховена, Шопена. Не удивительно, что в начале 1920-х годов Михаил Бахтин мог читать в Витебской консерватории лекционные курсы по истории и теории музыки (под общим названием философии музыки). Вряд ли бы он смог заниматься этим делом, не опираясь на основы музыкального образования, усвоенные еще в семье.

Тяга к высокой образованности, к всесторонней культуре в доме Бахтиных поддерживалась прежде всего родителями, которые не жалели ни усилий, ни средств на образование и воспитание своих детей. Не в малой степени этому способствовала и общая обстановка, сложившаяся в Орле на рубеже двух столетий.

Являясь с конца XVIII века губернским городом, Орел к началу XX столетия стал крупным торгово-промышленным и культурным центром средней полосы России. Его население составляло около 70 тыс. человек. О торгово-промышленном потенциале города этого времени можно судить по одному достаточно выразительному факту: только через его речные пристани ежегодно проходило около 2,5 млн. пудов разных грузов, преимущественно — хлебных. Для Москвы, Петербурга и других городов Севера России. В Орле было много крупных и средних (по тем временам) промышленных предприятий (горнорудных, текстильных, кожевенных, мукомольных и пр.). Город на Оке славился своими ярмарками, привлекавшими сюда множество людей.

Действовали четыре банка, среди них — Коммерческий с отделениями в Брянске, Вильно, Сумах, Тамбове и в некоторых других городах<sup>19</sup>. По главным магистралям города курсировал электрический трамвай — едва ли не самый первый в России.

Бурно развивавшаяся экономическая жизнь явилась основой культурной жизни Орла. Издавалось несколько газет — «Орловский вестник», «Губернские ведомости», «Епархиальные ведомости» и др. В «Орловском вестнике» начинал свой творческий путь Иван Алексеевич Бунин. В городе насчитывалось более двадцати различных учебных заведений — начальных и средних. Среди них — две гимназии, Коммерческое и Реальное училища, Духовная семинария, Кадетский (генерал-майора Бахтина) корпус, Живописная и Музыкальная школы.

К услугам любителей литературы и музыки в Орле было восемь книжных и два музыкальных магазина, несколько городских (земских) и частных библиотек<sup>20</sup>. Действовали различные добровольные общества. Среди них — Орловское отделение Императорского русского музыкального общества, Общества любителей изящных искусств, Благотворительное общество и др<sup>21</sup>.

Все это свидетельствует о том, что Орел в начале XX века не был провинциальным захолустьем, как могло бы показаться на первый взгляд. Напротив, город развивался не только вширь, экономически, но и вглубь, т. е. в направлении накопления культуры духовной.

Начальное образование Михаил, как и его старший брат Николай, получил в Орле. Небольшая разница в возрасте определила тот факт, что братья росли и развивались в самом тесном общении друг с другом. У них была одна гувернантка-немка, которая помогала им овладеть не только немецким, но и древними языками — греческим и латынью. Известно, что в качестве учебной книги использовался ими немецкий прозаический перевод «Илиады» и «Одиссеи»<sup>22</sup>.

В 1905 году семья Бахтиных переехала из Орла в Вильно, где Орловский коммерческий банк имел одно из своих отделений. Этого перемещения М. Н. Бахтина потребовали, по-видимому, интересы банка. Сыновья, Николай и Михаил, были определены в Первую виленскую гимназию, в которой Николай Бахтин учился до 1912

года. По окончании ее (в июне месяце) он в августе того же 1912 года был принят на первый курс историко-филологического факультета Новороссийского (Одесского) университета. Надо полагать, что семья Бахтиных в это время обосновалась уже в Одессе<sup>23</sup>. Семнадцатилетний Михаил продолжил здесь свое образование в Четвертой гимназии, которую и окончил в июне 1913 года<sup>24</sup>. В этом же году, в августе, поступил на историко-филологический факультет местного университета, в котором учился его брат Николай.

В сравнении с Вильно (основанным в XII веке) Одесса — город молодой: он начал свое существование и развитие с конца XVIII столетия, с крепостных сооружений, возведенных А. В. Суворовым.

Вильно привлекал внимание братьев Бахтиных своей многовековой историей, узкими средневековыми улочками, старинными костелами и замками, разноликостью культур, старинным университетом, основанным еще в XVI столетии.

Одесса вызывала другие мысли и другие чувства. Это был город новоевропейского типа. Раскинувшийся на берегу Черного моря, город не мог не поражать воображение братьев Бахтиных и размахом деловой жизни, и своим внешним обликом. Лицо города определялось такими монументальными сооружениями, как величественная Потемкинская лестница, Воронцовский дворец, городская Дума с ее классической коллонадой, Биржа и прославленный оперный театр, городские парки. С Одессой неразрывно связано имя Пушкина. На высоком уровне стояла музыкальная жизнь города, в которой в разное время принимали участие прославленные оперные певцы и музыканты России, Италии и других стран.

Что касается Новороссийского университета, он возник в 1865 году на основе Ришельевского лицея. У его истоков стоял великий русский ученый-хирург Николай Иванович Пирогов, бывший в ту пору попечителем Одесского учебного округа. В немалой степени университет обязан своему возникновению и графу С. Г. Строганову, занимавшему высокий пост генерал-губернатора обширного южного края.

Несмотря на свою молодость, Новороссийский университет к началу XX века приобрел большую популяр-

ность. В его стенах работали в разное время такие выдающиеся русские ученые, как биолог И. И. Мечников, физиолог И. М. Сеченов, физик Н. А. Умов.

Историко-филологический факультет, на котором учились братья Бахтины, имел в своем составе одиннадцать кафедр. Среди них — четыре филологических, на которых велось преподавание четырех языков — немецкого, французского, итальянского и английского. Эти кафедры располагали кабинетом экспериментальной фонетики. При кафедре философии существовал кабинет экспериментальной психологии. На специальных кафедрах студенты университета могли специализироваться по русской и всеобщей истории, русской и западноевропейским литературам, по истории искусств. На факультете существовал большой и оригинальный музей изящных искусств.

Обучение в Новороссийском университете — важная веха в становлении Михаила Бахтина как личности и будущего ученого. Позднее в «Автобиографии» он писал, что специализировался здесь по философии под руководством профессора Николая Николаевича Ланге. Это действительно был один из видных представителей философии, а больше — экспериментальной психологии конца XIX начала XX столетия. Ланге обосновывал и защищал мысль о вторичности внутренних психических актов по отношению к внешним, двигательным актам. Он шел за И. М. Сеченовым — своим предшественником по кафедре. С именем Ланге связывается обоснование законов перцепции, т. е. законов о сущности процессов человеческого восприятия и о создании образа воспринимаемого объекта. Ланге одним из первых в истории психологии поставил вопрос о внутренней речи в процессе волевого внимания и волевого действия, когда внутренняя речь характеризует переход ощущения в суждение<sup>25</sup>.

Некоторые идеи Ланге нашли отражение в работах Михаила Бахтина 1920-х годов.

Много внимания и сил студент Михаил Бахтин отдавал изучению новых языков — итальянского (с латынью в основе), французского и английского. Вопросами общего языкознания занимался у профессора Томсона. Одновременно шли занятия по различным историко-литературным предметам.

В Одессе Бахтины оставались не более четырех-пяти лет. Отсюда они переехали в Петроград. Причины были разные. Одна из них — непрерывный рост цен на предметы первой необходимости. Ухудшилось положение в университете, в котором учился Михаил: не хватало профессоров и лекторов. Другая, более существенная причина была связана несомненно с тревогой Михаила Николаевича и Варвары Захаровны, всей семьи за судьбу Николая.

Еще в 1913 году Николай Бахтин добился перевода из Новороссийского университета в Петербургский. У него возникло желание специализироваться на факультете восточных языков, которого в Новороссийском университете не было. Правда, от этой мысли Николай вскоре же отказался. Уже в конце сентября того же 1913 года он просил ректора Петербургского университета перевести его с факультета восточных языков на факультет историко-филологический. Просьба его была удовлетворена<sup>26</sup>.

Начавшаяся в августе 1914 года мировая война осложнила дело: в 1915 году Николай Бахтин подлежал призыву на военную службу в армию. Заботы и хлопоты с призывом начались уже в январе 1915. Так, 28 января того же 1915 года от него потребовали представления в соответствующие военные инстанции необходимых документов. В связи с этим студент Бахтин просил ректора университета направить некоторые документы его личного дела в нотариальную контору для снятия с них копий с тем, чтобы иметь возможность представить их, эти копии, в Николаевское кавалерийское училище. Одновременно запрашивается удостоверение личности для «представления в Орловское по воинским делам присутствие»<sup>27</sup>.

Было ли рекомендовано Николаю Бахтину Николаевское кавалерийское училище или он сам избрал для себя это военное учебное заведение — сказать трудно. В условиях военного времени обучение в этом Училище продолжилось один год. Выпуск состоялся в дни февральской революции. 28 февраля 1917 года младший офицер Николай Бахтин был направлен в распоряжение Одиннадцатого гусарского (Изюмского) полка<sup>28</sup>. Судьба его была решена. У власти в стране стояло Временное правительство, заявившее о необходимости продолжения

войны до победного конца. Впереди не было ничего ясного и определенного.

Так для Николая Бахтина оборвалась его связь с Петроградским университетом, обучение в котором не было завершено. Оборвалась связь с семьей, в которой самым близким ему по духу человеком был брат Михаил. Пока он имел возможность общаться с ним последние два года здесь, в Петрограде, куда и он, его постоянный оппонент, перебрался для продолжения университетского образования.

Нарушая рамки принятой хронологии, скажем несколько слов о последующей судьбе Николая Бахтина — о судьбе нелегкой, полной драматизма.

После самых неожиданных перипетий суровых и немоллимых лет войны и гражданского раздора молодой офицер Николай Михайлович Бахтин оказался в рядах русской эмиграции в Париже. В полной мере пришлось испытать ему все тяготы и лишения жизни на чужбине. Некоторое время плавал на кораблях Средиземного моря в качестве рядового матроса. Затем более трех лет служил во французском легионе в Алжире. Перенес тяжелое ранение и едва не лишился правой руки, которой впоследствии писать уже не мог. Впереди не было никаких перспектив и надежд. Выручила, спасла незаурядная природная одаренность и воля к жизни. Глубокий интерес и любовь к научному и поэтическому творчеству, проявившиеся еще в детстве, привели его сначала в Сорбонну — самое знаменитое во Франции высшее учебное заведение. Окончив его, молодой русский ученый отправился в Англию — в Кэмбридж, где и завершил свою научную подготовку. Здесь ему была присуждена степень доктора философии<sup>29</sup>.

Жизнь, казалось, входила в нормальную колею. С материальным достатком и надежными перспективами. Однако ни покоя, ни радости не было. Николай Михайлович Бахтин был одним из тех русских на чужбине, которым трудно было смириться с мыслью об утрате родины. Тоска по ней, боль о родных и близких ему людях с годами не только не проходили, а, напротив, все чаще и сильнее сжимали сердце. В первой половине 1920-х годов эта боль смягчалась перепиской (хотя и нерегулярной) с семьей, оставшейся в России. Позднее же, ближе к 1930-м годам, и такая переписка не могла

продолжаться, становилась опасной для его родных. В стране, готовившейся к строительству социализма, рос и укреплялся чудовищный репрессивный аппарат. Одна за другой по стране прокатывались волны репрессий. Их удары обрушивались прежде всего на «классово чуждую» интеллигенцию. Не избежал этого удара и Михаил Бахтин, которому «оперативники» из ОГПУ в 1929 году вменили в вину связь с русской эмиграцией во Франции<sup>30</sup>. Впрочем, в таком повороте судьбы родного брата Николай Михайлович Бахтин вряд ли и сомневался.

В середине 1930-х годов не стало отца Бахтиных. В 1942 году в блокадном Ленинграде погибли мать и сестры. Ничего не было известно о судьбе брата Михаила Михайловича — все это лежало таким тяжким бременем на душе русского профессора в Бирменгемском университете, что сердце его не выдержало: в 1950 году он скончался. От сердечного приступа. Было ему в это время пятьдесят шесть лет. Смерть помешала ему осуществить свое намерение возвратиться на родину, к родителям, к брату и сестрам. Михаил Михайлович работал в это время в Саранске, не имея от старшего брата никаких вестей.

Не менее драматично (как мы увидим далее) сложилась и судьба Михаила Михайловича. Но об этом позднее... А пока снова возвратимся в Петроград 1917—1918 годов.

Из имеющихся в нашем распоряжении материалов видно, что Бахтины оставили Одессу и поселились в Петрограде в 1916 году. Отец, Михаил Николаевич, поступил на службу в один из банков столицы. Это был, по-видимому, Народный банк, в котором в какой-то должности состояла и старшая его дочь Мария Михайловна<sup>31</sup>. Что касается Михаила Михайловича, он продолжил свое образование на историко-филологическом факультете Петроградского университета. Есть основание предполагать, что учился он здесь на правах вольнослушателя<sup>32</sup>. Важна, однако, не формальная сторона дела, а его сущность. Сущность же эта заключалась в интенсивных занятиях будущего ученого. Возможностей для этого в столице было неизмеримо больше, чем в Одессе. Петроградский университет этого времени был и оставался крупнейшим учебным заведением России, одним из центров русской и мировой науки и культуры.



В 1916 году на его факультетах обучалось около восьми тысяч студентов.

Одним из ведущих в университете был историко-филологический факультет, в составе которого трудились виднейшие ученые, труды которых имели мировое признание. Среди них было немало членов Петербургской академии наук. Это и египтолог Б. А. Тураев, и востоковед В. В. Бартольд, и филолог-китаист В. М. Алексеев, и слависты А. А. Шахматов и В. Н. Перетц, и философы А. И. Введенский и Н. О. Лосский, и историки С. Ф. Платонов и С. В. Рождественский.

Важное место в научной и культурной жизни Петрограда в 1916—1920-х годах приобрел Институт истории искусств, основанный графом В. П. Zubовым. Институт располагал уникальной библиотекой с редким подбором книжного фонда. В Институте складывался коллектив молодых, талантливых филологов и искусствоведов (В. М. Жирмунский, Л. П. Якубинский, Б. М. Энгельгардт и др.). Студенты университета нередко бывали и в аудиториях этого Института.

В обстановке войны, продолжавшейся уже третий год, все труднее складывалась бытовая сторона жизни. Рост дороговизны вынуждал ограничивать семейные потребности. Старший сын Бахтиных готовился к тому, чтобы разделить участь многих миллионов своих соотечественников, которые гибли в окопах и на проволочных заграждениях на фронте, растянувшемся от берегов Балтики до Карпат. Всюду чувствовалось напряжение. Впереди все явственнее вырисовывались признаки надвигающихся социальных потрясений. В этих тревожных условиях М. Бахтин, освобожденный от воинской повинности (вследствие тяжелого хронического костного заболевания), начал свои занятия на историко-филологическом факультете университета. В соответствии с общей своей склонностью к теоретическому мышлению он и здесь, в столице на Неве (как и в Одессе), обратился прежде всего к философии, к обстоятельному изучению важнейших ее частей, направлений и школ. Позднее не раз отмечал, что этими вопросами он занимался под руководством профессора А. И. Введенского (1856—1925).

Александр Иванович Введенский — виднейший русский философ, логик и психолог конца XIX—первой

четверти XX столетий, бессменный председатель Петербургского философского общества с 1899 года. В своих трудах — «Опыт нового построения теории материи на принципах критической философии» (1888 г.), «Логика как часть теории познания» (1909 г.), «Психология без всякой метафизики» (1914 г.) и др. — А. И. Введенский следовал основополагающим идеям и принципам И. Канта, возглавив русское неокантианство. Влияние А. И. Введенского отчетливо проявилось в позднейших увлечениях М. Бахтина кантианством, в частности проблемами этического социализма (Кантовские семинары в Невеле и в Петрограде).

Другим видным профессором-философом на историко-филологическом факультете Петроградского университета этого времени был Николай Онуфриевич Лосский (1870—1965).

Под его руководством молодой Бахтин изучил ряд книг, написанных этим ученым. Среди них — «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма» (1903 г.), «Введение в философию» (1911 г.). В теории познания Н. О. Лосский принадлежал к тому течению, которое получило наименование интуитивизма и персонализма. Вслед за своими западными предшественниками (Т. Липпс и др.) Лосский развивал учение о непосредственном восприятии субъектом явлений (объектов) внешнего мира, о возможности опытного познания не только чувственного, но и того, что находится за пределами наших чувств. В психологии Лосский развивал теории волюнтаризма. Непосредственного влияния на М. Бахтина Лосский не оказал, хотя благодарный ученик отзывался об этом своем учителе с искренним уважением.

Свои философские штудии в Петроградском университете М. Бахтин всегда рассматривал всего лишь как начало развития собственной философской мысли. Высоко оценивая немецкую классическую философию, в особенности Канта и Гегеля, он считал, однако, что она чрезмерно абстрактна и рационалистична. Эта философия, по его убеждениям, слабо, неполно отразила в себе нравственные начала человеческой жизни. Начала эти изучались, разрабатывались главным образом и в особенности русской философской мыслью, глубоко самобытной и оригинальной. В последующие годы это и

определила содержание и характер философских исследований молодого Бахтина.

Но не одни философские штудии занимали М. Бахтина в период его обучения в университете. По-прежнему много внимания и сил отдавал он и наукам филологическим, определившим направление и смысл последующей его деятельности. Древние и новые языки, общее языкознание, русская литература и литература Запада, начиная с Древнего Востока, Греции и Рима, русское и западноевропейское литературоведение — все это было предметом пристального внимания и тщательного изучения. Успеху этих занятий в немалой степени способствовала и сама система университетского образования в России, при которой изучение иностранных языков, древних или новых, велось на основе крупнейших явлений литературы народов — носителей этих языков<sup>33</sup>. Следует заметить при этом, что Петроградский университет располагал такими научно-педагогическими кадрами, которые способны были вести эту работу со студентами на подобающем научно-методологическом и методическом уровнях.

На историко-филологическом факультете трудились в это время многие видные филологи, лингвисты и литературоведы, чьи имена не были забыты в науке. Кроме названных ранее академиков А. А. Шахматова и В. Н. Перетца, назовем здесь И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербу — основателей «фонологического направления» в лингвистике. Романо-германскую филологию достойно представляли А. Н. Веселовский и Ф. Д. Батюшков, Г. Л. Лозинский и В. Ф. Шишмарев, Р. О. Ланге и Д. К. Петров. Классической филологией занимались эллинисты Ф. Ф. Зелинский, Б. В. Казанский и М. И. Ростовцев. Проблемами истории и теории литературы и искусства — Б. В. Фармаковский и К. Э. Гриневиц. На кафедрах русской и западноевропейских литератур трудились П. О. Морозов и Б. А. Кржевский, С. А. Венгеров и С. П. Обнорский.

В. Б. Шкловский, учившийся на историко-филологическом факультете Петроградского университета одновременно с братьями Бахтиными, так писал позднее в своих воспоминаниях: «Студенты ходили в университетском коридоре, считая, что именно здесь с криком решаются все планы будущего. Шумели. Бастовали. Спо-

рили. Стояли в очередях. Решали научные вопросы... Историко-филологический факультет... был силен и по составу профессуры и по уровню студенчества. Иногда в почти пустой аудитории сидел профессор, перед ним два студента, а эта группка была отрядом передовой науки»<sup>34</sup>.

В своих автобиографических материалах М. Бахтин указывал, что именно весной 1918 году он завершил университетское образование. Однако в какой форме оно было им осуществлено, мы, к сожалению, не знаем<sup>35</sup>. Известно лишь, что предусмотренных в ту пору университетским уставом выпускных экзаменов он не держал и потому диплома об окончании Петроградского университета не получил. Об этом он сам писал в одном из известных нам теперь документов<sup>36</sup>.

Как бы там ни было, годы гимназического и университетского ученья остались позади. Михаилу Бахтину шел двадцать третий год. Начинался новый период в его жизни — самостоятельная работа на поприще науки и народного просвещения. Впереди его ждали новые города и новые люди, немногие творческие и иные радости и суровые испытания.

### III. ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

(1918—1928)

*Свобода ведет к ответственности.  
Несвобода все делает безответ-  
ственным...*

*Вся жизнь должна начать опреде-  
ляться изнутри, а не извне, из  
глубин воли, а не из поверхности  
среды.*

Николай Бердяев



Первому десятилетию самостоятельной трудовой жизни М. Бахтина присуща внутренняя последовательность и целостность, вследствие чего и есть необходимость и возможность рассмотреть это десятилетие с этой его стороны. Это было время непрерывного и свободного восхождения молодого ученого к вершинам знаний, годы обретения той зрелости мысли, которая позволила ему занять свое определенное место в живом, реально развивающемся научном процессе. И не только в русском, но и в общеевропейском, о чем свидетельствуют его научные исследования этой поры.

В первое десятилетие (как, впрочем, и во все последующие) М. Бахтин не мог всецело посвятить себя работе научной. Он делил ее с деятельностью преподавательской. И считал такое сочетание явлением естественным, закономерным. Он принадлежал к тому типу мыслителей, которым нужны слушатели, необходима аудитория, вниманием и отзывчивостью которой М. Бахтин всегда дорожил.

На рубеже 1917—1918 годов жизнь в Петрограде была трудной. Трудности были разные. Прежде всего матери-

альные. Каждый день надо было думать о насущном куске хлеба, который совершенно исчез из продажи в хлебных магазинах. «Хлеба нет», «Голод полный», «в городе абсолютный голод. Хлеба нет даже суррогатного» — записями такого рода пестрит, в частности, «Петербургский дневник» 1918 года Зинаиды Гиппиус<sup>1</sup>. Так, 17 апреля она записала: «Голод не тетка. Хлеба вчера дали ... осьмушку. Нынче нисколько. Фунт масла стоит 18 руб. Каждая картофелина — полтора рубля. В день у нас выходит только на еду, скудную, 200 руб. Совершенно сказочно. Притом все достается с усилиями и лишь при удаче»<sup>2</sup>.

Бывшая столица Российской империи день ото дня теряла и свой внешний облик. Пустынные улицы не освещались и не убирались — даже от лошадиных трупов. В долгие зимние ночи город нередко оказывался во власти анархистствующих молодчиков. Александр Блок вовсе не преувеличивал, когда писал в поэме «Двенадцать» :

Запирайте этажи,  
Нынче будут грабежи!  
Отмыкайте погреба —  
Гуляет нынче голытьба!

В этих условиях все, кто имел возможность выехать из Петрограда, оставляли его, находя себе приют в ближайших к нему уездных или губернских городах, в небольших селениях с надеждой спастись от голода.

Не меньшая опасность подстерегала интеллигентного петербуржца и со стороны террористической политики новых властей, принимавшей все больший размах в особенности после разгона 5 января 1918 года Учредительного собрания. В обстановке стихии и беззакония в новых органах власти, в Советах, оказывались нередко бывшие черносотенцы, люди типа булгаковских Шарикова и Швондера<sup>3</sup>. Перед такими «революционерами» самыми беззащитными оказывались люди интеллектуального труда. Произвол и насилие над ними легко и «убедительно» оправдывались необходимостью борьбы с «контрреволюционной буржуазией» или «обуржуазившейся» интеллигенцией. «У меня, как и у других горемычных русских «граждан», — вспоминал позднее Ф. И. Шаляпин, — отняли все, что отнять можно было и че-

го так или иначе нельзя было припрятать. Отняли дом, вклады в банк, автомобиль. И меня, сколько могли, грабили по мандатам, и без мандатов, обыскивали и третировали «буржуем» ... Если мне, Шаляпину, приходилось это переносить, что же переносил русский обыватель без связей, без протекции, без личного престижа — мой старый знакомый обыватель с флюсом и с подвязанной щекой?..»<sup>4</sup>

Все, кто был отнесен к «нетрудовым элементам», к богатым, обязаны были отбывать «трудовую повинность» — чистить улицы и железнодорожные пути от снега, загружать и разгружать вагоны, работать на заготовке дров и пр. Права гражданства приобрел уже ярлык «враги народа». Повседневным явлением стали аресты, практика заложничества, расстрелы без суда и следствия. Неограниченными полномочиями пользовались функционеры ЧК и глава Петроградского Совета Г. Е. Зиновьев (Апфельбаум): Все оппозиционные органы печати были закрыты. Только еще на страницах меньшевистской «Новой жизни» свободно звучал голос М. Горького, бичевавшего беззаконие и произвол большевистской «демократии». Так, в номере 11 от 17 (30) января 1918 года он писал: «Недавно матрос Железняков, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей.

Я не считаю это заявлением хвастовством и хотя решительно не признаю таких обстоятельств, которые смогли бы оправдать массовые убийства, но — думаю — что миллион «свободных граждан» у нас могут убить. И больше могут. Почему же не убивать? Людей на Руси — много, убийц — тоже достаточно, а когда дело касается суда над ними — власть народных комиссаров встречает какие-то таинственные препятствия, как она, видимо, встретила их в деле по расследованию гнуснейшего убийства Шингарева и Кокошкина. Поголовное истребление несогласномыслящих — старый, испытанный прием внутренней политики российских правительств. От Ивана Грозного до Николая II этим простым и удобным приемом борьбы с крамолой свободно и широко пользовались все политические вожди ...»<sup>5</sup>

В номере газеты от 26 (13) марта 1918 года Горький писал: «В «Правде» различные зверюшки науськи-

вают пролетариат на интеллигенцию. В «Нашем Веке» хитроумные мокрицы науськивают интеллигенцию на пролетариат. Это называется «классовой борьбой», несмотря на то, что интеллигенция превосходно пролетаризирована и уже готова умирать голодной смертью вместе с пролетариатом. Не саботируй? Но моральное чувство интеллигента не может позволить ему работать с правительством, которое включает в число своих «действий и распоряжений» известную угрозу группы матросов и тому подобные гадости»<sup>6</sup>.

Горький в данном случае имеет в виду заявление группы моряков о том, что они уничтожат тысячи жителей города за одного убитого своего собрата, не дожидаясь ни следствия, ни суда. Публицист «Новой жизни» продолжал: «Что же, правительство согласно с методом действий, обещанных моряками? Или оно бесцельно воспрепятствовать этому методу? И,— наконец,— не само ли оно внушило морякам столь дикую идею физического возмездия?».

В этой же связи уместно напомнить и еще одно выступление Горького, в котором он снова и снова осуждал произвол и беззаконие властей. «Пугать террором и погромами людей, которые не желают участвовать в бешеной пляске г. Троцкого над развалинами России — это позорно и преступно»<sup>7</sup>.

Летом 1918 года «Новая жизнь» была закрыта, разделив участь всех оппозиционных периодических изданий России.

В одном из писем 1920 года С. Есенин писал; «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм; о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит *тогда* эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают»<sup>8</sup>.

В конечном счете за два года (1917—1919) население Петрограда уменьшилось более чем в два раза<sup>9</sup>.



Оставили Петроград и Бахтины: летом 1918 года они были уже в городе Невеле — в трехстах километрах к юго-востоку от северной столицы России.

## І. В НЕВЕЛЕ

(1918—1920)

Невель — небольшой уездный город бывшей Витебской губернии (теперь — Псковской области, основанный в XVI веке при Иване IV (Грозном)). В начале XX столетия представлял собой большой железнодорожный узел (Полоцк — Великие Луки, Витебск — Сокольники). В городе числилось около десяти тысяч жителей, занятых главным образом на железнодорожной станции, на небольших предприятиях по переработке льна, кожевенного сырья, леса, по производству кирпича, керамических изделий и пр. Многие жители были связаны еще с сельским хозяйством. Бывшая гимназия называлась теперь Единой трудовой школой 1-й и 2-й ступеней (кроме школ начальных). Действовала еще и Учительская семинария.

Невель привлек Бахтиных (по совету одного из их друзей) своими исключительно благоприятными природными условиями. Город расположен на берегу большого и красивого озера Невель (от которого и получил свое наименование) в окружении живописных лесов. Эти природные блага устраивали всех членов семьи, особенно же — Михаила Михайловича с его слабым здоровьем. Невель устраивал Бахтиных и относительной дешевизной продуктов питания, их разнообразием. Кроме рынка, семья могла и действительно пользовалась обильными дарами окрестной природы: лесными плодами и ягодами, грибами, даже — дичью. Бахтину-отцу особенно пригодились его страсть и искусство рыбной ловли. В сравнении с голодным и холодным Петроградом все это относительное обилие представлялось поистине сказочным!

В Невеле Бахтины нашли и применение своим силам. Михаил Николаевич был принят на работу в городской Совет. Михаил Михайлович и его сестра Мария Михайловна получили соответствующие места в Единой

трудовой школе 1-й и 2-й ступеней и занялись учительской деятельностью. Младшие дочери Бахтиных, Екатерина и Наталья, смогли продолжить здесь свое образование.

В автобиографических материалах М. Бахтин отмечал, что преподавателем Невельской Единой трудовой школы 2-й ступени он был зачислен 1-го августа 1918 года. Одновременно был принят на работу и в Невельскую учительскую семинарию<sup>1</sup>. Более точные сведения содержатся, по-видимому, в архивных документах. В одном из них отмечается, что в должности преподавателя Единой трудовой школы М. Бахтин был утвержден 1-го октября того же года. Указано также, что он должен был вести уроки по истории, социологии и русскому языку<sup>2</sup>.

Никаких конкретных сведений о будничной работе М. Бахтина в учебных заведениях Невеля в 1918—1920-х годах до нас не дошло, хотя ее, эту работу, не трудно себе и представить. Что касается его жизни вне школы, жизни частной, следует сказать, что она была наполнена неустанным трудом, занятиями все тем же, что глубоко занимало и увлекало его в Новороссийском и Петроградском университетах. Эти занятия приобрели особенный смысл и значение в связи с тем, что здесь, в уездном захолустье, молодой Бахтин оказался не одиноким. Случилось так, что в Невеле он встретился и подружился с целым кругом молодых талантливых людей, увлеченных, как и он сам, глубокими творческими интересами. В этот круг входили В. Н. Волошинов, Л. В. Пумпянский, Б. М. Зубакин, М. В. Юдина и М. И. Каган. Старшему из них, М. И. Кагану, было двадцать девять, а самой младшей, М. В. Юдиной, — девятнадцать.

Что же это были за люди? Чем они занимались и к чему стремились?

Пумпянский Лев Васильевич родился в 1891 году в Вильно в еврейской семье<sup>3</sup>. В 1910 году окончил Первую виленскую гимназию. В 1912 году был принят на историко-филологический факультет Петербургского университета. Занимался преимущественно романо-германской филологией. По завершении образования поселился и работал в Невеле, где продолжил свои занятия по изучению истории русской и западно-европейской

литератур. Позднее результаты этих занятий обобщил в ряде своих статей.

Воспитанником Петроградского университета был и Валентин Николаевич Волошинов. Родился он в 1895 году в Петербурге в семье присяжного поверенного. В 1913 году был принят на юридический факультет Петербургского университета. В 1917 году, с третьего курса, выбыл из университета из-за материальных трудностей. Около двух лет перебивался случайными заработками в Петрограде. В начале 1919 года переехал в Невель. В одной из волостей уезда заведовал внешкольным образованием, а вслед за этим — музыкальной секцией уездного отдела народного образования. Одновременно преподавал в музыкальной школе Невеля (по классу рояля) и в Единой трудовой школе 2-й ступени вел в старших классах историю литературы.

Не менее колоритной фигурой среди невелинской интеллигенции был Борис Михайлович Зубакин, оставшийся в их памяти как талантливый поэт-импровизатор, скульптор и археолог. О его происхождении мы не располагаем никакими сведениями, кроме того, что родился он в 1894 году. Особенно близок был Б. Зубакин с Волошиновым, с которым был хорошо знаком еще с гимназических лет. «Медведь на бульваре» — единственный поэтический сборник Б. Зубакина, изданный в 1929 году в Москве. На склоне лет, в начале 1970-х годов, Михаил Михайлович на память читал его стихи...

Едва ли не самым оригинальным членом Невельского кружка М. Бахтина и его друзей была Мария Вениаминовна Юдина — единственная среди них женщина, увлекшаяся философией. Родилась она в 1899 году в Невеле. Училась в Петроградской консерватории. Но в 1918 году одаренная пианистка вынуждена была прервать занятия в консерватории из-за того, что у нее сильно заболели руки. Возвратилась в родной город с тем, чтобы отдохнуть от переутомления. В связи с этим двоюродный ее брат Г. А. Юдин вспоминал: «Она вернулась в Невель и с присущим ей жаром стала работать в детском саду воспитательницей. С работы она приходила настолько утомленной, что мгновенно засыпала прямо за обеденным столом, не дождавшись, пока

старшая сестра принесет ей тарелку супа... И все же вечерами Мария упорно изучала философию. В это время в Невеле оказались два талантливых литературоведа — Лев Васильевич Пумпянский и Михаил Михайлович Бахтин. Совместно с Марией Вениаминовной и двумя-тремя другими серьезными молодыми людьми она устраивала «философские ночи»: читали и комментировали какой-либо классический труд по философии — от древних греков до Канта и Гегеля»<sup>4</sup>.

Среди этих «двух-трех» молодых талантливых людей следует назвать Матвея Исаевича Кагана (1889—1937). Родился он в 1889 году в селе Пятницком Псковской губернии в бедной еврейской семье. По окончании начального образования в пятнадцатилетнем возрасте примкнул к одной из организаций РСДРП (1904), за что подвергался аресту. В 1909 году сдал экзамены на аттестат зрелости, после чего вскоре уехал в Германию учиться философии. Занимался поначалу в Лейпцигском университете, затем — в Берлинском и, наконец, в Марбургском. Учился под руководством известных в ту пору немецких профессоров — Германа Когена (1842—1918), Эрнста Кассирера (1874—1945) и Пауля Наторпа (1854—1924). На родину возвратился в 1918 году после подписания Брестского мирного договора с Германией. Поселился в Невеле, где прошло его детство. Здесь-то и произошла его встреча с Михаилом Бахтиным. Первое знакомство вскоре перешло в глубокую дружбу. К этому времени М. И. Каган имел уже несколько опубликованных философских работ («О личности в социологии», «О ходе истории» и др.). Будучи учеником неокантианца Г. Когена, Матвей Исаевич и сам был в это время одним из самых ревностных неокантианцев. Если вспомнить, что и М. Бахтин в это время увлекался неокантианством (усвоенным в Петербургском университете под влиянием профессора А. И. Введенского), можно понять, что подружившимся талантливым философам было о чем говорить и было что обсуждать. Они-то, М. Каган и М. Бахтин, и явились теми людьми, вокруг которых сложился философский кружок, известный теперь как невеличкий «Кантовский семинар»<sup>5</sup>.

Мы, к сожалению, не располагаем пока конкретными материалами, на основании которых можно было бы представить живую картину того, что и каким образом

изучали и обсуждали названные участники семинара. Известно, однако, что изучением «Критики чистого разума» Иммануила Канта (1724—1804) руководил М. Каган. Затрагивались, конечно, и проблемы этики и эстетики. Штудировались книги и статьи, читались и обсуждались доклады, рефераты. Были споры и общие выводы. И все это — свободно и непринужденно, за самоваром и чашкою чая. С вечера и нередко до самого рассвета! В одном из позднейших писем Л. Пумпянский писал М. Кагану, вспоминая невелиские литературные и философско-эстетические дискуссии: «Ничего, наше от нас не уйдет и ночные беседы нас ожидают. Оживим воспоминания о чудных тех временах ... которые очень любит вспоминать Мария Вениаминовна»<sup>6</sup>.

Молодые невелиские ученые не ограничивались рамками своего семинара. Они охотно, с энтузиазмом включились в деятельность культурно-просветительскую: читали лекции и доклады для населения города, руководили творческими и общеобразовательными кружками молодежи, принимали участие в диспутах, которые в то время широко практиковались.

Так, 7 сентября 1919 года в невелиской газете «Молот» было опубликовано сообщение об организации в городе кружков «по изучению положительных наук, классической философии, духовной культуры Европы». Среди имен руководителей кружков было названо и имя М. Бахтина.

Несколько позже, 29 сентября 1919 года, в той же газете «Молот» сообщалось, что в одном из лекториев «намечен ряд лекций по вопросам литературы и искусства». Указывалось: «... Каган будет читать курс эстетики... Товарищ Бахтин — о постановке драмы и по истории литературы; товарищ Зубакин — о самовоспитании, искусстве и художественной этике».

14 ноября 1919 года на одной из страниц «Молота» была опубликована заметка о прочитанной Бахтиным лекции об искусстве, а 22 декабря — объявление о том, что в Невеле «открываются литературно-художественные курсы под руководством М. М. Бахтина». Говорилось далее, что «на курсы принимаются граждане обо-его пола от 14 лет и, безусловно, грамотные»<sup>7</sup>.

Наконец, 9 июня 1920 года «Молот» счел необходимым известить своих читателей о том, что Бахтин про-

читал цикл лекций по русскому языку для членов Союза работников просвещения и искусства<sup>8</sup>.

Едва ли не с самых первых послеоктябрьских дней идеологи «военного коммунизма» развернули широкое наступление на религию и церковь, которые были объявлены «опиумом народа» и «оплотом реакции». Лекции, доклады, публичные диспуты на антирелигиозные темы приобрели характер повседневности. Слушатели призывались к тому, чтобы они немедленно покончили с этим «дурманом» и встали в ряды «воинствующих безбожников». Одновременно против церкви и ее служителей предпринимались массированные репрессивные меры<sup>9</sup>.

Молодой М. Бахтин не только не разделял подобную политику идеологов «воинствующего атеизма», а, напротив, считал ее ненужной и вредной. Об этой его позиции мы узнаем из той же невольской газеты «Молот». В номере 47 от 3 декабря 1918 года был помещен отчет о диспуте, состоявшемся 27 ноября в городском Народном доме. Его тема — «Бог и социализм». Освещая ход и содержание развернувшейся на диспуте дискуссии, автор отчета писал: «... Прежних защитников религии, как своего хорошего куска хлеба, — попов, ксендзов и раввинов на том интересном диспуте не оказалось ни одного ... Но места их заняли недалеко ушедшие от них по идее, быть может, их сынки или близкие родственники гр. Пумпянский и Бахтин. Первым из выступающих на диспуте говорил Пумпянский, назвавший себя не социалистом, но христианином православным. Речь его была самого научного характера, так что половина слушающих не понимала это довольно хорошо сказанное слово. Пумпянский, назвавший себя православным христианином, защищал эту религию, но чтоб он верил и признавал то, что защищал, этого из его слов не видно было. Будучи добрым человеком по природе, он признавал доброе и полезное в делах коммунистов... но сам все же «в сторонке». Некоторая часть его речи носила характер призыва к социалистам отдать большую часть своей работы делу науки. Вторым по порядку говорил товарищ Гурвич. Его речь имела несколько митинговый характер, но все же он, как убежденный ярый борец за социализм, очень ярко и наглядно доказал, что религия есть выдуманная кучкой паразитов ограда,

чтобы удержать людей в темноте и тем самым наслаждаться. Третьим выступал Дейхман, который данными всесторонне доказал ненужность и вредность религии и разбил все религиозные предрассудки. После товарища Дейхмана выступает товарищ Бахтин. Он в своей речи, защищающей этот намордник темноты религию, витал где-то в области поднебесья и выше. Живых примеров из жизни и истории человечества в его речи не было. В известных местах своего слова он признавал и ценил социализм, но только плакал и беспокоился о том, что этот самый социализм совсем не заботится об умерших (не служит панихиды, что ли?) и что, мол, со временем народ не простит этого. Интересно, когда-то он «не простит», через сто или больше лет? Когда народ будет во сто раз просвещенней настоящего! — «Не случится это», — кто-то ответил Бахтину. В общем, слушая его слова, можно было подумать, что вот-вот подымется, воскреснет вся лежащая и истлевшая в гробах рать и сметет с лица земли всех коммунистов и проводимый ими социализм. Пятым выступил товарищ Гутман. Он говорил очень долго и довольно осмысленно. Его речь была во многом ответом на поставленные вопросы предыдущим оратором Бахтиным. Смысл его речи, по моему, был таков: при великих делах революции и социализма, религией, как глупыми делами духовенства, заниматься некогда. Мертвые не воскреснут и заботиться о них не нужно ... Многим желающим не пришлось высказаться, так как было уже два часа ночи и диспут закрылся»<sup>10</sup>.

Мы привели эту большую цитату с тем, чтобы наглядно видеть *время*, в которое М. Бахтин начинал свою научную и литературно-общественную деятельность. Видеть людей, которые выходили в ту суровую пору на авансцену русской жизни. Молодой ученый говорил со своими оппонентами об усопших, но имел в виду и *живых*. Он понимал, что память об умерших нужна не им, ушедшим из жизни, а необходима живым. Необходима точно так же, как необходима им вся прошлая духовная и материальная культура человечества. Он видел, что идеология бездумного и бездушного разрушения прошлого таит в себе опасность возникновения такого духовного вакуума, в котором грядущие поколения могут задохнуться. И вряд ли можно сомневаться в том,

что уже в ту пору М. Бахтин отдавал себе отчет в том, что он не может идти в день завтрашний, в будущее с людьми, исповедующими мораль всеобщего забвения. Забвения того, что служит основанием *настоящему* и *будущему*. И пошел действительно своим путем, поставив в центр внимания *человека*, его мораль, нравственные начала жизни. Естественно, что в этих своих устремлениях он мог опереться главным образом на традиции русской философской мысли, которая обращалась именно к этим проблемам и обстоятельно их исследовала. И потому в первых же его работах по-новому зазвучала старая мысль о человеке как «мере всех вещей».

«Кантовский семинар» в Невеле просуществовал в первоначальном своем виде недолго, до конца 1918 года. Уехала в Петербург М. В. Юдина для завершения своего образования в консерватории. Л. В. Пумпянский отправился в Витебск, Б. М. Зубакин — в Смоленск. В Невеле оставались М. Бахтин и М. Каган, продолжавшие работу в учебных заведениях города.

По-видимому, уже в Невеле у М. Бахтина возник замысел большого нравственно-философского исследования, работа над которым была продолжена в Витебске. До нас дошли лишь ее фрагменты, опубликованные впервые в 1986 году под условным названием «К философии поступка». От невельского периода жизни молодого ученого до нас дошла полностью лишь одна небольшая его статья — «Искусство и ответственность», опубликованная в невельском альманахе «День искусства» (1919). Этот своеобразный «запев» концептуально связан с общим его замыслом, о котором мы только что говорили.

В центре внимания автора статьи «Искусство и ответственность» вопрос о необходимости преодоления того разрыва, который издавна разделял и разделяет три области человеческой культуры — науку, искусство и жизнь. Этот разрыв человек искусства безответственно оправдывал ссылками на «вдохновение», игнорирующее жизнь. Человек жизни мирился с этим разрывом, довольствуясь житейской прозой. В конечном счете — художнику «легче творить, не отвечая за жизнь», а человеку жизни «легче жить, не считаясь с искусством». Взаимная безответственность может быть



преодолена только взаимной *ответственностью* через внутреннее взаимопроникновение искусства и жизни в *единстве* человеческой личности. «За то,— писал М. Бахтин,— что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. Но с ответственностью связана и вина. Не только понести взаимную ответственность должны жизнь и искусство, но и вину друг за друга. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов. Личность должна быть сплошь ответственной: все ее моменты должны не только укладываться рядом во временном ряду ее жизни, но проникать друг друга в единстве вины и ответственности» (IV, 7—8).

«Личность должна быть сплошь ответственной» — эта мысль станет определяющей в последующих исследованиях М. Бахтина.

Так завершился невельский период жизни и работы М. Бахтина,— работы педагогической и научной.

## 2. В ВИТЕБСКЕ

(1920—1924)

Витебск в 1920—1924 годах был центром одноименной губернии, входившей в состав Белоруссии. Старинный город привольно расположился на берегах двух рек — Западной Двины и впадающей в нее Витьбы (от которой и получил свое наименование). По данным 1913 года, в городе насчитывалось 109 тысяч человек. Люди были заняты главным образом на небольших предприятиях перерабатывающей промышленности (льнопрядильной, деревообрабатывающей, кожевенной и пр.) на железной дороге. Процветал кустарный промысел.

Старинный город (возникший в XI веке) отличался своеобразием своего внешнего облика, в котором рельефно отразилась его многовековая история. В ряду многих памятников старинной архитектуры выделялись Благовещенская церковь XII века, здание городской ра-

туши, храмы Петра и Павла, Спаса, губернаторский дворец, памятник воинам Отечественной войны 1812 года и др. Известный художник-авангардист М. З. Шагал так писал незадолго до своей смерти о городе своего детства и юности: «Я безгранично люблю свой родной Витебск не потому, что я там родился, но прежде всего за то, что там я на всю жизнь обрел краску своего искусства... Я после долгих колебаний отказался ... ехать в Витебск, хотя вспоминаю о нем всю жизнь. Потому и отказался, что вспоминаю. Ведь там, наверное, я увидел бы иную обстановку, чем та, которую я помню, иную жизнь. Это было бы для меня тяжким ударом. Как тяжко навсегда расставаться со своим прошлым!»<sup>1</sup>

Летом 1920 года М. Бахтин приехал как раз в тот Витебск, каким он навеки запомнился М. Шагалу, с которым он позже был хорошо знаком. И не только с М. Шагалом, но и со многими другими деятелями русской художественной интеллигенции, жившими в это время в Витебске и превратившими его в эти годы в заметный центр культуры страны. Здесь в эти годы жили и работали художники Казимир Малевич, Мстислав Добужинский, многие профессора, музыканты и вокалисты столичных театров и консерватории. Они оказались здесь вследствие тех же причин, которые привели сюда и М. Бахтина, и его друзей. Люди высокой профессиональной культуры и глубоких гражданско-патриотических чувств, они приложили немалые усилия к тому, чтобы вдохнуть *жизнь* в типичный провинциальный город. Успехи оказались налицо. Они создали в Витебске пять музыкальных школ, музыкальный техникум, получивший вскоре статус консерватории, организовали симфонический оркестр, государственный хор, театральную студию и музыкальные клубы. Большая заслуга в создании и организации этих учреждений принадлежала Николаю Андреевичу Малько — известному уже в ту пору дирижеру, начавшему свой творческий путь в бывшем Мариинском театре. Симфонический оркестр под его управлением за два с половиной года дал около 250 концертов, исполнив значительный пласт музыкальной классики. Был исполнен, в частности, цикл бетховенских концертов. Плодотворная деятельность оркестрантов оборвалась в те самые дни

1921 года, когда они готовили к исполнению Девятую симфонию Бетховена...<sup>2</sup>

Наряду с симфоническим оркестром, в Витебске большую популярность приобрел камерный ансамбль, организованный В. Н. Волошиновым, занимавшимся и музыкально-творческой деятельностью.

Упомянутый ранее художник М. Шагал так оценивал в 1919 году кипучую деятельность витебских музыкантов:

«Меня, имевшего счастье родиться в таком «выдающемся» городе, как Витебск, удивляет, что те самые «клезмер» (скрипачи.— Авторы), которых я на свадьбах просил сыграть вальс или падекатр и которые соглашались не иначе, как получив 20 копеек,— теперь играют Шестую симфонию Чайковского, подбираются к Дебюсси, скоро, я надеюсь, будут хорошо исполнять «Весну священную» Стравинского...»<sup>3</sup>

От музыкантов не отставали и художники-живописцы. Их усилиями в Витебске были созданы Народная живописная школа и Картинная галерея, в которой уже в то время экспонировалось около 120 полотен русских и западно-европейских мастеров<sup>4</sup>.

В Витебске начала 1920-х годов действовали, кроме консерватории, Педагогический институт, Высший институт народного образования, Пролетарский университет, несколько общеобразовательных школ. В городе выходило не менее десяти газет на русском и белорусском языках. В 1921 году интеллигенция города предпринимала попытку наладить издание журнала «Искусство». Вышло, правда, всего несколько номеров, но и в них, словно в зеркале, отразилась насыщенная интеллектуальная и художественная жизнь губернского города.

Словом, Витебск 1920—1924 годов жил полнокровной культурной жизнью, явив собою наглядный пример того, как много может сделать творческая интеллигенция, если ей не мешать прилагать свои силы к живому практическому делу.

В ряды витебской интеллигенции осенью 1920 года вошел и М. Бахтин. Один из невеликих его друзей, В. Н. Волошинов, работал здесь в губполитпросвете в должности заместителя заведующего подотделом искусств губернского отдела народного образования. Не

без его помощи и М. Бахтин смог без особых затруднений найти в Витебске применение своим силам и способностям. В автобиографических материалах он писал позднее, что с 1-го октября 1920 года был принят на работу в Витебский государственный педагогический институт преподавателем всеобщей литературы. Позднее, с 1-го декабря этого же года, был зачислен в штат Витебской консерватории на должность преподавателя истории и философии музыки (музыкальной эстетики). Заметим, кстати, «жалованье» ему здесь на январь 1921 года было определено в размере 136 млн. руб., а на февраль — в сумме 176 млн.<sup>5</sup>

Кроме названных учебных заведений, М. Бахтин в разное время читал лекции в Высшем институте народного образования, в губернской Совпартшколе 2-й ступени, в политотделе 5-й Витебской стрелковой дивизии<sup>6</sup>. Что касается публичных выступлений с лекциями в аудиториях массовых, их, этих выступлений, по собственному его признанию, было много.

Особо следует сказать о занятиях М. Бахтина с творческой молодежью Витебска в Литературной студии, в которой, кроме него, со студийцами занимались В. Волошинов, П. Медведев, поэт М. Пустынин<sup>7</sup>.

Работать приходилось часто в случайных нетопленных помещениях, при копилках, голодными, не получая никакого вознаграждения за нелегкий труд<sup>8</sup>.

В Витебске, как и в Невеле, вокруг М. Бахтина очень скоро складывается новый кружок, члены которого посвящали свой досуг изучению новинок философской, научной литературы — журнальных статей и книг, обсуждению вопросов литературной и театральной жизни страны. Кроме В. Волошинова, в кружок М. Бахтина вошли новые люди — П. Н. Медведев, И. И. Соллертинский и некоторые другие представители местной интеллигенции. Наезжал из Петрограда и Л. В. Пумпянский.

Павел Николаевич Медведев родился в 1891 году в Кишиневе в семье чиновника акцизного ведомства. Окончил 2-ю Кишиневскую гимназию (1909). Учился (с перерывами) на юридическом факультете Петербургского университета, который окончил в 1914 году. В Витебске в послереволюционные годы занимал ответ-

ственные посты в губисполкоме. Одновременно активно выступал как лектор и организатор различных культурно-просветительных мероприятий — курсов, диспутов, литературных вечеров. В эти мероприятия он вовлекал и М. Бахтина, который, в свою очередь, помогал ему в углублении его научно-теоретических знаний<sup>9</sup>.

Особенно колоритной фигурой в кругу М. Бахтина в Витебске был Иван Иванович Соллертинский. Витебск был его родным городом. Родился он в 1902 году в семье крупного чиновника, служившего в Министерстве юстиции и в окружных судах Новгорода и Витебска. В 1907 году, когда Ивану Соллертинскому было всего пять лет, семья осиротела. Летом 1920 года Иван Иванович работал в Витебске разъездным инструктором отдела искусств губернского отдела народного образования, где в это время работал и В. Н. Волошинов. К этому времени относится его знакомство с М. Бахтиным, М. Юдиной и Л. Пумпянским. И. Соллертинский в это время уже с большим успехом читал лекции. На литературных вечерах декламировал стихи на языках оригиналов (греческом, латинском, немецком, французском, английском и др.)<sup>10</sup>. Был одним из слушателей Л. Пумпянского, который руководил в Витебске кружком: «История идей европейской культуры». Посещал все лекции, с которыми выступал в городе М. Бахтин. В его архиве сохранился перечень лекций, прослушанных им осенью 1920—весной 1921 годов. Всего в этом перечне (с точным указанием времени и места) названо 37 лекций. Из них 14—прочитаны М. Бахтиным. Укажем здесь лишь на некоторые из них: «Новая русская поэзия», «Поэзия Вяч. Иванова», «Философия Ницше», «Символизм в новой русской литературе», «Историческое и доисторическое» (Проклятие грехопадения), «Техническая культура и христианство». Две последние лекции И. Соллертинский прослушал на квартире М. Бахтина<sup>11</sup>.

Живя и работая в Витебске, М. Бахтин сожалел о том, что рядом с ним нет М. И. Кагана, который в 1920 году отправился в Орел, где только что открылся университет. Эта новость для М. Бахтина была и неожиданной и весьма приятной: она вызвала в нем горячее желание возвратиться в родной город — колыбель своего незабываемого детства и отрочества. И потому про-

сил похлопотать за него в Орле и выяснить, на какой из кафедр университета мог бы и он, Бахтин, потрудиться. 20 февраля 1921 года писал Кагану в Орел: «Дорогой Матвей Исаевич, получил Вашу открытку и посылаю Вам свою автобиографию, написанную вкратце. У меня опять беда: ввиду осложнения после тифа сделалось воспаление костного мозга в правой ноге, пришлось перенести операцию, и теперь я лежу в госпитале; придется пролежать, вероятно, еще недельки две. В Витебске мне страшно не везет, я почти все время провожу в кровати, очень хочется отсюда уехать поскорее. Постарайтесь, голубчик, сделать для меня все, что можно в Орле, и напишите подробнее о ходе дела и об условиях орловской жизни. Как Ваши занятия и вообще Ваши дела? Над чем Вы теперь работаете? В последнее время я работаю почти исключительно по эстетике словесного творчества. Надеюсь, что скоро побеседуем лично. Простите, что пишу мало, карандашом, неразборчиво, но лежа писать очень трудно. Целую Вас. Ваш Бахтин»<sup>12</sup>.

Болезнь М. Бахтина затягивалась, а дела М. И. Кагана в Орле складывались не совсем благоприятно, хотя должностные лица Орловского университета и выразили готовность предоставить Михаилу Михайловичу работу на кафедре истории русского языка. Ректором университета был в это время Н. И. Конрад, приобретший позднее известность своими трудами по истории и филологии Японии и Китая. Переговоры с ним М. И. Кагана шли почему-то туго, а вскоре между ними возник какой-то конфликт, в результате чего и бахтинские дела продвигались с трудом. Об этом можно судить по второму (не датированному) письму М. Бахтина к тому же адресату:

«Дорогой Матвей Исаевич, приехал Редемейстер и привез мне Ваше письмо и бумагу из университета. Большое спасибо Вам за Ваши хлопоты.

К сожалению, я не могу немедленно приехать, придется несколько задержаться, так как болезнь ноги затянулась. Я, правда, уже встал с постели, но передвигаюсь с трудом, и рана еще не зажила. Приехать я смогу только недели через две-три, но во всяком случае, не позже 10 апреля.

Сообщите, дорогой Матвей Исаевич, о моей задерж-

ке университету. Я думаю, что мое запоздание дела не расстроит?

Напишите мне также, что точно понимает Орловский университет «под кафедрой истории русского языка»? Обычно при русских университетах существовала кафедра славянской филологии, обнимавшей целый круг тесно связанных между собой предметов (так, читать историю русского языка без предварительного курса по церковно-славянскому языку едва ли целесообразно). Сообщите также, читается ли при Орловском университете курс по общему языкознанию и по истории русской литературы? Мне это полезно знать до моего отъезда, так как я могу подобрать здесь соответствующие книги и материалы. С Витебском я пока не порываю и беру только командировку на две недели. Как идут Ваши занятия? Когда собираетесь приехать в Москву?

Дорогой Матвей Исаевич, напишите мне немедленно по получении этого письма: не повредит делу моя задержка? Приеду я непременно не позже 10 апреля. Страшно досадно, что нога не позволяет мне выехать немедленно. Перед отъездом я, конечно, напишу Вам точно о дне выезда. Волошинов, Медведев и Алексеев кланяются Вам.

Еще раз глубокая благодарность за сделанное Вами для меня. Целую Вас крепко. Ваш М. Бахтин.

Письма и открытки я получил все»<sup>13</sup>.

Однако расчеты М. Бахтина на Орловский университет оказались зыбкими. Курс общего языкознания здесь не читался, а курс истории русской литературы читал небезызвестный В. Ф. Переверзев. М. И. Каган выражал в своих письмах к М. Бахтину (к сожалению, письма М. И. Кагана не сохранились.— Авторы) недовольство положением дел в университете. Обо всем этом можно судить по очередному письму (мартовскому) Михаила Михайловича к его орловскому адресу. Он писал:

«Дорогой Матвей Исаевич, только что была у меня Гуревич и познакомила меня с Вашим последним письмом к ней. Страшно жаль, что в Орле Вам не удалось создать подходящих условий для работы. Но, может быть, дело еще поправимо. Мне не совсем ясно, что произошло у Вас с Орловским университетом и почему положение Ваше стало там вдруг так плохо. Вообще,

мне кажется, что Вы слишком требовательны к русскому провинциальному университету. Конечно, Орловский университет — авантюра, это ясно было с самого начала и не могло быть иначе; но уверяю Вас, что авантюрой по существу являются все без исключения русские провинциальные университеты, и это совершенно неизбежно, ибо настоящих академиков в России не хватает и на столичные университеты, в провинциальных же сидели в прежнее время чиновники с «гражданскими», но отнюдь не научными заслугами, которым до науки было не больше дела, чем орловскому Конраду, но были они даже зловредны и нетерпимы. Нечто похожее на академическую среду можно было найти только в столицах, но теперь и там ее нет. Так же печально дело обстоит и с аудиторией; если Вам удалось составить хотя бы маленький кружок основательных слушателей, то большего в России при современных условиях и желать нельзя. Лев Васильевич уже полгода в Петрограде, но не нашел даже такой аудитории, какая была у него в Витебске. К сожалению, придется признаться, что в России Вам еще долго придется быть одиноким, и встречать Вы будете в лучшем случае уважение и очень мало понимания и сочувствия, ведь у нас, как это ни дико, и под «философией» понимают нечто весьма мало похожее на то, что понимаете Вы, и не только в среде обывателей, а и присяжных наших философов. Но, конечно, такое положение вещей в России должно рано или поздно измениться и, я надеюсь, не без Вашего участия, но пока приходится быть терпеливым».

Учитывая трудности с трудоустройством, М. Бахтин убеждал своего старшего друга не порывать с Орловским университетом. Писал о непрременной своей решимости приехать в родной город и на месте решить все академические и житейские вопросы. Писал, в частности, о том, что в Орле у Бахтиных оставалось значительное имущество, продажа которого могла бы дать значительную сумму денег для семьи и помочь ему уделить больше времени научным работам. Впрочем, послашаем самого Михаила Михайловича:

«Мне кажется, милый Матвей Исаевич, что Вам ни в коем случае не следует пока порывать с Орловским университетом, ибо надеяться на что-либо лучшее в



другом месте трудно. Что Орловский университет — авантюра, — с этим приходится мириться; где Вы вообще найдете теперь что-либо в России, что не было бы отчасти авантюрой? Увы, и нам приходится становиться немного авантюристами. Что же делать, если иначе нельзя действовать? Будем начинать с авантюры, чтобы затем превратить ее в нечто более солидное и основательное. Это постепенное превращение и преобразование авантюры безусловно возможно. Уже тем, что Вы ведете курс в Орловском университете, этот Университет уже несколько больше сплошной авантюры; а в дальнейшем и вся физиономия его может совершенно измениться. Гораздо хуже, что против Вас лично ведутся интриги (если Вы не преувеличиваете дела), но я думаю, что и с ними можно справиться, если их игнорировать и не сдаваться. Было бы хорошо, если Вы немедленно по получению сего письма известили меня подробно о положении вещей в Орле, а также о той особой причине, по которой мне не следует приезжать в Орел, о которой Вы так глухо упоминаете в письме к Гуревич, не поясняя, в чем собственно дело».

О собственных планах и намерениях в ближайшее время М. Бахтин писал М. И. Кагану так:

«Я полагаю, что мне во всяком случае следовало бы приехать недели на две в Орел до Пасхи; может быть, вдвоем мы сумеем устроиться значительно лучше, чем порознь. Мой проект приблизительно таков: около 10-го апреля приехать в Орел, чтобы ознакомиться с местными условиями и возможностями, а главное для того, чтобы продать имущество, которое осталось в Орле, это должно дать значительную сумму, которая временно обеспечит мою семью и развяжет мне руки; на обратном пути из Орла в Витебск я намерен заехать в Смоленск, чтобы и там нащупать почву. Я думаю, что из Орла мы могли бы выехать вместе и вместе посетить Смоленск, где Борис Михайлович (Зубакин.— Авторы) заранее подготовит нам возможность прочесть лекции. Может быть, окажется выгодным устроиться в Смоленске, а в Орле бывать наездами, а может быть, и наоборот. В Москву и Петроград так рано ехать еще не имеет смысла, туда можно будет проехать летом, но мне кажется, что и в этом году устроиться в столицах окончательно будет еще трудно. Итак, милый Матвей

Исаевич, мой Вам совет,— поскольку, конечно, я могу советовать, не зная точно всего,— пока не порывать с Орловским университетом, это всегда успеете сделать, но может быть, удастся улучшить положение и в Орле. Право, вдвоем мы будем сильнее, да и материально сможем устроиться лучше.

Я во всяком случае не буду выезжать из Орла до получения от Вас подробного и обстоятельного ответа на это мое письмо.

Это письмо привезет Вам Редемейстер, который завтра едет; ему, кажется, в Орле понравилось, хотя лично с ним я не беседовал, т. к. до сих пор еще не выхожу из дому из-за ноги.

Теперь я, пользуясь невольным досугом, много работаю, особенно по эстетике и по психологии; очень бы хотел побеседовать с Вами; надеюсь, что это скоро удастся.

Что касается до книг, то я знаю в Орле несколько весьма недурных частных библиотек; если я приеду, мы сможем ими воспользоваться...

Итак, жду Вашего ответного письма. Валентин Николаевич, Медведев и Алексеевские Вам кланяются. Целую Вас крепко. Ваш М. Бахтин»<sup>14</sup>.

В только что цитированном письме М. Бахтин спрашивал М. И. Кагана относительно тех интриг, которые возникли вокруг него в Орловском университете и мешали ему работать. А дальше писал так:

«Было бы хорошо, если Вы немедленно по получении сего письма известили меня подробно о положении вещей в Орле, а также о той особой причине, по которой мне не следует приезжать в Орел, о которой Вы так глухо упоминаете в письме к Гуревич, не поясняя, в чем собственно дело».

Объяснял ли М. И. Каган своему молодому другу смысл того намека, той «особой причины», по которой ему не следовало бы переезжать на работу в Орел, мы не знаем. Можно только предполагать, что М. И. Каган, живя несколько месяцев в Орле, видел и понимал, что общая обстановка, сложившаяся здесь, вряд ли была бы благоприятной для М. Бахтина. Совсем недавно еще через город прокатились волны кровавой гражданской войны, вследствие чего brave «парни в кожанках» здесь особенно были бдительны и активны в

отношении «классовых врагов». Бахтиных же знали здесь как купцов. Правда, не очень богатых, но купцов. Знали и помнили здесь еще и купца-предпринимателя Захара Даниловича Овечкина, которому М. Бахтин приходился внуком (по матери). В этих обстоятельствах стоило ли молодому талантливому ученому рисковать с приездом сюда? Заметим, кстати, что и позднее, по прошествии многих лет. М. Бахтин не считал возможным свое возвращение в родной город на Оке и на Орлике...

Вернемся, однако, в Витебск весны и лета 1921 года. Как видно из переписки М. Бахтина с М. И. Каганом, его поездка в Орел даже на одну-две недели в апреле 1921 года не состоялась. Не удержался в Орле и М. И. Каган. Весной он приезжал в командировку в Витебск, откуда вскоре же отправился искать места в Москве. Что касается Михаила Михайловича, в его личной жизни летом того же года произошло важное событие: состоялась его свадьба с Еленой Александровной Околович. Обо всем этом мы узнаем из дальнейшей его переписки с тем же адресатом. Так, 28 июня он писал ему:

«Дорогой Матвей Исаевич, получил сегодня Ваше письмо и спешу Вам ответить. Простите, что до сих пор Вам не писал, но положение мое со здоровьем и со свадьбой было все так неопределенно, что нечего было написать, и я со дня на день откладывал. Теперь я совершенно здоров, приступил к занятиям, через две недели предполагаю уехать в деревню. Дорогой Матвей Исаевич, Вы непременно должны быть на свадьбе. Свадьба будет 10-го июля, так что Вы сможете быть между Москвой и Орлом. Непременно приезжайте, без Вас свадьбы не будет.

В случае, если свадьба почему-либо не состоится, то мы отложим ее до 20 июля (впрочем, это по многим соображениям неудобно) и Вас известим немедленно.

Как Ваши дела в Москве? Я уверен, милый Матвей Исаевич, что зимой мы будем вместе или в Москве или в Витебске (в смысле заработка здесь будет очень хорошо Вам). Пока всего хорошего, до скорого свидания. Целую Вас. Ваш М. Бахтин».

М. И. Каган знал Елену Александровну Околович, как и она его. Поэтому в приписке к письму своего будущего супруга она обращалась к нему как к хорошо

ей знакомому человеку: «Дорогой Матвей Исаевич! Не обижайтесь, ради Бога, за мое молчание. Я Вам написала сейчас же по получении Вашего письма, но Миша просил не отсылать его и каждый день собирался написать от себя к моему письму. Следствием этого явилось то, что это письмо до сих пор все еще лежит у него на столе. Миша в этом отношении еще хуже меня. О свадьбе Миша уже Вам сообщал, кажется, я только могу прибавить от себя, что будет очень горько и для меня, Матвей Исаевич, если Вы не приедете. Говорю искренно и серьезно. Я, кажется, и раньше говорила Вам, что люблю Вас больше всех друзей Миши, теперь повторяю это еще раз. Приезжайте, приезжайте! Е. Околович»<sup>15</sup>.

Свадьба Бахтиных состоялась, по-видимому, в намечавшийся срок, т. е. 10-го июля 1921 года. М. И. Кагана на ней не было. Вскоре после этого молодожены отправились в какую-то деревню, из которой возвратились в Витебск только 30 сентября. В этот день Михаил Михайлович писал М. И. Кагану в Москву:

«Дорогой Матвей Исаевич, я только что вернулся из деревни и нашел Ваше письмо от 10 сентября; спешу на него ответить.

Ваш проект представляется мне чрезвычайно целесообразным, но решающий момент для всякого проекта — насколько благоприятна почва для его выполнения — мне совершенно неясно, конечно, как неясен вообще общий тон и характер всего Академического центра. Теперь дело, вероятно, уже выяснилось, и я буду ждать от Вас подробных сведений.

В Витебске я пока еще ни с кем не видался и не говорил и не знаю, как обстоят здесь дела, но во всяком случае мне не хотелось бы здесь зимовать, тем более, что в Москве, как говорят, условия жизни стали легче, чем в Витебске. Я буду ждать от Вас письма, дорогой Матвей Исаевич, с указаниями, когда выгоднее выехать (пока, конечно, не время) в Москву.

Было бы хорошо, если бы какое-нибудь московское учреждение (может быть, Академический центр) вызвало меня для каких-нибудь переговоров: это облегчило бы мне получение здесь бесплатного проезда. Вас, дорогой Матвей Исаевич, мы вспоминали на свадьбе и Вашу просьбу исполнили; мы все время помним и

думаем о Вас, как о самом близком нам человеке. Наша мечта с Еленой Александровной — жить с Вами не только в одном городе, но и под одной кровлей. Может быть, это исполнится?

Мы отлично поправились в деревне, отдохнули, набрались сил. Проезжая через Полоцк, мы застали там Бориса Михайловича (Зубакина. — Авторы), он приезжал туда читать лекции. Он в ужасном состоянии: совершенно неприлично одет, исхудал и похож на ненормального. Действительно, было бы хорошо его устроить. Его адрес: Смоленск, Энгельгардовская ул., дом Лапинского (Губернский Архив), Московский Археологический институт, Смоленское отделение, Зубакину<sup>16</sup>.

Дорогой Матвей Исаевич, может быть, если в Москве не удастся устроиться, то не лучше ли Вам переехать в Витебск, а отсюда наезжать в Москву. Этого очень хочется и Елене Александровне, которая немного боится Москвы. Здесь Вы смогли бы хорошо устроиться материально. Обо всем этом подумайте. Итак, буду ждать Вашего письма, недели на две все-таки хочу приехать в Москву. До скорого свидания. Целую Вас крепко. М. Бахтин».

«Академический центр», о котором здесь идет речь, был создан в 1921 году в рамках Наркомпроса РСФСР с целью руководства наукой, музеями и архивами. Этот «центр» именовался поначалу Российской академией художественных наук (РАХН), несколько позже — Государственная академия художественных наук (ГАХН). Президентом этой академии был утвержден неизвестный в те годы П. С. Коган, а вице-президентом — Г. Г. Шпет, на которого и было возложено практическое руководство этим учреждением.<sup>17</sup>

М. И. Кагану удалось стать одним из сотрудников этой академии, в связи с чем и возник план переезда в Москву М. Бахтина для работы в этом учреждении.

Однако и этот план (как и предвидел М. Бахтин) не был осуществлен. Очень скоро самому М. И. Кагану пришлось оставить академию и искать места работы в другом месте и заняться другими делами. Что касается М. Бахтина, ему пришлось снова лечь в постель — вскоре же по приезде из деревни. Вот что он писал осенью (в октябре-ноябре) 1921 года в Москву своему адресату:

«Дорогой Матвей Исаевич, простите, что не писал Вам так долго, но поверьте, что не от невнимания и равнодушия, никто мне так ни близок и ни дорог, как Вы, и никого я не желал бы так увидеть, как Вас; но мое положение все время так глупо неопределенно, что трудно и нечего писать о себе, пока оно не определилось. Сейчас же по приезде из деревни я заболел и лежу уже более месяца, только теперь уже оправляюсь, правда, еще не встал, но на днях встаю. Ближайшим образом я, конечно, не смогу поехать ни в Петроград, ни в Москву, может быть, на праздник это удастся сделать.

Как Вы устроились в Москве? Вообще, что там делается, представляются ли какие-нибудь возможности солидной работы? Во время болезни мне трудно было работать, но еще в деревне я начал работу, которую теперь намерен продолжить — «Субъект нравственности и субъект права». Этой работе я надеюсь в ближайшем времени придать окончательную и завершающую форму, она послужит введением в мою нравственную философию. Но для окончания работы мне совершенно необходима этика Когена. Если бы Вы могли, дорогой Матвей Исаевич, достать ее каким-нибудь образом в Москве и выслать мне хотя бы на самый короткий срок, я был бы Вам несказанно благодарен. Может быть, можно было найти и Kant. Begründung D Ethik. Может быть, вообще Вы смогли бы найти какие-нибудь материалы по вопросам права и нравственности (между прочим, И. Ильин специально работал над этим вопросом). В Витебске абсолютно ничего нет, и это страшно затрудняет работу. Ради Бога, Матвей Исаевич, разыщите что-нибудь и пришлите мне, случай переслать легко найдется, кроме того, можно переслать и почтой. Буду Вам чрезвычайно благодарен.

И еще в одном отношении я попрошу Вашей помощи: на днях я набросаю сжатый конспект всей работы и пришлю его Вам, и Вы мне напишите подробно Ваши соображения по этому вопросу, мне это очень важно.

Простите, что пишу так мало, на днях напишу больше и пришлю конспект, а сейчас еще лежу и писать очень неудобно. Леночка тоже пишет Вам письмо.

Валентин Николаевич (Волошинов.— Авторы) и

Ольга Михайловна (по-видимому, мать Волошинова.— Авторы) Вам кланяются. Целую Вас. Ваш М. Бахтин».

Заслуживает внимания и приписка Елены Александровны, которая позволяет до некоторой степени представить себе бытовую обстановку, в которой приходилось жить и работать М. Бахтину. Она писала:

«Дорогой Матвей Исаевич, Миша, кажется, все написал о себе, не знаю, что прибавить. Я счастлива, что он поправляется, хотя на полное выздоровление не рассчитываю в этом месяце. Мне стыдно теперь за мое отчаянное письмо и за то, что я Вас так расстроила им. Я не могу написать Вам — оправдаться, но если бы Вы были со мной и я рассказала бы Вам, Вы бы поняли меня и не осудили, я знаю. Напишите о том, как живет, что делаете. Посылаю Вам мое давно написанное, но не отосланное письмо. Целую крепко. Е. Бахтина».

Содержание приведенного письма важно в том отношении, что в нем отразились характер и направление развития бахтинской мысли. Молодой ученый решил обратиться к исследованию нравственно-правовых проблем, столь казалось бы далеких от направления его университетского образования. Между тем к этим проблемам его вела сама жизнь, логика его внутреннего развития. Безоглядная ломка всех прежних социально-экономических и духовных устоев жизни, складывавшихся и державшихся веками, настойчивое утверждение примата политики перед моралью, призывы к беспощадному выкорчевыванию «классовых врагов» во имя «светлых идеалов будущего», бесправие и незащитность человеческой личности перед бездушным аппаратом диктатуры,— все это не могло не наталкивать на размышления. М. Бахтин не мог не задумываться над будущими судьбами родной страны и ее народов. Характерно, что он обращается к изучению нравственно-этического учения Германа Когена, развивавшего идеи этического социализма. Еще более показателен тот факт, что молодой ученый вспоминает здесь об исследованиях виднейшего русского философа И. А. Ильина — юриста, правоведа, развивавшего именно в первые послеоктябрьские годы активную публицистическую деятельность, направленную на сохранение нравственно-правовых норм русской жизни<sup>18</sup>. Пройдет всего не-

сколько месяцев, и М. Бахтин сможет ознакомиться с текстом речи И. А. Ильина на заседании Московского юридического общества (состоявшемся весной 1922 года) «О задачах правоведения в России». В этой речи, ставшей последним публичным выступлением философа на Родине, И. А. Ильин говорил о глубоком разломе русской жизни, о времени, которое вместило в себя и безумное испытание войны, и упадок инстинкта национального самосохранения, и неистовство аграрного и имущественного передела, и деспотию интернационалистов, и трехлетнюю гражданскую войну, и хозяйственную опустошительность коммунизма, и разрушение национальной школы, и террор, и голод, и смерть<sup>19</sup>.

Можно только сожалеть о том, что названное здесь Михаилом Михайловичем исследование пока нигде не обнаружено, не дошло до нас в том его объеме, в котором оно им замышлялось.

В последние два года пребывания М. Бахтина в Витебске его жизнь нормализовалась в такой мере, что он вполне был удовлетворен и материальной ее стороной, и семейной, и научно-исследовательской. Об этом можно судить по его последнему (седьмому по счету) письму к М. И. Кагану, датированному 18-м января 1922 года. В этом письме он писал:

«Дорогой Матвей Исаевич, что это от Вас ни слуху ни духу? Правда, я и сам хорош, но все же я Вам писал несколько раз, последний раз с Еленой Робертовной Ульрих<sup>20</sup>, но ответа от Вас не имею... Я совершенно здоров теперь и много работаю, материальная жизнь устроена недурно, прекрасно питаюсь, поправляюсь, много времени уделяю заработкам. Сейчас я пишу работу о Достоевском, которую надеюсь весьма скоро закончить; работу «Субъект нравственности и субъект права» пока отложил. Имею довольно подробные сведения о Льве Васильевиче: он прекрасно устроился в Петрограде, за уроки имеет комнату и хороший стол, много работает, на днях должна выйти, вероятно, уже и вышла из печати его работа о Ромэн Роллане и о Гоголе, причем все это он издает на чрезвычайно выгодных условиях, на каких именно — я в точности не знаю. Кроме того, он договорился уже об издании его лекций по натурфилософии в Берлине (на русском языке) с представителем берлинского издательства в России.



Вообще, по сведениям, в Петрограде можно легко и даже выгодно издать книгу. В ближайшем будущем надеюсь иметь обо всем этом более точные сведения. Как обстоит дело с Вашими работами? Особых новостей у меня нет. О Борисе Михайловиче (Зубакине.— Авторы) ничего точно неизвестно, где-то ездит и читает какие-то лекции.

Буду ждать от Вас письма. Напишите, голубчик, медленно. Валентин Николаевич (Волошинов.— Авторы) Вам кланяется. Елена Александровна сама Вам напишет. Пока, всего хорошего. Целую Вас. Ваш М. Бахтин» .

Здесь же, в этом письме, несколько слов приписки Елены Александровны: «Дорогой Матвей Исаевич, теперь уж я обижена на Вас за такое долгое молчание. Я писала Вам три раза и ни на одно письмо не получила ответа. Миша очень медленно, но поправляется. Жду письма. Всего самого лучшего. Е. Бахтина» .

Письмо, которое мы только что привели, свидетельствует о том, что его автор думал уже о переезде в Петроград, где училась и работала М. В. Юдина<sup>21</sup>, где удачно складывалась жизнь и работа Л. В. Пумпянского и где более успешно могла бы двигаться и собственная его научная деятельность. Но еще пройдет полтора года жизни и работы в Витебске, пока наступит тот день, когда М. Бахтин с женой отправится в город на Неве.

\*

Годы жизни и работы М. Бахтина в Витебске — важная веха в его научно-теоретическом развитии, в формировании его творческого облика. Здесь, в Витебске, он не изменил своей приверженности к философии, именно — к исследованию проблем нравственной философии<sup>22</sup>. «К философии поступка», «Автор и герой в эстетической деятельности», «Субъект нравственности и субъект права», исследование творческого наследия Достоевского — таковы основные работы, начатые (отчасти, может быть, и продолженные) им в эти годы. И потому есть необходимость рассмотреть, хотя бы и

конспективно, эти его исследования. Все они находятся в «одной связке», т. е. объединены единством замысла и логики развития творческой мысли. Сам М. Бахтин так определял сущность и рамки своего замысла: «Первая часть нашего исследования будет посвящена рассмотрению именно основных моментов архитектоники действительного мира, не мыслимого, а переживаемого. Следующая будет посвящена эстетическому деянию как поступку, не изнутри его продукта, а с точки зрения автора, как ответственно причастного, и... — этике художественного творчества. Третья — этике политики и последняя — религии. Архитектоника этого мира напоминает архитектуру мира Данте и средневековых мистерий (в мистерии и в трагедии действие также придвинуто к последним границам бытия)»<sup>23</sup>.

Полностью этот замысел не был осуществлен. В архиве М. Бахтина сохранились лишь вводная часть ко всему предполагавшемуся обширному труду, начало первой части задуманного исследования и рукопись трактата, известного теперь под условным названием «Автор и герой в эстетической деятельности» (сохранившейся тоже не полностью)<sup>24</sup>.

В центре внимания М. Бахтина — проблемы нравственной философии, вернее — проблемы, лежащие на грани эстетики и нравственной философии, которую он (вслед за Аристотелем) называет «первой философией».

Не отрицая важности и значимости теоретической (рационалистической) философии с ее претензией на мысль, объемлющей мир, М. Бахтин считал однако более важной и значимой философскую мысль в мире, причастную к этому миру. Ученый убежден в том, что «действительно быть в жизни — значит поступать, быть не индифферентным к единственному целому»<sup>25</sup>.

Продолжая эту мысль, М. Бахтин писал: «Каждая моя мысль с ее содержанием есть мой индивидуально-ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я поступаю всюю своей жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть момент моей жизни — поступления»<sup>26</sup>.

Отсюда неизбежен вывод: «Философия жизни может

быть только нравственной философией. Можно осознать жизнь только как событие, а не как бытие-данность»<sup>27</sup>.

Предмет нравственной философии — «мир, в котором ориентируется поступок на основе своей единственной причастности бытию...»<sup>28</sup>

Одним из печальных, даже роковых последствий рационалистической философии М. Бахтин считал отрыв теоретической мысли от реального человека, которому нет места в чисто теоретическом мире. «Никакая практическая ориентация моей жизни в теоретическом мире невозможна, в нем нельзя жить, ответственно поступать, в нем я не нужен, в нем меня принципиально нет»<sup>29</sup>.

И в другом месте ученый продолжает: «Смысл бытия, для которого признано несущественным мое единственное место в бытии, никогда не сможет меня осмыслить, да это и не смысл бытия-события»<sup>30</sup>.

Принцип долженствования, введившийся философами, обнаружил свою несостоятельность. «Мы имеем здесь ту же иллюзию, что и в теоретической философии,— говорит М. Бахтин,— там активность разума, с которой ничего общего не имеет моя историческая, индивидуально-ответственная активность, для которой эта категориальная активность разума пассивно обязательна, здесь тоже оказывается с волей. Все это в корне искажает действительное нравственное долженствование и совершенно не дает подхода к действительности поступка. Воля действительно творчески активна в поступке, но совсем не задает норму, общее положение»<sup>31</sup>.

Возникает необходимость в создании такой философии, в которой мир бытия и единственного события, культуры и ответственного поступка находились бы в неразрывной связи, были бы сообщаемы. До сих пор они разорваны, не сообщаются друг с другом: мир культуры и мир жизни, единственный мир, в котором мы творим, познаем, созерцаем, жили и умираем.

М. Бахтин исходит из убеждения в том, что жизнь можно осознать и понять только как событие, как «мой индивидуально-ответственный поступок», — как один из поступков, из которых «слагается вся моя единственная жизнь». В связи с этими основными, определяющими понятиями в нравственной философии М. Бахтина

являются такие понятия, как «событие бытия», «ответственный поступок» и «не-алиби в бытии».

Мир не есть «бытие в его готовности», он — диалогическое становление. «Событие бытия», или «поступок», это — и физическое действие, и мысль, и чувство или слово. Они рождаются, возникают не в результате извне навязанного долга, а проходят через нравственное сознание индивида.

Всякое бытие единственно, каждый человек находится на «единственном и неповторимом месте», и потому никто не может уклониться от своего единственного места в бытии, от той единственной ответственности, которая связана с реализацией нами нашего «неповторимого поступка». «То, что мною может быть совершено,— продолжает М. Бахтин,— никем и никогда совершено быть не может. Единственная наличность бытия — нудительно обязательна. Этот факт *моего не-алиби в бытии*, лежащий в основе самого конкретного и единственного долженствования поступка, не узнается и не познается мною, а единственным образом признается и утверждается»<sup>32</sup>.

Утверждая принцип «ответственного поступка», М. Бахтин вновь и вновь подчеркивает мысль о его исключительной важности. «Отпавшая от ответственности жизнь,— говорит он,— не может иметь философии: она принципиально случайна и неукоренима»<sup>33</sup>.

М. Бахтин равно не приемлет и ницшеанскую мысль жить для себя (одержимость бытием), и неоправданное противопоставление индивида бесконечной Вселенной. «... вечность истины,— говорит он,— не может быть противопоставлена нашей временности,— как бесконечная длительность, для которой все наше время является лишь моментом, отрезком»<sup>34</sup>.

Такое противопоставление имеет смысл и значение лишь в границах теоретического мира.

В своих черновых набросках «К философии поступка» М. Бахтин часто обращается к понятию «участное мышление» (переживание). «Участное мышление,— говорит он,— и есть эмоционально-волевое понимание бытия как события...»<sup>35</sup>

И в другом месте М. Бахтин продолжает: «Действительное поступающее мышление есть *эмоционально-волевое мышление, интонирующее мышление, и эта*

*интонация существенно проникает во все содержательные моменты мысли. Эмоционально-волевой тон обтекает все смысловое содержание мысли в поступке и относит его к единственному бытию-событию»*<sup>36</sup>.

Кризис искусства М. Бахтин связывал с кризисом современного поступка. «Образовалась бездна между мотивом поступка и его продуктом... Теоретический и эстетический миры отпущены на волю... Вследствие того, что теория оторвалась от поступка и развивается по своему внутреннему имманентному закону, поступок, отпустивший от себя теорию, сам начинает деградировать...

Все богатство культуры отдается на услужение биологического акта»<sup>37</sup>.

Уже здесь, в этой ранней своей философской работе, М. Бахтин приходит к мысли, которую он формулирует словами: «Я» и «Другой». «Высший архитектурный принцип действительного мира поступка есть конкретное, архитектурно-значимое противопоставление Я и Другого. Два принципиально различных, но соотношенных между собой ценностных центра знает жизнь: себя и другого, и вокруг этих центров распределяются и размещаются все конкретные моменты бытия. Один и тот же содержательно-тождественный предмет — момент бытия, соотношенный с другим, ценностно по-разному выглядит, и весь содержательно-единый мир, соотношенный со мной или соотношенный с другим, проникнут совершенно иным эмоционально-волевым тоном, по-разному ценностно значим в своем самом живом, самом существенном смысле»<sup>38</sup>.

Осуществить свое единственное место в единственном событии-бытии — это и есть ценностное противопоставление «Я» и «Другого». Теоретическая этика не имеет для выражения этого противопоставления адекватной формы. Задача нравственной философии в том и заключается, чтобы описать «архитектонику действительного мира поступка». Не отвлеченную схему, а «конкретный план мира единого и единственного поступка, основные конкретные моменты его построения и их взаимное расположение». Эти моменты — «я-для-себя», «другой-для-меня» и «я-для-другого». Все ценности действительной жизни и культуры располагаются вокруг этих архитектурных точек — ценности науч-

ные, эстетические, политические, этические, социальные и религиозные<sup>39</sup>.

До сих пор такого описания нравственная философия еще не знала, хотя упомянутое противопоставление давно уже было высказано, о чем свидетельствуют «смысл всей христианской нравственности» и альтруистическая мораль.

Так уже в исследовании «К философии поступка» М. Бахтин приходит к мысли о диалогической сущности движения и развития литературы и искусства, хотя самого термина «диалог» здесь пока еще и нет. «Пусть я насквозь вижу данного человека, знаю и себя, но я, — утверждает он, — должен овладеть правдой нашего взаимоотношения, правдой связующего нас единого и единственного события, в котором мы участники...»<sup>40</sup>

М. Бахтин считал, что для выражения поступка изнутри и единственного бытия-события, в котором он совершается, необходима вся полнота слова, т. е. и его содержательно-смысловая сторона (слово-понятие), и наглядно-выразительная (слово-образ), и эмоционально-волевая (интонация слова) в их единстве. Задача эта трудная, полная адекватность здесь недостижима, хотя всегда задана<sup>41</sup>.

К невельско-витебскому периоду относится и трактат М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности», логически связанный (единством замысла) с его незавершенной книгой «К философии поступка». В трактате рассмотрены проблемы, связанные с «эстетическим деянием как поступком». Рассмотрены с точки зрения автора как ответственно причастного к акту художественного творчества.

На почве рационалистической философии, полагал М. Бахтин, нет пути к постижению логики творчества, — независимо от того, идет ли речь о науке, искусстве или жизни. Этот путь возможен лишь при условии, если философская теория и искусство вступят по отношению друг к другу в позицию *я* и *другого*. Только в этой диалектической взаимосвязи они, словно в зеркале, смогут видеть друг друга, свои границы и возможности с тем, чтобы обогащать и возвышать друг друга.

Проблема эстетической деятельности издавна занимала философскую мысль. Не углубляясь в даль веков, обратимся к Гегелю, касаясь вопросов искусства, эсте-

тической деятельности в целом, немецкий мыслитель считал (в соответствии с общим строением своей философской системы) эстетическую деятельность низшей формой саморазвития Духа, следовательно, и низшей формой познания и авторства. Высшей формой считал царство «чистой» мысли, т. е. философию, науку.

В отличие от Гегеля, М. Бахтин рассматривает эстетическое как выражение конкретного творческого отношения человека к действительности, в конечном счете, как проявление всякого авторства. Категория «ответственности», считал М. Бахтин, в эстетической деятельности реализуется непосредственно во взаимодействии Автора и Героя.

В трактате, о котором идет речь, М. Бахтин обобщил огромный и разнообразный материал — теоретико-философский, филологический, искусствоведческий и пр. Он поставил и дал обоснование многим вопросам, составившим основу его эстетических воззрений. Остановимся лишь на тех из них, которые имеют здесь принципиальное значение.

Одной из основных М. Бахтин считал проблему отношения автора к его герою. Именно в этом *отношении*, полагал он, проявляется эстетическая сущность художественного творчества. «... Герой-человек может совпадать с автором-человеком, что почти всегда и имеет место, но герой произведения никогда не может совпадать с автором — творцом его, в противном случае мы не получим художественного произведения «...» эстетическая реакция есть реакция на реакцию, не на предмет и смысл сами по себе, а на предмет и смысл данного человека...»<sup>42</sup>.

В этом смысле, говорил М. Бахтин, автор интонирует каждую подробность своего героя, каждую черту его, каждое событие его жизни, каждый его поступок, его мысли, чувства. В самих себе мы менее всего можем воспринять *целое* собственной личности. В художественном произведении, напротив, мы находим единую реакцию на *целое* героя. «Специфически эстетической и является эта реакция на целое человека-героя...» (IV,10).

Автор не сразу находит творчески принципиальное видение героя: много случайного приходится ему снимать с его облика (случайные личины, гримасы, фаль-

шивые жесты, неожиданные поступки и пр. ). Этот процесс как психологическая закономерность не может быть изучен нами непосредственно. Мы имеем с ним дело лишь в том его виде, как отложился он в художественном произведении, т. е. с идеальной, смысловой историей. Эту историю мы узнаем только из самого произведения, а не из авторских исповедей. «Когда автор творил, он переживал только своего героя и в его образ вложил все свое принципиально творческое отношение к нему; когда же он в своей авторской исповеди, как Гоголь и Гончаров, начинает говорить о своих героях, он высказывает свое настоящее отношение к ним, уже созданным и определенным, передает то впечатление, которое они производят на него теперь как художественные образы «...» они стали уже независимы от него, и он сам, активный творец их, стал также независим от себя — человек, критик, психолог или моралист» (IV, 11—12).

М. Бахтин решительно возражает против того, чтобы черпать из произведения биографический материал, или, напротив, биографией писателя объяснять данное произведение. И совершенно дикими представлялись ему «фактические сопоставления и взаимообъяснения мировоззрения автора и героя (Грибоедов — Чацкий, Л. Толстой — Левин), когда между этими мировоззрениями ставится знак равенства. Такие сопоставления возможны и продуктивны, когда они не смешиваются и не отождествляются.

Принципиально важным представляется в трактате мысль об *избытке* видения автора, его знаний по отношению к каждому герою. Как носитель напряженно-активного единства завершеного целого (героя и произведения), «автор не только видит и знает все то, что видит и знает каждый герой в отдельности и все герои вместе, но и больше их, причем он видит и знает нечто такое, что им принципиально недоступно, и в этом всегда определенном и устойчивом *избытке* видения и знания автора по отношению к каждому герою и находятся все моменты завершения целого — как героев, так и совместного события их жизни, то есть целого произведения» (IV, 16).

Завершающее сознание автора, словно кольцом, охватывает сознание героя, его чувство, все его пред-



ставления о мире. При этом автор знает и видит больше не только в том направлении, в котором смотрит и видит герой, а в ином, принципиально самому герою недоступном. Такой позицией эстетически продуктивного отношения автора к герою может быть позиция напряженной *внеаходимости*. Внеаходимости автора «всем моментам героя». Внеаходимости пространственной, временной, ценностной и смысловой. Только при этом условии возможно «собрать *всего* героя, который изнутри себя самого рассеян и разбросан в заданном мире познания и открытом событии этического поступка, собрать его и его жизнь и восполнить *до целого* теми моментами, которые ему самому в нем самом недоступны, как-то: полнотой внешнего образа, наружностью, фоном за его спиной, его отношением к событию смерти и абсолютного будущего и проч., и оправдать и завершить его помимо смысла, достижений, результата и успеха его собственной направленной вперед жизни» (IV, 18).

Может показаться, что идея внеаходимости ставит М. Бахтина в противоречие с его же учением о диалоге. Не исключает ли внеаходимость возможности участного мышления, творчества, вхождения в мир другого человека и другой культуры?

Противоречия у М. Бахтина здесь нет. Напротив, именно в позиции внеаходимости содержатся эстетические возможности. Прав исследователь, который говорит: «Позиция «вне» дает возможность «завершить» событие. Себя увидеть я не могу: моя внешняя выраженность сливается с внутренним переживанием, поэтому необходим «экран» эмоционально-волевой реакции другого на мое внешнее явление. Автор, чтобы оказаться в позиции внеаходимости, без которой невозможно художественное творчество, должен перевести себя на другой язык, вплести себя в другую жизнь других людей... короче — подвести себя под категорию другого, «увидеть себя как момент внешнего единого живописно-пластического мира». То есть эстетическое событие требует другого человека, реального или воображаемого, требует активности, исходящей от него, помнящего, собирающего различные впечатления, объединяющего их».

М. Бахтин считал, что позиция внеаходимости за-

воевывается, особенно там, где герой автобиографичен. Трудность заключается здесь в том, что автор «должен стать *другим* по отношению к себе самому, взглянуть на себя глазами другого...» (IV, 19). В повседневной жизни это происходит на каждом шагу. Но, взглянув на себя глазами другого, мы в жизни снова возвращаемся в самих себя. Последнее, как бы завершающее событие, совершается в нас в категориях собственной жизни. Не то в искусстве. «При эстетической самообъективации автора-человека в героя этого возврата в себя не должно происходить: целое героя для автора-другого должно остаться последним целым...» (IV, 20). Наше сознание никогда не скажет самому себе завершающего слова...

Заключая свои размышления по этой проблеме, М. Бахтин писал: «Эстетическое событие может совершиться лишь при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания. Когда герой и автор совпадают или оказываются рядом друг с другом перед лицом общей ценности или друг против друга как враги, кончается эстетическое событие и начинается этическое (памфлет, манифест, обвинительная речь, похвальное и благодарственное слово, брань, самоотчет-исповедь и проч.); когда же героя вовсе нет, даже потенциального,— познавательное событие (трактат, статья, лекция); там же, где другим сознанием является объемлющее сознание Бога, имеет место религиозное событие (молитва, культ, ритуал)» (IV, 25).

«Пространственная форма героя» — вторая, важная проблема, поставленная М. Бахтиным в трактате «Автор и герой в эстетической деятельности». Важность ее определяется тем, что здесь раскрываются новые закономерности в диалектической взаимосвязи «Я» и «Другой», вводятся понятия «кругозора» и «окружения» автора и героя. «Когда я созерцаю цельного человека, находящегося вне и против меня,— говорит автор трактата,— наши конкретные действительно переживаемые кругозоры не совпадают... Когда мы глядим друг на друга, два разных мира отражаются в зрачках наших глаз» (IV, 25).

Благодаря избытку видения одного по отношению к другому возникает возможность исключительной их активности в отношении друг друга. Речь идет о таких

внутренних и внешних действиях, которые каждый из них только *со своего единственного места* может совершить по отношению к другому. «Избыток видения — почка, где дремлет форма и откуда она и развертывается, как цветок. Но чтобы эта почка действительно развернулась цветком завершающей формы, необходимо, чтобы избыток моего видения восполнял кругозор созерцаемого другого человека, не теряя его своеобразия. Я должен вчувствоваться в этого другого человека, ценностно увидеть изнутри его мир так, как он его видит, стать на его место и затем, снова вернувшись на свое, восполнить его кругозор тем избытком видения, который открывается с этого моего места вне его, обрамить его, создать ему завершающее окружение из этого избытка моего видения, моего знания, моего желания и чувства» (IV, 29).

Так, вживаясь в страдания другого, я переживаю их именно как его страдания, в категории другого. В противном случае возникло бы патологическое явление переживания чужого страдания как своего собственного, заражение чужим страданием. «Эстетическая деятельность,— утверждал М. Бахтин,— и начинается, собственно, тогда, когда мы возвращаемся в себя и на свое место вне страдающего, оформляем и завершаем материал вживания, то есть страдание данного человека...» (IV, 29).

Момент вживания и завершения, по мнению М. Бахтина,— процесс единый. «В словесном произведении,— писал он,— каждое слово имеет в виду оба момента, несет двоякую функцию: направляет вживание и дает ему завершение...» (IV, 29).

М. Бахтин выразил в своем трактате убеждение об абсолютной эстетической нужде человека в другом, «в видящей, помнящей, собирающей и объединяющей активности другого». Только она одна может, по его словам, «создать его внешне законченную личность; этой личности не будет, если другой ее не создаст...» (IV, 37).

Во внешнем пластически-живописном видении человека важным моментом М. Бахтин считал «переживание объемлющих его внешних границ». «Другой» весь дан мне «во внешнем для меня мире как момент ёго, сплошь со всех сторон пространственно ограниченный».

Собственной же «внешней сплошной ограниченности» я никогда не увижу. Передо мной — видимый мир, который я созерцаю, оставаясь на границе «кругозора моего видения».

Существенным для эстетической точки зрения М. Бахтин считал то обстоятельство, что «...я для себя являюсь субъектом какой бы то ни было активности, активности видения, слышания, осязания, мышления, чувствования и проч., я как бы исхожу из себя в своих переживаниях и направлен вперед себя, на мир, на объект». Другой человек для меня весь в объекте. И себя я могу частично сделать объектом. Но в этом акте «самообъективации я не буду совпадать с самим собой, я-для-себя останусь в самом акте этой самообъективации, но не в его продукте...» (IV, 39—40).

Много внимания автор трактата уделил проблеме тела как ценности, утверждая, что эту проблему можно рассматривать только «в плоскости этической и эстетической и отчасти религиозной» (IV, 48).

Говоря о христианстве, М. Бахтин находил в нем единственный по своей глубине синтез этического солипсизма. Здесь обращает на себя внимание принципиальная неравноценность *я* и *другого* с точки зрения нравственности: нельзя любить себя, но должно любить другого, вообще от всякого бремени должно освобождать другого и брать его на себя.

Наиболее разработанным направлением в эстетике XIX века (особенно второй его половины) и начала XX столетия М. Бахтин считал экспрессивную эстетику. Писал: «... мы должны отнести к указанному направлению не только в собственном смысле эстетику вчувствования (отчасти уже Т. Фишер, Лотце, Р. Фишер, Фолькельт, Вундт и Липпе), но и эстетику внутреннего подражания (Гроос), игры и иллюзии (Гроос и К. Ланге), эстетику Когена, отчасти Шопенгауэра и шопенгауэрианцев (погружение в объект) и, наконец, эстетические воззрения А. Бергсона. Мы назовем эстетику этого направления произвольно созданным термином «экспрессивной эстетики» (Фидлер, Гильдебрандт, Ганслик, Ригль и другие, эстетика символизма и проч.)» (IV, 61).

В экспрессивной эстетике (в пределе) «созерцатель и созерцаемое совпадают» (IV, 62). «Для экспрессивной

эстетики эстетический объект есть человек и все остальное одушевляется, очеловечивается (даже краска и линия) ... Эстетически воспринять тело — значит сопережить его внутренние состояния, и телесные, и душевные, через посредство внешней выразительности» (IV, 62).

Говоря о несостоятельности экспрессивной эстетики, М. Бахтин указывал, в частности, на то, что она не способна объяснить «целое произведения» (пример с «Тайной вечерей») и не может дать обоснования формы произведения. Мало того, «чистый момент вживания и вчувствования (сопереживания) является по существу внеэстетическим» (IV, 63).

Вчувствование имеет место не только в эстетическом восприятии, но и повсюду в жизни (практическое, психологическое, этическое и пр.). Конкретных признаков эстетического вчувствования ни одно из этих направлений не указывает.

Коренной порок экспрессивной эстетики М. Бахтин видел в том, что она стремилась вывести форму из содержания. «Изнутри себя самое, — говорит он, — жизнь не может породить эстетически значимой формы, не выходя за свои пределы, не перестав быть самой собою» (IV, 68). Если бы мы внутренне слились (вчувствовались) с Эдипом, мы тотчас же, по словам М. Бахтина, потеряли бы чисто эстетическую категорию трагического. «Изнутри переживания, — продолжает он, — жизнь не трагична, не комична, не прекрасна и не возвышенна для самого предметно ее переживающего и для чисто сопереживающего ему; лишь поскольку я выстуллю за пределы переживающей жизнь души, займу твердую позицию вне ее, активно облеку во внешне значимую плоть, окружу ее трансгредиентными ее предметной направленности ценностями (фон, обстановка как окружение, а не поле действия — кругозор), ее жизнь загорится для меня трагическим светом, примет комическое выражение, станет прекрасной и возвышенной (IV, 68).

Эстетическая форма не может быть обоснована изнутри героя. Она обосновывается изнутри *другого* — автора, как его творческая реакция на героя и его жизнь. Это последнее и есть собственно эстетический момент формы. Творческая реакция на героя и есть то, что М. Бахтин называет «эстетической лю-

бовью». «*Форма есть граница, обработанная эстетически,— продолжает далее ученый, — ... При этом дело идет и о границе тела, и о границе души и границе духа*» (смысловой направленности)» (IV, 86).

Автор трактата говорил о двояком значении формы: она, по его словам, может быть и внутренней и внешней, эмпирической. Внешней пространственной формы словесное творчество не создает: оно не оперирует с пространственным материалом.

В различных видах словесного творчества степень осуществления внутренней формы различна: в эпосе она выше, в лирике — ниже (особенно в романтической).

Предметный мир внутри художественного произведения М. Бахтин относил к окружению героя. Особенность окружения выражается, считал он, во внешнем формальном сочетании элементов живописно-пластического характера: в гармонии красок, линий, симметрии и прочих чисто эстетических сочетаниях. В словесном творчестве мы встречаемся с эмоционально-волевыми эквивалентами возможных зрительных представлений.

Итак, человек в искусстве — цельный человек. Его внешнее тело М. Бахтин определил как «эстетически значимый момент», а «предметный мир как окружение внешнего тела» (IV, 94—95).

*Временное* целое героя (проблема внутреннего человека — души) — третья основная проблема, поставленная М. Бахтиным в его трактате «Автор и герой в эстетической деятельности».

Подобно тому как эстетическое осмысление и устройство внешнего тела и его мира есть дар другого сознания (автора-созерцателя) герою, душа героя есть художественно переживаемое целое внутренней его жизни: «...это дух, как он выглядит *извне*, в другом» (IV, 95).

В своем трактате М. Бахтин дал обоснование проблеме души как проблеме эстетической, указал на принципы «устройства и оформления (оцельнения) ее в активном художественном видении».

Работа художника, считал М. Бахтин, протекает «на границах внутренней жизни, там, где душа внутренне повернута (обращена) *вне себя*». «Как пространственная форма внешнего человека,— продолжает он,— так и *временная* эстетически значимая форма его внутренней

жизни разворачиваются из *избытка* временного видения другой души...» (IV, 98).

Автор трактата вновь и вновь подчеркивает мысль о том, что эстетически оправдывать и завершать я могу только *другого*, но не себя самого. Я не могу непосредственно пережить ни моего рождения, ни моей смерти. Это может сделать только *Другой*. «Я имею *всю* жизнь другого *вне* себя, и здесь начинается эстетизация его личности: закрепление и завершение ее в эстетически значимом образе» (IV, 101).

Касаясь вопроса об условиях оформления «целого душевной жизни», М. Бахтин писал, что «не в ценностном контексте моей собственной жизни обретает свою значимость самое переживание мое как душевная определенность», поскольку «в моей жизни его нет для меня». «Я должен стать другим по отношению к себе самому — живущему эту свою жизнь в этом ценностном мире, и этот другой должен занять существенно обоснованную ценностную позицию вне меня (психолога, художника и проч.)» (IV, 106—107).

Итак, душа «активно создается и положительно оформляется и завершается только в категории другого...» Душа — это дар моего духа *другому*» (IV, 123).

Затронул автор трактата и вопрос о взаимоотношениях и взаимосвязях души с предметным миром в искусстве. Вывод его и здесь однозначен и определен. «Предметный мир в искусстве, в котором живет и движется душа героя, — говорит он, — эстетически значим как окружение этой души. Мир в искусстве не *кругозор* поступающего духа, а *окружение*...» (IV, 123).

М. Бахтин считал, что архитектура мира художественного видения упорядочивает не только пространственные и временные моменты, но и чисто смысловые. Этой проблеме в его трактате посвящена глава «Смысловое целое героя».

Приступая к освещению вопросов, составивших содержание главы, автор трактата заметил прежде всего, что смысловое целое героя неотделимо от его пространственного и временного целого.

Жизнь человека — постоянное и непрерывное *поступление* — делом, словом, мыслью, чувством. Но поступок выражает положение характера не для самого поступающего героя, а для внаходящегося автора-

созерцателя. С этим связана идея этической свободы поступка. Даже отчет-исповедь нуждается в оценке другого, который нужен как судья. Самоотчет-исповедь принципиально не может быть завершен, поскольку связан с бесконечностью события бытия. Чистыми образцами самоотчета-исповеди М. Бахтин считал молитвы мытаря и ханаенянки («верую — помоги моему неверию»). Их можно вечно повторять, т. к. изнутри себя они не завершены.

На стадии религиозной наивности находятся, по мнению М. Бахтина, псалмы, многие христианские гимны и молитвы. Стал возможен ритм, возвышающий образ. В этом смысле образцом самоотчета-исповеди может служить покаянный псалом Давида («сердце чистое созижди во мне, Боже», «омыши мя, и паче снега убелюся»), в котором просительные тона породили эстетизованные образы.

Возможен, по мнению М. Бахтина, бого- и человекоборческий момент в самоотчете-исповеди. Проявляются они в тонах злобы, недоверия, иронии, цинизма, вызова (в юродстве), исповеди-откровенности героев Достоевского. Все это — результат отчаяния. Возможна и извращенная форма самоотчета-исповеди, выражающаяся в ругательствах. «В самоотчете-исповеди нет героя и нет автора, ибо нет позиции для осуществления их взаимоотношения, позиции ценностной венаходимости; герой и автор слиты воедино...» (IV, 136), — заключает М. Бахтин.

«Проблема автора» — заключительная глава трактата М. Бахтина: Здесь — итоги, позволяющие, по его словам, точнее определить автора как участника художественного события. Каковы они?

1. Организующим формально-содержательным центром художественного видения является человек, притом — данный человек в его ценностной наличности в мире. Это — мир организованный, упорядоченный и завершенный. Вокруг человека становятся художественно значимыми все предметные моменты и отношения. Эта ценностная ориентация создает вокруг человека его эстетическую реальность.

2. *Я и другой* — суть основные ценностные категории, делающие возможной действительную оценку.

3. Только *другой* может быть центром художе-



ственного видения, а следовательно и героем произведения. «Во всех эстетических формах,— писал М. Бахтин,— организующей силой является ценностная категория *другого*, отношение к другому, обогащенное ценностным избытком видения для трансгредиентного завершения» (IV, 174).

Участники события произведения — герой, автор-зритель. Только они одни могут быть ответственными, придать ему событийное единство.

М. Бахтин был убежден в том, что автор должен находиться только на границе создаваемого им мира как активный творец его. Любое авторское вторжение в этот мир разрушает его эстетическую устойчивость.

Автор формирует и завершает героя, используя для этого словесный материал. Отсюда — необходимость различать в художественном произведении три компонента: содержание, материал и форму.

Форма не может быть понята независимо от содержания. Не может она быть независимой и от природы материала, от способов его обработки. Художественный прием не может быть только приемом обработки словесного материала. Прием может определять содержание только с помощью определенного материала, через материал. Материал писателя — язык, но язык не в лингвистической его сущности (морфологической, синтаксической, лексикологической), а в художественной, т. е. когда он становится средством художественного выражения. «Поэт творит не в мире языка, языком он лишь пользуется» (IV, 177). Язык сам по себе ценностно индифферентен, он всегда слуга и никогда не является целью, он служит познанию, искусству, общению. Отношение художника к слову — вторично, первично — отношение к содержанию. Художник с помощью слова обрабатывает *мир*, и слово — только выражение этого мира. В этом смысле оно должно преодолеваться. Именно здесь, полагал ученый, «точка высшего напряжения творческого акта (для которого все остальное только средство) ... и только это столкновение высекает чисто художественную искру» (IV, 181).

В художественном целом две власти и два правопрядка, взаимообуславливающих друг друга: закономерность героя и закономерность автора. Там, где

художник с самого начала имеет дело с эстетическими величинами, получается сделанное, пустое произведение, ничего не преодолевающее и ничего не создающее весомого. Героя нельзя создать из чисто эстетических элементов. Автор не может *выдумать* его. «Автор-художник *преднаходит* героя данным независимо от его чисто художественного акта, он не может породить из себя героя — такой был бы неубедителен... Эта реальность героя — другого сознания — и есть *предмет* художественного видения, придающий *эстетическую объективность* этому видению» (IV, 183).

М. Бахтин считал, что беспредметного искусства не бывает, и потому, по его мнению, неправомерно относить сюда арабески, орнамент и музыку. И в этих видах искусства, говорил он, мы чувствуем упорство изнутри себя незавершенного сознания. Мы творим музыкальную форму не в пустоте ценностной и не среди других музыкальных же форм (музыку среди музыки), но в событии жизни, и только это делает ее серьезной, событийно значимой, весомой. За арабесками чистого стиля мы всегда ощущаем возможную душу.

В трактате «Автор и герой...» намечен *третий* участник эстетического события — *зритель* (слушатель). Развернутое представление о нем будет дано позднее (в ин. «Марксизм и вопросы языкознания»). А здесь о нем говорится лишь попутно. На первом плане — автор, к которому читатель относится как к *принципу*. «Внутри произведения для читателя автор — совокупность творческих принципов, долженствующих быть осуществленными... Его индивидуация как человека есть уже вторичный творческий акт читателя, критика, историка, независимый от автора как активного принципа видения...» (IV, 191).

Такое краткое содержание исследования М. Бахтина «К философии поступка», составной частью которого является его трактат «Автор и герой в эстетической деятельности».

Рассмотренные исследования даже и не в завершенном их виде получили высокую оценку ведущих советских ученых-гуманитариев, прежде всего литературоведов и философов. Так, авторы «Примечаний» к трактату «Автор и герой в эстетической деятельности» С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров обратили внимание

прежде всего на то, что бахтинская эстетика словесного творчества «развернута в сторону философской эстетики» (IV, 404). «В работе об авторе и герое,— продолжали они,— оформляется ряд основных понятий эстетики М. Бахтина; таковы *внеаходимость* и связанный с нею *избыток* видения и знания, кругозор героя и его окружение. Термины эти активно «работают» в сочинениях Бахтина разных лет. Если в настоящей работе речь идет о внеаходимости я и *другого* в реальном событии общения, автора и героя в «эстетическом событии», то в позднейшей работе («Ответ на вопрос редакции «Нового мира» ) — о внеаходимости современного читателя и исследователя по отношению к далеким эпохам и культурам. Это единство подхода к тому, что происходит между двумя людьми и в масштабах истории культуры, скрепленное единством понятий анализа,— выразительная особенность мысли Бахтина» (IV, 405).

Имея в виду работу М. Бахтина «К философии поступка», исследователь отметил связь ее содержания с развитием общеевропейской философской мысли первых десятилетий XX столетия. «Традиция,— говорит он,— в русле которой изначально развивалась мысль Бахтина,— это традиция конфронтации российского, по преимуществу нравственно-философски ориентированного общественного сознания с новейшими тенденциями западной философии и социологии, где со времен Ф. Ницше и первых социал-дарвинистов (мало-помалу обнаруживших тяготение к нищестанству) нарастала волна «философского аморализма», если воспользоваться самооценкой автора «Заратустры»<sup>43</sup>.

По мнению исследователя, М. Бахтин противопоставляет, с одной стороны, фаталистическому эстетизму философии истории О. Шпенглера, а с другой — идеалистическому «теоретизму» этического учения баденской школы неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), которые тоже упускали из виду конкретного индивида с его нравственно-ответственным поступком. Полемизируя с западными социологами (М. Вебером, Т. Парсонсом), молодой русский мыслитель акцентирует внимание прежде всего на философско-этическом аспекте человеческой деятельности. Это было особенно важно в эпоху «кризиса поступка», когда человек ощущал себя бес-

сильным перед лицом противостоящих ему враждебных анонимно-массовых сил. «Философия поступка» — сердцевина нравственной философии (включающей здесь и социально-философскую и социологическую проблематику), которую молодой Бахтин развивает в данной связи», — говорит исследователь<sup>44</sup>.

Один из первых рецензентов трактата «Автор и герой в эстетической деятельности» писал, что этот труд М. Бахтина отвечает на самый главный вопрос: о способе соединения научности и художественности в созданной Бахтиным эстетической системе». «Хотя эта работа, — продолжал он, — выдержана в стиле научно-философском, изобилует громоздкими синтаксическими конструкциями, разветвленными абстрактно-логическими выкладками, в целом она создает эмоционально многозначный образ творчества. Передана и мучительность этого процесса и его феноменальная бескорыстность. Через органичную связь автора и героя Бахтин дает свою разгадку тайны вдохновения: художник производит новое, *другое* сознание и постигает его, не растворяясь в нем»<sup>45</sup>.

В исследованиях последних лет, посвященных М. Бахтину, акцентируется внимание на понимании М. Бахтиным категории эстетического. «Понятие эстетического у Бахтина имеет своей отправной точкой созерцание в пространстве плоти другого. Бахтин особенно подчеркивает в эстетическом момент вневходимости героя, авторского избытка, полемизируя при этом с «экспрессивной эстетикой» или эстетикой вчувствования, вживания «Я» в другого, автора в героя... Любовь обязательно эстетична, то есть предполагает существенное противостояние, неслиянность «Я» и «Другого»... Третьим моментом в эстетическом отношении (после вневходимости и эстетической любви автора к герою) является, по Бахтину, его творческий, продуктивный, воссоздающий характер. Именно благодаря ему в эстетическом событии рождается новая ценность, герой переводится в иной, высший по сравнению со своим, план бытия, «творческое отношение автора и есть собственно эстетическое отношение» (Э 59)»<sup>46</sup>.

Пройдет, однако, совсем немного времени, когда М. Бахтин будет говорить об активности и героя, — о

такой его активности, которая может противостоять авторской, и «в этом противостоянии дойти до предела, до полного освобождения от автора». Это противостояние героя автору (носителю завершающего начала в эстетическом событии) М. Бахтин увидит в полифоническом романе Достоевского. А пока первенствует автор, который «преднаходит» героя в окружающей действительности. «... Превращение этого данного героя в художественный образ обязательно предполагает его принципиальное обновление, включение в него моментов, до того в нем отсутствующих. Творчество всегда создает новое, прежде не бывшее...»<sup>47</sup>.

Исследователи последнего времени обратили внимание на причины, которые побудили М. Бахтина сосредоточиться на изучении проблем эстетики, в частности — эстетики словесного творчества. «В контексте творчества Бахтина ответить на этот вопрос не очень трудно, — читаем мы в одном из недавних исследований. — Искусство в своей «другости» по отношению к теоретической мысли потому и продуктивно для нее и для житейской практики, что те категории реальности, от которых «теоретизм» отвлекается, — «участное мышление», «Я» и «Другой», «событие бытия» — в «эстетическом разуме» изначально даны, «овнешнены». От этой конкретности невозможно отвлечься в эстетической деятельности, не разрушая ее как именно эстетическую:

«Эстетическое», которое в классическом немецком идеализме (Гегель) считалось низшей формой познания и, следовательно, низшей формой авторства (превзойденной научным авторством — чистым понятием), у Бахтина становится образом и прообразом всякого авторства, то есть творческого конкретного отношения человека к действительности. Та «правда взаимоотношения», которую, как мы помним, Бахтин положил в основу своей теории «ответственности» и «поступка», в искусстве реализована непосредственно, в самом «поступке» эстетической деятельности, в событий взаимоотношения двух «участников» ее — автора и героя.

Но тогда понятно, почему наиболее ясную и сжатую формулировку проблематики бахтинской эстетики находим не где-нибудь, а в сравнительно поздних его заметках к переработке книги о Достоевском (1961—1962). Вопреки распространенному мнению, книга о Достоев-

ском — не разрыв с ранним исследованием об авторе и герое, а предельная конкретизация «эстетики словесного творчества», а с нею — «философского поступка» Бахтина в ее целом»<sup>48</sup>.

В качестве иллюстрации исследователь привел высказывание М. Бахтина о специфике художественного образа, в котором я выступает в форме *другого*, а *другой* — в форме я (IV, 337).

В некоторых исследованиях, посвященных ранним работам М. Бахтина, отмечается, что концепция *внеаходимости* распространяется им и на лирику, на героев лирических. Подчеркивается, что и здесь «наличествует активная эстетически формирующая энергия автора». Ученый показал это на примере пушкинского стихотворения «Для берегов отчизны дальной»<sup>49</sup>.

Так продолжается активное обсуждение ранних работ М. Бахтина учеными *нашего времени*. Не трудно видеть, как важны для развития гуманитарных наук плодотворные идеи М. Бахтина рубежа 1910—1920-х годов.

### 3. В ГОРОДЕ НА НЕВЕ

(1924—1930)

*...Нет ничего лучше, как наслаждаться  
человеку делами своими.*

Из книги Эккlesiаста

*... Философия есть та же поэзия, только  
высший градус ее.*

Ф. М. Достоевский

Летом 1924 года М. Бахтин оставил Витебск и переехал в Петроград — в город, где он продолжил свою научную подготовку, начатую еще в Одессе. На этот раз он оставался здесь в продолжение почти шести лет — до весны 1930-го. Эти годы явились важнейшим периодом в его научно-творческой жизни. В известном

смысле можно сказать, что именно в это время М. Бахтин стал тем ученым, каким вошел он в историю отечественной науки и остался в нашем сознании и в нашей памяти.

... Много перемен произошло в бывшей столице России с памятного лета 1918-го, когда молодой М. Бахтин оставил ее, отправившись (вместе со всей семьей) на работу в Невель. Сам город назывался теперь по-другому — Ленинградом. И ритм жизни стал иным, хотя многие учреждения и ведомства оставались еще здесь. Новая экономическая политика, начавшаяся с 1921 года, приносила уже ощутимые плоды. Возвращались «беженцы» — те, кто вынужден был в годы «военного коммунизма» и красного террора оставить родной кров и искать убежища в небольших городах, селах и деревнях России, Белоруссии и Украины. Забывались малопомалу лихолетья гражданской войны, голода и холода, запущенные и захламленные улицы и площади, скверы и парки<sup>1</sup>. Входили в более или менее нормальную колею различные стороны многосложной городской жизни — материально-бытовой, театральной, издательской, школьной, вузовской, академической и пр.

Немало, однако, оставалось и различных трудностей. Главная из них — безработица. Она охватила не только промышленные предприятия бывшей столицы, но и обширную область культуры, народного образования — средние и высшие учебные заведения, научные учреждения, библиотеки, издательства и пр.

Для М. Бахтина и его жены Елены Александровны все эти трудности были еще пока впереди. А поначалу — долгожданные и радостные встречи со старыми и новыми друзьями, давно их здесь ожидавшими<sup>2</sup>. На первых порах друзья помогли им устроить их несложный быт. Здесь прежде всего следует назвать И. И. Канаева. Сложнее всего оказалось с трудоустройством. В продолжении пяти лет Михаил Михайлович так и не смог найти себе постоянной работы ни в вузах города, ни в его академических институтах, где он только и смог бы реализовать свои интеллектуальные возможности и силы. Правда, в «Автобиографии» и в позднейших документах такого же типа М. Бахтин неизменно отмечал, что в 1924—1930 годах он исполнял обязанности сотруidника Российского государственного института

истории искусств, а позднее — редактора Лениздата. Но вся эта работа была внештатной, временной, и она не могла быть и не была надежным источником материального достатка его семьи.

Российский институт истории искусств обычно назывался в Питере «Зубовским» — по имени его основателя графа Валентина Платоновича Зубова, одного из потомков известного в XVIII столетии фаворита Екатерины II<sup>3</sup>. Организованный в 1910—1916 годах Институт с его обширной и редкой по подбору книг библиотекой, с значительным собранием произведений (живописных и скульптурных) итальянского Возрождения в 1918 году перешел в ведение научного отдела Наркомпроса РСФСР. Научным руководителем Института оставался его основатель В. П. Зубов. В первые послеоктябрьские годы Институт не испытывал больших стеснений ни в средствах, ни в штатах. Положение резко изменилось в 1924 году, когда бюджетные ассигнования были сокращены более чем в десять раз, т. е. доведены до уровня, который ставил под сомнение возможность дальнейшего существования этого учреждения. Достаточно сказать, что из 326 платных должностей, имевшихся в Институте в 1921 году, ему были оставлены только 33. Значительная часть научных сотрудников была сокращена, и они вынуждены были оставить Институт. Многие не могли этого сделать и остались на прежних своих местах и продолжали трудиться, но без всякого вознаграждения за свой труд. Не исключено, что именно вследствие этого обстоятельства имя М. Бахтина в официальных документах Института (в отчетах и пр.) встречается только однажды: в августе 1924 года он выступил на заседании Комитета по вопросам общего искусствознания с докладом «Проблема героя в литературном произведении»<sup>4</sup>. Тема доклада для него характерна и закономерна: она связана с его исследованием «Автор и герой в эстетической деятельности».

Что касается Лениздата, о связях М. Бахтина с этим учреждением свидетельствуют, в частности, две его большие статьи о творчестве Л. Н. Толстого — о драматургии писателя и о его романе «Воскресение». Статьи эти были помещены в качестве предисловий к одиннадцатому и тринадцатому томам полного собрания ху-



дожественных произведений Л. Н. Толстого, выпущенным в свет Государственным издательством в 1929 году в связи с исполнившимся в 1928 году 100-летием со дня рождения великого художника слова<sup>5</sup>.

Не имея никакой оплачиваемой штатной работы, М. Бахтин сосредоточил свои усилия на деятельности научно-исследовательской и лекторской. Именно эти виды работы стали теперь основным источником его существования. Источником и неопределенным и ненадежным, вследствие чего он испытывал постоянную нужду в самых элементарных жизненных благах. Иностранные биографы Михаила Михайловича не без оснований говорят о том, что шесть лет его жизни в Ленинграде были годами едва ли не каждодневной борьбы за существование<sup>6</sup>.

Тем не менее М. Бахтин не испытывал ни малейшего сожаления по поводу своего переезда из Витебска в Ленинград. Нельзя сказать того, чтобы он был совершенно равнодушен к материально-бытовой стороне своей жизни. Но и то несомненно, что ученый никогда не придавал ей решающего значения. Ни в ту пору, ни позднее. Если же иметь в виду именно ленинградский период его жизни, следует сказать, что вся неустроенность быта в полной мере выкупалась для него возможностью обращения к таким источникам научной информации, которых он не имел и не мог иметь прежде. С переездом в город на Неве Михаил Михайлович обрел новые стимулы к собственному интеллектуальному развитию в *кругу* тех людей, дружбой которых он весьма дорожил. В этом кругу все подвергалось сомнению и коллективному обсуждению. Здесь не было ничего авторитарного, монологически завершенного. Здесь звучали равноправные голоса, царил *дух* диалогизма.

В ближайшее окружение М. Бахтина в 1924—1928 годах входили прежние и новые его друзья. Прежние — это те, кто входил в «Кантовский семинар» в Невеле и в Витебске. Новые — ученые университета, академических институтов, писатели и поэты, переводчики и другие представители питерской творческой интеллигенции.

В 1921 году с триумфом завершила свое музыкальное образование в Петроградской консерватории М. В. Юдина. Вслед за этим она продолжила свое

образование на историко-филологическом факультете университета. По достоинству были оценены и выдающиеся музыкальные способности молодой пианистки, и ее основательная философско-литературная подготовка. Администрация, возглавляемая композитором и музыкальным деятелем А. К. Глазуновым; оставила Марию Вениаминовну для работы в консерватории. В 1923 году ей было присвоено звание профессора по классу фортепьяно. Однако молодая пианистка не удовлетворилась этими выдающимися успехами. Как некогда в Невеле, она и теперь продолжала увлеченно заниматься философией, эстетикой, литературой. И потому возвращение М. Бахтина в Петроград особенно радовало ее: в нем М. В. Юдина по всей справедливости видела одного из своих внимательных учителей и наставников.

С исключительной интенсивностью разворачивалась в Петрограде начала 1920-х годов творческая работа И. И. Соллертинского. В 1923 году он окончил Институт истории искусств (Зубовский), а в следующем году — романо-германское отделение факультета общественных наук Петроградского университета. В последующие годы И. И. Соллертинский продолжил свою научную подготовку в Институте истории искусств (по истории музыкального театра) и начал большую преподавательскую работу в высших учебных заведениях Ленинграда, в частности, и в консерватории. Здесь сблизился и подружился с Д. Д. Шостаковичем и другими музыкантами и музыкально-театральными деятелями города, а вскоре возглавил государственную филармонию<sup>7</sup>.

В 1922 году возвратился в родной Петроград и В. Н. Волошинов. По ходатайству Витебского губернского Союза работников искусств (СОРАБИС) он был восстановлен в правах студента университета и зачислен на этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук. В заявлении на имя ректора университета он, в частности, писал: «Поступив в 1913 г. в Петербургский университет на юридический факультет, я вынужден был, перейдя на 3-й курс, оставить университет в 1916—1917 учебном году по соображениям материального характера (невозможность вносить плату и необходимость поступить на службу).

В начале 1919 г. я уехал в г. Невель, а оттуда в

Витебск, где до последнего времени деятельность моя протекала исключительно в области теории и практики искусства (литературы и музыки). В настоящее время Витебский губернский профсоюз работников искусств откомандировал меня, согласно разверстке ЦК, в Петроградский университет, причем, за неполучением места на более подходящие факультеты для работников искусств, Союз должен был предоставить мне место на физико-математический факультет.

Ввиду того, что за последние годы моя специальность, как поэта и лектора по истории и философии искусства, окончательно определилась, я прошу зачислить меня не на физико-математический факультет, а на литературно-художественное отделение факультета общественных наук. Кроме того, прошу разрешения поступить не на первый курс, а на второй, так как я обладаю некоторой специальной подготовкой. Все требуемые зачеты могут быть мною сданы в установленный срок... В. Волошинов. 29 августа 1922 года».

В приложенном к заявлению послужном списке В. Волошинов сообщил о себе все, что требовалось в те годы от всех поступающих в университет или на работу. Кроме этого писал: «Имею печатные произведения: а) статьи по философии и истории музыки и стихотворения в журнале «Искусство» № 2—3 и № 4—6—1921 г.; б) музыкальные композиции (фортепьянные и вокальные) в издании Йогансон (Петербург)—1913 г. Произведения в рукописи: а) книга стихов, три поэмы, драма в стихах; б) 24 опуса фортепьянных, скрипичных и вокальных произведений»<sup>8</sup>.

Среди старых ленинградских друзей М. Бахтина был Л. В. Пумпянский. Не имея постоянного места работы, Лев Васильевич по-прежнему занимался с энтузиазмом лекторской деятельностью, выступая в различных аудиториях города с докладами, лекциями и рефератами. На темы историко-литературные, философско-эстетические и культурологические. Так, в октябре 1921 он выступил с большим докладом «Достоевский и античность» перед членами Вольной философской ассоциации (ВОЛЬФИЛА). В ноябре литературная и научная общественность Петрограда, Москвы и других городов страны готовилась к скромным торжествам, посвященным 100-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского.

Доклад Л. В. Пумпянского, собравший большую аудиторию, был связан именно с предстоящими юбилейными мероприятиями. В следующем 1922 году издательством «Замыслы» этот доклад был издан отдельной брошюрой.

Прочно (в отличие от прежних своих витебских друзей) обосновался в Петрограде П. Н. Медведев. Он имел постоянную и хорошо оплачиваемую работу в педагогическом институте им. Герцена, в Институте русской литературы (Пушкинский Дом), в Академии художеств и в Петроградском отделении Государственного издательства. Кроме того, имел связи с группой молодых писателей и поэтов, объединившихся в кружок «Содружество» с целью оказания друг другу творческой помощи.

Изредка навещался из Москвы в Ленинград М. И. Каган, принимавший самое деятельное участие в беседах и спорах своих невеликих и витебских друзей.

В разное время к основному кругу прежних друзей М. Бахтина примкнули новые люди, столь же оригинально мыслящие — каждый в своем роде. Некоторые из них были связаны либо с университетом, либо с академическими институтами и другими подобными научными учреждениями. Назовем среди них М. И. Тубянского, И. И. Канаева, Н. И. Конрада, писателя К. К. Вагинова, инженера Б. В. Залесского.

Михаил Израильевич Тубянский был видным ученым-востоковедом (индологом), занимавшимся философией, религией и литературой Индии. Он первым познакомил русских читателей с некоторыми произведениями Рабиндраната Тагора, переведя их на русский язык. М. И. Тубянский принимал непосредственное участие в организации Института буддийской культуры, Музея народов и культуры Азии, читал лекции в университете.

Столь же колоритной фигурой в кругу М. Бахтина был видный биолог Иван Иванович Канаев, всегда оказывавший Михаилу Михайловичу помощь в устройстве его быта. Научные интересы И. И. Канаева лежали в той области сравнительной биологии, которая соприкасалась с духовными началами жизни.

Проблемами востоковедения занимался и Николай Иосифович Конрад, возглавлявший в 1921 году Орловский университет. В 1920-х годах Н. И. Конрад занимался филологией и культурой Японии, Кореи и Китая,

читал лекции в Институте истории искусства и в университете. Позднее (в 1958 г.) стал членом Академии наук СССР.

Писатель Константин Константинович Вагинов познакомился с М. Бахтиным в середине 1920-х годов. Результатом общения писателя с близкими друзьями Михаила Михайловича явились два его романа — «Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова». Каких-либо прямых соответствий или аналогий между персонажами этих романов и конкретными личностями из окружения М. Бахтина в них, конечно, нет. Тем более, что К. К. Вагинов был связан и с другими литературными и нелитературными кружками Петрограда начала 1920-х годов, в частности, с поэтическим салоном М. А. Кузьмина. Стало быть, круг наблюдений у романиста был широк. Важнее другое: вся внутренняя жизнь старой петербургской интеллигенции (в подлинном смысле этого слова) была воспринята и осмыслена им в трагическом ореоле, о чем, кстати, свидетельствует и само название одного из его романов («Козлиная песнь»). Члены этих кружков, преданные высоким идеалам искусства и человеческой нравственности, представлялись К. К. Вагинову совершенно оторванными от суровой правды жизни, неумолимо и безжалостно разрушавшей их надежды на спасение и приумножение того, что им было дорого и чем они бескорыстно жили. Тем не менее, современники определенно указывали, например, на черты сходства, существовавшие между Л. В. Пумпянским и таким персонажем «Козлиной песни», как Тептелкин...

Видным геологом (петрографом) был Борис Владимирович Залесский. Располагая материальным достатком, он всегда щедро делился с М. Бахтиным, приходил к нему на помощь в трудные периоды его жизни. В 1930-х годах Б. В. Залесский жил в Москве. Бывая изредка в столице, Бахтины всегда останавливались в его просторной квартире.

В кругу М. Бахтина нередко можно было встретить поэтов Николая Клюева и Всеволода Рождественского, поэтесс Анну Радлову и Т. Л. Щепкину-Куперник — внучку великого русского артиста М. С. Щепкина.

Мы назвали здесь лишь наиболее близких друзей и знакомых М. Бахтина, постоянное общение с которыми

для него было так же необходимо, как и чтение любимых произведений литературы или прослушивание произведений Баха, Бетховена или Вагнера в исполнении Марии Вениаминовны Юдиной.

Мы, к сожалению, не располагаем сведениями, которые позволили бы нам более или менее полно судить о содержании и самом характере дружеских встреч и бесед этих людей, каждый из которых обладал обширными познаниями в той или другой отрасли науки. Собирались чаще всего на квартирах И. И. Канаева или Б. В. Залесского, М. В. Юдиной или у самого М. Бахтина. Тема очередного доклада и обсуждения назначалась обычно заранее — на предшествующем собрании. Формулировались основные тезисы доклада, которые подвергались вслед за этим всестороннему и свободному обсуждению. Именно *свободному*, ничем не ограниченному и не стесненному каким-либо авторитетным словом «учителя школы», если вообще возможно применение этого слова к М. Бахтину. Это был хор равноправных голосов, диалогическое противостояние различных мнений и убеждений. Здесь же, «под рукой», находились и нужные книги. В русских переводах, если такие переводы существовали, или на языках их оригиналов. Языковых границ, барьеров практически не существовало: едва ли не все участники таких собраний и собеседований свободно владели основными и европейскими языками, и восточными. Звучала нередко речь древних эллинов и римлян, иудеев и Китая, Индии и арабов<sup>9</sup>. Касались самых различных вопросов науки и искусства, философии и религии. Шел коллективный *поиск* истины. Из свидетельств современников видно, что постоянными оппонентами М. Бахтина выступали М. И. Тубьянский и И. И. Соллертинский. Споры временами бывали столь «жаркими», что приходилось прерываться и садиться за стол, на котором появлялся кипящий самовар. Начиналось неторопливое чаепитие<sup>10</sup>.

В Петрограде первой половины 1920-х годов существовало множество различных кружков и обществ — научных, литературных<sup>11</sup>. Официально признанных и, так сказать, частных, узкогрупповых, в которых объединялись единомышленники, проводившие свои собрания на квартирах друг у друга — более или менее регулярно. В таких кружках предметом обсуждения были

вопросы религиозные или религиозно-философские. Интерес к этим вопросам в кругах питерской интеллигенции этого времени необычайно возрос, что было связано, конечно, с отношением новых государственных органов и общественных организаций к религии и церкви, прежде всего — к Русской Православной церкви. Отношение это было враждебным. С 1918 года действовал декрет Совнаркома об отделении церкви от государства, школы от церкви. Декрет признавал за каждым гражданином РСФСР право на свободу совести, т. е. право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Право это, однако, повсеместно нарушалось самими же властями и партийными органами, поскольку была провозглашена программа полного искоренения «религиозных предрассудков». Считалось также, что кратчайшим путем к достижению этой цели является разгром церквей и их служителей. Поводы к этому всегда находились: все просчеты и провалы в деятельности новых органов власти безоговорочно относились на счет «враждебной работы классово-чуждых элементов», связанных «с империалистической буржуазией».

Между тем среди верующих в эту пору широкое распространение получали представления, мнения и надежды на возможность *совмещения* провозглашенных идеалов социализма с раннехристианскими верованиями и евангельскими заповедями. В связи с этим уместно вспомнить о заключительных строках поэмы А. Блока «Двенадцать» :

...Так идут державным шагом —  
 Позади — голодный пес,  
 Впереди — с кровавым флагом,  
 И за вьюгой невидим,  
 И от пули неведим,  
 Нежной поступью надвьюжной,  
 Снежной россыпью жемчужной,  
 В белом венчике из роз —  
 Впереди — Иисус Христос.

Поначалу в кругу М. Бахтина на первом плане стояли вопросы философско-гносеологические и нравственно-эстетические. В особенности их занимала философия

И. Канта в неокантианской ее интерпретации. Сказывалось здесь и влияние М. Бахтина, и в особенности — М. И. Кагана, прошедшего совсем недавно неокантианскую школу Германа Когена в Марбурге<sup>12</sup>.

К середине 1920-х годов в кругу М. Бахтина появляются новые интересы, новые тенденции. На первый план выходят вопросы *религиозно-философские* и *религиозно-нравственные*. Вся окружающая в стране обстановка вела их к этому<sup>13</sup>. Занимаясь изучением новейших течений в развитии западно-европейской философской мысли (Г. Коген, Э. Гуссерль, М. Шелер, О. Шпенглер и др.), М. Бахтин видел, что идейные предпосылки этих философских течений (феноменология, экзистенциализм, персонализм и пр.) возникли на рубеже XIX—XX столетий в России. В наши дни совершенно справедливо ставится вопрос о своеобразном религиозно-философском ренессансе, озарившем русскую культуру в конце XIX—начале XX в. Он вышел за рамки страны, всколыхнул духовную жизнь Западной Европы, определив «поворот западной мысли в сторону человека». Именно в России «был услышан великий вопрос Канта: «Что такое человек?» Русские попытки ответа на него эхом прозвучали на Западе, а затем снова пришли к нам как откровения просвещенных европейцев»<sup>14</sup>.

Выдающимися деятелями русской религиозно-философской мысли были Вл. Соловьев и В. Розанов, Н. Бердяев и П. Флоренский, С. Булгаков и Н. Лосский, Л. Карсавин и П. Сорокин.

Под влиянием названных мыслителей в кругу М. Бахтина утвердился глубокий интерес к религиозным вопросам. У некоторых членов кружка он принял форму нового религиозного самоопределения. Зимой 1926 года Л. В. Пумпянский писал в Москву М. И. Кагану: «Вы очень нам недостаете (извините галлицизм) весь этот год — все эти годы, но в этом году в особенности, потому что мы упорно занимаемся теологией. Круг наших теснейших друзей тот же: М. В. Юдина, Михаил Михайлович Бахтин, Михаил Израильевич Тубянский и я. Поверьте, не раз восклицаем мы: как жаль, что нет Матвея Исаевича, он помог бы распутать этот вопрос! — Около Рождества у нас был план пригласить Вас к нам гостить, мы хотели выслушать чтение Ваших



новых работ, узнать Ваше мнение о теологических вопросах, занимающих нас; потом мы узнали, что Вы связаны службой и вдруг приехать без заблаговременного уговора не можете.— Ничего, наше от нас не уйдет, великие споры и ночные беседы нас ожидают... В этом году совершенно точно и ясно установилось мое теологическое мировоззрение: православная Восточная Церковь. Особую роль сыграло изучение *Apologie des Christentums* Г. Шелля и убеждение в совершенной несостоятельности философии религии Канта и Г. Когена. Но углубление собственных взглядов, как это всегда бывает, привело к серьезной осмысленной терпимости, основанной на уважении к мысли, к труду мысли, к личности носителей мысли. Полемика уступает критике. И здесь тоже Шелль великий учитель. Скоро приступаю к изучению Св. Фомы, но это, конечно, нелегко и, быть может, окончится неудачей»<sup>15</sup>.

Обсуждение теологических вопросов проходило без последствий: Юдина и Тубянский, будучи людьми иудейского вероисповедания, приняли христианство в форме русского Православия<sup>16</sup>.

Не имея постоянного места работы и надежного заработка, М. Бахтин вынужден был выступать с лекциями, докладами и рефератами в самых различных аудиториях, главным образом — в интеллигентских кружках в «домашних условиях», т. е. в собственной квартире или на квартирах своих друзей: М. В. Юдиной, Т. Л. Щепкиной-Куперник, Б. М. Назарова, П. М. Осокина, А. С. Ругевич и др. Читал лекции и рефераты о И. Канте и Ф. Ницше, Э. Гуссерле и М. Шелере, З. Фрейде и фрейдистах, о различных проблемах творческого наследия Достоевского и Л. Толстого, Тютчева и Вяч. Иванова, о поэтах-символистах и других течениях в русской литературе конца XIX—начала XX столетия. Были рефераты по вопросам религиозно-философским и эстетическим.

Лекции, доклады и рефераты М. Бахтина не были «популярными» в общепринятом смысле. Каждое его публичное выступление в аудитории, многолюдной или маленькой, опиралось на самостоятельные кропотливые исследования тех научных проблем, которые интересовали и его самого и его слушателей. Это обстоятельство находит свое подтверждение в опубликованных исследо-

ваниях М. Бахтина, в его статьях и книгах, вышедших в свет в 1920-х годах или позднее.

Время от времени М. Бахтин выступал в библиотеках города с обзорами вновь поступившей в них литературы. В этом случае ему приходилось читать много таких книг, которые он при других условиях жизни не стал бы читать, не стал бы терять на эту работу драгоценного времени. Плата за этот труд была мизерной. Но ученый не мог пренебрегать даже и такой оплатой.

Одной из первых работ, подготовленных М. Бахтиным в Ленинграде для опубликования, была его большая статья (около 5 авторских листов) «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве»<sup>17</sup>. Этой статьей, преемственно связанной с его трактатом «Автор и герой в эстетической деятельности», Михаил Михайлович вторгся в живой историко-литературный процесс, чем и обусловлен ее полемический пафос. В развернувшейся в то время острой дискуссии вокруг методологических проблем эстетики словесного творчества, М. Бахтин занял самостоятельную позицию, отличную от формалистов (опоязовцев), обосновавшихся в Российском институте истории искусств<sup>18</sup>. Не приемлемым для него был и вульгарный социологизм (В. М. Фриче, В. Ф. Переверзев), игнорировавший эстетическую сущность произведений искусства и выдвигавший на первый план отражение в них социально-исторических интересов сословий, классов и партий.

Статья «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» в 1924 году не была опубликована, так как журнал «Русский современник» вскоре был закрыт. Тем не менее, она важна для понимания и состояния нашего литературоведения в середине 1920-х годов, и тенденций творческого развития самого М. Бахтина, связь которого с этим временем отразилась, в частности, в использовании им характерной для той поры терминологии.

В упомянутом своем исследовании М. Бахтин выделил четыре основные проблемы. В первой главе («Искусствоведение и общая эстетика»), полемизируя с формалистами, он показал неправомочность, ошибочность отрыва поэтики от общей эстетики, вследствие чего «поэтика прижимается вплотную к лингвистике,

боясь отступить от нее дальше чем на один шаг (у большинства формалистов и у В. М. Жирмунского), а иногда и прямо стремясь стать только отделом лингвистики (у В. В. Виноградова)» (III, 10—11).

Полемизуя с формалистами, М. Бахтин утверждал, что поэтика *«должна быть эстетикой словесного художественного творчества»*. Такой она сможет стать только при том условии, если будет опираться на философскую эстетику.

М. Бахтин не приемлет формалистический лозунг: «Нет искусства, есть только отдельные искусства», усматривая в нем *«примат материала* в художественном творчестве, ибо материал и есть именно то, что разделяет искусства...» (III, 11). На этой почве, по словам М. Бахтина, рождается тенденция понять художественную форму, как форму определенного материала. Такую эстетику он и называет *«материальной»*: она, в сущности, может быть только *техникой* художественного творчества. На этом пути, утверждал М. Бахтин, невозможно *«понять и изучить художественное творчество в целом, в его эстетическом своеобразии и значении»* (III, 13).

С позиций материальной эстетики, продолжал М. Бахтин, невозможно обосновать и понять художественной формы, объяснить эстетическое видение вне искусства (созерцания природы, эстетических моментов в мифе, в мировоззрении), обосновать возможность и необходимость построения истории самого искусства (в этой области она может иметь лишь хронологическую таблицу изменений приемов техники того или иного искусства).

В главе «Проблема содержания» М. Бахтин развернул свое понимание сущности затронутой им проблемы. В отличие от формалистов, игнорировавших категорию содержания в произведениях искусства, М. Бахтин утверждал мысль о диалектической взаимосвязи художественной формы с тем содержанием, которому она (форма) коррелятивна (соответственна) и *«вне этой корреляции не имеющая вообще никакого смысла»* (III, 32).

Позиция вненаходимости позволяет художнику *«вне объединять, оформлять и завершать событие... Форма, обывая содержание извне, овнешняет его...»* (III, 33).

Вкратце коснулся М. Бахтин и вопроса о задачах и возможностях эстетического анализа содержания произведений искусства, подчеркнув при этом трудность этого анализа. Принципиально возможно, по его убеждению, «достижение высокой степени научности, особенно когда соответствующие дисциплины — философская этика и социальные науки — сами достигнут возможной для них степени научности...» Но избежать в этом деле субъективности «вообще невозможно», что обусловлено самим существом эстетического объекта» (III, 43). Только научный такт самого исследователя может удержать его в должных границах и побудит его оговорить то, что является субъективным в его анализе.

В главе «Проблема материала» заслуживают нашего особенного внимания размышления М. Бахтина о *слове* как специфическом материале поэзии. Выступая против расширительного понимания слова, против растворения в нем всей культуры (в том числе — логики, эстетики и поэтики), он говорил о необходимости понять чисто лингвистическую природу слова независимо от задач познания художественного творчества, религиозного культа и других сфер его жизни.

Лингвистика, писал М. Бахтин, не равнодушна к особенностям языка художественного, научного, культового, но для нее это чисто лингвистические особенности самого языка. «... для понимания же их значения для искусства, для науки и для религии она не может обойтись без руководящих указаний эстетики, теории познания и других философских дисциплин, подобно тому как психология познания должна опираться на логику и гносеологию, а психология художественного творчества — на эстетику» (III, 44).

М. Бахтин считал, что современная ему лингвистика не во всех своих составных частях овладела своим предметом. С трудом, по его словам, она только начинает овладевать им в синтаксисе. Очень мало сделано в семасиологии и совершенно неразработанным остается отдел, «долженствующий ведать большие словесные цели». Речь идет о больших (по времени) высказываниях, диалогах, речах, трактатах, романах и т. п. Подобные языковые явления тоже должны быть определены и изучены чисто лингвистически. То, как эти языковые явления изучаются в современных пиитиках,

риториках и поэтиках, нельзя признать научным вследствие смешения лингвистической точки зрения с тем, что входит в компетенцию логики, психологии и эстетики. «Синтаксис больших словесных целых,— полагал М. Бахтин,— ... еще ждет своего обоснования... Только когда лингвистика овладеет своим предметом вполне и со всею методическою чистотою, она сможет продуктивно работать и для эстетики словесного творчества, в свою очередь пользуясь безбоязненно и ее услугами...» (III, 45).

М. Бахтин говорил далее о больших требованиях поэзии к языку. В отличие от многих других областей культурного творчества, поэзии язык нужен во всех своих особенностях — звуковых, интонационных, артикуляционных и пр. «... Поэзия как бы выжимает все соки из языка, и язык превосходит здесь себя самого» (III, 46).

Но при всем при этом, поэзия *преодолеывает* язык как лингвистическую определенность, поскольку он в эстетический объект словесного искусства не входит. Это важное положение М. Бахтин убедительно показал на примере пушкинского произведения «Воспоминание»:

Когда для смертного умолкнет шумный день  
И на немые стогны града  
Полупрозрачная наляжет ночи тень...

В эстетический состав этого произведения входят и город, и ночь, и воспоминания, и раскаяние и пр. Именно с этими *ценностями*, по словам исследователя, «непосредственно имеет дело наша художественная активность, на них направлена эстетическая интенция нашего духа...» Что касается отдельных слов, фонем, морфем, предложений и семантических рядов, они «лежат вне содержания эстетического восприятия, то есть вне художественного объекта, и могут понадобиться лишь для вторичного научного суждения эстетики, поскольку возникнет вопрос о том, как и какими моментами внеэстетической структуры внешнего произведения обусловлено данное содержание художественного восприятия» (IV, 48—49).

Итак, эстетический объект складывается не из языка в его лингвистической определенности, а только из ху-

дожественно оформленного содержания или, говоря иначе, — из содержательной художественной формы.

Работа поэта над *словом* громадна, так же как и работа скульптора над глыбой мрамора. И сводится она, эта работа, к преодолению *слова* как материала для поэтического творчества, поскольку, говорит исследователь, эстетический объект «вырастает на границах слов», на границах языка посредством его «*имманентного усвершенствования*». Следует при этом отличать *технику* творчества от конечной цели творческой работы — от построения эстетически оформленного и завершенного этического события жизни, т. е. от эстетического объекта.

Обобщая свои размышления по этому вопросу, М. Бахтин говорил о *служебном* характере материальной организации произведения, об ее чисто техническом назначении.

Касаясь «Проблемы формы» (4-я глава), М. Бахтин подверг критике тех, кто подменял «форму» «техникой». Такое сведение формы к технике было особенно характерно для формалистов (искусство как прием). Для М. Бахтина суть проблемы сводилась к тому, чтобы понять, как «форма, будучи сплошь осуществленной на материале, тем не менее становится формой содержания, ценностно относится к нему...» (III, 57).

Отказ от формы как активно ценностного отношения к содержанию ведет к обеднению содержания. В этом случае «художественное созерцание кончается и заменяется чисто этическим сопереживанием или познавательным размышлением, теоретическим согласием или несогласием, практическим одобрением или неодобрением и проч.» (IV, 58). Чтобы воспринять художественную форму, надо войти в нее творцом, преодолеть ее *вещность*. Читая художественное произведение, следует сделать его своим собственным высказыванием о *другом*, т. е. усвоить *себе* его ритм, интонацию, артикуляционное напряжение, внутреннюю жестикуляцию. Только при этом условии проявятся все эстетические функции формы по отношению к содержанию.

В свете всего сказанного основная задача эстетики видится М. Бахтину в изучении эстетического объекта в его своеобразии, т. е. *синтетически*, в его целом: «форму как форму содержания, и содержание как

содержание формы... Только на основе этого понимания можно наметить правильное направление для конкретного эстетического анализа отдельных произведений» (III, 70).

Таково основное содержание бахтинской статьи «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве».

Статья эта, как уже отмечалось, не была опубликована в 1924 году, следовательно, она не вошла в научный диалог того времени. Но годы и десятилетия не заслонили от нас плодотворных идей. Напротив, эти идеи и в наши дни не утратили своего теоретического и практического значения. Об этом говорят многие современные литературоведы. Так, имея в виду эту давнюю работу М. Бахтина, Д. Затонский заметил: «Статья... представляется мне в чем-то устаревшей. Нет, не в том смысле, что конструктивные ее идеи изжили себя или за минувшие полвека были уже целиком кем-то другим высказаны. И диалектически гибкое толкование взаимоотношения формы и содержания, и полемика против совокупности взглядов, которую автор нарекает «материальной эстетикой», и выведенная им формула «эстетического объекта» произведения, и тонкое различие между формами «композиционными» и «архитектоническими», и активное препятствование сведению словесного художественного творчества к лингвистике — все это на редкость свежо и актуально. А некоторые положения статьи выглядят даже непосредственно направленными против модернистских взглядов, бытующих на современном Западе. Однако работа в целом организована как спор с русскими формалистами. Жаль, что в свое время она так и не увидела света на страницах заказавшего ее журнала «Русский современник», ибо у наших формалистов... не было более серьезного и оригинального оппонента»<sup>19</sup>.

Г. Фридендер считает полемический характер статьи М. Бахтина поучительным своим конкретным содержанием. «Игнорируя «антиформализм» Бахтина,— говорит он,— мы рискуем не извлечь из его наследия главного — нового отношения к слову и неразрывно связанного с ним нового подхода к поэтике прозы, к законам ее строения, к жанру романа и его истории»<sup>20</sup>.

Укажем, наконец, и на оценку статьи М. Бахтина

С. Аверинцевым. Бахтинская работа 1924 года, по его словам, «ни на йоту не потеряла ни остроты, ни актуальности, и читается как прямой и правомочный ответ, по существу, на сегодняшние наши раздумья... В ней выразило себя твердое самостояние и самоуважение ума, который знает, что одно дело — учиться у своего времени, и совсем иное — щепкой кружиться по водоворотам на поверхности своего времени... он направляет удар не против слабейшего, а против сильнейшего места — против принципа, против идеи материальной эстетики, рассматривая самое эту идею как частный случай отступничества по отношению к смыслу, не столь уж разнящийся от других случаев, по видимости ему противоположных (например, от установки на утилитаристское «использование» искусства)»<sup>21</sup>.

\* \* \*

Ранее уже отмечалось, что во второй половине 1920-х годов М. Бахтин создает ряд статей и книг, вышедших тогда в свет под именами некоторых его питерских друзей — И. И. Канаева, В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева<sup>22</sup>. Нам трудно сейчас судить о том как и почему это произошло. Признавая статьи и книги, о которых идет речь, своими, ученый, однако, не отрицал участия в работе над ними и названных своих друзей. Но какой была доля или форма их участия в творческой работе? Вопрос этот остался без ответа. Решительно отказался М. Бахтин и делать об этом какие-либо публичные заявления. Между тем ссылки на эти работы как на бахтинские стали делом обычным, получили широкое распространение. В какой мере это оправдано? По-видимому, только в той мере, в какой они соотносятся с общим характером творческого развития М. Бахтина, с логикой его научного мышления. В каждом конкретном случае вопрос этот, на наш взгляд, должен решаться конкретно, потому что в упомянутых работах встречается и нечто такое, что М. Бахтину явно не принадлежит. Это относится, в частности, к повторным изданиям таких книг, как «Марксизм и философия языка» В. Н. Волошинова и «Формальный метод в литературоведении» П. Н. Медведева: они



переиздавались в то время, когда М. Бахтин уже не мог с ними общаться<sup>23</sup>.

В начале 1920-х годов в русских переводах одна за другой стали появляться статьи и книги Зигмунда Фрейда. Русские читатели, в частности, могли познакомиться с его «Лекциями по введению в психоанализ». Популярность венского врача-психиатра в это время достигла, кажется, предела. Она поддерживалась тем, что он успешно применял свой метод в клинической практике. В предисловии к русскому переводу работы З. Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) Л. С. Выготский и Ал. Лурия в то время писали: «Мировое признание если не вполне, то отчасти сменило прежнюю травлю, и вокруг нового учения создалась атмосфера напряженного интереса, глубокого внимания и пристального любопытства... Психоанализ давно перестал быть только одним из методов психиатрии, но разросся в ряд первостепенных проблем общей психологии и биологии, истории культуры и всех так называемых «наук о духе»<sup>24</sup>.

В научных кругах Петрограда, Москвы и других крупных городов страны у З. Фрейда появилось много сторонников, объявивших своего западного кумира материалистом в духе марксизма. Была предпринята попытка сочетать фрейдистскую теорию психоанализа с феноменальными открытиями академика И. П. Павлова в области высшей нервной деятельности. Говорили и писали о «рефлексологическом фрейдизме». Этому в немалой степени способствовал Второй психоневрологический съезд, состоявшийся в январе 1924 года в Москве. К руководству Психологическим институтом при Московском университете пришли новые люди (профессора Г. И. Челпанова сменил молодой профессор К. И. Корнилов). Те же авторы, Л. С. Выготский и А. Р. Лурия, так писали в то время об этом: «Этот перевод Фрейда на язык Павлова, попытка объективно расшифровать темную «глубинную психологию» представляет собой живое свидетельство величайшей жизненности этого учения и его неисчерпаемых научных возможностей»<sup>25</sup>.

В этих условиях к З. Фрейду и его учению, так высоко поднятому и широко разрекламированному, обратился и М. Бахтин. Его интересовала прежде всего

методологическая сторона учения З. Фрейда, распространение этого учения на обширную область общей психологии и биологии, на идеологию и на всю сферу «наук о духе». С лекциями и рефератами о Фрейде и его последователях на Западе и в России Михаил Михайлович выступал в различных аудиториях города — в учреждениях культуры, в интеллигентских кружках (главным образом домашних), в средних и высших учебных заведениях, на научных конференциях. В процессе этой деятельности очень скоро был накоплен значительный материал, с которым можно было выступить в печати. Так, в пятом номере журнала «Звезда» за 1925-й год под именем В. Н. Волошинова появилась статья «По ту сторону социального. О фрейдизме». Статья эта явилась сжатым конспектом будущей книги, которая вышла в свет через два года, в 1927, под заглавием «Фрейдизм. Критический очерк». Под именем все того же В. Н. Волошинова.

Какая доля труда была вложена в эти исследования одним и другим — сказать теперь не представляется возможным. Виднее другое — печать времени, окрасившая помянутые работы. Выразилось это в общей увлеченности авторов социологическим методом анализа. Заявив о своей приверженности к марксистской методологии, М. Бахтин и В. Н. Волошинов в ряде случаев становились на путь такого социологизаторства, которое позднее справедливо квалифицировалось вульгарным. Трудно верить, чтобы М. Бахтин, воспитанный на классических образцах строгого философского мышления, мог так легко игнорировать внутреннюю логику развития науки и так примитивно связывать ее с теорией классов и классовой борьбы, писать о «разложении буржуазии» Запада, о распаде буржуазной семьи и т. п.<sup>26</sup> Невольно напрашивается вывод: не потому ли он и отказался здесь, в этих работах, от своего авторства, что не разделял подобных представлений и обобщений?

Мы не ставим перед собой задачи подробного анализа рассматриваемых здесь работ М. Бахтина и В. Волошинова о Фрейде, считая, что это дело специальных исследований<sup>27</sup>. Скажем лишь об их основных выводах относительно содержания и общего пафоса учения и научного наследия знаменитого венского врача-

психиатра, об определении его места и значения в истории науки XX столетия.

Отметим прежде всего, что М. Бахтин не отрицал терапевтических успехов З. Фрейда, положительных результатов, добытых им посредством метода психоанализа. «Конечно,— читаем мы в статье «По ту сторону социального»,— главное для Фрейда — психопатологические явления, и можно сказать заранее, что в этой именно области надо искать наиболее ценных практических достижений психоанализа. Недаром многие протестуют против расширения его за пределы психиатрии, считают, что он, прежде всего, а может быть, и исключительно, продуктивный психотерапевтический метод; рабочая гипотеза, подкрепленная практическим успехом в области лечения неврозов»<sup>28</sup>.

Однако З. Фрейд, его ученики и последователи вышли за пределы собственно психиатрии, постарались придать психоанализу универсальное звучание и общеидеологическое значение. Они безосновательно распространили свои умозаключения и выводы на обширную область культурного творчества — на искусство, религию, философию, на явления социальной и политической жизни. Этим фрейдизм и приобрел себе популярность в широких читательских кругах Европы и Америки. Несостоятельности этих претензий фрейдистов М. Бахтин и В. Волошинов и посвятили свои критические работы.

Говоря об основной идеологической *доминанте* фрейдизма, о его идеологическом мотиве, М. Бахтин (именно его голос отчетливо слышится в этом анализе) говорил, что мотив этот «не является чем-то абсолютно новым и неожиданным», что он «вполне укладывается в основное русло всех идеологических устремлений буржуазной философии первой четверти XX века, являясь, быть может, наиболее ярким и смелым их выражением». *«Судьба человека,— продолжал он,— все содержание его жизни и творчества — следовательно: содержание его искусства, если он художник, его научных теорий, если он ученый, его политических программ и действий, если он политик — всецело определяется судьбами его полового влечения, и только ими одними. Все остальное — лишь обертоны основной, могущественной мелодии сексуальных влечений»* (VII, 15).

Исходя из этой основной сущности фрейдистских

теорий, авторы утверждали, что фрейдизм является «своеобразной разновидностью современной биологической философии». В нем, по их словам, резко и последовательно выразилась та же тяга «прочь из мира истории и социального в соблазнительную теплоту органического самодовления и изживания жизни»<sup>29</sup>.

В этой связи приведены ссылки на имена Шопенгауэра и Ницше, Бергсона и Зиммеля, Джемса и Шпенглера. Из русских философов названы имена Степуна, Франка, Лосского. При всех частных различиях есть нечто общее в их позициях, именно — недоверие к сознанию, стремление вывести историю и культуру «непосредственно из природы, минуя экономику».

Теория психоанализа неприемлема для М. Бахтина именно тем, что человек рассматривается в ней только как явление чисто биологическое, изолированное от социально-исторических условий его существования. Между тем, считал М. Бахтин, «человек вне общества и, следовательно, вне объективных социально-экономических условий не бывает» (VII, 19, 23).

З. Фрейд, его ученики и последователи утверждали, что они коренным образом реформировали старую психологию, заложив основания для новой.

М. Бахтин считал несостоятельными и эти их претензии. Он писал, что ни сам З. Фрейд, ни его ученики даже и не пытались выразить своего отношения к двум основным направлениям современной психологии — субъективной и объективной. «Психоаналитическая школа, подвергавшаяся сначала дружной травле всего ученого мира, замкнулась в себя и усвоила несколько сектантские навыки работы и мышления, не совсем уместные в науке. Фрейд и его ученики цитируют только себя и ссылаются только друг на друга; в более позднее время начали цитировать еще Шопенгауэра и Ницше. Весь остальной мир для них почти не существует»<sup>30</sup>.

За пределами внимания фрейдистов остались и представители интроспективного метода (самонаблюдение), и бихевиоризм (изучение поведения), и функциональная психология и пр. В результате и сами оказались на позициях субъективной психологии, составив одну из ее разновидностей, именно — психологии самонаблюдения. «Вся психологическая конструкция Фрейда в своей

основе базируется на словесных высказываниях человека... Все эти высказывания строятся, конечно, в *сознательной сфере* психики... он не ищет их физиологических и социологических корней, он пытается в них самих найти истинные мотивы поведения: сам больной должен сообщить ему о глубинах «бессознательного» (VII, 114).

Введя в свои рассуждения категорию «бессознательного» («оно»), авторы психоанализа, говорит М. Бахтин, наполнили это понятие тем же содержанием, что и сознание, т. е. включили в него и эмоции, и воспоминания и пр.

Главным содержанием системы бессознательного З. Фрейд считал Эдипов комплекс. «... К нему,— говорит М. Бахтин,— стягиваются меньшие группы вытесненных психических образований, приток которых продолжается на протяжении всей жизни человека» (VII, 65).

Эдипов комплекс — одно из наиболее ярких выражений фрейдовского пансексуализма, в обосновании которого он пытался опереться и на произведения народного устно-поэтического творчества, и на некоторые явления искусства, в частности — на трагедию Софокла «Эдип-царь». Сюжет трагедии известен: фиванский царь Эдип в молодости по неведению убил родного отца царя Лая и вследствие того же неведения женился на родной матери Иокасте. Убедившись в этом преступлении (через много лет), Эдип сам ослепил себя и покинул Фивы.

В этом сюжете З. Фрейд безосновательно увидел одно из подтверждений своей психоаналитической теории. С эдиповым комплексом связывал он распространение у разных народов мифов о кровосмесительстве, об убийстве отца сыном или, наоборот, об избииии детей отцом (Гильдебранд и Гадубранд в древнегерманском эпосе, Рустем и Зораб — в иранском, бой Ильи-Муромца с сыном — в русском и пр.).

Отводя эти рассуждения З. Фрейда как несостоятельные, М. Бахтин показал, что так называемый Эдипов комплекс имел не сексуальную (врожденное влечение сына к матери), а социально-историческую и экономическую почву. Материнское право наследования (пережиток матриархата) ставило сына ее во враждебные отношения с отцом: сыну приходилось либо уходить

на сторону, либо устранять отца. З. Фрейд неправомерно «сексуализировал этот мотив и с его помощью отстранил семью», т. е. обнажил чисто биологическую ее сущность.

Автор психоаналитической теории опирается в своих выводах на высказывания и реплики больного, принимая то и другое за выражение его индивидуальной психики.

М. Бахтин справедливо квалифицировал это как серьезный методологический просчет З. Фрейда. В связи с этим утверждал: «Ни одно словесное высказывание вообще не может быть отнесено на счет одного только высказавшего его: оно — *продукт взаимодействия говорящих* и шире — продукт всей той сложной *социальной ситуации*, в которой высказывание возникло. В другом месте\* мы старались показать, что всякий продукт речевой деятельности человека от простейшего жизненного высказывания до сложного литературного произведения во всех своих существенных моментах определяется вовсе не субъективным переживанием говорящего, а той *социальной ситуацией*, в которой звучит это высказывание» (VII, 118).

С категорией бессознательного З. Фрейд связывал наличие таких образований, как сновидения, мифы, образы художественного творчества, идеи философские, социально-политические, т. е., говоря словами М. Бахтина, всю «область *идеологического творчества*» (VII, 74).

В связи с этим М. Бахтин уделил значительное место критике фрейдистской философии культуры — мифологии, религии, искусства и литературы, философии и социологии. Возникновение и развитие всех этих форм культуры, сам процесс художественного и идеологического творчества автор психоанализа и его последователи связывали все с той же категорией бессознательного, с эдиповым комплексом и с травмой рождения. Так, процесс образования мифов уподоблялся механизму возникновения сновидений. «Миф — это коллективный сон народа» (VII, 88).

---

\*См. «Звезда», № 6, 1926 г. — наша статья: «Слово в жизни и слово в поэзии».

Сложнее обстояло дело с объяснениями различных религиозных верований. Но и здесь в конечном счете все связывалось с «вытесненными комплексами сексуальных влечений» (Эдипов комплекс, «Идеал — Я», «Я» и «ОНО»). Религии делились на «материнские» и «отцовские» в зависимости от того, какие переживания преобладают: тяга к матери или к отцу. К «материнским» относились культы Изиды, Астарты и других языческих богинь. Иудаизм фрейдисты относили к категории религий «отцовских».

«Сном наяву» фрейдисты считали процесс художественного творчества, который тоже будто бы определяется «глубинами бессознательного» («ОНО»). Метод толкований снов З. Фрейд применял для объяснения таких эстетических явлений, как острооты и шутки.

С категорией бессознательного фрейдисты связывали и художественную форму произведений искусства и литературы. Художественно то, говорили они, что «экономно», т. е. то, что требует от созерцателя (читателя или слушателя) наименьшей траты сил.

Оценивая эти произвольные умозаключения фрейдистов, М. Бахтин заметил, что и здесь, в этой специфической области творчества, З. Фрейд и его сторонники допускали важный методологический просчет. Известно, что различные вытесненные комплексы, прежде всего Эдипов комплекс, З. Фрейд и его последователи относили к прошлому человека, к его детству. Но все свои выводы об этом они строили на основе показаний взрослых. Такой ретроспективный подход к анализу сложных социально-психических процессов нельзя признать правильным, подлинно научным. Экспериментальных же данных о детском поведении фрейдисты, в сущности, не имели.

М. Бахтин считал, что с наибольшей наглядностью методологические изъяны фрейдистской философии культуры проявились в книге «Травма рождения» Отто Ранка — одного из ближайших учеников и сподвижников З. Фрейда. Пафос этой книги, ее определяющую идею М. Бахтин назвал «чудовищной конструкцией». По достоинству оценивая эту «конструкцию», он утверждал: «Вся жизнь человека и все его культурное творчество является, по Ранку, не чем иным, как *изживанием и преодолением на различных путях и с помощью*

различных средств травмы рождения... Избыть ужас рождения человек не может во всей последующей жизни... Но наилучшим суррогатом рая, наиболее полной компенсацией травмы рождения является... сексуальная жизнь... Методы Ранка в этой работе совершенно субъективны. Он не пытается дать объективного физиологического анализа травмы рождения и ее возможного влияния на последующую жизнь организма. Он ищет только воспоминания о травмах в снах, в патологических симптомах, в мифах, искусстве, философии» (VII, 95—98).

Чудовищность субъективных построений О. Ранка дошла, по мнению М. Бахтина, до того, что сходство с материнским лоном (*uterus'om*) он находил даже у некоторых архитектурных форм! Словом, книга О. Ранка — это «великолепный *reductio ad absurdum* (доведение до абсурда.— Лат.) некоторых сторон фрейдизма (VII, 98).

Целую главу своей книги М. Бахтин и В. Волошинов посвятили критике «марксистских апологий фрейдизма» в СССР<sup>31</sup>.

Здесь нет необходимости входить в подробное рассмотрение всех критических материалов, развернутых М. Бахтиным и В. Волошиновым в их работах о фрейдизме. Скажем лишь о том, что в этих работах тщательно проанализированы аргументация и общие выводы помянутых апологетов фрейдизма и показана полная несостоятельность их попыток сочетать психоаналитические теории З. Фрейда и его последователей с марксизмом. «Марксизм,— писали М. Бахтин и В. Волошинов,— далек от того, чтобы отрицать реальность *субъективно-психического*: оно, конечно, существует, но его ни в коем случае нельзя отделять от *материальной основы* поведения организма. *Психическое* — только одно из свойств организованной материи, и потому недопустимо противопоставлять его материальному, как особый принцип объяснения» (VII, 32—33).

М. Бахтин и В. Волошинов говорили далее, что психология человека еще и социологизирована. «Все основные, существенные в жизни человека поступки,— продолжали они,— вызываются социальными раздражителями в условиях социальной среды» (VII, 33).

Эти мысли и были подчеркнуты эпитафией (из



Маркса), предпосланным к книге: «... Сущность человека — это вовсе не абстракт, свойственный отдельному лицу. В своей действительности это есть совокупность всех общественных отношений...»

Что касается общей, итоговой оценки фрейдизма, его пафоса, места и значения в истории науки, она, эта оценка, была сформулирована М. Бахтиным и В. Волошиновым следующим образом: «Основное устремление буржуазной философии — создать мир по ту сторону социального, собрать в него все то, что можно абстрактно выделить из цельного человека, ипостазировать (олицетворить) эти абстрактные моменты и пополнить всевозможными фикциями. Космизм антропософии (Штейнер), биологизм Бергсона с прочими «*dii mi-poges*» (младшими богинями.— Лат.) философии жизни, и, наконец, разобранный нами психобиологизм Фрейда, каждое из этих трех направлений, поделивших между собой весь буржуазный мир,— по-своему служат этому устремлению буржуазной философии. Смешение воедино крайней абстракции с яркой полухудожественной или прямо художественной образностью характерно для всех трех направлений... Меньше всего пафоса у фрейдизма, поэтому и тенденции разложения у него обнаженнее, отчетливее, циничнее. И в итоге — сначала вся культура и история оказались суррогатом *coitus* (полового акта.— Лат. ), а потом и *coitus* — только суррогатом внутриутробного состояния зародыша. Остается сделать заключительный шаг и признать это последнее суррогатом чистого небытия. Было бы, по крайней мере, последовательно!»<sup>32</sup>.

Таково основное содержание, ведущие идеи и общий критический пафос книги В. Волошинова и М. Бахтина «Фрейдизм».

Выход в 1920-х годах этой книги в свет явился важным событием в научной жизни страны. В одном из публичных откликов той поры ей давалась положительная оценка. Рецензент, в частности, писал: «Небольшая по объему работа тов. Волошинова пытается разрешить три задачи: во-первых, определить место и значение психоанализа в современной философской и психологической мысли; во-вторых, дать изложение основных идей Фрейда и его учеников и, наконец, вскрыть наиболее слабые пункты этих идей и, таким образом, кри-

тически их преодолеть. Все эти три задачи выполнены в работе со знанием дела, убедительностью и ясностью».

Рецензент отмечал далее, что «критический разбор фрейдизма дан в работе по нескольким линиям. Прежде всего вскрыты его недостатки, связанные с крайним субъективизмом самой фрейдистской теории. В книге разобраны... ошибки, возникшие из-за индивидуалистического подхода психоанализа к проблемам социального порядка. В заключительной части содержится критика имевших место попыток сочетать фрейдизм с марксизмом.

В рецензии отмечалось, что автор книги совершенно правильно указал, что «по всем своим методам и приемам психоанализ является лишь разновидностью субъективной психологии». «...отрыв от физиологической базы составляет характернейшую черту психоанализа».

Оправданной считал рецензент позицию автора, сосредоточившего «свое внимание преимущественно на сексуальной теории, совершенно справедливо усматривая в ней центральный пункт всего построения».

Отмечен лишь один недостаток рецензированной книги: не совсем ясно, почему фрейдизм имел успех как клиническая теория.

В заключение автор рецензии отмечал, что недостатки ее не могут заслонить собой достоинств, заключающихся в том, что написана она «ясно, сжато и достаточно глубоко». «Трезвый марксистский подход ее к весьма остро поставленным проблемам производит стройное впечатление и, конечно, будет иметь большое значение»<sup>33</sup>.

Появление в середине 1920-х годов книги В. Волошинова и М. Бахтина в России имело большое значение и для западно-европейской науки. Недаром она вскоре же была переведена на основные европейские языки и приобрела множество читателей. В годы, когда фрейдизм, казалось, достиг предела популярности, книга русских ученых отрезвляющим образом действовала на умы читателей, множила ряды тех, кто проникался критическим отношением к нему, кто преодолевал апологетический взгляд на психоаналитические теории З. Фрейда и его последователей.

Влияние фрейдистских идей на Западе поныне еще весьма велико, особенно в области эстетики, искусства,

литературы и общей философии культуры, о чем свидетельствуют многочисленные факты. Это не случайно. В. Волошинов и М. Бахтин уже в пору издания своей книги понимали всю сложность вновь возникших проблем, когда прозорливо писали: «Фрейдизм — грандиозное построение, основанное на чрезвычайно смелой и оригинальной интерпретации фактов, построение, которое не перестанет поражать свою неожиданностью и парадоксальностью, даже если признать все эти приводимые в его доказательство внешние факты. Сами факты проверяются, подтверждаются или отвергаются повторными наблюдениями или контрольными опытами. Но на критическом отношении к основам конструкции это не может отразиться» (VII, 123).

Конечно, с конца 1920-х годов (когда писались приведенные строки) до наших дней многое изменилось в тех отраслях знаний, о которых здесь идет речь. От некоторых положений своей книги отказались бы без сожаления и М. Бахтин, и В. Волошинов. Но при всем этом есть основание полагать, что основной ее критический пафос и теперь не бесплоден. Мы не говорим уж и о том, что книга эта поучительна и во многих других отношениях...

\* \* \*

В книге «Фрейдизм» ее авторы, говоря о М. Шелере, сделали следующее подстрочное примечание: «Шелеру мы посвящаем особую главу вготавливаемой нами к печати книге «Философская мысль современного Запада» (VII, 21—22).

Сразу же заметим, что такую книгу в это время мог готовить к опубликованию только М. Бахтин. В. Волошинов в этот период был занят совершенно другим делом<sup>34</sup>. Что касается Михаила Михайловича, у него такая книга могла сложиться из его философских лекций, которые он в эти годы читал в различных аудиториях (в том числе и о Максе Шелере).

Известно, однако, что книга под помянутым заглавием в свет не выходила — ни в 1920-х годах, ни позже. Была ли она завершена или осталась в рукописи, что помешало ее опубликованию — об этом мы, к

сожалению, ничего определенного не знаем. Можно лишь предполагать, что дело с изданием могло расстроиться из-за ареста в 1928 году ее автора.

Пессимистический характер многих философских теорий этого времени, стремление авторов этих теорий уйти «прочь из мира истории и социального в соблазнительную теплоту органического самодовления и изживания жизни», перенесение центра тяжести в исследовании человека «в изолированный биологический организм» — эти явления М. Бахтин связывал с глубоким общеевропейским общественным кризисом, порожденным мировой войной 1914—1918 годов и последовавшими вслед за ней революционными потрясениями в России и на Западе. Важнейшим последствием этих потрясений явился раскол мира на противостоящие друг другу социально-экономические и политические системы. М. Бахтин (В. Волошинов) писали: «Философия «чистого познания» (Кант), творческого «я» (Фихте), «идеи и абсолютного духа» (Гегель) — эта достаточно энергичная и по-своему трезвая философия героической эпохи буржуазии (конец XVIII, первая половина XIX века) — была еще полна исторического и буржуазно-организаторского пафоса. Во второй половине века она все больше и больше мельчала и застывала в мертвенных и неподвижных схемах школьной философии эпигонов (неокантианцев, неогегельянцев, неофихтеанцев) и, наконец, в наше время сменяется пассивной и дряблой философией жизни, биологически и психологически окрашенной, спрягающей на все лады и со всеми возможными префиксами и суффиксами глаголы «жить», «переживать», «изживать», «вживаться», и т. п.» (VII, 18—19).

При всем разнообразии теорий и мнений, характерных для современных мыслителей Запада, всех их, говорил М. Бахтин, объединяют три основных мотива:

1) *в центре философского построения находится биологически понятая жизнь.* Изолированное органическое единство объявляется высшей ценностью и критерием философии;

2) *недоверие к сознанию.* Попытка свести к минимуму его роль в культурном творчестве. Отсюда критика кантианства, как философии сознания;

3) *попытка заменить все объективные социально-*

экономические категории субъективно-психологическими или биологическими. Стремление понять историю и культуру непосредственно из природы, минуя экономику» (VII, 19).

Эти выводы М. Бахтин вслед за тем подтверждает кратким, но выразительным анализом определяющих философских идей А. Бергсона, Г. Зиммеля, У. Джемса, Г. Гомперца, О. Шпенглера, М. Шелера.

Из всех мыслителей первых десятилетий XX века М. Бахтин выделял Макса Шелера (1874—1928), считал его самым влиятельным немецким философом «наших дней» и главным представителем «феноменологического направления». О М. Шелере и его философских взглядах Михаил Михайлович читал публичные лекции в кружках питерской интеллигенции. М. Бахтин отмечал, что «русских работ о Шелере нет, за исключением одной статьи: «Макс Шелер, католицизм и рабочее движение» («Под знаменем марксизма», 1926, № 7—8) (VII, 21—22). В данном же случае он обратился к М. Шелеру потому, что в одной из своих работ М. Шелер уделил «ряд страниц анализу и оценке фрейдизма» (VII, 22).

Дело, конечно, не только и не столько в каких-то страницах, которые М. Шелер посвятил З. Фрейду. Немецкий философ-феноменолог интересовал М. Бахтина и по ряду других причин, в частности, как один из основоположников философской антропологии, социологии познания и аксиологии. В работах М. Шелера Михаил Михайлович не мог не почувствовать острого ощущения кризиса европейской культуры. Не могла не привлечь внимания М. Бахтина и этика М. Шелера, противопоставленная формализму и абстрактности этики Канта, направленная на пробуждение нравственных ценностей в сознании людей. В связи с этим и была предпринята М. Шелером попытка построить иерархию объективных ценностей.

Важное место в этике М. Шелера отводилось любви, которая рассматривалась как акт восхождения, которое сопровождается мгновенным постижением высшей ценности объекта. Своеобразие любовного чувства в том, что оно может относиться только к личности как носителю ценности, а не наоборот, к ценности самой по себе.

В исследованиях по социологии познания М. Шелер стремился обосновать мысль о многообразии исторических условий, которые способствуют или препятствуют осуществлению различных ценностей «жизненных», «духовных» и религиозных.

Не мог не обратить на себя внимания незавершенный труд М. Шелера под заглавием «Место человека в космосе» (1928 г.), в котором немецкий мыслитель выступил как один из основоположников философской антропологии. Связав жизнь человека с жизнью космической, М. Шелер развивал мысль о том, что основные принципы бытия людей определяются могущественным, но слепым жизненным «порывом» и всепостигающим, но бессильным духом.

Испытав влияние Э. Гуссерля (1859—1938), М. Шелер, в свою очередь, явился непосредственным предшественником Мартина Хайдеггера (1889—1976) с его учением о бытии («Фундаментальной онтологии») и экзистенции как подлинном существовании.

Что касается общей оценки М. Бахтиным философии М. Шелера, она не расходилась с его оценками предшественников и современников М. Шелера. «Те же мотивы, но в более осложненной форме, мы найдем и у ... Макса Шелера. Борьба с психологизмом, борьба с примитивным биологизмом, проповедь объективизма связывается у Шелера с глубоким недоверием к сознанию и его формам, с предпочтением интуитивных способов познания. Все положительные, эмпирические науки Шелер, примыкая в этом к Бергсону, выводит из форм приспособления биологического организма к миру» (VII, 21).

Из ближайшего окружения М. Бахтина вышла статья под названием: «Современный витализм». Автор — И. Канаев — один из ближайших питерских друзей Михаила Михайловича.

Статья была опубликована в популярном естественно-научном журнале «Человек и природа» (1926, № 1—2). На этот раз М. Бахтин и его соавтор И. Канаев подвергли обстоятельному анализу и критике витализм — одно из направлений в естествознании начала XX века. Виднейшим представителем этого направления был немецкий биолог (эмбриолог) и философ Ганс Дриш (1867—1941).

Известно, что в спорах с механистами (не ви-

девшими принципиальной разницы между живой и неживой материей, сводя сущность того и другого к действию физико-химических сил) виталисты считали жизнь феноменом автономным. Это значит, что «она подчиняется своим особым элементарным законам», в «ней действуют особые жизненные силы, которых нет в остальной природе». «Жизнь, правда, не нарушает физических и химических законов, но сполна она ими необъяснима: в живом организме всегда останется некоторый остаток, принципиально несводимый к действию физико-химических сил; этот остаток и есть то своеобразное качество жизни, которое должен объяснить нам биолог; физику и химику с этим качеством нечего делать»<sup>35</sup>.

Были и такие биологи, которые не отвергали позиций ни первых, ни вторых, считая, что основной вопрос биологии — что такое жизнь — научно пока неразрешим (на современном этапе знаний), что целесообразнее заняться «продуктивными исследованиями в области частных специальных вопросов органической жизни, где у нас есть твердая и надежная почва под ногами». Не лучше ли отказаться «с самого начала от общего и принципиального разрешения проблемы жизни и предоставить ее умозрительным философам?»

Внешне убедительная, эта точка зрения, по словам И. Канаева и М. Бахтина, является несостоятельной, потому что нельзя вести успешно никаких исследований, даже частных, не имея руководящего *метода* исследования.

Здесь нет необходимости в том, чтобы излагать подробно ход размышлений и аргументацию наших авторов, отвергших позиции и механистов, и виталистов, и своеобразных «примирителей». А свой конечный вывод они сформулировали так: «Как всякая метафизическая концепция, дришевская теория пользуется субъективными схемами внутреннего опыта. И, наконец, все построение проникнуто субъективными оценочными определениями, которые некритически переносятся на предметы внешнего опыта, как их объективные качества... Противопоставлять Дришу следует не наивно-механическую точку зрения, способную оперировать с готовыми и неподвижными машинами, не давая себе даже отчета, что машина всего только образная аналогия, а

точку зрения современного *диалектического* материализма. Только на его почве возможно адекватное научное выражение таким сложным явлениям жизни, как органические регуляции»<sup>36</sup>.

В статье о витализме (сам М. Бахтин говорил о неовитализме) ее авторы затронули и весьма важную эстетическую проблему. Так, показав научную несостоятельность дришевского понятия гармонии, они заключили: «Гармония — такое же субъективное определение, — как и красота кристалла или изящество лани. Конечно, в известном смысле такие определения объективны, но только не в том предмете, к которому они относятся, а в физиологическом и психическом аппарате воспринимающего. В этом смысле можно говорить об объективном биологическом значении красоты в природе: красивое оперение птиц иначе раздражает воспринимающий аппарат животного, чем некрасивое, тусклое и однообразное, и, благодаря этому, оно приобретает особое биологическое значение. Но такая правильная объективация красоты ничего общего не имеет с совершенно недопустимым некритическим перенесением ее на воспринимаемый объект, где красоту помещают рядом с физическими и химическими качествами его»<sup>37</sup>.

Таково основное содержание статьи «Современный витализм», опубликованной в самом начале 1926 года под именем И. И. Канаева.

Опуская выразительные, хотя и краткие, бахтинские характеристики философских воззрений А. Бергсона (1859—1941) с его учением о биологически понятом «едином жизненном порыве» («жизненном потоке»), Г. Зиммеля (1858—1918) с его попытками свести все культурные ценности к замкнутому органическому единству индивидуальной жизни, О. Шпенглера (1880—1936) с его стремлением применить биологические категории к пониманию исторического процесса, У. Джемса (1842—1910) и его последователей связать все виды культурного творчества с биологическими процессами приспособления и целесообразности, скажем еще раз об общем понимании и общей оценке М. Бахтиным философской мысли Запада последних десятилетий XIX — первых десятилетий XX века. «Не-социальное, не-историческое в человеке абстрактно выделяется и объявляется высшим мерилom и критерием всего соци-



ального и исторического... Абстрактный биологический организм опять стал главным героем буржуазной философии XX века» (VII, 18).

Слово «опять» здесь не случайно. Биологизм — своеобразный спутник кризисных эпох истории. По мнению М. Бахтина, «мотив всеилия и мудрости природы (и прежде всего природы в человеке — его биологических влечений) и бессилия праздной и ненужной суеты истории — одинаково звучит нам, пусть и с различными нюансами и в разных эмоциональных тонах, в таких явлениях, как эпикурейство, стоицизм, литература римского упадка (например, «Сатирикон» Петрония), скептическая мудрость французских аристократов конца XVII—XVIII века» (VII, 18).

В этом же ряду стоит и «сексуальное» Фрейда — крайний полюс «модного биологизма» (VII, 23).

Таковы некоторые идеи М. Бахтина относительно основных направлений и течений в развитии философской мысли Запада в конце XIX—первых десятилетиях XX века, — идеи, высказанные им в книге о З. Фрейте.

\* \* \*

С именем М. Бахтина связывается ныне целый ряд работ по общему языкознанию, вышедших в свет в те же 1920-е годы (второй половине) под именем все того же В. Н. Волошинова. Среди них — «Слово в жизни и слово в поэзии (К вопросам социологической поэтики)», «Марксизм и философия языка (Основные проблемы социологического метода в науке о языке)», «Новейшие течения лингвистической мысли на Западе», «Конструкция высказывания», «О границах поэтики и лингвистики».

Нередко возникают сомнения относительно принадлежности М. Бахтину только что названных работ по философии языкознания. Мы уже указывали, в частности, на статью «М. М. Бахтин или В. Н. Волошинов? (К вопросу об авторстве книг и статей, приписываемых М. М. Бахтину)», опубликованную в 1991 г. в «Литературном обозрении». Сомнение возникло в отношении книги «Марксизм и философия языка». Сущность проблемы так сформулирована автором статьи: «На

фоне всемирной известности работ М. М. Бахтина, открытого и замаскированного подражания ему почти забыто имя В. Н. Волошинова, хотя его труды 1920-х годов являются классическими для советской психологии и лингвистики... Известно, что он (Волошинов.— Авторы), в отличие от М. М. Бахтина, учился в 1922—1924 гг. на этнолого-лингвистическом отделении Петроградского университета, а впоследствии продолжил свои научные занятия в Институте сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока (под руководством в том числе известного лингвиста Н. Ф. Яковлева) и в начале 1930-х годов стал доцентом Педагогического института им. А. И. Герцена и старшим научным сотрудником Института языковой культуры».

Что касается М. Бахтина, говорится далее в цитируемой статье, он в своей автобиографии (1944 г.) «ничего не говорит о своих занятиях психологией и лингвистикой», а позднее «не подтвердил официально, печатно своего участия в создании книг и статей В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева»<sup>38</sup>.

В действительности все было не совсем так, как это представляется автору цитируемой статьи.

Странно звучит заявление о том, что М. Бахтин, в отличие от В. Волошинова, не изучал в университете ни психологии и ни языкознания.

Мы уже говорили ранее о том, что в Новороссийском университете Михаил Михайлович учился психологии и философии у известного в ту пору профессора Н. Н. Ланге, а затем продолжил эти занятия в Петроградском университете под руководством А. И. Введенского, Н. О. Лосского и других профессоров столичного университета. Что касается общего языкознания, заметим, что к этой отрасли научного знания он приобщился еще в гимназические годы. Ранее мы уже говорили о том, что М. Бахтин свободно владел целым рядом языков — древних (греческий и латинский) и новых (немецкий, французский, английский, итальянский и датский). На этих языках он читал литературу — художественную и научную. Надо ли говорить о том, что в процессе изучения этих языков Михаилу Михайловичу по необходимости приходилось обращаться и к фундаментальным исследованиям по теоретическому языкознанию?

В. Н. Волошинов был, конечно, незаурядным человеком, вследствие чего и стал одним из близких друзей М. Бахтина. Но должны еще раз напомнить, что учился он поначалу (как и П. Н. Медведев) на юридическом факультете университета. Особенное же пристрастие имел к музыке и поэзии, писал музыкальные и литературные произведения (стихи лирические, произведения других жанров), о чем и писал в своей краткой автобиографии при поступлении (повторном) в Петроградский университет в 1922 году. Есть основание считать, что именно под влиянием М. Бахтина он избрал этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук университета. Мало того, не без влияния Михаила Михайловича В. Н. Волошинов стал заниматься проблемами философии языка (металингвистики), т. е. тем, чем занимался в эту пору его друг, несравненно более искушенный в науках филологических. В связи с этим уместно еще раз напомнить здесь об одном из писем М. Бахтина 1921 года, в котором он писал своему другу М. И. Кагану: «Теперь я, пользуясь невольным досугом (во время очередного воспалительного процесса в ноге.— Авторы), много работаю, особенно по эстетике и по психологии; очень бы хотел побеседовать с Вами; надеюсь, что это скоро удастся»<sup>39</sup>.

Возобновив свои занятия в университете и на другом его факультете, В. Н. Волошинов, естественно, был озабочен тем, чтобы поскорее и успешнее завершить свою научную подготовку. В это время он нуждался в помощи М. Бахтина, который охотно ему ее оказывал. Понятно, что только после успешного окончания университета и аспирантуры (и защиты диссертации) В. Н. Волошинов получил возможность и *право* работать и в Ленинградском пединституте им. А. И. Герцена, и в Институте языковой культуры (после чего, скажем в скобках, он не опубликовал ни одной сколько-нибудь значительной работы по теоретическому языкознанию).

Приведенные факты позволяют сказать, что проблема бахтинского авторства (в форме дилеммы: М. Бахтин или В. Волошинов?) не только формально правовая. Это проблема такого научного сотрудничества двух ученых, в котором определяющее слово принадлежало одному из них, именно — М. Бахтину. В этом

легко убедиться, обратившись к изучению, в частности, таких «сквозных» фундаментальных идей бахтинского творчества, как идеи авторства, речевого высказывания и диалога. Эти идеи берут свое начало в исследованиях М. Бахтина самого начала 1920-х годов. Они прошли и получили новое развитие в работах по общему языкознанию, известных теперь под именем В. Н. Волошинова. Эти же идеи, наконец, заняли определяющее место и в исследованиях М. Бахтина 1930—1970-х годов.

Истоки бахтинской теории авторства — в его трактате «Автор и герой в эстетической деятельности». С этого времени категория авторства внешне менялась, по существу же шло развертывание «во времени тех смысловых потенций, которые были заложены в нее изначально»<sup>40</sup>.

В названном трактате автор (художник) — главная активная (творческая) сила. Активность его направлена на героя («другого»). Они («Я» и «Другой») — участники эстетического события.

В работах ученого второй половины 1920-х годов, в частности, в работах по общему языкознанию, проблема «автор — герой» принимает другой вид: в нее включается «третий», т. е. читатель (слушатель, зритель). В статье «Слово в жизни и слово в поэзии» читаем: «...*Всякое действительно произнесенное (или осмысленно написанное), а не дремлющее в лексиконе, слово есть выражение и продукт социального взаимодействия трех: говорящего (автора), слушателя (читателя) и того, о ком (или о чем) говорят (героя). Слово — социальное событие, оно не довлеет себе, как некая абстрактно-лингвистическая величина, не может быть и психологически выведено из изолированно взятого субъективного сознания говорящего*»<sup>41</sup>.

Зная «третьего» (читателя), автор в своей творческой деятельности ориентируется прежде всего на него. Полноправными участниками эстетического события являются теперь троё: автор — герой — читатель (слушатель, зритель).

В 1930-е и в последующие годы в бахтинской теории авторства на первый план выдвигается внеличностное начало. В отношении «автора-героя» вторгается само бытие, частью которого является язык. Объектом исследования ученого становится речевая деятельность

людей. Общество воздействует на личность через язык, без которого немислима и внутренняя жизнь личности. Автор, в сущности, пассивен. Он по-прежнему находится в центре произведения, но его роль теперь сводится к тому, чтобы сгармонизировать, поставить в диалогические отношения различные речевые формы и пласты. Автор — скорее всего лишь медиум, в котором сходятся различные языковые стихии, подавляющие его собственный голос. Яркий пример такого авторства — Франсуа Рабле в его знаменитом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». «... Задача Рабле,— говорит М. Бахтин,— разрушить официальную картину эпохи и ее событий, взглянуть на них по-новому, осветить трагедию или комедию эпохи с точки зрения *смеющегося народного хора на площади*» (VI, 485).

Единица речевого общения — высказывание. Формы высказываний бесконечно разнообразны — от простейшей бытовой реплики и лаконичной воинской команды до сложного литературного произведения или не менее сложного философского трактата.

Всякое высказывание предполагает не только говорящего, но и слушающего. Оно всегда рассчитано на «другого», на ответную реакцию. Не является исключением и внутренняя речь. Конструирующими ее форму элементами М. Бахтин считал интонацию, выбор и размещение слов в высказывании. Связь с ситуацией и аудиторией создается прежде всего интонацией. «Одно и то же слово,— говорит он,— одно и то же выражение, произнесенное с различной интонацией, принимает и различное значение. Бранное имя может стать ласкательным, ласкательное — бранным... интонация — это звуковое выражение социальной оценки»<sup>42</sup>.

В качестве наглядного примера М. Бахтин привел здесь различные формы интонации и размещения слов в речи Чичикова в его контактах с Плюшкиным и генералом Бетрищевым. «Принцип выбора слов для Чичикова в данной ситуации (в беседе с генералом Бетрищевым.— Авторы) был очень прост: высокое социальное положение слушателя требовало и «высоких», необычных, слов и «высокого», приподнятого, стиля. Те слова, которые были обычны в разговоре с помещиком средней руки или чиновником невысокого ранга, казались здесь недопустимыми. И не только слова. Самое располо-

жение их должно было быть особенным, придававшим речи плавное, ритмическое течение, какую-то музыкальность, поэтичность. Недостаточно было просто и ясно изложить свою мысль: требовалось ее украсить сравнениями, расцветить особыми оборотами речи, сделать ее чуть ли не художественным произведением, чуть ли не стихами»<sup>43</sup>.

К этому же примеру М. Бахтин возвращается еще раз в статье «Проблема речевых жанров» (1951—1952 гг.). Говоря о влиянии адресата (в зависимости от его титула, ранга, чина, имущественного и общественного веса и пр.) на построение и стиль высказывания, он писал (в подстрочном примечании): «Напомню соответствующее наблюдение Гоголя: «Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения... У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот; словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки» («Мертвые души», гл.3)» (IV, 292).

Характерно, что ученый, повторяя мысль из статьи «Конструкция высказывания» (значащейся под именем В. Н. Володинова), никак не выражает своего отношения к ее автору как к своему предшественнику. Не выражает, очевидно, потому, что считал эту работу своей.

Что касается категории диалога, говорить о ней здесь вряд ли нужно, поскольку ее место в бахтинском творческом наследии является давно установленным и не вызывающим никаких сомнений.

Возвращаясь к статье «М. М. Бахтин или В. Н. Володинов?», заметим, что ее автор не отвергает аргументации тех, кто считает бахтинской книгу «Марксизм и философия языка». Он полагает, что эта аргументация «недостаточна». И потому заключает: «Очевидно, в данном случае разумнее говорить о диалогическом влиянии ученого (т. е. Бахтина.— Авторы) на своего товарища по жизни и научным интересам... Для славы М. М. Бахтина вполне достаточно тех исследований, под которыми по праву стоит его имя. Такова была и его авторская воля»<sup>44</sup>.

Вряд ли подобные обоснования и аргументы можно признать правомерными и убедительными.

В теоретических работах по языкознанию М. Бахтин впервые обратился к марксистской методологии, имея конечной целью разработку проблем, связанных с созданием социологической поэтики. Об этом свидетельствуют, в частности, подзаголовки двух его работ: в одном случае — «К вопросам социологической поэтики» («Слово в жизни и слово в поэзии»), в другом — «Основные проблемы социологического метода в науке о языке» («Марксизм и философия языка»).

Статья «Слово в жизни и слово в поэзии» является первой в серии исследований, посвященных М. Бахтиным и В. Волошиновым теоретическим вопросам литературоведения и языкознания. Подробное рассмотрение этих вопросов — дело специальных исследований, которые уже и ведутся. Здесь же обратим внимание лишь на некоторые из них.

Исходя из убеждения в необходимости и возможности создания социологической поэтики, авторы статьи обратили внимание прежде всего на неудовлетворительное состояние современного им литературоведения и искусствознания. Теоретики литературы и искусства игнорируют социологический метод исследования, считая, что он неприменим там, где речь идет о проблемах теоретической поэтики, т. е. всего круга вопросов, касающихся «художественной формы, ее различных моментов, стиля и пр.». «Искусство,— говорится в статье,— трактуется так, как если бы оно «по природе» было в такой же степени несоциологично, как несоциологична физическая или химическая структура тела. Большинство западно-европейских и русских искусствоведов так именно и утверждают относительно литературы и всего искусства и на этом основании настойчиво отгораживают искусствознание как специальную науку от каких бы то ни было социологических подходов»<sup>45</sup>.

Подобные взгляды, по убеждению авторов статьи, противоречат марксистской методологии, ее монизму и историчности. В этой связи подвергнут критике П. Н. Сакулин за его теорию «двух рядов» (имманентного и каузального), которая допускает возможность разрыва между историей и теорией, формой и содержанием.

В статье утверждается мысль о том, что все идеологические образования внутренне социологичны. «Эстетическое — так же, как и правовое и познавательное, — только разновидность социального, — теория искусства может быть, следовательно, только социологией искусства. Никаких «имманентных» задач у нее не остается».

Этот вывод снабжен следующим подстрочным примечанием: «Мы различаем теорию и историю искусства только в порядке технического разделения труда. Никакого методологического разрыва между ними не должно быть. Исторические категории применяются, конечно, решительно во всех областях гуманитарных наук как исторических, так и теоретических»<sup>46</sup>.

Для успешного применения социологического анализа в поэтике необходимо, по мнению авторов статьи, отрешиться от двух ложных воззрений: от фетишизации художественного произведения-вещи и от абсолютизации психики, т. е. от попыток сводить эстетическое к индивидуальной психике творца или созерцателя.

Сторонники первой точки зрения, выдвигая на первый план исследования структуру (форму) произведения, теряют творца и созерцателя; сторонники второй выдвигают на первый план творца, теряя при этом форму произведения.

Критику формализма (как уже отмечалось) М. Бахтин начал еще в статье «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» и в книге П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении». Теперь — в связи с изучением слова как явления жизни и поэтической культуры.

Как прежде, так и теперь, для М. Бахтина неприемлемо сведение произведения искусства к его материалу, поэтического произведения к абстрактно-лингвистическим элементам. Поэтическое слово, по его убеждению, — явление «культурного общения». Только при таком подходе к нему оно может быть понято в неразрывной связи с породившей его социальной средой.

Равно неприемлемы для М. Бахтина попытки «найти эстетическое в индивидуальной психике творца или созерцателя». Обобщая свои наблюдения, ученый говорит: «...художественное в своей целокупности находится не в вещи, и не в изолированно взятой психике творца и не в психике созерцателя, — «художественное» обнимает



все эти три момента. Оно является *особой формой взаимоотношения творца и созерцателей, закрепленной в художественном произведении*<sup>47</sup>.

Свою задачу авторы статьи видят в том, чтобы понять и представить «форму поэтического высказывания, как форму этого особого эстетического общения, осуществленного на материале слова». Для этого необходимо рассмотреть «некоторые стороны словесного высказывания вне искусства — в обычной *жизненной речи*», содержащей в себе основы «будущей художественной формы»<sup>48</sup>.

Нет и не может быть сомнений в том, что именно М. Бахтину принадлежит мысль о *слове*, рождающемся «из внесловесной жизненной ситуации». «Более того, *слово* непосредственно восполняется самой жизнью и не может быть оторвано от нее без того, чтобы не утратить своего смысла»<sup>49</sup>.

В статье, о которой идет речь, эта мысль подтверждена неотразимыми примерами, не оставляющими каких-либо сомнений в справедливости вывода ученого. Опираясь на явления повседневной речевой практики, М. Бахтин делает и другой вывод: «Внесловесная ситуация отнюдь не является... только внешней причиной высказывания... Нет, *ситуация входит в высказывание, как необходимая составная часть его смыслового состава*»<sup>50</sup>.

М. Бахтин установил, что важная роль в речевом общении принадлежит интонации. Она может быть (в зависимости от ситуации, контекста высказывания) ликующей, скорбной, презрительной и т. д. Но она *всегда лежит на границе словесного и не-словесного, сказанного и не-сказанного*. В интонации слово непосредственно соприкасается с жизнью»<sup>51</sup>.

М. Бахтин показал, что интонация как бы размыкает ситуацию (контекст) и выводит слово за его словесные пределы, давая место *третьему* участнику речевого общения. «Почти всякая живая интонация возбужденной жизненной речи, — говорится в статье, — протекает так, как если бы за предметами и вещами она обращалась к живым участникам и двигателям жизни, — ей в высшей степени присуща *тенденция к персонификации*. Если интонация не умеряется, как в нашем примере, некоторой долей иронии, если она наивна и непосредственна, то из нее рождается мифологический об-

раз, заклинание, молитва,— так и было на ранних ступенях культуры»<sup>52</sup>.

В живом речевом общении, считал М. Бахтин, интонация «гораздо метафоричнее слов»,— в ней как бы жива еще древняя, мифотворческая душа. «Интонация звучит так, как будто мир вокруг говорящего еще полон одушевленных сил: она грозит, негодует или любит и ласкает неодушевленные предметы и явления, в то время как обычные метафоры разговорного языка в большинстве своем выветрились...»<sup>53</sup>

В один ряд с интонационной метафорой М. Бахтин ставил метафору жестикуляционную. Обе они нуждаются в «хоровой поддержке» окружающих. Размыкая ситуацию речевого общения, они вводят *третьего* участника — *героя*. В них всегда «заложено живое, энергичное отношение к внешнему миру и к социальному окружению — к врагам, друзьям, союзникам».

Обобщая свои размышления, М. Бахтин говорит о том, что жизненный смысл и значение высказывания не совпадают с чисто словесным составом высказывания. Сказанные слова пропитаны подразумеваемым и несказанным. Слово — это как бы «сценарий» некоторого события.

Лингвистика имеет дело с абстрактным, голым словом. «...поэтому-то целостный смысл слова и его идеологическая ценность — познавательная, политическая, эстетическая — недоступны для этой точки зрения. Как не может быть лингвистической логики или лингвистической политики, так не может быть и лингвистической поэтики»<sup>54</sup>.

От «слова в жизни» М. Бахтин переходит к «слову в поэзии», утверждая, что между ними нет непроходимой грани, потому что и поэтическое произведение тесно вплетено в невысказанный контекст жизни. «Можно сказать,— продолжает он,— что *поэтическое произведение — могущественный конденсатор невысказанных социальных оценок*: каждое слово его насыщено ими. Эти социальные оценки и организуют художественную форму как свое непосредственное выражение»<sup>55</sup>.

В связи с этим необычайно возвышается роль и значение *слушателя* и *героя*. «Простой выбор эпитета или метафоры есть уже активный оценивающий акт, ориентирующийся в обоих направлениях: к слушателю и к герою... Задача социологической поэтики была бы

разрешена, если бы удалось объяснить каждый момент формы как активное выражение оценки в этих направлениях — к слушателю и к предмету высказывания — к герою. Но для выполнения такой задачи в настоящее время слишком мало данных»<sup>56</sup>.

Вновь и вновь М. Бахтин возвращается к формалистам, которые определяют «художественную форму как форму материала». При таком подходе для содержания в художественном произведении не остается места, а форма теряет свой активный (оценивающий) характер и становится всего лишь возбудителем приятных ощущений в воспринимающем.

Особенно отчетливо ценностное значение формы проявляется, по мнению ученого, в поэзии. Форма (ритм и другие формальные элементы) здесь активна по отношению к изображаемому: она его воспевает, оплакивает или высмеивает... Вместе с тем форма не должна переходить в содержание в виде сентенции, морального или политического суждения. Она должна оставаться в ритме, в самом ценностном движении эпитета, метафоры, не теряя при этом связи с содержанием.

Социологический анализ может исходить только из словесного, лингвистического материала, но он не должен в нем замыкаться (как это делает лингвистическая поэтика). «И в поэзии,— говорит М. Бахтин,— слово — «сценарий» события,— компетентное художественное восприятие разыгрывает его, чутко угадывая в словах и в формах их организации живые специфические взаимоотношения третьим участником — слушателем»<sup>57</sup>. Там, где лингвистика видит только слова, для художественного восприятия и конкретного социологического анализа раскрываются отношения между людьми.

Форма поэтического произведения, считал М. Бахтин, во многом определяется тем, как ощущает автор своего героя. Именно степень близости автора и героя определяется «форма объективного повествования, форма обращения (молитва, гимн, некоторые лирические формы), форма самовысказывания (исповедь, автобиография, форма лирического признания — важнейшая форма любовной лирики...»<sup>58</sup>.

Затронута в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» и проблема внутренней речи, с помощью которой поэт «думает и осознает себя даже тогда, когда он не

высказывается». Речь внешняя не может идти вразрез с внутренней. «... Всякий сколько-нибудь отчетливый акт сознания, — говорится в статье, — не обходится без внутренней речи, без слов и без интонации — оценок и, следовательно, уже является социальным актом, актом общения. Даже наиболее интимное самосознание есть уже попытка перевести себя на общий язык, учесть точку зрения другого, и, следовательно, включает в себя установку на возможного слушателя. Этот слушатель может быть только носителем оценок той социальной группы, к которой принадлежит сознающий. В этом отношении сознание... уже не есть только психологическое, но прежде всего идеологическое явление, продукт социального общения»<sup>59</sup>.

«Слово в жизни и слово в поэзии» — своеобразная увертюра к книге «марксизм и философия языка (Основные проблемы социологического метода в науке о языке)» и к серии статей по вопросам философии языка. Здесь нет ни возможности, ни необходимости в сколько-нибудь подробном их рассмотрении. Ограничимся лишь самыми общими замечаниями относительно книги «марксизм и философия языка».

В предисловии ко второму изданию названной книги ее авторы так определили смысл и значение своего научного труда: «До сих пор по философии языка нет еще ни одной марксистской работы. Более того, нет сколько-нибудь определенных и развитых высказываний о языке в марксистских работах, посвященных иным, близким темам. Вполне понятно, что наша работа, являющаяся, в сущности, первой, может ставить себе лишь самые скромные задачи» (VIII, 9). Именно — «наметить лишь основное направление подлинно марксистского мышления о языке и те опорные методологические пункты, на которые должно опираться это мышление в подходе к конкретным проблемам лингвистики» (VIII, 9).

Однако эта задача осложнилась тем, что в марксистской литературе нет еще общепринятого определения специфики идеологических явлений. В этой области, по мнению авторов, широко распространены различные идеалистические или грубо механические теории и представления (психологический субъективизм, позитивизм, вульгарный материализм). Понятно, что путь к марксистской философии языка в этих обстоятельствах не

прост и не легок. В особенности еще и потому, что нет никаких специальных работ, на которые можно было бы опереться.

Вслед за этим в книге дается краткая характеристика каждой из трех ее частей.

В первой части под заглавием «Значение проблемы философии языка для марксизма» дается обоснование значения проблем философии языка для марксистской методологии. Это, по убеждению авторов книги, важно потому, что и в СССР, и на Западе философские проблемы языка выдвигаются на первый план, приобретая необычайную остроту и принципиальность<sup>60</sup>. «Можно сказать, — говорят они, — что современная буржуазная философия начинает развиваться под знаком слова... Идет оживленная борьба вокруг «слова» и его систематического места, борьба, аналогию которой можно найти только в средневековых спорах реализма, номинализма и концептуализма». Это тем более справедливо, что «традиции этих философских направлений средневековья начинают до известной степени оживляться в реализме феноменологов и концептуализме неокантианцев» (VIII, 10—11).

Интерес к общефилософским проблемам языка возник в последнее время даже и у позитивистов, ранее преклонявшихся только перед голым фактом.

Все это говорит о кризисе, который переживает лингвистика, стоящая в стороне от реальных запросов жизни и науки.

Во второй части книги под заглавием «Путь марксистской философии языка» авторы попытались разрешить «проблему реальной данности языковых явлений» — одну из основных в философии языка. Критическому рассмотрению подвергнуты здесь два основных направления в науке о языке: индивидуалистический субъективизм (В. Гумбольдт, А. А. Потенция, К. Фосслер) и абстрактный объективизм («Женевская школа» Фердинанда де-Соссюра).

Оценивая сущность этих направлений, авторы книги писали: «Если для первого направления язык — это вечно текущий поток речевых актов, в котором ничто не остается устойчивым и тождественным себе, то для второго направления язык — это та неподвижная радуга, которая высится над потоком» (VIII, 53).

Отметили авторы книги факт непопулярности в России школы Карла Фосслера и особенной популярности «Женевской школы».

«К истории форм высказывания в конструкции языка (Опыт применения социологического метода к проблемам синтаксиса)» — так озаглавлена третья часть книги. Здесь ее авторы рассмотрели ряд важных проблем науки о языке. Среди них — теорию высказывания (в связи с проблемами синтаксиса); проблему «чужой речи», речь косвенную, прямую и их модификации; несобственную прямую речь. Об этой части своего исследования они писали, что тема третьей части — проблема чужого высказывания — имеет большое значение и сама по себе. И именно потому, что «целый ряд важнейших литературных явлений — речь героя (вообще построение героя), сказ, стилизация, пародия, — являются лишь различными преломлениями «чужой речи» (VIII, 11).

Авторы книги отмечали далее, что и «явление несобственной прямой речи в русском языке (уже у Пушкина) еще никем не было указано», как остались еще неисследованными и «многообразнейшие модификации прямой и косвенной речи» (VIII, 12).

Так определяли авторы книги «Марксизм и философия языка» ее содержание. Они шли, по их словам, от «общефилософских вопросов» к общелингвистическим и специальным, лежащим «на границе грамматики (синтаксиса) и стилистики» (VIII, 12).

Мы, к сожалению, лишены возможности рассмотреть здесь все другие работы М. Бахтина, связанные с его исследованиями в области теоретического языкознания. Такая задача может быть решена лишь совокупными усилиями лингвистов и филологов, занятых в различных отраслях этих наук. Такая работа, кстати сказать, и ведется. За последние два-три десятилетия появилось немало исследователей, посвятивших свои силы изучению различных аспектов творческого наследия М. Бахтина и в той их части, в которой они касаются лингвистики и металингвистики.

Труды М. Бахтина активно и плодотворно исследуются учеными, занимающимися проблемами семиотики. «М. М. Бахтину, — говорит Вяч. Вс. Иванов, — принадлежит заслуга выдвижения еще в 20-х гг. тех идей, которые лишь в настоящее время становятся в

центре внимания исследователей знаковых систем и текстов. В частности, он указал на непосредственную связь исследования знаков с общей наукой об идеологиях, которую он предлагал создать...»

Оценивая конкретный вклад М. Бахтина в эту область знания, Вяч. Вс. Иванов писал: «М. М. Бахтин является одним из первых исследователей знаковых систем, обогатившим и науку о языке благодаря раздвижению ее горизонтов, по-новому освещенных сравнением языка с надъязыковыми (вторичными) моделирующими семиотическими системами. Подобно тому, как согласно изложенным идеям Бахтина многоязычие создает предпосылки науки о языке, а контрастное сравнение разных культур — условия для понимания каждой из них, семиотическое многоязычие эпохи сделало возможным осознание каждой из систем знаков в рамках общей науки о таких системах, одним из создателей которой в современной форме является М. М. Бахтин»<sup>61</sup>.

Не менее активно и плодотворно идеи М. Бахтина разрабатываются в психологии и психолингвистике. Во второй половине 1980-х годов вышли в свет три сборника научных трудов академических институтов<sup>62</sup>. Авторы статей, опубликованных в этих сборниках, опираясь на М. Бахтина, исследуют различные проблемы психологии общения, обучения, воспитания, развития речи и пр.

Так, в статье «О значении идеи М. М. Бахтина о диалоге и диалогических отношениях для психологии общения» И. И. Васильева констатирует: «В работах, посвященных проблемам личности, мышления, общения, появились ссылки на «диалогизму» Бахтина, при этом сама идея специфичности диалогических отношений часто используется как объяснительный принцип: «Внутренний мир личности диалогичен»; «в мышлении существуют процессы диалогизации — монологизации речевых форм — продуктов мышления; «подлинное познание личности доступно лишь диалогическому проникновению» — эти и подобные им суждения стали часто появляться в психологических работах»<sup>63</sup>.

В статье «Диалогические принципы в психологии» Т. А. Флоренская указала на связь идей М. Бахтина и А. Ухтомского в постановке одной из важнейших

проблем современной психологии — проблемы индивидуального воспитания и психотерапии. «Два выдающихся мыслителя, — говорит она, — работавшие в разных областях науки, независимо друг от друга пришли к единому пониманию уникальности человеческой личности, которая рождается и проявляется лишь в диалогическом общении... Идея уникальности общающихся личностей для Бахтина является наиболее значимой. Здесь его мысль сближается с понятием «лица» А. А. Ухтомским»<sup>64</sup>.

Большое значение придавал М. Бахтин проблеме текста. Не удивительно, что и эта сторона его наследия привлекает к себе внимание ученых, о чем свидетельствует ряд работ, опубликованных в последнее десятилетие<sup>65</sup>.

Таковы лишь немногие исследования, посвященные бахтинским работам по проблемам общего языкознания.

\* \* \*

В 1928 году из ближайшего окружения М. Бахтина вышла в свет еще одна книга — «Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику». Ее автор — П. Н. Медведев. Однако в большей части своего содержания и эта книга принадлежит М. Бахтину. И дело здесь не только в том, что об этом говорил сам Михаил Михайлович. Главное заключается в том, что она преемственно, логически связана с его предшествующими работами — с большой статьей «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве», с книгой «Фрейдизм», с целой серией работ по проблемам языкознания. Все эти работы ученого связаны единством творческого замысла: он предпринял смелую попытку найти свой путь в науке о языке и литературе на уровне поэтики, отталкиваясь при этом и от академических направлений в русской филологии, и от формализма, громко заявившего о себе в статьях и книгах талантливых литературоведов, и от вульгарного социологизма, претендовавшего на роль и значение ведущей силы в становлении марксистской методологии в области литературоведения и языкознания. Удачными были



эти попытки М. Бахтина или не совсем удачными — другой вопрос. Несомненен лишь тот факт, что он активно включился в научный диалог со своими современниками, работавшими в различных отраслях гуманитарных наук и в России, и на Западе. В этой исключительной по своим масштабам работе Михаил Михайлович пытался опереться на *свое* прочтение важнейших в методологическом отношении произведений Маркса и Энгельса. И нельзя сказать о том, что он делал это, поддавшись «веяниям времени» и в угоду «чиновникам от науки». По справедливому наблюдению исследователя, «в марксизме его привлекал ярко выраженный социальный историзм»<sup>66</sup>.

Автор упоминавшейся ранее статьи «М. М. Бахтин или В. Н. Волошинов?» не согласен с тем, что некоторые исследователи нашего времени называют П. Н. Медведева и В. Н. Волошинова учениками М. Бахтина. «Необходимо заметить, что «ученик» П. Н. Медведев был старше своего учителя на четыре года, начал печататься с 1911 года и опубликовал к 1928 году по меньшей мере 40 работ, в том числе книги о Блоке и Д. Бедном (хотя мы и готовы согласиться с тем, что он не был подлинным или единственным автором книги о формальном методе)»<sup>67</sup>.

Несколько странно измерять понятия «учитель» и «ученик» свидетельствами о времени рождения того и другого. Более существенным следует признать тот факт, что П. Н. Медведев окончил *юридический* факультет Петербургского университета, а в послеоктябрьские годы занимался в продолжение ряда лет деятельностью административной (в Витебском губисполкоме). Понятно, что основательной филологической подготовки он не имел и восполнить такой пробел ему было нелегко. Тем не менее он довольно успешно занимался и историей русской литературы XIX века, и литературой советского периода, включая и текущую литературную критику. Обладая великолепными ораторскими способностями, П. Н. Медведев часто выступал с публичными лекциями и имел успех у своих слушателей. Что же касается проблем теоретических, в частности, обстоятельной критики русского формализма (да еще в его связях с формализмом западно-европейским), такая работа ему одному была, как говорится, не «по плечу». Таким де-

лом он мог заниматься только в содружестве с М. Бахтиным, причем — при решающем участии последнего.

Второе издание книги «Формальный метод в литературоведении» вышло в свет в 1934 году, когда М. Бахтин уже четвертый год пребывал в Кустанае под надзором местного органа ОГПУ. Готовилось это издание, следовательно, одним П. Н. Медведевым. Оно было в известной своей части дополнено и исправлено им. Этим, надо полагать, и объясняется тот факт, что в новом издании книга получила и другое название — «Формализм и формалисты».

Теоретики и наиболее активные глашатаи русского формализма вышли из Общества по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ), которое, в свою очередь, было связано с футуризмом, — с такими его представителями, как В. Хлебников, И. Северянин, В. Маяковский и некоторые другие.

Одним из зачинателей русского формализма и наиболее активным в кругу своих единомышленников был бесспорно В. Б. Шкловский. В 1914 году он выступил с рядом работ, которые явились своеобразными манифестами русского формализма. Его выступления были поддержаны Б. М. Эйхенбаумом, Ю. Н. Тыняновым, Р. О. Якобсоном, Г. О. Винокуром. Солидаризировались с ним (в известной мере) и некоторые литературоведы и лингвисты из Петроградского института истории искусств (В. М. Жирмунский, В. В. Виноградов, Б. В. Томашевский, С. И. Бернштейн, Б. М. Энгельгардт и др.). Об этом свидетельствуют, в частности, планы научно-исследовательских работ названного института. Так, в составе Института истории искусств существовал отдел словесных искусств, возглавлявшийся В. М. Жирмунским. Перед учеными этого отдела ставилась задача изучения художественной литературы как одного из видов искусства. На первый план вышли проблемы поэтики теоретической и исторической в широком значении этого слова. Говорилось о трёх основных целях. Во-первых, отмечалась необходимость заострения «вопросов теории литературы и методологии историко-литературного исследования, в особенности проблем эволюции жанров и стилей и функционального значения поэтических явлений в связи с проблемами литературной среды и литературного быта». Во-вторых, ставился вопрос об

изучении «поэтического языка, как основной стихии словесного искусства» и об исследовании «других социально-речевых функций (речи ораторской, сценической, разговорной и т. д.)». В-третьих, изучение языка и литературы, непосредственно доступных нашему пониманию и художественному восприятию. Это — «своеобразный лингвистический и литературный «модернизм», исходящий «в постановке вопросов теоретических и исторических из наблюдений над актуальными литературным и языковым творчеством».

Составной частью отдела словесных искусств была секция художественной речи с фонетической лабораторией, фонографическим архивом и специальной библиотекой. Ученые этой секции занимались лингвистическим изучением словесного искусства. «В план занятий секции, — отмечалось в одном из документов, — входит изучение вопросов теории слова, стилистики (поэтической семантики, синтаксиса, лексикологии и типологии речи), истории русского литературного языка и проблемы языка как социальной деятельности»<sup>68</sup>.

Не трудно видеть, как близка была тематика и проблематика научных исследований в Институте истории искусств к тому, что занимало и интересовало деятелей формалистического направления.

В специальных исследованиях, посвященных русскому формализму, не раз отмечалось, что он возник и сформировался как реакция на эклектизм предшествующих ему теоретико-литературных направлений и школ (мифологической, сравнительно-исторической, культурно-исторической, психологической и пр.), на импрессионистскую критику символистов. В статье «Теория «формального» метода» Б. М. Эйхенбаум так писал об этом: «Во времени выступления формалистов «академическая» наука, совершенно игнорировавшая теоретические проблемы и вяло пользовавшаяся устаревшими эстетическими, психологическими и историческими «аксиомами», настолько потеряла ощущение собственного предмета исследования, что самое ее существование стало призрачным. С ней почти не приходилось бороться: незачем было ломиться в двери, потому что никаких дверей не оказалось, — вместо крепости мы увидели проходной двор. Теоретическое наследие Потебни и Веселовского, перейдя к ученикам, осталось лежать

мертвым капиталом — сокровищем, к которому боялись прикоснуться, и тем самым обесценивали его значение. Авторитет и влияние постепенно перешли от академической науки к науке, так сказать, журнальной — к работам критиков и теоретиков символизма. Действительно, в годы 1907—1912 гораздо большее влияние имели книги и статьи Вяч. Иванова, Брюсова, А. Белого, Мережковского, Чуковского и прочих, чем ученые исследования и диссертации университетских профессоров»<sup>69</sup>.

Краски намеренно сгущены, чтобы представить своих единомышленников по формализму едва ли не в ореоле «спасителей» русской литературной науки. Тем не менее на первых порах они пользовались шумным успехом. Правда, в послеоктябрьские годы В. Шкловский, Б. Эйхенбаум и их последователи часто подвергались атакам со стороны критиков-социологов и марксистов (А. Луначарский, В. Переверзев, В. Фриче и др.). Но последние, как известно, сами не умели свести концы с концами: как и формалисты, они тоже не могли теоретически осмыслить диалектического единства содержания и формы в произведениях искусства и литературы. Вся разница лишь в том, что формалисты за художественной формой не хотели видеть содержания (начисто игнорируя его), а социологи-вульгаризаторы (марксисты), напротив, говоря о примате содержания, теряли художественную форму, по существу игнорируя ее.

В процессе обстоятельной критики основных постулатов формализма, авторы книги «Формальный метод в литературоведении...» решили прояснить и очертить круг основополагающих принципов подлинно социологической, марксистской поэтики. Это и было подчеркнуто ими в подзаголовке книги: «Критическое введение в социологическую поэтику». Была ли достигнута эта цель в книге (и в других работах этого времени) — вопрос другой. Важно стремление М. Бахтина (а именно ему принадлежали основные концептуальные идеи этого труда) к овладению марксистской методологией. Настораживал пресловутый принцип классовости и партийности, который в эти годы усиленно насаждался официальной идеологией во все поры духовной жизни общества, прежде всего в литературу и литературную науку. «Некоторые интеллигентские писатели,— говорил в 1927

году Л. Авербах,— приходят к нам с пропагандой гуманизма, как будто есть на свете что-либо более истинно человеческое, чем классовая ненависть пролетариата»<sup>70</sup>.

В таких условиях трудно было противостоять подобной идеологии и вульгаризации: их следы видны и на страницах книги, о которой идет речь.

Не ставя перед собой задачи подробного анализа книги «Формализм и формалисты», обратим внимание лишь на некоторые обобщения и выводы ее авторов.

В книге внимательно прослежена и убедительно аргументирована мысль о связи русского формализма с русским же футуризмом, в котором в ту пору (1913—1916) ведущая роль принадлежала В. Хлебникову и В. Маяковскому.

Известно, что самые первые формалисты (В. Шкловский и др.) выступили под шумным лозунгом «раскрепощения поэтического слова от оков философских и религиозных тенденций, все более и более овладевавших символистами» (IX, 51).

На почве общего неприятия поэтики символизма и формалистической трактовки «воскрешения слова» возник союз формализма с футуризмом (в его кубо-футуристической разновидности).

Авторы книги «Формальный метод в литературоведении» в этой связи обратили внимание на статьи В. Маяковского 1913—1915 годов. Так, в одной из них поэт-футурист так наставлял художников-живописцев: «Возьмите от жизни элементы всякого зрительного восприятия, линию, цвет, форму и, закружив их танцем под музыку сегодняшнего дня,— дайте картину». Он же утверждал, что «для писателя нет цели вне определенных законов слова... Слова — цель писателя» (IX, 53, 54).

Что касается общей творческой программы футуристов, В. Маяковский определил ее так: «Свобода творить слова из слов. Ненависть к существующему до нас языку. С негодованием отвергать из банных веников сделанный венок грошовой славы» (IX, 55).

«Не трудно видеть,— говорили авторы книги,— что в них (декларациях В. Маяковского.— Авторы) предвосхищена вся теория раннего формализма — не только принцип своеобразного «воскрешения слова», но и принцип «острачения», и учение о «нейтральности»

содержания, и идея словотворчества, и спецификаторское понимание формы, и ориентация на фонетические элементы слова, на слово-звук... Нас меньше всего интересует в данный момент вопрос о том, кто в те годы жил за чужой счет — формализм за счет футуризма или же Вл. Маяковский за счет В. Шкловского... Важно, что нет никакой принципиальной разницы между первым и вторым в их взглядах на искусство, на литературу, на слово» (IX, 55).

Третья глава книги посвящена «Поэтике формализма». Отмечается тот факт, что «учение об особенностях поэтического языка составляет фундамент, на котором держится все здание русского формализма» (IX, 75).

Формалисты выдвинули понятие «системы поэтического языка», наивно рассуждая о возможности создания «нового, особого поэтического языка», в котором «лингвистические признаки... (фонетические, морфологические, лексикологические и пр.) совпадут с поэтическими признаками» (IX, 77). Это убеждение формалистов столь же наивно, как и «попытка с помощью чисто химического анализа определить художественные особенности картины» (IX, 78).

В связи с этим повторена мысль, не раз высказывавшаяся М. Бахтиным и в это время, и в последующие годы и десятилетия: «... Самое понятие «поэтичности» конкретно-исторично. «Поэтичность» является не свойством языка, как лингвистического понятия, а художественным использованием тех или иных лингвистических элементов языка в творческой практике данной школы или направления...» (IX, 78).

В этой главе есть подглавка под характерным заглавием — «Язык поэтический и жизненно-практический» (напоминающая статью «Слово в жизни и слово в поэзии»). Констатируется факт противопоставления формалистами языка поэтического и жизненно-практического. Об этом писали и В. Шкловский, и Р. Якобсон, и Б. Эйхенбаум, и Ю. Тынянов. Поэтический язык у них «оказался изнанкой и паразитом языка коммуникативного» (IX, 88).

Авторы книги обратили внимание и на путаные рассуждения формалистов о «звуках в поэзии». Формалисты были убеждены в том, что «произнесение или

слышание звуков, даже не имеющих смысла, может доставить удовольствие, что людям нужны слова и вне смысла» (IX, 99).

Отсюда интерес формалистов к «заумному языку», к «самовитому слову». С этих позиций они подходили и к пониманию гоголевского сказа, и его пейзажа, и к романам Л. Стерна. Словом, «как философскому идеализму необходимо разобщить, создать «полярность» между бытием и сознанием, так литературоведческому идеализму — формализму необходимо разобщить в слове смысл и звук...» (IX, 106—107).

Одной из центральных глав книги П. Медведева — М. Бахтина является глава об отношении формалистов к истории литературы, об их понимании ее проблем и задач.

Отрицая философию, формалисты на деле оказались ее пленниками. «... Общим идеологическим базисом, на котором вырастает формализм, является Кант, его формальная логика и трансцендентальная эстетика. Наш формализм в философском плане — вульгаризированный пережиток кантианства» (IX, 135).

Формалисты, как известно, отрывали художественное произведение, его содержание от субъективного сознания, от психики творца, как и от сознания и психики воспринимающего. Произведение оказывается в идеологической пустоте. «Объективность» ценой утраты смысла. Выключая из произведения «душу», формалисты исключают из него все идеологически значимое. Только на этом пути В. Шкловский мог прийти к парадоксальному выводу: «Литературное произведение есть чистая форма... Безразличен масштаб произведения, арифметическое значение его числителя, важно их отношение. Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставление мира миру или кошки камню — равны между собой» (IX, 141).

Неприемлемы для авторов книги и теория восприятия формалистов, и их концепция исторического развития литературы. Обобщая многочисленные высказывания В. Шкловского и Б. Эйхенбаума о путях и сущности исторического развития литературы, авторы книги пришли к выводу: «... Концепция формалистов лишила их всякого подхода к истории как таковой. История для них явилась лишь складом громадного материала для

иллюстрации их теоретических домыслов. Не проверить поэтику на фактах истории, а подобрать из истории материал для доказательств и иллюстрации своей теории — такова была та действительная задача, с которой формалисты подошли к истории. У них не теория отражает и осмысляет историческую действительность, а последняя искажается, фальсифицируется в угоду специфической теории» (IX, 164).

Констатируя факт разрыва связей формализма с литературной современностью, авторы книги отметили, в частности, что «поэтика формализма не дает возможности продуктивно подойти и овладеть основной магистралью русской литературы — романом» (IX, 169).

Таковы лишь некоторые, на наш взгляд, наиболее существенные наблюдения и выводы авторов книги «Формальный метод в литературоведении». Что касается социологической поэтики, ее контуры лишь обозначены ими. Предстояло еще многое осмыслить, чтобы отмежеваться не только от формализма, но и от вульгарного социологизма, прикрывавшегося флагом марксизма.

О сложности задач, взятых на себя авторами книги, говорят журнальные отклики той поры.

С большой статьей по поводу книги «Формальный метод в литературоведении...» выступил М. К. Добрынин в журнале «Литература и марксизм» (журнал теории и истории литературы).

В статье поддерживается стремление Медведева «дать критическое введение в социологическую поэтику», т. е. расчистить исследовательское поле для построения социологической поэтики. Вместе с тем указал на ряд ошибочных решений этой сложной проблемы. Главная из них усматривается в неправильном истолковании проблемы частного и общего, т. е. сознания индивидуального и общественного. «Автор утверждает, что человеческое сознание живет и развивается в идеологической среде и что оно соприкасается с бытием не непосредственно, а через медиум окружающего его идеологического мира. У автора получается, что социально-экономическое бытие определяет идеологическую среду, т. е. социальное сознание, а оно в свою очередь определяет индивидуальное сознание».

Неверная посылка привела автора книги к ошибочным взглядам на литературоведение. «Если раньше,—



продолжает рецензент,— автор поместил идеологическую среду между социально-экономическим бытием и отдельным индивидуальным сознанием, то здесь идеологическая среда у него выступает наравне с социально-экономическим бытием, являясь предметом отражения в литературе»<sup>71</sup>.

Вводя идеологическую среду, Медведев, по мнению автора статьи, ставит литературу над ней. «Его поправка, что литература, кроме отражения идеологической среды, отражает базис, как одна из самостоятельных надстроек, не спасает положения, а создает дуализм. Таким образом, получается два бытия: идеологическая среда и социально-экономический базис. С этим двояким отражением надо покончить»<sup>72</sup>.

Термин «идеологическая среда» внес, по мнению рецензента, путаницу и в авторское понимание вопросов истории литературы.

Правильной считал рецензент мысль автора относительно того, что научная история литературы немислима без социологической поэтики. «Необходимость разработки своей социологической поэтики,— говорил он,— Медведев обосновывает тем, что «необходимо научиться понимать язык поэзии как с начала и до конца социальный язык. Это и должна осуществить социологическая поэтика» (с. 53)<sup>73</sup>.

Однако здесь, полагал критик, важно определить отношение социологической поэтики к марксистскому методу, чего в книге пока нет.

Критическую часть книги рецензент считал вполне приемлемой, поддержав мысль ее автора в том, что «каждый довод формалистов должен быть проверен и отвергнут на его собственной почве, на почве своеобразия литературного факта»<sup>74</sup>. Но Медведев ошибается, сводя художественное произведение только к его конструкции. В действительности же предметом поэтики как конкретной методологии является вся литература. В противном случае мы, как и формалисты, придем к отрыву формы от содержания.

Рецензент обратил внимание и на термин автора книги о так называемой «социальной оценке». Термин этот критик посчитал неудачным, но смысл его признал важным, приведя при этом из книги следующую цитату: «Язык для поэта, как, впрочем, и для всякого

говорящего, есть система социальных оценок, и чем она богаче, сложнее, дифференцированнее, тем существеннее, значительнее будут его произведения... Только через оценку возможности языка становятся действительностью» (с. 167) <sup>75</sup>.

Согласился рецензент с Медведевым и в оценке исторического значения формального метода, сославшись при этом на следующие слова из книги: «Формализм в общем сыграл плодотворную роль. Он сумел поставить на очередь существеннейшие проблемы литературной науки и поставил настолько остро, что теперь обойти и игнорировать их уже нельзя. Пусть он не разрешил. Но самые ошибки, смелость и последовательность этих ошибок тем более сосредоточивают внимание на поставленных проблемах» (с. 232) <sup>76</sup>.

Заключая свой анализ книги «Формальный метод в литературоведении», М. К. Добрынин давал ей следующую общую оценку: «Формулировка основной задачи литературоведения как задачи спецификации — совершенно верная. Основное отношение к формализму, как к хорошему врагу, критика его на его же собственной почве, внимание к проблемам, им поставленным, стремление критически подойти к их разрешению и тем самым к разрешению насущнейшей задачи нашей науки — создание социологической поэтики — все это делает книгу интересной, ценной и очень нужной в наши дни» <sup>77</sup>.

Несколько иначе оценивал книгу «Формальный метод в литературоведении» критик журнала «На литературном посту». Указав на актуальность проблем, затронутых в исследовании, рецензент писал, что критика формализма Медведевым «представляется в общем недостаточно принципиальной», потому что не доходит «до конца». «... Медведев, — говорил он, — идет к монистическому пониманию художественного произведения. Но характерно, что он выбирает дорожку, уже протоптанную формалистами, которые сами пришли к тому, что «понятие материала» не выходит за пределы формы... Его критика понятий материала и приема не взрывает тех принципиальных корней, на которых они возникли» <sup>78</sup>.

Как и в главе о поэтическом языке было мало критики, не много ее и в главе, посвященной «элементам

художественной конструкции». Осудил рецензент автора книги и за то, что принял с распростертыми объятиями формализм западно-европейский. Медведев больше имманент, за что формалисты могут подать ему «обе руки».

Строго осудил критик напостовцев Медведева и за то, что не разобрался в вопросе о соотношении социально-экономического бытия и социального сознания, художественной литературы с идеологией. С одной стороны, художественная литература включается в окружающую идеологическую действительность как самостоятельная ее часть, а с другой — утверждает, что «в своем содержании она отражает и преломляет отражения и преломления других идеологических сфер (этики, познания, политических учений, религии и пр.)...»<sup>79</sup>

Если это так, то литература выпадает из общей закономерности социального бытия. «... Художник, живя в особом мире идей, вдали от сует земных, не может оказаться с жизненной действительностью непосредственно, а нуждается в агенте-переводчике, функции которого выполняет идеологическая среда... Картина получается приблизительно такая: содержание художественного произведения определяется отражаемым в нем идеологическим кругозором, а художественная форма определяется базисом непосредственно»<sup>80</sup>.

Критик-напостовец обвинил Медведева в «игре понятиями», сблизившими его с П. Н. Сакулиным. «Как и Сакулин, так и Медведев в изучении конкретного литературного факта остается, по существу, на позициях формального метода и тем самым закрывает для себя дорогу к подлинно социологическому литературоведению»<sup>81</sup>.

Давая общую оценку труду Медведева, критик журнала «На литературном посту» писал: «Во многом, особенно в своей критике формального метода, Медведев и прав. Однако формализм, который гонит Медведев в окно, врывается в двери его собственных теорий... Конечно, нельзя считать Медведева формалистом, так как он часто выходит из круга имманентно-формальных теоретических изысканий в области социологии литературы, но и в этих случаях его пути немногим разнятся от путей формалистов-социологов»... В его книге нет той

«необходимой методологической четкости», которая, по его же словам, во всех выдвинутых вопросах «может быть дана только на почве марксизма»<sup>82</sup>.

Мы ограничимся лишь этими отзывами о книге «Формальный метод в литературоведении» — наиболее характерными для журнальной критики конца 1920-х годов.

Со времени полемики М. Бахтина с формализмом 1920-х годов прошло более шести десятилетий. Но и теперь, в немалой исторической перспективе, она воспринимается нами как одна из знаменательных страниц в истории нашей науки. Нельзя не согласиться с автором этих вот строк: «... М. Бахтин и оба его ближайших друга — В. Волошинов и П. Медведев — горячо и страстно боролись с формализмом в языкознании и поэтике, придавая этой борьбе громадное, принципиальное значение... борьба эта не была для Бахтина чем-то случайным: она неразрывно связана с основной задачей и пафосом жизни ученого — разработкой новых научных основ для построения учения о художественном слове — в особенности в романе и вообще в прозаических жанрах».

Противниками М. Бахтина в те годы были не менее талантливые литературоведы и лингвисты — Ю. Тынянов, В. Шкловский (или близкие к ним в то время В. Виноградов и В. Жирмунский). «Но отсюда, — продолжает исследователь наших дней, — вовсе не следует, что для нас сегодня неважно, прав или не прав был в споре с ними Бахтин. Его полемика со сторонниками «материальной эстетики» (как именует Бахтин тех, кто видит в слове лишь «материал», а не важнейший элемент живого смысла искусства) поучительна именно своим конкретным содержанием. Игнорируя «антиформализм» Бахтина, мы рискуем не извлечь из его наследия главного — нового отношения к слову и неразрывно связанного с ним нового подхода к поэтике прозы, к законам ее строения, к жанру романа и его истории»<sup>83</sup>.

Нельзя не упомянуть и еще об одной оценке бахтинской полемики с формалистами 1920-х годов. «Вражда между Бахтиным и формалистами, — говорит М. Л. Гаспаров, — была такой упорной именно потому, что это боролись люди одной культурной формации: самый

горячий спор всегда бывает не о цветах, а об оттенках»<sup>84</sup>.

Так оценивалась в прошлом и оценивается в наши дни полемическая борьба М. Бахтина с формализмом 1920-х годов, как отразилась она в книге «Формальный метод в литературоведении». Наряду с работами по теоретическому языкознанию, эта книга позволяет сказать, что именно М. Бахтин стоял у истоков социологической поэтики в нашем литературоведении. Работа ученого была прервана на рубеже 1920—1930-х годов, вследствие чего начатые им исследования в этой области не были доведены до конца.

В самом конце 1920-х годов (но до ареста) М. Бахтин написал два предисловия к одиннадцатому и тринадцатому томам «Полного собрания художественных произведений Л. Н. Толстого» (о драматических произведениях писателя и о его романе «Воскресение»). Сам М. Бахтин не придавал им большого значения, считая их традиционными, т. е. популярными очерками, предназначенными для читателей Л. Н. Толстого в качестве справочного материала. Все это, конечно, по «меркам» самого ученого. В действительности же и эти его работы отличаются той оригинальностью, которая была свойственна бахтинской творческой мысли. Небольшие по объему, эти статьи написаны живо, интересно, открывая читателям художественный мир великого писателя.

\* \* \*

Центральное место в исследованиях М. Бахтина 1920-х годов принадлежит его книге «Проблемы творчества Достоевского».

Нельзя не согласиться с мнением одного из современных исследователей, который назвал 1929-й год (в нем — главнейший труд М. Бахтина) эпицентром «идей Бахтина». Из этого эпицентра «излучались все мысли Бахтина, вся его «философия культуры», — и в вариантах 1919 года, и в вариантах (фрагментах) 1971 года»<sup>85</sup>. Правда, «исходный сдвиг» (в котором возник первоначальный, еще неоформленный «магический кристалл») произошел раньше — в 1917—1918 годах. Но

только в 1929, в «Проблемах творчества Достоевского», сложилась, оформилась в своем существе та система взглядов, которая подняла М. Бахтина на самую вершину гуманитарных знаний XX столетия.

К созданию книги о Достоевском М. Бахтин приступил в самом преддверии столетней годовщины со дня рождения великого художника слова, отмеченной литературной и научной общественностью Петрограда, Москвы и других центров русской духовной культуры в ноябре 1921 года. Уже в 1922 году стало известно о том, что М. Бахтин написал книгу о Достоевском. Какой была эта книга — мы пока не знаем. Известно, однако, что молодой, мало кому известный ученый отложил до времени ее опубликование. М. Бахтин не спешил с выходом с ней в свет, потому что работа над ней еще продолжалась. Надо было ознакомиться и осмыслить новые (юбилейные) критические материалы, появившиеся в печати в 1921—1925 годах. Одновременно шла работа и с теми материалами, которые в эти же годы легли в основу статей и книг, известных нам теперь под именами В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева. Одно помогало другому (следы взаимодействия идей во всех этих исследованиях налицо). И только, по видимому, в начале 1928 года рукопись книги о Достоевском была сдана в кооперативное издательство «Прибой». В следующем 1929 году вышла из печати и сама книга — «Проблемы творчества Достоевского».

В ряду большого количества статей и книг, посвященных творчеству великого художника слова, монографическое исследование М. Бахтина заняло особое место. Оно отличалось необычностью, глубокой оригинальностью самого метода исследования такого сложного явления, каким является Достоевский. О неприемлемости для себя тех путей исследования, которыми шли его предшественники, М. Бахтин сказал в первых же строках своего исследования. «При обозрении обширной литературы о Достоевском, — писал он, — создается впечатление, что дело идет не об *одном* авторе-художнике, писавшем романы и повести, а о целом ряде философских выступлений *нескольких* авторов-мыслителей — Раскольникова, Мышкина, Ставрогина, Ивана Карамзова, Великого Инквизитора и др. Для литературно-критической мысли творчество Достоевского распалось

на ряд самостоятельных и противоречащих друг другу философем, представленных его героями. Среди них далеко не на первом месте фигурируют и философские воззрения самого автора... С героями полемизируют, у героев учатся, их воззрения пытаются доразвить до законченной системы» (I, 7).

Одни критики видели в Достоевском только христианского проповедника, призывавшего своих читателей к смирению и покорности, к страданию и искуплению мировой вины и греха человечества (Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, Л. Шестов и др.). Другие, напротив, представляли великого писателя как предшественника нищезанятия (с его культом сверхчеловека). М. Горький писал о Достоевском как о выразителе идей и настроений «мирового мещанства».

Автор «Проблем творчества Достоевского» показал далее, что такой разнобой «нельзя объяснить только методологической беспомощностью критической мысли и рассматривать как сплошное нарушение авторской художественной воли». Дело в том, что герой Достоевского «идеологически авторитетен и самостоятелен», и потому воспринимается он «не как объект завершающего художественного видения Достоевского», а как «автор собственной полновесной идеологемы» (I, 8, 7). Взору читателей открывается *«множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов...»* (I, 8).

М. Бахтин подчеркнул при этом, что вся эта полифония голосов не замыкается рамками «единого авторского сознания», не «опредмечивается, не закрывается, не становится простым объектом авторского сознания». Напротив, голос автора в таком романном построении выступает лишь как один из многих голосов. Вот почему творчество Достоевского не укладывается в обычные историко-литературные схемы, применяемые обычно для исследования европейского романа. С позиций монологического видения изображаемого и традиционного построения романа образный мир Достоевского «должен представляться хаосом, а построение его романов — чудовищным конгломератом чужероднейших материалов и несовместимейших принципов оформления» (I, 11). И только с позиций полифонического построения все становится на свои места. М. Бахтин считал, что ближе

всех к уяснению творческого облика Достоевского подошел Вячеслав Иванов.

Обратившись к герою романов Достоевского, М. Бахтин увидел его своеобразие в том, что он является воплощением особой точки зрения на мир. «Достоевскому важно не то,— говорит исследователь,— чем его герой является в мире, а то, чем является для героя мир и чем является он сам для себя самого» (I, 53). То, что Гоголь говорил о герое сам (например, об Акакии Акакиевиче), Достоевский перевел в сознание своего героя. Так, Макар Деушкин говорит о своей внешности сам. Весь внешний мир из кругозора автора Достоевский перевел в кругозор самого героя. И потому слово автора о герое стало словом о слове. Он — герой-идеолог. В монологической форме восприятия подобное невозможно. «Монологический художественный мир не знает чужой мысли, чужой идеи как предмета изображения» (I, 75). Здесь идеолог только сам автор. Достоевский же «умел именно изображать чужую идею, сохраняя всю ее полноту», не заглушая ее собственным голосом.

Имея дело только с людьми, Достоевский мыслил целыми «точками зрения, сознаниями, голосами». Вследствие этого, по словам М. Бахтина, у него «нет объективного изображения среды, быта, природы, вещей, т. е. всего того, что могло бы стать опорой для автора». Весь вещный мир дан писателем в их кругозоре, в их освещении. Сам же он «не соприкасается непосредственно ни с единою вещью» (I, 92—93).

В свою творческую практику Достоевский ввел авантурный сюжет. Только в исключительных обстоятельствах жизни, говорил М. Бахтин, человек может раскрыть свою истинную сущность. «Между характером героя,— писал он,— и сюжетом его жизни должно быть глубокое органическое единство. На этом зиждется биографический роман... Герой Достоевского в этом смысле не воплощен и не может воплотиться» (I, 95).

Смысл авантурного сюжета у Достоевского М. Бахтин усматривает в том, чтобы «ставить человека в различные положения, раскрывающие и провоцирующие его, сводить и сталкивать людей между собою, но так, что в рамках этого сюжетного соприкосновения они не остаются и выходят за их пределы» (I, 100).



В своем исследовании М. Бахтин акцентировал внимание на объективно-реалистическом, трезво-прозаическом изображении глубин души человеческой, — того, что романтики обозначили термином «дух». Это — совокупность высших идеологических актов — познавательных, нравственных, религиозных. Глубоко связанный с европейским романтизмом, Достоевский, по убеждению М. Бахтина, подошел к изображению духа не изнутри (как романтики), а извне, но так, что никогда не пользовался «для объективации и завершения чужого сознания ничем, что было бы недоступно самому этому сознанию, что лежало бы вне его кругозора» (I, 101—102).

Большую часть своей книги М. Бахтин посвятил анализу «слова у Достоевского», представив этот анализ как «опыт стилистики».

Автор книги обратил внимание на различные типы прозаического слова у Достоевского — такие, как стилизация, пародия, сказ и диалог. Всем подобным художественно-речевым явлениям свойственна одна общая черта: «слово здесь имеет двойное направление — и на предмет речи, как обычное слово, и на другое слово, на чужую речь» (I, 105).

У Достоевского встречаются два типа слов — слово авторское и слово изображенное (объектное), т. е. прямая речь героев. «Там, где есть в авторском контексте прямая речь, допустим, одного героя, — писал М. Бахтин, — то перед нами в пределах одного контекста два речевых центра и два речевых единства: единство авторского высказывания и единство высказывания героя. Но второе единство не самостоятельно, подчинено первому и включено в него, как один из его моментов. Стилистическая обработка того и другого высказывания различна. Слово героя обрабатывается именно как чужое слово...» (I, 107—108).

Сказ — третий тип слова. Он возникает тогда, когда авторское слово ощущается во всей его характерности или типичности (для определенного лица или для определенной художественной манеры).

Современная стилистика, игнорирующая ориентацию на чужое слово, не в состоянии постичь романную прозу. «Проблема ориентации речи на чужое слово, — говорил М. Бахтин, — имеет первостепенное социоло-

гическое значение. Слово по природе социально. Слово не вещь, а вечно подвижная, вечно изменчивая среда социального общения... Жизнь слова — в переходе из уст в уста, из одного контекста в другой контекст, от одного социального коллектива к другому, от одного поколения к другому поколению» (I, 131).

Этими общетеоретическими положениями М. Бахтин предварил анализ романного слова у Достоевского. Произведения писателя, по убеждению ученого, поражают необычайным разнообразием типов слова. При этом они выступают у него в наиболее резком выражении. Преобладает двуголосое слово, к тому же еще и внутренне диалогизированное. Столь же широко распространено и «отраженное чужое слово: скрытая полемика, полемически окрашенная исповедь, скрытый диалог». (I, 133). Почти совсем нет слов объектных и слов без оглядки на чужое слово.

Кратко охарактеризовав слово героя и слово рассказа в романах Достоевского, автор книги заключил свое исследование анализом диалога у Достоевского. Вывод писателя однозначен: «самосознание героя у Достоевского сплошь диалогизировано: в каждом своем моменте оно повернуто вовне... Вне этой живой обращенности к себе самому и к другим его нет и для себя самого» (I, 215). Для Достоевского «быть — значит общаться диалогически. Когда диалог кончается — все кончается» (I, 216).

М. Бахтин отличал диалог у Достоевского от диалога у Платона, у которого он был чисто познавательным, философским. Ближе автор «Братьев Карамазовых» к библейским диалогам (например, Иова), которые по своей структуре внутренне бесконечны (противостояние души — Богу). Диалог у Достоевского тоже устремлен в вечность.

Вершиной диалоговедения у Достоевского М. Бахтин считал диалог Ивана Карамазова со Смердяковым.

Обобщая свои наблюдения, автор книги заключает: «Повсюду — пересечение, созвучие или перебои реплик открытого диалога с репликами внутреннего диалога героев. Повсюду — определенная совокупность идей, мыслей, слов проводится по нескольким неслиянным голосам, звуча в каждом по-иному» (I, 238).

Анализируя структурные формы произведений

Достоевского, М. Бахтин счел необходимым заметить (в предисловии), что в своем анализе он исходил из убеждения в том, что «всякое литературное» произведение внутренне, имманентно социологично». И потому, по его словам, и «чисто формальный анализ должен брать каждый элемент художественной структуры как точку преломления живых социальных сил...» (1,3—4).

Таково краткое содержание «Проблем творчества Достоевского» М. Бахтина.

Журнальная критика заметила труд М. Бахтина. Суждения и оценки были разноречивы. Преобладали отзывы отрицательные.

Одним из первых с оценкой исследования М. Бахтина выступил на страницах журнала «Звезда» Н. Берковский. Ценным в книге рецензент признал только философско-лингвистическую ее часть, в которой трактуется о слове у Достоевского. Удачными назвал Н. Берковский анализ речевых высказываний Макара Девушкина, Голядкина и других персонажей. «Бахтину, — говорил рецензент, — действительно удается вскрыть социальную семантику этих речей, удается быть тоньше... в этом исследовании, чем его предшественники, державшиеся метода абстрактно-формальных регистраций»<sup>86</sup>.

Решительно отверг Н. Берковский бахтинскую концепцию полифоничности романов Достоевского. «По мнению Бахтина, — писал он, — в романах Достоевского отсутствует авторская режиссура, даны равноправные миры (голоса) личных сознаний, никак не сводимые к единому сознанию автора, каждый голос живет одиночно, в результате роман получается как многоголосье, «полифония», никак не объемлемая единым авторским голосом»<sup>87</sup>.

В действительности же, утверждал рецензент, «роман Достоевского чрезвычайно объединен и именно авторской мыслью, авторским смыслом», для чего писатель использовал фабулу. Определив идею полифонизма неудачной, губительной, Н. Берковский заключил, что идея «полифонизма» разбила все построение Бахтина. «Сохраняются в книге одни лишь частные, социолого-лингвистические тезисы»<sup>88</sup>.

Не менее категоричным в своих отрицательных выводах был и Гроссман-Рощин на страницах грозного в

ту пору журнала «На литературном посту». Рецензент судил (иначе не назовешь) книгу М. Бахтина с позиций ортодоксального марксиста. И потому безоговорочно утверждал, что в рассуждениях автора книги о социальности и социологичности «марксистским принципом объективного познания... и не пахнет»<sup>89</sup>.

Внешне будто бы согласившись с концепцией М. Бахтина, Гроссман-Рощин в свойственном журналу разном стиле продолжал: «Допустим. Вы ждете от автора, что он покажет вам, как социальной формацией предопределена конструкция романа, дабы установить пусть не прямое, но неразрывное единство конструкции и социальной базы. Ничего подобного! Автор, уплатив дань социологическому фининспектору, мчится на крыльях «многоплановой» конструкции. А что касается социально-классовой базы — поминай, как звали!»<sup>90</sup>.

Рецензент упрекнул М. Бахтина и за то, что он проигнорировал книгу Переверзева о Достоевском. «Незачем Бахтину специально полемизировать с Переверзевым. М. М. Бахтин молча, но упорно атакует под дымной завесой «граней» и «кристаллов» позиции диалектико-материалистического понимания искусства. Атакует безуспешно, но это уж не вина его, а беда».

Единственное, что признал напостовец Гроссман-Рощин, это то, что книга М. Бахтина талантлива, что она написана «увлекательно и интересно», вследствие чего «способна соблазнить «малых сих», ибо автор великолепно прошел школу классовой маскировки своих, по существу, идеалистических позиций!..»<sup>91</sup>

Такого рода «аттестации» в год «великого перелома» были далеко не академичны.

«Многоголосый идеализм (О книге М. М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского)» — с такой рецензией в журнале «Литература и марксизм» выступил М. Стариков.

Следует сказать прежде всего о том, что арсенал аналитических средств у критика оказался столь обычным и привычным для сторонников вульгарного социологизма, что ни о какой объективной оценке труда М. Бахтина не могло быть и речи. Рецензент, не вникнув по-настоящему в суть дела, бросает автору книги упреки в том, что он «не хочет признать самосознание героев Достоевского частью действительности», оставляя одно сознание. На

самом же деле М. Бахтин нигде не говорит о том, что сознание героев Достоевского лишено связей с реальной действительностью. Напротив, он говорит о том, что сознание «существует только как порождение действительности и существовать иначе не может. М. Стариков увлечен своим: «Какой же мастер был Ф. М. Достоевский, подумает читатель... Изъял из действительности самосознание героев, упразднил их «социальное положение», лишил «социологической и характерологической типичности», но за все это щедро наградил их рефлексиями: мучайтесь, мол, истязайтесь, «бедные люди», а я буду поглядывать да изображать функции вашего самосознания».<sup>92</sup>

Общий вывод рецензента прозвучал категорично и грозно: «Система Бахтина характеризуется идеалистическим плюрализмом. Не было бы нужды подробно останавливаться на этой книге, если бы она не была ярко выраженным образцом идеологической мимикрии в литературной науке ... Идеализм М. Бахтина одобрен социологической терминологией, и в этом благонамеренная окраска книги. Идеализм ползет в литературоведение под покровом социологии, скрыто борется с марксизмом. Марксистское литературоведение должно открыть огонь по замаскированным позициям идеализма и победить его оруженосцев»<sup>93</sup>.

Приведем, пожалуй, и еще одно характерное рассуждение рецензента: «... Установка многоголосного идеалиста-исследователя основана лишь на поверхностном «эмпирическом» заявлении о плюрализме в «мире Достоевского», а дальше, на протяжении всего анализа, читатель находится на почве «неслиянных сознаний» М. Бахтина с современным историко-материалистическим литературоведением. Характерные признаки бескостного эмпиризма сказались на всей работе. Исследователь вошел в концертный зал, услышал многоголосое звучание и не уловил единства в этом звучании. Посещение концертных зал — занятие прекрасное и невинное, но это вне постижения задач современной марксистской литературоведческой науки, для которой время беспечных Моцартов отошло, и ее будущее за Сальери»<sup>94</sup>.

Таков был «уровень» критики, безоговорочно отрицавшей одно из лучших монографических исследований нашего литературоведения.

Резким диссонансом с тем, о чем мы только что говорили, прозвучала рецензия А. В. Луначарского, опубликованная в мартовском номере журнала «Новый мир» за 1930-й год. Луначарский в сущности опубликовал большую статью, навеянную идеями книги М. Бахтина. Именитый критик назвал книгу «интересной». Его отнюдь не обескуражил тот факт, что автор книги о Достоевском подошел к произведениям великого писателя «почти исключительно со стороны формы». «В сущности говоря,— писал Луначарский,— формальные приемы творчества, о которых говорит Бахтин в своей книге, вытекают из одного основного явления, которое он считает особо важным у Достоевского. Это явление есть многоголосность Достоевского. Бахтин даже склонен считать Достоевского «основателем» полифонического романа»<sup>95</sup>.

Рассмотрев доводы исследователя, его аргументацию, Луначарский счел возможным и необходимым согласиться с М. Бахтиным. «Я допускаю,— утверждал он,— что Бахтину удалось не только установить с большей ясностью, чем это делалось кем бы то ни было до сих пор, огромное значение многоголосности в романе Достоевского, роль этой многоголосности как существеннейшей характерной черты его романа, но и верно определить ту чрезвычайную, у огромного большинства других писателей совершенно немыслимую, автономность и полноценность каждого «голоса», которая потрясающе развернута у Достоевского»<sup>96</sup>.

Согласился Луначарский и с другим положением книги М. Бахтина, именно: «Все играющие действительно существенную роль в романе голоса представляют собой «убеждения» или «точки зрения на мир». И это не просто теории, а такие теории, которые вытекают «как бы из самого «состава крови» персонажей. Теории эти — активные идеи, побуждающие действующих лиц к определенным поступкам.

Признал обоснованным Луначарский и тот факт из книги М. Бахтина, что «романы Достоевского суть великолепно обставленные диалоги».

Важным в статье Луначарского было и следующее его признание: «Хотя М. М. Бахтин стоит в своей книжке главным образом на точке зрения формального исследования приемов творчества Достоевского, он во-

все не чуждается и некоторых экскурсий в область социологического их выяснения»<sup>97</sup>.

Характерно, что Луначарский не заметил у М. Бахтина отрыва Достоевского от условий русской действительности в пореформенные годы. Напротив, он (опираясь на М. Бахтина) назвал Достоевского зеркалом, в котором в резких драматических формах отразились разнообразнейшие противоречия и сдвиги в материальной и духовной жизни России в пореформенную эпоху.

Луначарский указал и на целый ряд недостатков (с его точки зрения) книги М. Бахтина, внес некоторые уточнения и поправки в отдельные ее обобщения и выводы. Так, он не согласился с автором книги в понимании «тенденциозности» в драме. Ему хотелось бы видеть в ряду «полифонистов» Бальзака и многих других писателей. Важным однако был конечный вывод статьи Луначарского: «... М. М. Бахтин устанавливает, что именно Достоевский был, по крайней мере на русской почве, создателем полифонического романа»<sup>98</sup>.

Так отразилась книга М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» в журнальной критике 1929—1930 годов.

\* \* \*

Книгой «Проблемы творчества Достоевского» завершаются годы жизни Михаила Михайловича (1924—1930) в великом городе на Неве, — в городе, с которым более двух столетий была связана история России с ее великой духовной культурой.

С книгой «Проблемы творчества Достоевского» завершилось и первое десятилетие творческой деятельности М. Бахтина. В это десятилетие определилось его «незаместимое место» в отечественной науке, достигнуты первые результаты в ней, осознаны пути и избраны направления будущей деятельности. Прав исследователь, утверждающий, что именно в 1920-е годы М. Бахтин разработал концепцию, направленную против неуклонного стремления властей предержащих «насаждать в общественном сознании идеи монологизма во всех формах: в отношении к истине, к инакомыслящим, саморазвитию литературы»<sup>99</sup>.

## IV. АРЕСТ И ПРИГОВОР

(1928—1930)

*Арест!! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это не вмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие?*

А. Солженицын



Подошел к концу 1928-год. Четыре с половиною года прошло с той поры, как М. Бахтин возвратился в Петроград. Но за это время он так и не смог найти себе здесь постоянной работы, перебиваясь случайными заработками. Выступал с лекциями в библиотеках, в литературных и иных кружках, иногда в рабочих клубах, получая за свои выступления мизерное вознаграждение — от трех до пяти рублей. Сводить концы с концами помогала жена Елена Александровна: она мастерски умела шить мягкие детские игрушки, которые продавала на рынке. Обилия и комфорта не было, но и не голодали. К тому же не оставляли надежды на лучшее будущее. Налаживались связи с кооперативным издательством «Прибой» (где была принята к изданию книга «Проблемы творчества Достоевского»), с Государственным издательством (Лениздат), где работал П. Н. Медведев. Не обрывались связи с Институтом истории искусств. Однако все надежды на лучшее будущее неожиданно рухнули: в ночь на 24 декабря 1928 года М. Бахтин был арестован<sup>1</sup>. «Оперативные работники» ОГПУ (бывшей ЧК) произвели в квартире ученого обычный в их практике обыск, наскоро собрали и упаковали все его рукописи, письма, фотографии, книги и взяли с собой. Конечно же, вместе с их хозяином. Доставили Михаила Михайловича на Гороховую улицу, где в то время в домах под номерами 2 и 4 располагалось ОГПУ Ленинградского военного округа (ЛВО). Здесь начальник 2-го отдела секретно-оперативного управления (СОУ) Петров предложил ему заполнить стандартную анкету, принятую в практике



работы этого учреждения, после чего отправил его в Дом предварительного заключения (ДПЗ). Это была тюрьма. Находилась она на улице Шпалерной, состояла из трех корпусов. В каждом из них был свой особый режим для содержания подсудимых. Самым комфортабельным считался 1-й корпус, а самым строгим — 3-й. Камеры здесь были и общие, и одиночные. В те декабрьские дни, в которые М. Бахтин был взят, общие камеры были заполнены до отказа. Только по делу «Воскресения» в это время было арестовано около двухсот человек<sup>2</sup>.

Заметим кстати, что именно с этого «дома» в послеоктябрьские годы начинался обычно скорбный путь нечеловеческих мук и мытарств многих представителей питерской творческой интеллигенции, завершавшийся часто их гибелью.

Арест не был неожиданным для М. Бахтина. Напротив, он имел все основания предполагать, что и ему — рано или поздно — придется объясняться «с глазу на глаз» с теми, кто в ту страшную пору высокопарно называл себя «карающим мечом революции». Ему, скромному труженику, конечно, хорошо было известно, что в тюрьме на Шпалерной совсем недавно побывал (к счастью, недолго) его друг Л. В. Пумпянский. Там же содержались люди, которых он знал, с которыми был хорошо знаком или даже находился в близких отношениях. Не знал М. Бахтин только о том, когда и в какой час неусыпные «стражи революции» приедут и за ним самим, как не мог знать в подробностях и того, что обвинят его в контрреволюционной деятельности с целью свержения Советской власти...

Общественно-политическая обстановка в Петрограде, как и во всей стране, стала меняться со второй половины 1920-х годов. Новая экономическая политика, не успев развернуться в полную свою силу, стала постепенно и неуклонно свертываться. Состоявшийся в декабре 1927 года XV-й съезд партии большевиков провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства и на ликвидацию на этой основе кулачества как класса. Торжество Сталина и его сторонников над их политическими противниками (группой Бухарина) на июльском и ноябрьском пленумах ЦК 1928 года свидетельствовало о том, что в самые ближайшие годы в стране на-

зревала драматические события. Программы ускоренной индустриализации и коллективизации, насильственно навязанные народу сверху, действительно очень скоро привели к неслыханным массовым репрессиям, к голоду и к гибели многих миллионов ни в чем не повинных людей. Но все это было еще впереди, а пока всё началось с «идеологического обеспечения» (как недавно выражались наши партийно-коммунистические функционеры), т. е. с идейно-политической подготовки крупномасштабной операции против мыслящей части общества — творческой интеллигенции. Той части этой интеллигенции, которая почему-то роковым образом не могла понять «генеральной линии партии» и не умела идти с ней (с партией) в ногу к «сияющим вершинам коммунизма». Как и в прежние годы, в ряды заведомых врагов Советской власти и социализма были зачислены Церковь, различные религиозные организации (как-то еще уцелевшие от прошлых погромов) и их деятели.

Органы ОГПУ в центре возглавлялись еще вчерашними соратниками Феликса Дзержинского, умершего в 1926 году. Во главе этого огромного репрессивного аппарата стоял теперь В. Р. Менжинский (1874—1934), бывший заместитель «железного Феликса». А рядом с ним были все те же — Г. Г. Ягода (1891—1939), Г. И. Бокий (1879—1937) и им подобные «мастера» своего дела. Все они хорошо помнили завет Дзержинского: «ЧК не суд. ЧК — защита революции, она не может считаться с тем, принесет ли она ущерб частным лицам. ЧК должна заботиться только об одном, о победе, и должна побеждать врага, даже если ее меч при этом попадет случайно на головы невинных»<sup>3</sup>.

Очередная волна репрессий стала подниматься в мае 1928 года — в канун сталинского «великого перелома» года 1929-го. Этой волне предшествовала газетная шумиха по поводу якобы «враждебной деятельности» бывших аристократов и дворян, купцов и буржуазных интеллигентов («спецов»), окопавшихся в монастырях и церквях, в университетах, в Академии наук и ее институтах, в советских учреждениях. Вслед за партийно-пропагандистской подготовкой общественного мнения за работу принялись органы ОГПУ. На этот раз в центре внимания оперативников в перетянутых ремнями кожанках оказалась прежде всего Троице-Сергиева Лавра

(Сергиев Посад) и окрестные с ней православные монастыри и церкви (Зосимова Пустынь и другие). Безосновательным арестам подверглись не только церковные деятели, среди которых оказался и хорошо известный в религиозно-философских и научных кругах той поры Павел Александрович Флоренский (1882—1937). Арестованы были также и жившие в Сергиевском Посаде бывшие дворяне и среди них — немногие потомки знатных в прошлом аристократических родов России (Шаховских, Олсуфьевых, Трубецких и пр.), каким-то чудом уцелевшие от красного террора прежних лет. Теперь же они должны были держать ответ перед властями только за то, что имели дворянское происхождение. За это их по-шемякински судили, расстреливали или ссылали в концентрационные лагеря дальнего Севера вместе со священнослужителями и простыми мирянами, становившимися на защиту церкви и отстаивавшими свои права на свободу совести — на ту свободу, которая была признана за ними Декретом 1918 года об отделении церкви от государства и школы от церкви.

Аресты, начавшиеся в Подмоскovie, захватили затем Москву и другие большие и малые города России. Быстро докатились они, конечно, и до бывшей российской столицы на Неве.

Мы уже говорили ранее о том, что в Петрограде в послеоктябрьские годы возникло и действовало более или менее регулярно много различных кружков. Мы имеем в виду кружки питерской интеллигенции — ученых университета и Академии наук, писателей и театрально-музыкальных деятелей, священников и художников-живописцев, архитекторов и учителей различных школ, студентов. В условиях непрекращавшихся поисков «классовых врагов», нетерпимости к инакомыслию, рядовые интеллигенты (с учеными степенями и званиями или без них), не видя смысла в крутой и беспощадной ломке вековых устоев народной жизни, в попрании веками складывавшихся норм нравственности и других общечеловеческих ценностей, охваченные страхом перед властями, инстинктивно тянулись друг к другу, объединялись в небольшие кружки единомышленников, как это не раз было на Руси в периоды ее лихолетья. Собирались время от времени на квартирах друг у друга, вели доверительные беседы, стремясь

разобраться в происходящих вокруг них событиях и мечтая о том, как можно было бы соединить экономические и социально-политические программы правящей в стране партии с духовными началами жизни, с уважением к отдельной человеческой личности, к элементарным демократическим свободам общества. Объединения кружкового типа назывались по-разному: «Братство святой Софии», кружок историков-медиевистов, «Братство Серафима Саровского», кружок «Христос и Свобода», «Космическая Академия Наук» и т. п. Среди многих существовал и кружок под названием «Воскресение». Скажем о нем здесь хотя бы несколько слов, потому что М. Бахтин был арестован 24 декабря 1928 года за связь именно с этим кружком.

В опубликованных еще в 1960-х годах в кругах русской эмиграции в Париже материалах общая картина возникновения и деятельности «Воскресения» предстает перед нами в следующем виде<sup>4</sup>.

Кружок, о котором идет речь, возник в конце 1917 года. Его организатором и идейным вдохновителем был Александр Александрович Мейер (1882—1939). Родился он в семье преподавателя одной из одесских гимназий. Учился в продолжение одного года в Новороссийском университете. За участие в революционном движении был арестован, а затем отправлен в ссылку. В эти годы Мейер много занимался самообразованием, читал и переводил на русский язык книги по различным разделам знаний (философии и психологии, социологии и логике). По возвращении из ссылки в родную Одессу пытался продолжить свое образование в университете, но снова был выслан. В 1903—1906 годах побывал в Баку, в Ташкенте и в Финляндии, откуда переехал в Петербург. Некоторое время занимался здесь преподавательской деятельностью, а затем перешел на работу в Публичную библиотеку, где оставался до дня ареста 15 декабря 1928 года по делу «Воскресения».

В своих социально-философских воззрениях Мейер пережил сложную эволюцию. Разочаровавшись в марксизме, он еще в 1907 году примкнул к так называемому «мистическому анархизму». В 1909 году опубликовал книгу «Религия и культура». Сблизившись с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус, Мейер становится одним из членов С.-Петербургского религиозно-

философского общества (РФО). Вскоре, однако, он расходится с Мережковскими. Отстаивая идею Вселенской церкви, Мейер считал возможным соединение идеи социализма (коллективизма) с христианством. Потому что в послеоктябрьские годы в его отношении к Советской власти и к большевикам не было той непримиримости, которая была характерна, например, для Мережковских.

В середине 1920-х годов Мейер разочаровывается и в идеалах социализма, безоговорочно возвращается в лоно Православия. Е. Н. Федотова (жена известного в ту пору философа Г. П. Федотова) писала о нем: «...Всюду и везде он прежде всего является «ловцом» человеческих душ, которые личными путями ведет к Христу и Церкви»<sup>5</sup>.

Кружок «Воскресение» был, по-видимому, не единственным в деятельности Мейера. Кружки, полагал он, сделают «невозможной попытку уничтожить христианскую культуру». «Наша обязанность,— говорил он,— жить сообразно нашей идее. Христианство обязывает начать жить с себя, а если из нас составится сила, она сделает что нужно, не захватывая власти. Не строить партий, а создать может быть, ордена, которые пробудили бы идею в своей жизни, которая потом даст эффект во вне»<sup>6</sup>.

Одним из первых членов «Воскресения» и его создателем был и писатель Н. П. Анциферов (1889—1958). О своем вхождении в этот кружок он так говорил в своих позднейших воспоминаниях: «Я служил в эти дни ... в Публичной библиотеке. Ко мне обратился А. А. Мейер с предложением встретиться и вместе подумать. Встреча была назначена у Ксении Анатольевны Половцевой в ее квартире на Пушкинской. Так возник кружок А. А. Мейера»<sup>7</sup>.

Одним из первых членов «Воскресения» была, конечно, и К. А. Половцева (1887—1949). Она была дочерью заведующего архивом Министерства императорского двора. Архитектор по образованию, она была известна и как художник-график. В 1915—1917 годах исполняла обязанности секретаря Совета Петроградского религиозно-философского общества. В кружке выступала с докладами, активно участвовала в обсуждении докладов других кружковцев. Призывала членов

кружка к работе среди молодежи. «Религиозные идеи,— говорила она,— больше всего отвечают молодости и юности... Главные струнки, на которых можно играть: указывать на скрытость Церкви, ее гонимость... Что ж из того, что 25 октября горят огни и празднуют три дня. В апреле две недели празднуют и горят огнями все церкви. И у нас есть чем привлечь, только надо дать живую воду»<sup>8</sup>.

У истоков «Воскресения» стоял и философ Георгий Петрович Федотов (1886—1951). Подобно Мейеру, и Федотов начинал свою деятельность с увлечения марксизмом, с участия в социал-демократическом движении, за что арестовывался и высылался за границу. Но, разочаровавшись в этих увлечениях юности, возвратился в лоно христианства и стал одним из идеологов Православной Церкви. Как и другие русские мыслители предоктябрьской и послеоктябрьской поры, считал опасным для России и ее народа отрыв национальной мысли от «вселенского культурного наследия». Октябрь принял как свершившийся факт. Признал Федотов и «правду социализма». Полагал, однако, необходимым соединение этой правды с духовным обновлением и религиозным «воскресением» народа. На этой основе и произошло его сближение и объединение с Мейером. С целью пропаганды волновавших их идей и был организован кружок. Налажено было и издание журнала «Свободные голоса» (1918 г.). Правда, выпустить они смогли только два номера. В 1925 году Г. П. Федотов выехал за границу<sup>9</sup>, после чего связь его с «Воскресением» практически прекратилась.

Как видно из известных теперь источников, на заседаниях кружка «Воскресение» бывали многие видные деятели русской культуры. Среди них — философ и литературовед С. А. Аскольдов, библиограф А. Ф. Шидловский, пианистка М. В. Юдина, М. К. Неслуховская (театральный художник, будущая жена поэта Н. С. Тихоня), сотрудник академика И. П. Павлова физиолог Л. А. Орбели, художник К. С. Петров-Водкин, литературовед Л. В. Пумпянский, художник Л. А. Бруни, литературовед Д. Д. Михайлов, актриса Т. Н. Арнсон, морской офицер Б. М. Назаров, библиотекарь В. В. Бахтин и даже свояченица С. М. Кирова С. Л. Маркус. За десять лет деятельности кружка на

его заседаниях — в разные годы — побывало от 150 до 200 человек.<sup>10</sup>

Заседания «воскресенцев» поначалу проводились по вторникам и воскресеньям. Позже было признано целесообразным собираться только по воскресеньям. Собрания проводились на квартирах самого Мейера, у Половцевой и ее матери, у Федотова, у художника Смотрицкого и других. Не все участники кружковских заседаний были людьми верующими. Присутствовало на них в отдельные дни не более 10—12 человек: Начинались заседания с чтения очередного доклада (тема избиралась всеми на предшествующем заседании), затем шло обсуждение, в котором обязан был сказать свое слово каждый из присутствующих.

Известно, что поначалу «воскресенцы» критически относились к Православной Церкви, полагая, что она отошла от первоначального христианства и потому в ней невозможно свободное развитие евангельских идей. Задачи кружка были определены Федотовым в передовой статье первого номера журнала «Свободные голоса». В ней говорилось: «Социализм, который вел его (человечество.— Авторы) к царству Божию на земле, а привел к бездне, должен найти в себе силы для возрождения, для нового рождения. Он должен найти новый камень, вместо песка эгоизмов, на котором будет основана его церковь... Нас мало, и глухая ночь кругом, но мы вышли искать новый путь... У нас разные мысли, разные веры... одна перед нами цель. Дерзновенна эта цель, но время требует подвига: спасти правду социализма правдой духа, и правдой социализма спасти мир».

Для достижения этой цели, считал Федотов, необходимо всем, признающим эту правду, «облечь в плоть душу России», оставить «монашеский аскетизм» и «идти в мир и принять его»<sup>11</sup>.

Однако очень скоро «воскресенцы» убедились в утопичности своих надежд: политика большевистских властей безжалостно их развенчала. Член кружка Г. В. Пигулевский (1888—1964) так говорил об этом: «Кружок возник из потребности осознать все происходящее с Россией, в поисках выхода. Эти поиски привели нас к необходимости искать новый идеологический фундамент... Предлагаю позвать новых людей и обсу-

дить тему о возможности и путях религиозного возрождения»<sup>12</sup>.

О религиозном возрождении, как пути преодоления современного идейного кризиса, говорили и другие активные члены «Воскресения». Так, К. А. Половцева на одном из заседаний кружка в ноябре 1922 года заявила: «Когда мы собрались, был поставлен вопрос о кризисе социализма, мы им болели. Через два года мы выяснили, в чем кризис заключается, и вышли на путь религии. Все темы приводили к признанию необходимости религиозной позиции. Мы упорной работой убедились, что иной позиции, кроме религиозной, быть не может»<sup>13</sup>.

С наибольшей отчетливостью эти мысли и настроения выразила жена Пигулевского Н. В. Пигулевская (1894—1970), которая так писала о своем разочаровании в идее соединения большевизма с христианством: «Я в свое время исповедовала такое убеждение: коммунизм строит здание, и строит без креста, но когда построит до конца, сделаем купола, поставим крест, и все будет хорошо. Я так думала, теперь иначе. Я знаю, что из ратуши церкви не сделают. Теперь строится синагога сатаны, из которой, сколько колоколов ни навешивай, ничего не сделаешь»<sup>14</sup>.

Что касается путей и средств достижения новых целей, т. е. религиозного возрождения России, лидеры «Воскресения» считали, что для этого необходимо расширять связи с интеллигенцией, в особенности — с духовенством. Кружок, говорила Ксения Половцева, это и есть «та лаборатория, где будет приготавливаться идеология современной интеллигенции, которая учтет и религиозность, и коммунизм»<sup>15</sup>.

Говорилось также и о необходимости привлечения к кружку молодежи, без участия которой нельзя было вести дела вперед. В конечном счете большая часть «воскресенцев» пришла к мысли о союзе с Православной Церковью, к признанию ее коренных духовных начал. В связи с этим изменился и сам характер заседаний членов кружка: они начинались теперь всякий раз с коллективной молитвы и с взаимного рукопожатия. Такой порядок сохранялся до последних дней существования «Воскресения» — до декабря 1928 года, когда все его члены и участники заседаний были арестованы.



Такова краткая история возникновения, внутреннего развития и деятельности «Воскресения» в 1917—1928 годах.

С делом «Воскресения» связан и арест М. Бахтина. Мы уже говорили ранее о той анкете, которую Михаил Михайлович собственноручно заполнил той ночью, когда он был доставлен в резиденцию ОГПУ на улицу Гороховую в дом 2. О многих сведениях, сообщенных им в этом документе о своих родителях и о самом себе, ранее (в разной связи) мы уже говорили. Здесь обратим внимание на следующее.

На вопрос анкеты о профессии Михаил Михайлович ответил: «бывший лектор и учитель». А вслед за этим записал, что занимался этим делом в Невеле и в Витебске, где выступал в красноармейских и профсоюзных клубах. А далее продолжал: «недвижимым имуществом не владел», «к судебной ответственности не привлекался», от воинской обязанности освобожден по болезни (костное заболевание с детства)», «никем не допрашивался», «обвинение не предъявлено», арестован «на своей квартире», место жительства — ул. Восстания, 36\*.

Кроме самого арестованного, анкету подписал начальник 2-го секретно-оперативного управления Петров<sup>16</sup>.

Первый запотоколированный допрос М. Бахтина состоялся 26 декабря 1928 года. Его вел Александр (Альберт) Робертович Стромин (1902—1938) — старший следователь 2-го секретно-оперативного управления (СОУ) Ленинградского ОГПУ. Латыш по национальности, он начал свою службу в аппарате ВЧК-ОГПУ с марта 1920 года. По-видимому, не без содействия и помощи Мартына Ивановича Лациса (в действительности — Судрабс Ян Фридрихович, 1888—1938), тоже латыша по национальности, стяжавшего себе своей изощренной жестокостью печальную известность<sup>17</sup>.

Стромин в Ленинградском ОГПУ считался высококвалифицированным следователем: ему поручались дела ученых (он, например, одновременно с делом «Воскресения» вел еще и «дело Академии наук», или «дело

\*Бывшая Знаменская ул.

историков Платонова и Тарле»). Между тем личные его протокольные записи допросов обращают на себя внимание прежде всего своей элементарной малограмотностью, о чем, в частности, свидетельствуют и его протоколы допросов М. Бахтина.

Стромин остался в памяти людей, прошедших через его руки, как человек внешне достаточно корректный, т. е. никого не оскорблял и не избивал, не ругался и не изматывал ночными допросами. В первых же своих репликах призывал подсудимых «разоружиться», т. е. признать свою вину, сообщить побольше сведений о тех, кто увлек их на «гибельный путь». Словом, дать ему, Стромину, возможность «спасти» арестованного от сурового наказания<sup>18</sup>. Все подобного рода приемы входили в арсенал средств не только Стромина, который в иных случаях мог прибегать и прибегал и к подлогам и к провокациям<sup>19</sup>.

Обратимся, однако, к протоколу первого допроса М. Бахтина.

«Происхождение: сын мещанина Орловской губернии. Отец был банковским служащим, теперь счетовод театра в г. Невеле.

Место жительства: Знаменская улица, 36, кв. 47. Жена — Околович Е. А. Детей нет. Беспартийный.

Политические убеждения — марксист-революционист, лоялен к советской власти. Религиозен.

Образование — высшее. Филолог. Окончил Одесский (Новороссийский) университет. Не судился».

Обращают на себя внимание слова «марксист-революционист». М. Бахтин, конечно, читал и внимательно изучал произведения Маркса и Энгельса. В ряде своих работ 1920-х годов даже опирался на некоторые их идеи. Но марксистом и «революционистом» все-таки не стал. Он не мог принять ни атеизма марксизма, ни его теории классовой борьбы. Он видел, в какие уродливые формы вылилась эта теория в условиях русской действительности.

Что касается существа дела, она в протоколе первого допроса Михаила Михайловича изложена так: «... на моей квартире устраивались беседы на философские темы и религиозно-философские. На них присутствовали: Волошинов В. Н., Медведев П. Н., Юдина М. В.,

Пумпянский, Ругевич Анна Сергеевна, Осокин П. М., Тубянский Михаил Израилевич, Иванов Евгений Павлович и многие другие.

Доклады читал главным образом Пумпянский. Читал я доклады и в других квартирах. У Юдиной, у Щепкиной-Куперник Татьяны Львовны, у Осокина Петра Михайловича, Назарова Бориса Михайловича.

У Назарова я делал доклад о Максе Шелере.

На квартире Щепкиной-Куперник было человек 25, среди них — Ключев, Рождественский, Медведев, Пумпянский.

У Юдиной на улице Халтурина в ее квартире. Доклад читал и я, и Пумпянский»<sup>20</sup>.

Из приведенной протокольной записи видно, что вопрос о членстве М. Бахтина в кружке «Воскресение» следователь и не ставил. Ничего не говорил о своем отношении к «Воскресению» и М. Бахтин. Впечатление такое, что вопрос этот даже и не требовал обсуждения.

Никак не отразилось в протокольных записях и само содержание докладов, с которыми подследственный выступал на квартирах помянутых им своих друзей или знакомых.

28 декабря 1928 года состоялся второй допрос М. Бахтина. Вел его ранее уже упоминавшийся начальник 2-го секретно-оперативного управления Петров. В протоколе, который Михаил Михайлович заполнил сам (по-видимому, на предложенные вопросы), отмечено много нового (в сравнении с первым протоколом). Надо полагать, что следователь на этот раз потребовал от Михаила Михайловича более подробного освещения своей деятельности в Ленинграде за последние четыре года. М. Бахтин писал: «Моя деятельность в Ленинграде с 1924 до 1927 год выражалась между прочим в чтении рефератов и докладов на моей собственной квартире и на квартирах М. В. Юдиной, А. С. Ругевич, Б. М. Назарова, П. М. Осокина и Т. Л. Щепкиной-Куперник».

Говоря об аудитории, слушателях, их количестве, М. Бахтин продолжал:

«1, на моей квартире аудитория — 6-7 человек. Главный предмет занятий — «психоанализ» Фрейда. Были прореферированы важнейшие работы самого Фрейда и его последователей. Главным референтом был Пумпян-

ский Л. В. Аудитория состояла из ближайших друзей (Тубянский, Медведев, Волошинов, Ругевич) и одного-двух случайных знакомых.

2, на квартире Юдиной присутствовало человек 20-25. Был прочитан цикл лекций о современной поэзии (о Блоке, Иванове, Клюеве и других). Докладчиками были Пумпянский, Медведев и я. Аудитория — из случайных людей.

3, в квартире А. С. Ругевич бывало от 5 до 7 человек. Читали доклады о Пушкине (Пумпянский), об оде Ломоносова и Державина (Пумпянский), о Достоевском (Бахтин) и рефераты по психоанализу. Состав — тот же, что бывали и на моей квартире.

4, на квартире Щепкиной-Куперник аудитория была до 25 человек. Был вечер, посвященный Есенину. Читали доклады Пумпянский и Медведев, свои стихи читали Клюев и Рождественский, декламировала А. Радлова. Аудитория — случайная.

5, на квартире Осокина П. М. бывало до 7 человек. Делались доклады о Фрейте и по искусствоведению. Состав участников тот же, что и на моей квартире.

6, на квартире Назаровой мною были прочитаны два реферата о Максе Шелере — современном немецком философе-феноменологе. Первый реферат был об исповеди. Исповедь, по Шелеру, есть раскрытие себя перед другим, делающее социальным («словом») то, что стремилось к своему асоциальному внесловесному пределу («грех») и было изолированным, неизжитым, чужеродным телом во внутренней жизни человека. Второй реферат касался воскресения. Суть: воскреснет жизнь не ради нее самой, а ради той ценности, которая раскрывается в ней только любовью.

В прениях по одному из рефератов принимали участие А. А. Мейер и Е. П. Иванов.

На одном из рефератов был отец Гурий и еще один или два священника. Остальная аудитория состояла из пожилых или старых дам и носила случайный характер. Разговоры велись по преимуществу о внутрицерковных личных сварах между епископами. К Назарову был приглашен какой-то дамой, с которой познакомился у Юдиной...»

В процессе второго допроса следователь затронул вопрос о связях М. Бахтина с границей. Никаких до-

кументов, которые уличали бы его в нелегальных сношениях с эмигрантскими кругами во Франции, предъявлено не было. О том же, что было, он сообщил следующее: «Из лиц, приехавших из-за границы, я имел краткую беседу только с Б.-М. Зубакиным. С Зубакиным я познакомился в Невеле, а затем раза два видел его в Витебске. В течение последних семи лет я его не видал и не имел о нем никаких сведений. Этим летом он посетил жившего со мной на даче (в Юкках) В. Н. Волошинова и заходил ко мне. Я в это время лежал больной с высокой температурой и беседовал с ним минут по двадцать два раза. Во время этих бесед он читал главным образом свои стихи.

О себе он сообщил только, что был за границей, где провел, кажется, полгода; сообщил, что был в Италии и посетил Горького, который дал ему свою толстовку. Больше мы с ним ни о чем не говорили. М. Бахтин»<sup>21</sup>.

Из двух допросов М. Бахтина, произведенных Строминым и Петровым, видно, что ничего противоправного в деятельности арестованного не было. Следователи ОГПУ не могли не видеть, что перед ними — человек интеллектуального труда, ученый, занимающийся религиозно-философскими и литературными проблемами, на первый взгляд — весьма необычными, но и не содержащими в себе ничего преступного, т. е. того, что можно было бы расценить как деяние, направленное на свержение существующего в стране общественно-политического строя. Тем не менее в самом начале января 1929 года, на десятый день после ареста М. Бахтина, из-под пера Стромина вышел документ, в котором говорилось о необходимости привлечения ученого к уголовной ответственности. Впрочем, приведем содержание этого документа полностью с сохранением его стиля:

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу 108 1929 года января 3 дня. Уполномоченный 2-го отделения СОУ (секретно-оперативного управления.— Авторы) Стромин.

Рассмотрев материал на него, по коему г(ражданин) Бахтин М. М. достаточно изобличается в том, что он состоял в антисоветской нелегальной организации, т. е. преступлении, предусмотренном ст. 58/II УК, руководствуясь статьями 128 и 129 УПК, постановил:

привлечь гр. Бахтина М. М. в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение в вышеуказанном преступлении.

Уполномоченный Стромин.

Согласен: начальник 2-го отделения СОУ Петров.

Утверждаю: начальник СОУ Жупахин.

В конце этого обвинительного постановления имеется следующая запись: «Обвинение мне объявлено 4 января 1929 г. М. Бахтин».

Есть и другая запись: «копия настоящего постановления препровождена 3 января 1929 г. ст. помощнику областного прокурора по надзору за органами ОГПУ»<sup>22</sup>.

В этот же день, 3-го января, состоялось и второе постановление следователя Стромина. Оно касалось избрания «меры пресечения» в отношении обвиняемого М. Бахтина. Приведем и этот документ в том его виде, каким он вышел из-под пера следователя:

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу 108.1929 года января 3 дня. Я, старший уполномоченный 2 отделения СОУ Стромин, рассмотрев дело гр-на Бахтина М. М., обвиняю его в преступлении, предусмотренном ст. 58/II УК, обсудив вопрос в порядке ст. ст. 144, 147, 149 и 158-УПК об избрании меры пресечения способов уклонения от суда и следствия и приняв во внимание, что освобождение из-под стражи может повлиять на дальнейший ход следствия, постановил: мерой пресечения обвиняемого Бахтина Михаила Михайловича избрать содержание под стражей в Доме предварительного заключения (ДПЗ) до окончания следствия.

Уполномоченный Стромин.

Утверждаю. Начальник Следственного отдела Жупахин.

Постановление объявлено М. Бахтину.

Через два дня, 5 января 1929 года, появилось новое постановление, прямо противоположное первому:

«1929 года января 5 дня. Старший уполномоченный 2 отделения Следственного отдела управления Стромин, рассмотрев дело о гражданине Бахтине Михаиле Михайловиче, обвиняемого в принадлежности к нелегальной антисоветской организации, что освобождение из-

под стражи не может повлиять на дальнейший ход следствия, постановил: мерой пресечения в отношении Бахтина М. М. избрать освобождение из-под стражи под подписку о невыезде из г. Ленинграда.

Уполномоченный Стромин.  
Согласен. Петров.

Копия этого постановления направлена старшему помощнику областного прокурора по надзору за органами ОГПУ в Ленинградском военном округе (ЛВО) ».

Одновременно с этим постановлением на имя начальника Дома предварительного заключения выписан «Талон» следующего содержания: «С получением сего немедленно освободить из-под ареста Бахтина М. М. Подписка о невыезде. 5 января 1929 года»<sup>23</sup>.

Распоряжение было исполнено. У М. Бахтина была взята подписка следующего содержания: «Подписка к делу 108. 1929 года января 5 дня. Я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что по освобождении меня из-под стражи обязуюсь без разрешения органов ОГПУ Ленинграда никуда не выезжать. Адрес: Ленинград, Знаменская улица, дом 36, кв. 47. М. Бахтин»<sup>24</sup>.

В романе «Архипелаг Гулаг» А. Солженицын писал, что М. Бахтин был арестован в сочельник, т. е. в канун Рождества Христова. В действительности же, как только что мы видели из следственного дела, за день до христианского праздника Михаил Михайлович был уже освобожден из тюрьмы, пробыв в ней 12 дней.

Вследствие каких обстоятельств следователи М. Бахтина пошли на такой неожиданный шаг?

Конечно же, не из-за гуманных побуждений, не потому, что прониклись чувством сострадания к нему. Они твердо помнили о своем предназначении. Дело в данном случае заключалось, по-видимому, в том, что тюрьма была переполнена. Ведь только по делу «Воскресения», как уже отмечалось ранее, было арестовано до 200 человек<sup>25</sup>. Суровым и непреклонным «стражам революции» требовались места для новых жертв. К тому же следователи Стромин и Петров хорошо видели, что М. Бахтин с его тяжелой хронической болезнью (возможно, в это время даже обострившейся) никуда от них не уйдет.

Третий допрос Стромин учинил М. Бахтину 13 марта 1929 года. В протоколе читаем: «На квартире его (Бахтина.— Авторы) были слушатели Богословского института, объединенных в кружок преподавателем института Щербою. В числе слушателей находились Б. М. Назаров и его жена, доктор Вера Александровна (фамилии не помнит), учительница Анна Филипповна (фамилии не помнит), Тепчинская, Харламова, Александров, Соколов»<sup>26</sup>. А дальше следователь продолжал словами Михаила Михайловича: «Собирались у меня не чаще одного раза в месяц и реже. За лекцию получал 3 рубля. Читал о Канте, Гуссерле, Шелере. Раньше не говорил об этом кружке. В дискуссиях об отношениях церкви с Советской властью участия не принимал. Считали Христа социалистом»<sup>27</sup>.

Эти сведения, по-видимому, были получены от других арестованных, и М. Бахтин должен был либо подтвердить их справедливость, либо отвергнуть. Опровержения, как только что мы видели, не последовало. Стало быть, кружок такой существовал — нечто вроде филиала «Воскресения».

В следственном деле М. Бахтина имеется листок, озаглавленный: «Агентурные сведения о «Воскресении». Документ этот не датирован, и потому трудно судить о том, когда он появился и на какой стадии следствия был приобщен к «делу». В продолжение трех допросов, начавшихся 26 декабря 1928 года, ни разу не была названа та «антисоветская нелегальная организация», членом которой будто бы был и М. Бахтин. В листке же «Агентурные сведения» эта организация, наконец-то, названа «Воскресением». О чем же сообщили агенты ОГПУ своим шефам? Писали о следующем: «Никаких подробностей о направлении этой организации никому в «Содружестве» известно не было, за исключением того, что в 1925 году на одном из заседаний «Воскресения» были приглашены руководители «Братства» Андреевский, Алексеев-Аскольдов и бывший председатель Всероссийского союза Христианской молодежи, член «Братства» Обновленский для переговоров о слиянии «Братства» и «Воскресения» и совместной работы; что во главе «Воскресения» стоит Александр Александрович Мейер и что соглашение почему-то не состоялось»<sup>28</sup>.



Осведомитель Ленинградского ОГПУ говорит своим шефам о некоем «Содружестве», в действительности имея в виду «Братство Серафима Саровского». «Братство» это было основано в 1921 году профессором-литературоведом С. А. Алексеевым-Аскольдовым при участии профессора В. Л. Комаровича. Оно пользовалось в то время в интеллигентных кругах Петрограда большой популярностью. «Братство» подверглось разгрому в том же 1928 году, что и «Воскресение».

Что касается И. М. Андреевского (Андриевского, 1890—1976), речь идет о враче-психиатре, литературоведе и историке, основавшем Академию космических наук. В нее входили студенты Петроградского университета (среди которых был и будущий академик Д. С. Лихачев). Занимались они преимущественно вопросами литературными. Члены этой «Академии» были обнаружены и вслед за тем арестованы вместе с их руководителем. «Академиком» обвинили в создании подпольной контрреволюционной организации, в поддержании связей с белой эмиграцией (имелись в виду бывшие профессора Петербургского университета И. И. Лапшин и Н. О. Лосский). Получилось так, что следователи Ленинградского ОГПУ рассматривали Академию космических наук как филиал «Братства Серафима Саровского», вследствие чего два «дела» были объединены в одно. Мало того, следствие пыталось найти здесь и какие-то связи с «Воскресением», в связи с чем, по-видимому, и возник сам агентурный листок.

В агентурном листке упоминается еще и Обновленский как «бывший председатель Всероссийского союза христианской молодежи» и как член «Братства Серафима Саровского». Обновленский Авенир Петрович (1885—?) был действительно связан с «Всемирным студенческим христианским союзом», возникшем в 1895 году в США. Связан он был и с русской секцией этого Союза, которая возглавлялась бароном П. Н. Николаи. Созданный А. П. Обновленским кружок ставил своей целью достижение единства всех христианских вероисповедных движений. В апреле 1928 года члены этой организации были арестованы.

Все, что было добыто следствием, было суммировано в документе под названием «Данные следствия». В нем говорилось: «Из показания части арестованных —

Бахтина Всеволода Владимировича, Иванова Евгения Павловича, Смотрицкого Павла Фомича и других, согласившихся давать показания (с условием не называть личностей и мест собраний), выяснилось, что «Воскресение» со всеми своими кружками существовало до последнего дня его ликвидации, что последние собрания происходили в квартирах Половцевой и Смотрицкого 2 и 4 декабря 1928 года, которые были созваны после четырехмесячного перерыва, с целью возобновления занятий»<sup>29</sup>. А вслед за этим отмечалось, что основатели «Воскресения» объединились сразу же после Октября и заняли враждебную позицию по отношению к Советам. За время существования «Воскресения», говорится в следственном деле, в эту организацию «были втянуты 21 человек, в их числе — Бахтин Михаил Михайлович». Здесь же упоминается (без достаточно видимой связи с контекстом) и бывший ректор Богословского института Щерба.

Касаясь вопроса об истории и характере деятельности «Воскресения», авторы «Обвинительного заключения» отметили, что в состав этой нелегальной организации вошли «остатки «Братства Серафима Саровского» и что члены «Воскресения» занимались сбором пожертвований «в помощь членам этой организации, уже осужденной»<sup>36</sup>.

Это в сущности было все, что смогли добыть в ходе следствия оперативники ленинградского ОГПУ в 1928—1929 годах.

Что касается М. Бахтина, относительно него Альберту Стромину не удалось собрать каких-то улик, на основании которых его можно было бы обвинить в контрреволюционной деятельности, направленной на свержение Советской власти.

Тем не менее организаторы «дела» не смутились. К лету 1929 года они постарались завершить работу над «Обвинительным заключением». Здесь нет возможности привести полный текст этого обширного документа, едва уместившегося на двух десятках машинописных страниц. Приведем лишь его преамбулу и ту часть, которая касается М. Бахтина. Содержание этих частей изложено следующим образом:

## ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СЛЕДСТВЕННОМУ ДЕЛУ № 108—1929 ГОДА

В Ленинграде в течение ряда лет существовала подпольная контрреволюционная организация правой интеллигенции под названием «Воскресение».

Во главе организации стояли бывшие активные деятели религиозно-философского общества, и за все время своего существования организация насчитывала до 110 членов.

«Воскресение» было связано с парижской белой эмиграцией в лице активных политических деятелей: члена группы «Борьба за Россию» и председателя «Всеэмигрантского национального комитета» Антона Владимировича Карташова и активного деятеля «Союза христианской молодежи» в Париже Георгия Петровича Федотова, которым регулярно посылалась информация о деятельности организации.

Лидеры «Воскресения» из разных источников получали белоэмигрантские газеты и литературу.

Имея своей конечной целью свержение Советской власти, организация задачей текущего дня ставила создание крупного общественного движения против существующей политической системы.

Пытаясь создать такое движение, организация широко использовала религиозные и националистические настроения той интеллигенции, которая благодаря своему враждебному отношению к Советской власти оказалась выбитой из колеи общественной жизни.

Из этой интеллигенции организация по плану создавала целую сеть подпольных кружков, которыми руководили отдельные члены организации и для которых подлинные ее политические цели маскировались целями борьбы с культурной и религиозной политикой Советской власти.

Помимо систематической антисоветской пропаганды в своих кружках организация проводила широкую агитацию всюду, куда могли проникнуть ее члены (церкви, вузы, школы и частные квартиры) и распространяли антисоветские материалы, которые печатались силами и средствами организаций<sup>31</sup>.

Говоря о социальном составе членов «Воскресения», составители «Обвинительного заключения» утверждали, что в организацию входили «осколки бывшего дворянского сословия, дети бывших помещиков, дворцовых чиновников, бывшие статские советники и их жены, бывшие офицеры, попы и монахи»<sup>32</sup>.

Вслед за этой общей характеристикой «Воскресения» приведен перечень всех обвиняемых по делу с краткой характеристикой каждого в отдельности. О М. Бахтине читаем: «Бахтин, Михаил Михайлович, 33 года, сын банковского чиновника, окончил филологический факультет Новороссийского университета. В течение ряда лет делал доклады в антисоветском духе в различных кружках; брат его Николай Михайлович Бахтин, известный монархист, является в настоящее время за границей активным проповедником вооруженной борьбы с СССР и реставрации. По политическим своим убеждениям считает себя (т. е. Михаил Михайлович.— Авторы) марксистом-ревизионистом... Женат. Инвалид труда»<sup>33</sup>.

В трех протоколах допросов М. Бахтина, как мы видели, ни разу не заходила речь об «антисоветском духе» его лекций и докладов. Ни разу не упоминалось и имя старшего его брата Николая Михайловича.

В «Обвинительном заключении» то и другое всплыло вдруг наружу. Но в чем конкретно проявлялся «антисоветский дух» лекторской деятельности ученого, какими документами или свидетельствами это подтверждается, каким образом подсудимый связан был с братом, жившим в Париже,— обо всем этом в «Обвинительном заключении» нет ни слова. И потому, оценивая «Обвинительное заключение» в целом, следует сказать, что «вина» М. Бахтина ничем не подтверждена и не доказана. В следственном деле нет ни вещественных доказательств, ни протоколов очных ставок, ни свидетельских показаний. Но эти «мелочи» не смущали ни следователя Стромина, ни его непосредственных начальников, ни представителей ленинградской областной прокуратуры, которые осуществляли правовой надзор за органами ОГПУ. Все согласилось с тем, что собранных материалов вполне достаточно для осуждения обвиняемого.

Итак, следствие было завершено. Материалы «дела» были переданы на рассмотрение Коллегии, которая по сложившемуся порядку составлялась из трех членов: двух работников ОГПУ и одного представителя областной прокуратуры.

Между тем состояние здоровья М. Бахтина ухудшалось день ото дня. Нервная система достигла, кажется, предела

напряжения. Снова обострился воспалительный процесс старого хронического костного заболевания. С высокой температурой с конца июня он лежал в больнице. 17 июля ему была сделана тяжелая операция, а через пять дней, 22 июля 1929 года, состоялось слушание его дела. Протокол заседания Коллегии ОГПУ был, по-видимому, общим по всему делу о «Воскресении». В деле М. Бахтина мы обнаружили только выписку из этого протокола. Выписка лаконична:

«С л у ш а л и: дело № 75819 по обвинению Бахтина Михаила Михайловича по 58/II статье УК.

П о с т а н о в и л и: Бахтина Михаила Михайловича заключить в концлагерь сроком на пять лет, считая срок с момента вынесения настоящего постановления. Дело сдать в архив»<sup>34</sup>.

В постановлении Коллегии концлагерь не был назван. Но имелся в виду Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОИ), где в это время гибли уже многие выдающиеся деятели русской культуры. Так в отсутствие М. Бахтина была решена его судьба! В самом начале августа 1929 года постановление Коллегии ОГПУ было объявлено всем содержащимся под стражей членам «Воскресения». Узнал об этом постановление и М. Бахтин, находившийся на больничной койке.

Получив копию судебного постановления «тройки», Михаил Михайлович понял, что такой приговор, суровый и несправедливый, при нынешнем его состоянии равносителен приговору о смертной казни. Видели и понимали это его друзья, все близкие ему люди. Возникла настоятельная необходимость в том, чтобы употребить все средства и возможности для отмены приговора и смягчения участи молодого ученого.

Первой вступила в борьбу за жизнь мужа и друга его жена Елена Александровна. 5-го августа 1929 года она написала письмо, которое было адресовано руководителям ОГПУ Ленинграда и Ленинградской области. Письмо это так для нас важно, что мы приводим его здесь полностью:

В ОГПУ

гр. Елены Александровны Бахтиной

заявление.

Прошу о пересмотре дела мужа моего Михаила Михайловича Бахтина, приговоренного к 5 годам Соловков. Осужденный страдает тяжелой хронической болезнью — множественным остеомиелитом (воспаление костного мозга), поразившим голень и бедро правой ноги, кисть левой руки и левое крыло тазовой повздошной кости. В течение последних 8 лет воспаление левой повздошной кости обостряется по нескольку раз в год, и всякий раз боль и высокая температура приковывают его на 2 месяца к постели. 27-го сего июня эта изнуряющая болезнь дала осложнение паранефрита, и 17 июля ему была сделана операция в больнице им. Урицкого, где он находится в настоящее время.

Так как мой муж, инвалид труда по своему социальному положению, во всяком концентрационном лагере будет только помехой государству и безусловно очень скоро погибнет без моего бдительного ухода — настоятельно прошу Вас о замене наказания приговоренному. Дайте ему возможность жить со мною вместе, не выполняя принудительных работ в каком-нибудь городе, где бы он мог найти квалифицированную медицинскую помощь, потому что его болезнь, требующая частого вмешательства опытного хирурга, требует и постоянного наблюдения специалиста. Е. Бахтина. 5 августа 1929 г.»<sup>35</sup>

Получив это заявление жены осужденного М. Бахтина, руководители Ленинградского ОГПУ, не решаясь принять по нему то или иное решение, направили его по инстанции в центральные органы в Москве. Ответ из центра получен ими 26 августа 1929 года. Приведем здесь содержание этого документа:

«Совершенно секретно. На № 12173. Ленинградскому Полномочному представителю ОГПУ в ЛВО.

Препровождая при сем заявление гражданки Бахтиной по поводу ее мужа, СООГПУ просит срочно произвести медицинское освидетельствование Бахтина и установить, возможна ли отправка Бахтина в лагерь согласно постановлению Коллегии ОГПУ.

п/начальник СООГПУ\* (Андреев)

Нач. 5 отд. СО (Полозов)»<sup>36</sup>.

\*СООГПУ — возможно, секретный отдел ОГПУ.

Не дожидаясь официального ответа на свое письмо, Елена Александровна постаралась привлечь к этому делу всех, кто мог бы в эти трудные для нее дни оказать ей реальную помощь и содействие в спасении (в буквальном смысле) Михаила Михайловича от грозившей ему гибели. Верными ее друзьями и помощниками в этом нелегком деле были в это время Мария Вениаминовна Юдина, Иван Иванович Канаев, Матвей Исаевич Каган и его жена Софья Исаковна и другие друзья и хорошие знакомые Бахтиных.

Горячее участие в судьбе ученого приняла Екатерина Павловна Пешкова (1876—1965) — жена М. Горького. Она в это время возглавляла (в качестве председателя) московское отделение политического Красного Креста (официальное наименование — «Комитет помощи политическим заключенным»). Заместителем у нее был М. Л. Винавер (в прошлом польский социал-демократ). Почетным председателем этого учреждения была В. Н. Фигнер (1852—1942)<sup>37</sup>.

Существование в Москве политического Красного Креста (в других городах подобные учреждения уже прекратили свое существование) в условиях утверждавшегося в стране тоталитарного режима было явлением странным. Своим существованием такая организация скорее была обязана тому, что ее возглавляла жена всемирно известного писателя. Размещался он на втором этаже дома № 6 на Кузнецком мосту, куда нередко в те дни заходили друзья Бахтиных. В сущность дела Е. П. Пешкова посвятила, конечно, и Горького, который направил в защиту М. Бахтина две телеграммы в соответствующие инстанции. Подавал свой голос в защиту Михаила Михайловича и писатель Алексей Толстой, знавший его по городу Пушкину. Повидимому, какую-то положительную роль сыграл в этом деле и А. В. Луначарский — тогда еще нарком просвещения РСФСР<sup>38</sup>. Словом, делалось все, что можно, чтобы помочь молодому талантливому ученому.

Ответ из Москвы от 26 августа 1929 года на запрос ленинградского ОГПУ вскоре стал известен и Елене Александровне Бахтиной. Было очевидно, что теперь требовалось незамедлительное письмо самого М. Бахтина с просьбой в Наркомздрав о назначении врачебной комиссии для освидетельствования состояния его

здоровья. Из больницы им. Урицкого его выписали 12 августа. Но вскоре же после этого он оказался в другой больнице Ленинграда — в больнице имени Ф. Ф. Эрисмана<sup>39</sup>. Отсюда 2-го сентября 1929 года он и пишет свое письмо-прошение в Наркомздрав на имя наркома Н. А. Семашко. Сохранился лишь черновик этого письма. Но он так важен, что мы приводим его здесь полностью:

«В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО  
ДЕЛУ О НАЗНАЧЕНИИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ М. М.  
БАХТИНА В ЛЕНИНГРАДЕ

заявление.

Я приговорен к 5 годам ссылки в Соловецкий концентрационный лагерь. С 16 лет я страдаю тяжелой хронической болезнью — множественным остеомиелитом, поразившим голень и бедро правой ноги, кисть левой руки и левый тазобедренный сустав. В течение последних 8 лет воспаление тазобедренного сустава обостряется по несколько раз в год, и всякий раз боль и высокая температура приковывают меня на полтора-два месяца к постели... 27 сего июня эта изнуряющая болезнь осложнилась паранефритом и 17 июля мне была сделана операция в больнице им. Урицкого, что, однако, не избавило меня ни от болезненных ощущений, ни от обширного инфильтрата в области левой тазовой кости. В настоящее время я нахожусь в больнице Эрисмана под наблюдением врачей-специалистов. Мною подано заявление о пересмотре моего дела в соответствующие органы прокуратуры, копию с которого при сем прилагаю.

Ввиду того, что при состоянии моего здоровья вынесенный мне приговор, в случае оставления его в силе, безусловно явится для меня приговором к медленной и мучительной смерти, прошу Вас о назначении врачебной комиссии для освидетельствования состояния моего здоровья. М. Бахтин. 2/IX—29 г.»<sup>40</sup>

Поначалу все хлопоты о пересмотре дела М. Бахтина и об облегчении его участи шли, по-видимому, не очень успешно. Об этом можно судить по письму Е. А. Бахтиной жене М. И. Каган, Софье Исаковне, от 24 октября 1929 года. «Милая Софья Исаковна,— пи-



сала она.— Надеюсь, что в последний раз обращаюсь к Вам с просьбой. Если у Вас есть хоть какая-нибудь возможность — сходите завтра, 25 (если никак не можете 25, тогда 26) на Кузнецкий мост и узнайте у них ответ. Скажите Винаверу, что я 21 в понедельник послала ему письмо. Если они его потеряли, скажите ему, что я жду ответа на заявление, поданное Екатерине Павловне 5—7 сентября о перемене формы наказания по болезни. Скажите, что в пересмотре дела давно отказано. Если у них есть ответ — спросите: 1, *когда и какого числа он ими получен*; 2, *на какое ходатайство*. Эти два пункта — самое важное. Когда ими получен тот последний ответ, о котором Вы мне писали? Мы думаем, что это старый — на пересмотр дела. И еще, очень важно: удалось ли Винаверу выяснить, найден ли акт медицинского обследования? Умоляю Вас известить меня быстрым письмом. Если Вы пошлете его в пятницу к поезду — в субботу я получу его. Софья Исаковна, мне как можно скорее нужно все узнать. Надеюсь, в последний раз я так бессовестно беспокою Вас. Отвечайте как можно скорее. Пусть Винавер; кроме того, ответит мне официально с указанием, на какое ходатайство ответ и когда получен. Умоляю, сделайте все это и отвечайте скорее. Мария Вениаминовна (Юдина.— Авторы) будет в Москве 28. Пусть получит мои письма в консерватории. Если Вы ее увидите — передайте ей это. Е(лена)»<sup>41</sup>.

Врачебная комиссия обследовала М. Бахтина, в результате чего была составлена справка, к сожалению, не датированная. В Следственном деле Михаила Михайловича она имеется. Этот документ не мог не потрясти даже бывалых оперативников ОГПУ. Из врачебной справки видно, что М. Бахтин в прошлом перенес ряд тяжелых заболеваний: туберкулез, менингит, периодическое воспаление костного мозга. «Диагноз: туберкулез легких, вялость сердечного мускула, резкое истощение, слабость нервной системы...» Общий вывод: «Следовать без посторонней помощи не может»<sup>42</sup>.

И ходатайства друзей М. Бахтина, и врачебное заключение, только что приведенное нами, сделали свое дело: 23 февраля 1930 года на Особом совещании при Коллегии ОГПУ (судебном) дело М. Бахтина было пересмотрено. В протоколе Коллегии записано: «Слу-

шали: 39. Пересмотр дела № 75819 гр. Бахтина Михаила Михайловича, приговоренного постановлением Коллегии ОГПУ от 22 июля 1929 года к заключению в концентрационный лагерь сроком на пять лет. Постановили: Во изменение прежнего постановления Бахтина Михаила Михайловича выслать через ПП ОГПУ\* в Казахстан на оставшийся срок»<sup>43</sup>.

Это была победа! Победа гуманности, сострадания и любви над смертью, которая неминуемо грозила Михаилу Михайловичу в том случае, если бы он был водворен в Соловецкий лагерь...

Получив копию протокола с новым постановлением Коллегии ОГПУ от 23 февраля 1930 года, оперативники ОГПУ были озабочены тем, чтобы поскорее отправить осужденного М. Бахтина в Кустанай, который был назначен ему местом пятилетней ссылки. Но осужденный был так слаб, что пуститься в дальнюю дорогу немедленно он никак не мог. Даже вместе с женой. В этом смысле и было составлено письмо и отправлено ими по инстанции в Москву. Содержание его таково:

«ОЦР ОГПУ\*\*. г. Москва. Препровождая при сем заявление гражданки Бахтиной Елены Александровны РСО\*\*\* сообщает, что гражданин Бахтин Михаил Михайлович постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 23 февраля 1930 года подлежит высылке в Кустанай на пять лет. Гр-н Бахтин хронически больной и в ближайшие месяцы этапом направлен быть не может. Нач. РСО Пиппар. 16 марта 30 г.»<sup>44</sup>

В связи с этим от М. Бахтина были взяты две «подписки». В одной из них, датированной 10-м марта 1930 года, он писал, что в течение ближайших двух недель он не сможет оставить Ленинграда и выехать в Кустанай. В другой — заверил оперативников ОГПУ в том, что к месту своей ссылки он прибудет не позже 5-го апреля. Писал также, что по прибытии туда сразу же, в течение 24-х часов, заявит о себе в Кустанайском ОГПУ<sup>45</sup>.

---

\*ПП ОГПУ — полномочный представитель ОГПУ.

\*\*ОЦР ОГПУ — возможно, Отдел центрального распределения.

\*\*\*РСО — возможно, Распределительный секретный отдел.

Так все было оговорено в точных датах. Но даже к месту казахстанской ссылки М. Бахтин не мог выехать в удобное для него время, без вмешательства функционеров ОГПУ. Существовала служебная записка, которая определяла процедуру высылки. В ней говорилось: «Обвиняемых надлежит отправлять, снабдив соответствующими проездными документами. Выезд каждого из осужденных должен быть произведен с таким расчетом, чтобы последние не имели возможности разгуливать свободно по городу, а были бы сопровождаемы на поезда сотрудниками»<sup>46</sup>.

29 марта 1930 года М. Бахтин с женой Еленой Александровной оставил, наконец, Ленинград и отправился в Кустанай. Об этом немедленно было сообщено из Ленинграда по инстанции в Москву. Вот это письмо:

«Совершенно секретно. 74 А. ОЦР ОГПУ. Г. Москва. РСО сообщает, что согласно постановлению Коллегии ОГПУ (судебное) от 23 февраля с. г. по делу № 108—29 г. гр-н Бахтин Михаил Михайлович выбыл в Кустанай 29 марта 1930 г. Зам. нач. РСО Попов. Делопроизводитель Лопачев»<sup>47</sup>.

Когда Бахтины прибыли в Кустанай — трудно сказать. Подтверждение об их прибытии сюда было отправлено в Ленинград только 22 сентября 1930 года. Об этом свидетельствует документ следующего содержания: «В РСО ПП ОГПУ в ЛВО. 22/IX—30 г. № 8988. На № 84732. Г. Ленинград. Кустанайский ОКР отдел ОГПУ подтверждает прибытие административно высланного Бахтина Михаила Михайловича. Просьба выслать учетный материал. П/п нач. (нрзб). Нач. НФО Никитин»<sup>48</sup>.

Так начались для М. Бахтина годы его казахстанской ссылки, практически продолжавшейся более шести лет.

Рассмотренные материалы будут не полны, если ничего не сказать о правомерности и обоснованности (юридической и моральной) возникновения самого «дела», по которому М. Бахтин был подвергнут столь суровому наказанию.

Главарь ОГПУ Ленинграда и округа ставили себе в заслугу факт выявления и «разоблачения» (термин, постоянно и широко употреблявшийся представителями репрессивных органов в то время и позднее)

подпольной антисоветской организации, именовавшейся «Воскресением»<sup>49</sup>. Ссылались, конечно, на то, что к дознанию они привлекли более 100 человек, из которых 70— были признаны виновными и приговорены к различным видам наказания, главным образом — к ссылке в Соловецкий лагерь особого назначения.

Возникает вопрос: существовала ли такая организация, как «Воскресение»? Именно как *организация*, имевшая свою конспиративную структуру и устав, сформулированные программные цели и задачи, постоянных членов и руководителей? Действительно ли члены «Воскресения» ставили перед собой задачу свержения Советской власти?

На эти вопросы может быть дан только один и вполне определенный ответ: такой подпольной организации в Ленинграде в 1920-х годах, как мы видели, не существовало. Такая «организация» была создана фантазией функционеров ленинградского ОГПУ по тем же самым образцам, по которым в то время были сфабрикованы так называемое «Шахтинское дело», дело «Промпартии», дела ученого и богослова-священника П. А. Флоренского (который будто бы организовывал контрреволюционную «Партию Возрождения России»), академика-историка С. Ф. Платонова (создавшего будто бы нелегальную организацию под названием «Всенародный союз борьбы за возрождение России»), экономиста-аграрника А. В. Чаянова (которому приписали создание «Партии трудового крестьянства») и т. д. и т. п. Тут вполне уместно сказать: спрос рождал предложение. Спрос шел из самых высоких сфер политической власти в стране (политбюро во главе со Сталиным). Разросшийся к началу 1930-х годов многочисленный репрессивный аппарат должен был чем-то и как-то оправдывать свое существование. И он «оправдывал» тем, что плодил в своем воображении «врагов революции», а позднее — «врагов народа» там, где их не было. Главари ОГПУ различных рангов с полуслова понимали своего «вождя» и делали свое «дело», не стесняясь принципами права и попирая элементарные нормы морали. Благо — служба в этих органах считалась едва ли не самой престижной. К тому же еще и щедро оплачивалась.

«Воскресение» в 1920-х годах в Ленинграде существо-

вало, но не как контрреволюционная организация, будто бы созданная для свержения Советской власти. Это был один из многочисленных в ту пору кружков, в воскресных собраниях которого участвовали разные люди. Разные и по социальному своему происхождению, и по возрасту, и по роду своих занятий, и по уровню образования, и по вероисповеданию. Всех этих разных людей объединял общий интерес к вопросам религиозным и религиозно-философским, литературным и научным. Будучи людьми верующими, все они стремились разобраться в политике партийно-советских органов в отношении религии и церкви. В этой политике было много противоречивого, лицемерного и просто непонятного, выходящего за грань разумного. С одной стороны, провозглашалась свобода совести, с другой — повседневные нарушения этой свободы: оскорбления религиозных чувств верующих, разгром церквей и монастырей, жестокие расправы с религиозными деятелями (например, с патриархом Тихоном и другими иерархами русской православной церкви)<sup>50</sup>. Гонениям и преследованиям подвергались, наконец, и верующие — те же рабочие и крестьяне. Между тем многие члены «Воскресения» (как, впрочем, и многие другие верующие того времени) стремились соотнести принципы христианского социализма с социализмом марксистским, верили даже в возможность их согласования.

На поприще лекторской деятельности в Ленинграде в 1924—1925 годах М. Бахтин не мог не встретиться с руководителями «Воскресения» — А. А. Мейером, Г. П. Федотовым и Н. П. Анциферовым. Хорошо был он знаком и с некоторыми рядовыми членами этого кружка — с Б. М. Назаровым и его женой, А. С. Ругевич, Е. П. Ивановым (близким к А. Блоку) и другими. Для членов «Воскресения» он прочитал немало лекций — о Достоевском и символистах, Тютчеве и Вяч. Иванове, об Иммануиле Канте и неокантианцах, о Ницше и Гуссерле, о Максе Шелере и других русских и западно-европейских писателях и мыслителях. Он делал это, искренне считая, что не совершает ничего недозволенного и противоправного.

Иначе посмотрели на эту его деятельность главари ОГПУ, утверждавшие своими террористическими актами диктатуру *единомыслия*. Чиновники политического

---

сыска, большие и малые, подвергли М. Бахтина в 1928—1930 годах таким испытаниям, о которых в прошлом он не мог и мыслить. Единственным утешением было только осознание того, что драма личной его жизни есть лишь отражение и одно из выражений общей трагической судьбы народа и лучшей части его творческой интеллигенции.

## У. В КАЗАХСТАНСКОЙ ССЫЛКЕ (1930—1936)

*Где мысль сильна — там дело полно силы.*  
В. Шекспир

*Исполняя свой долг, человек с любовью относится к тому, к чему себя принуждает.*

В. Гёте



В начале апреля 1930 года М. Бахтин и его жена Елена Александровна были уже в Кустанае. В этом небольшом в то время городе, назначенном ему местом постоянной ссылки, он оставался до конца сентября 1936 года, т. е. намного больше того срока, который был назначен постановлением коллегии ОГПУ в июле 1929 года.

О кустанайском периоде жизни Михаила Михайловича мы, к сожалению, знаем очень мало. Архивные материалы того времени не сохранились. Не сохранился и личный архив ученого этой поры. В этих обстоятельствах основным источником наших знаний о нем являются воспоминания. В разное время по разным поводам сам М. Бахтин или Елена Александровна вспоминали о своем кустанайском житье-бытье и в такие минуты ненамеренно делились ими с окружающими<sup>1</sup>. Вспоминались отдельные факты, эпизоды повседневной жизни и работы, детали быта.

Уцелело и кое-что дошло до нас в семейных архивах некоторых друзей Бахтиных. Не забыли Михаила Михайловича и немногие оставшиеся в живых его сослуживцы в Кустанайском райпотребсоюзе в 1931—1936 годах. Они с глубоким уважением и с любовью вспоминали и вспоминают поныне о том ссылкенопоселенце, который по неведомым им причинам оказался среди них, поразив их прежде всего своей внешней болезненностью, утомленностью, мягкостью и застенчивостью. Позднее, по мере углубления и расширения знакомства с ним, обратили внимание на другие особенности и

качества его личности. В особенности — на его интеллигентность, на широту научных познаний и скромность.

... Кустанай на рубеже 1920—1930-х годов был уездным городом Актюбинской области. Занимал он небольшую территорию в западной части Северного Казахстана, граничившего с Южным Уралом. Основанный в 70-х годах XIX века крестьянами-переселенцами из Оренбургской и Самарской губерний на левом берегу степной реки Тобол, город сравнительно быстро рос, главным образом за счет новых переселенцев из Сибири и малоземельных губерний Центральной России и Украины. К началу 1930-х годов в нем насчитывалось около 30—35 тыс. жителей. Многие горожане были связаны с сельским хозяйством. Местное казахское население в значительной своей части продолжало еще вести полукочевой или кочевой образ жизни, занимаясь преимущественно скотоводством.

Большой овраг Абельсай и поныне разделяет город на две части: Старую (собственно Кустанай) и Новую (поселок Наримановка).

Местную промышленность Кустанае составляли тогда небольшие предприятия кустарного и полукустарного типа по переработке сельскохозяйственного сырья: мельницы, маслобойни, кузницы, кожевенные и кирпичные заводы, транспортно-гушевые мастерские и пр.

Важными событиями деловой и праздничной жизни кустанайцев в то время были две большие годовые ярмарки — летняя и осенняя. На них съезжались жители самых отдаленных степных селений — вплоть до Тургая и Актюбинска. Ехали на лошадях, на волах и верблюдах. Везли хлеб и изделия домашнего ремесла, крупный и мелкий рогатый скот, лошадей — все, что можно было продать, чтобы затем купить необходимые в крестьянском быту ярмарочные товары. Ярмарки были многодневными, с различными увеселениями. Звучала разноязычная речь, радовали глаз яркие и красочные одежды — казахские и русские, украинские, немецкие, цыганские и пр.

Климатические условия в Кустанае и в области являются типичными для степных районов Северного Казахстана: короткое, но жаркое лето, долгие и устойчивые зимние стужи, в иные дни с морозами до 40 и более градусов, с холодными ветрами и частыми снеж-



ными буранами. Резкие погодные контрасты с трудом переносились М. Бахтиным с его хрупким здоровьем, ослабленным изнурительной болезнью и недавней тяжелой операцией. Все это было усугублено в дни и ночи следствия, производившегося в ленинградском ОГПУ.

Однако выбора для М. Бахтина не было. Помогал свойственный ему оптимизм, широкий общий взгляд на жизнь и на свое место в ней. Помогали и местные жители, прежде всего сослуживцы в местном райпотребсоюзе, участливо к нему относившиеся.

Режим ссылки внешне не был обременительным. Ссылнопоселенец обязан был (по инструкции) еженедельно заявлять о себе в местном отделении ОГПУ. Почта, корреспонденция, конечно, проверялись. Может быть, именно это обстоятельство послужило одной из причин того, что Михаил Михайлович не любил писать писем и позднее, прибегая к ним в самых уж крайних случаях.

Дома в Кустанае того времени были деревенского типа, главным образом глинобитные, без канализации и водопровода. Нелегко было и с отоплением. Словом, о комфорте говорить не приходилось. Зато не было и особых трудностей с наймом жилой квартиры в частном доме.

Намного труднее было с трудоустройством. Ссылнопоселенцев в городе было много, и потому нечего было и думать о получении работы по прежней специальности. К тому же и запрещены были М. Бахтину публичные выступления с лекциями, что было для него обычным в Невеле и в Витебске, не говоря уж о Ленинграде. Да и традиций таких в Кустанае той поры не было.

Не имел М. Бахтин и права на постоянную работу в учебных заведениях Кустанае. А здесь в то время, кроме школ общеобразовательных, действовали педагогический и медицинский техникумы, учительский институт. Правда, по истечении одного-двух лет строгие запреты уже не соблюдались: Михаил Михайлович читал курсы лекций студентам названных учебных заведений. В этих случаях ответственность брали на себя руководители этих учреждений, действовавшие при негласной поддержке районных руководящих властей. Все понимали, что учебным заведениям нужны преподаватели высокой квалификации, а их в городе было немного.

Все это было, однако, явлением временным, и потому не могло удовлетворять потребности семьи М. Бахтина. Нужна была работа постоянная, штатная, с определенным ежемесячным денежным окладом. Такую работу Михаил Михайлович получил в районном потребительском союзе (РПС), куда был принят 23 апреля 1931 года на должность экономиста-бухгалтера<sup>2</sup>. В этой должности оставался он до осени 1936 года. В этом совершенно новом для себя деле ссыльнопоселенец М. Бахтин мог поначалу опереться на те познания, которые перенял от отца, который имел большой опыт работы в банковских учреждениях. Пришлось ему прибегнуть и к специальной литературе, чтобы ориентироваться в торговых делах.

Работа в районном кооперативном союзе давала М. Бахтину тот минимум продуктов питания, без которого ему в ту пору невозможно было обойтись: в стране уже повсеместно была введена карточная система нормированного распределения самых необходимых продуктов питания. Как о курьезе, вспоминал Михаил Михайлович о том, как он, будучи ссыльнопоселенцем (осужденным к тому же по мотивам политическим), пользовался услугами спецмагазина наряду с представителями районного партийного и советского актива! В начале 1930-х годов «в глубинке» такой казус был еще возможен...

В Кустанайском райпотребсоюзе М. Бахтин столкнулся с совершенно новой для него сферой жизни, к которой никогда не готовился и о которой никогда, конечно, не думал. Тем не менее и здесь он работал с полной отдачей сил и с исследовательским, творческим подходом к сущности дела. По собственной инициативе ученый-филолог и философ разработал методику изучения спроса колхозников Кустанайского района на промышленные товары разного хозяйственно-бытового назначения. Свои наблюдения и выводы в этом деле М. Бахтин изложил в статье: «Опыт изучения спроса колхозников», опубликованной в журнале Коммунистической академии «Советская торговля» (1934, № 3). Статья была положительно оценена в кругах названной академии<sup>3</sup>.

Из статьи М. Бахтина мы узнаем прежде всего о том, что Кустанайский район был весьма пестрым по

национальному своему составу: здесь были колхозы русские, украинские, немецкие и казахские. «Средний уровень колхозов района,— читаем мы в статье,— нужно в общем признать низким. Зажиточность колхозников в среднем также невысокая (вследствие низкой урожайности ряда последних лет). Но в отношении к этому среднему уровню имеются значительные колебания вверх и вниз»<sup>4</sup>.

Лучше всего обстояли дела в колхозах немецких. Что касается средней урожайности по району, она действительно была весьма невысокой. Так, в 1933 году она составила всего лишь около четырех центнеров с гектара. Понятно, что при таких доходах спрос колхозников на товары промышленного производства был низким и по ассортименту, и по качеству изделий. Это и выявил со всей очевидностью тщательный подворный обход в восьми колхозах (десяти селений) из 70, насчитывавшихся в районе. Жители этих колхозов отвечали на предложенные им анкетные вопросы. Выявилась весьма дифференцированная картина спроса различных по своему экономическому и культурному уровню колхозов и колхозников.

Уместно заметить, что М. Бахтин прибыл в Казахстан в то время, когда там, начиная с 1931 года, начался ряд засушливых неурожайных лет. К таким явлениям жители Кустанайской округи ранее всегда были готовы: запасов хлеба урожайных лет вполне хватало на то, чтобы покрыть все убытки.

В 1931—1933 годах неурожай были усугублены «сплошной коллективизацией» и такой продрозверсткой, после которой в колхозных селах и деревнях не оставалось даже семян. В результате разразился страшный голод, какого раньше никогда в этом хлебном крае не бывало. Казахскую краевую партийную организацию в эти годы возглавлял небезызвестный Ф. И. Голошекин — тот самый, который летом 1918 года участвовал в бессудном и варварском истреблении в Екатеринбурге царя Николая II и его семьи... Безжалостно ограбленные, крестьяне — казахские и русские, украинские и немецкие — уходили из своих сел и деревень, пытаясь найти спасение от голодной смерти в Кустанае и других городах Северного Казахстана. А те, кто не мог выехать, умирали, тщетно уповая на помощь.

Бахтины видели эти картины и вспоминали о них не иначе как с ужасом.

Следует сказать, что руководители и рядовые работники Кустанайского райпотребсоюза благожелательно относились к Михаилу Михайловичу, ценили его инициативы и работу в качестве экономиста-бухгалтера в системе их потребительской кооперации. Его до сих пор помнит, в частности, Ольга Федоровна Торопова (в то время — Суровцева), работавшая секретарем-машинисткой. Нередко она писала под его диктовку. «Обычно, — говорит она, — Михаил Михайлович ходил по своему кабинету и тихо, спокойно говорил как бы с невидимым собеседником. К сожалению, я в ту пору была молодой и мало вникала в содержание того, о чем он говорил»<sup>5</sup>.

Помнит о М. Бахтине и Захар Егорович Пяткин. Вот как рассказал об этом руководитель литературной секции областного краеведческого общества профессор Кустанайского пединститута Н. И. Кандалин: «... Мне позвонил кустанаец З. Е. Пяткин (бывший сотрудник облпотребсоюза, участник Великой Отечественной войны, ныне пенсионер) и сказал: «Вас интересуёт Бахтин? Я его видел в Кустанае и даже сфотографирован вместе с ним». Вскоре мы встретились, и Захар Егорович показал ряд фотографий, на которых вместе с другими кустанайцами я увидел М. М. Бахтина. К сожалению, фотографии в таком состоянии, что их опубликовать в газете по техническим причинам невозможно. На одной из фотографий в первом ряду действительно сидят два босоногих мальчика-подростка: Платон Ханутин (сын председателя потребсоюза А. Б. Ханутина) и Захар Пяткин (сын завхоза Е. И. Пяткина). Захар Егорович вспоминает, что фотография в ту пору была еще редкостью. Когда они с Платоном случайно оказались во дворе, где сотрудники решили сфотографироваться, их тоже пригласили. На фотографии не обозначен год, но З. Е. Пяткин считает, что ему в ту пору было «лет 12—13 или самое большее —14», а он 1921 года рождения.

У М. М. Бахтина на этой фотографии выражение лица грустное, голова слегка наклонена, глаза опущены. Все остальные, в отличие от него, прямо глядят в объектив фотоаппарата. И еще одна примета, выде-

ляющая Бахтина: он единственный в рубашке с галстуком. Наша беседа течет неторопливо, Захар Егорович вспоминает, называет фамилии. Кроме своих отца и матери, он показывает на фотографии А. Б. Ханутина, З. П. Толстых, О. Ф. Суровцеву (Торопову) и др. О некоторых из них он знает многое, а вот о Бахтине помнит только отцовскую фразу: «Головастый мужик»<sup>6</sup>.

В 1933 году потребовалась помощь М. Бахтина в Кустанайском районном народном суде, где его просили быть в качестве консультанта по правовым вопросам.

Сложнее было с трудоустройством Елены Александровны, не имевшей какого-либо профессионального образования. Поэтому ей в разное время довелось работать в одном из кустанайских колхозов в должности счетовода-кассира. Пришлось ей трудиться и учетчиком в Кустанайском заготзерно, и продавцом в книжном магазине, и библиотекарем, и картотетчицей в том же потребсоюзе, в котором трудился и Михаил Михайлович. Но при всем при этом и она вносила свою лепту в небогатый семейный бюджет<sup>7</sup>.

Так складывалась и протекала трудовая повседневная жизнь ссыльнопоселенца М. Бахтина и его жены в далеком Кустанае.

Что касается жизни частной, личной, она протекала для него главным образом в кругу семейном, в работе с книгами. Продолжались исследования, начатые в прошлом и прерванные вынужденным диалогом с органами ОГПУ. Связей с питерскими и московскими друзьями практически не было, если не считать весьма редких и надежных оказий. Только однажды из Ленинграда приезжал в Кустанай их друг И. И. Канаев. В эти дни о многом вспоминалось и о многом было говорено...

Ранее уже отмечалось, что в Кустанае в начале 1930-х годов было много ссыльнопоселенцев. Среди них были и случайно уцелевшие от террора 1920-х годов эсеры, и меньшевики, и троцкисты. Политика индустриализации и «сплошной коллективизации» обнаружила вдруг сотни тысяч, миллионы новых политических противников (действительных и мнимых) сталинской «генеральной линии» партии. Появились не только «левые», но и «правые» уклонисты, кулаки и подкулачники, вредители и нэпманы, националисты и шовинисты и прочие «враги народа».

Немало таких новых «врагов народа» было и в Кустанае. На улицах небольшого районного города нередко можно было встретить рыжеволосого Г. Е. Зиновьева (настоящая фамилия — Апфельбаум) — одного из тех большевиков, которого М. Бахтин хорошо помнил по Петрограду 1917—1918 годов. Это был тот самый Григорий Евсевьевич Зиновьев, который в те годы и позднее возглавлял Петроградскую и всего Севера России Коммуну, вершил суд и расправу над теми, кого в ту пору без дальних околичностей относили к категории «врагов революции». Его имя приводило в ужас и трепет всех, кто не имел пролетарского или крестьянского происхождения. Г. Зиновьев не щадил в те дни даже М. Горького, часто писавшего о его палаческих наклонностях на страницах единственной оппозиционной к большевикам газеты «Новая жизнь». Теперь же вот и он, бывший глава названной Коммуны, вынужден был коротать свои дни в небольшом Кустанае, затерявшемся в бескрайних степях. Но не за былые свои кровавые деяния в Петрограде. «Не повезло» ему в тогдашнем политбюро в борьбе за власть: хитрее и изворотливее оказался Иосиф Джугашвили...

Бахтины старались жить в Кустанае так, чтобы не навлечь на себя новой беды, нового гнева неусыпных стражей из местного отделения ОГПУ. Новых знакомств и дружеских связей с политическими ссыльнопоселенцами избегали. Единственным исключением тут был, по-видимому, один Н. Н. Суханов и его жена. Николай Николаевич Суханов (настоящая фамилия — Гиммер) прибыл сюда в 1931 году за принадлежность к руководящему ядру меньшевиков (группа Ю. О. Мартова). Видный в меньшевистских кругах экономист-аграрник и публицист, Н. Н. Суханов оказался интересным человеком, хорошим собеседником, великолепно осведомленным в делах, о которых М. Бахтин не мог и знать.

Это был тот самый Н. Н. Суханов, который в 1917—1918 годах был одним из редакторов «Новой жизни» — газеты, которую на свои средства издавал А. М. Горький. На ее страницах известный в мире писатель опубликовал много публицистических статей под общим заглавием «Несвоевременные мысли». В этих статьях М. Горький (именовавшийся большевиками «пролетарским»), как известно, резко бичевал Ленина

и его соратников за пагубную политику «военного коммунизма», приведшую экономику России к полному развалу. Автор «Несвоевременных мыслей» осуждал троцкистскую милитаризацию труда. Он не мирился с разгулом «красного террора», который нацелен был главным образом на мыслящую часть русского общества — на ученых, писателей, философов, политических и религиозных деятелей, не разделявших марксистскую идеологию.

В общении с Н. Н. Сухановым М. Бахтин узнал много, в частности, и о жизни М. Горького тех дней, о содержании и характере его взаимоотношений с большевистскими лидерами. Общие невзгоды ссыльнопоселенческой жизни помогли этим разным людям в известном смысле сблизиться и иногда помогать друг другу<sup>8</sup>.

Со времени вынесения первого постановления коллегии ОГПУ Ленинграда (22 июля 1929 года) пять лет исполнилось в июле 1934 года. Отныне М. Бахтин мог считать себя более или менее свободным. «Более или менее» потому, что хорошо знал практику функционеров ОГПУ, которые совершенно свободно могли «пристегнуть» его к какому-нибудь новому «делу» (а «дела» эти, как известно, не прекращались ни на один день) и «добавить» к прежнему новый срок. И потому он не торопился прощаться с Кустанаем. В сентябре 1934 года Михаил Михайлович добился разрешения на поездку в Ленинград. Повод был: по рекомендации местных врачей ему надо было проконсультироваться с более опытными и более квалифицированными врачами в Ленинграде относительно своего тяжелого хронического заболевания. В глубине же души теплилась слабая надежда на то, чтобы снова перебраться в бывшую столицу на Неве. Все это можно было обстоятельно выяснить именно там, на месте. С этой затаенной целью Бахтины туда и отправились.

Однако ничего утешительного для себя в эту поездку в Ленинград Бахтины не получили. Ничего отрадного не смогли они добиться и в Москве, где были проездом. После нескольких дней общения с друзьями Бахтины снова отправились в Кустанай. Теперь уже добровольно и оставались там на более или менее обжитом месте еще целых два года.

Летом 1936 года М. Бахтин вновь отправился в

Ленинград. Цели и надежды были те же, что и раньше, в 1934 году. Но и на этот раз ничего обнадеживающего он там не нашел. Кроме, пожалуй, одного: через посредство П. Н. Медведева наркоматом просвещения РСФСР Михаилу Михайловичу было предложено постоянное место работы в Мордовском педагогическом институте в Саранске. Это предложение было им принято.

Возвращались Бахтины из Ленинграда через Москву, где, как и в 1934 году, задержались на несколько дней, чтобы повидаться с московскими друзьями. Остановились они в квартире Б. В. Залесского, который в это время работал уже в Москве, оставив Ленинград. О дальнейшем М. И. Каган так рассказал в своем письме к жене от 7 августа: «5 августа вечером совсем неожиданно пришли к нам М. М. Бахтин и Елена Александровна. На время отпуска они поехали сначала в Ленинград, а затем в Москву. Остановились у Залесского в почти пустой квартире его (Залесские еще не переехали сюда, перевезли пока что только часть вещей). Весь вчерашний день мы были вместе. Сначала я к ним пришел (часов в 12—в час, после того, как отправил тебе деньги), а затем мы поехали к нам, предварительно позвонив на квартиру Марии Вениаминовны, чтобы ей передали, что Бахтины здесь и будут у меня. Часов в 6 вечера она заявила, и все вместе пробыли у нас часов до 10-ти. Условились встретиться с ними сегодня (т. е. 7-го августа.— Авторы) у Залесских часов в 6—7 вечера. Марию Вениаминовну я пытался побудить позаботиться отыскать знакомых, через которых М(ихаилу) М(ихайловичу) можно было бы здесь получить работу. Сегодня будем об этом же говорить с Б(орисом) В(ладимировичем) \*, чтобы он использовал все свои возможности. Речь идет о том, чтобы М. М. мог устроиться и осесть в Москве. (С квартирой может уладиться как-то и под Москвой, так что это дела не решает.) Внешне М. М. выглядит неплохо. Гораздо хуже выглядит Е(лена) А(лександровна). М. М. гораздо лучше, чем я ожидал — во всех отношениях. Очень рад, что мы увиделись. Жаль, что тебя не было здесь. Через несколько дней они, вероятно, уедут»<sup>9</sup>.

---

\*Залесским.



М. И. Каган особенно настаивал на переезде М. Бахтина в Москву или в Подмоскowie и убежденно верил в возможность осуществления такого плана. «Я этого так сильно хотел бы! — продолжал он в том же письме от 7 августа. — ... Я очень хотел бы, чтобы М(ихаил) М(ихайлович) оказался в Москве или близ Москвы. Хотел бы этого и для него, и для себя...»

Мы, к сожалению, не знаем, сколько дней пробыли Бахтины на этот раз в Москве. В недатированном письме к жене М. И. Каган, помимо прочего, заметил: «Вчера Бахтины уехали опять в Кустанай»<sup>10</sup>.

Об этом же писала матери и дочь М. И. Каган: «... Вчера Бахтины уехали опять в Кустанай. Елена Александровна очень жалеет, что не видела тебя, и посылает тебе воздушный поцелуй. Мама, я ведь Михаила Михайловича видала только на карточке, но все же узнала его. А он говорит, что он видел меня, когда я еще не родилась»<sup>11</sup>.

В конце сентября 1936 года М. Бахтин освобожден от обязанностей экономиста-бухгалтера Кустанайского райпотребсоюза. Руководители потребкооперации выдали ему на руки достойную, полную благожелательности характеристику. Скажем здесь о содержании этого документа хотя бы несколько слов.

«За пять с половиной лет своей работы в Кустанайском райпотребсоюзе, — отмечено в характеристике, — Бахтин проявил себя как высококвалифицированный, честный и преданный специалист. Не считаясь со временем, Бахтин не только добросовестно выполнял свою прямую работу, но проявлял широкую инициативу, выходящую за пределы его прямых обязанностей.

Своей многолетней деятельностью в райпотребсоюзе Бахтин содействовал хозяйственному и финансовому укреплению как самого райпотребсоюза, так и его системы. За свою работу Бахтин был неоднократно премирован как облпотребсоюзом, так и правлением Кустанайского райпотребсоюза.

Бахтин проявил себя и как хороший и инициативный общественник, добросовестно выполнял нагрузки по профсоюзной линии, организовывал и руководил кружками техникумы...

Бахтин освобожден от своей должности по собствен-

ному желанию, вследствие своего перехода на педагогическую работу»<sup>12</sup>.

Оставив Кустанай, М. Бахтин с октября 1936 года начал преподавательскую работу в Мордовском пединституте. Однако его педагогическая деятельность здесь — по ряду причин — не сложилась: он едва довел до конца 1936/37 учебный год, который оказался трудным не только для него, но и для многих других преподавателей Мордовского пединститута...

Из Саранска Бахтины выехали поначалу в Москву, где опять остановились у Залесских. 4 июля 1937 года М. И. Каган писал жене: «Вот сейчас отправляюсь к Залесским (сейчас 7 ч. вечера). Борис Владимирович позвонил, что приехали Бахтины, а у меня на душе как-то тупо»<sup>13</sup>.

В Москве Михаил Михайлович и Елена Александровна оставались до 21—22 июля. Об этом свидетельствует М. И. Каган, который 18 июля писал жене: «Бахтины пробудут здесь еще дня 3—4, а затем едут в Ленинград и там попытаются устроиться. Вероятно, дело это им удастся, если не в самом Питере, то в другом каком-то городе, и, конечно, только по линии литературно-педагогической. Третьего дня они были у нас, а вчера мы (я с Юдей) \* были у них (т. е. у Бориса Владимировича)»<sup>14</sup>.

В Ленинграде и на этот раз М. Бахтину не удалось найти постоянной работы из-за невозможности получить прописку: ОГПУ не отменяло своего решения о лишении его права проживания в столицах и в ряде других крупных городов страны.

В Ленинграде Бахтины пробыли около двух недель, после чего снова возвратились в Москву. 11 августа М. И. Каган писал жене: «... Думал, что письмо напишу несколько позже, но не вышло, так как задержался на работе, а вечером к нам пришли М(ихаил) М(ихайлович) и Е(лена) А(лександровна). Присидели и проговорили часов до 12 ночи»<sup>15</sup>.

В Москву Бахтины прибыли накануне, т. е. 10 августа, что видно из другого письма Матвея Исаевича, написанного в этот же день 11 августа<sup>16</sup>.

---

\*Ю д я — дочь М. И. Кагана.

В обоих письмах их автор писал, в частности, о том, что из Москвы Бахтины собираются 14 августа отправиться на 2—3 месяца в Кустанай. К сожалению, из письма М. И. Каган не видно, с какой целью Михаил Михайлович и Елена Александровна предпринимали эту поездку. По-видимому, не только для встречи со своими кустанайскими друзьями, которые пригласили их на отдых. Возможно, что поездка предпринималась и с той целью, чтобы ликвидировать там какое-то свое имущество, на что у них не было времени год тому назад.

В своих письмах Матвей Исаевич с чувством глубокого удовлетворения писал и о том, что их «отношения оказались не хуже, во всяком случае, чем были когда-то, лет 15 назад». Между тем «и у них, и у меня за это время кое-что испытано»:

14 августа Бахтины действительно уехали в Кустанай. На другой день М. И. Каган сообщил жене: «... Вчера в 11—12 ч. был у Бахтиных, так как не уверен был, что смогу быть у поезда (они уехали в 3 часа) ... На вокзал поехал от Кировской станции метро и через 10 минут встретил на платформе у вагона Бахтиных и Марию Вениаминовну. Так как был дождь, то мы ушли минут за 10 до отхода поезда, чтобы не промокнуть насквозь. Полагаю, что Бахтины приедут сюда месяца через 2—3. Если нет, то они, вероятно, поедут в Алма-Ату. От Бахтиных тебе сердечный привет»<sup>17</sup>.

Бывали ли Бахтины осенью 1937 года в Алма-Ате — трудно сказать: пока никаких сведений об этом нет. Если такая поездка предпринималась, она тоже была связана с главным вопросом его жизни этих дней — поиском места работы. Но и здесь хлопоты его (если они действительно были) оказались напрасными. В конце 1937 года он, по-видимому, был уже в Москве, вернее — в Подмосковье, в Савелове, где только и мог рассчитывать на жилищную прописку.

Так осенью 1937 года М. Бахтин еще раз побывал в Кустанае. Пробыв там два-три месяца, он оставил этот город уже навсегда. Вспоминал же о нем с благодарностью и с любовью. Вспоминал, конечно, о людях этого небольшого городка, затерявшегося в бескрайних степях. О людях — русских и казахах, украинцах и нем-

цах. С искренним радушием и сердечностью приняли они его в свою семью, относились к нему с уважением и любовью, помогали ему всем, чем могли и как умели. Это не забывалось.

\* \* \*

Ссылнопоселенческую жизнь М. Бахтина в Казахстане нельзя назвать благоприятной для его творческой работы. Тем не менее и в этих условиях (вдали от важнейших культурных центров с их библиотеками и большими книжными фондами) ученый продолжал заниматься исследовательской работой.

По прошествии почти шести десятилетий трудно говорить о том, что и как занимало М. Бахтина в годы его ссылки больше или меньше. Был, несомненно, какой-то задел, привезенный им из Ленинграда. Что-то готовилось к опубликованию, что-то шло впрок, на будущее.

Но об одной работе М. Бахтина, выполненной им в Кустанае, говорить можно и нужно. Речь идет о монографическом его исследовании «Слово в романе». Завершение работы над этим исследованием отнесено самим ученым к 1934—1935 годам.

Свое большое исследование М. Бахтин в 1936 году привозил в Москву «на суд» М. И. Кагана. 7 августа этого же года Матвей Исаевич писал жене: «Буду сейчас читать работу М(ихаила) М(ихайловича) — «Слово в романе». Он дал мне ее в рукописи. Судя по началу, в ней мысль, сходная с той, которую я высказывал когда-то в статье о Тургеневе. Ты ее, кажется, не знаешь. Статья эта напечатана<sup>18</sup>. У меня эта мысль — замечание мимоходом, хотя она и важна, на ней построена небольшая статья. У М(ихаила) М(ихайловича) все значительно, развернуто. Работа М(ихаила) М(ихайловича) меня очень заинтересовала, я ее, вероятно, прочту за сегодня-завтра (рукопись около 150 стр.) Он ищет для нее издателя, хотя она потребует еще около месяца для некоторых поправок и доработки»<sup>19</sup>.

Осталось неизвестным, какие замечания были сделаны М. И. Каганом к работе М. Бахтина «Слово в

романе». К этому исследованию своего друга он возвратился через год, в августе 1937 года. Так, в письме от 11 августа к жене Матвей Исаевич заметил: «Говорили о его работе — почти подготовленной книге — и о моих старых и новых думах о Пушкине. Это вышло так, потому что в общих суждениях — иногда решающих — мы независимо друг от друга исходим из довольно важных основных предпосылок и взглядов на природу художественной литературы»<sup>20</sup>.

Исследование М. Бахтина «Слово в романе» логически связано с предшествующими его работами, литературоведческими и лингвистическими: «Автор и герой в эстетической деятельности», «Слово в жизни и слово в поэзии» (при участии В. Н. Волошинова); «Марксизм и философия языка» (совместно с В. Н. Волошиновым), «Проблемы творчества Достоевского» и другими. Все это укладывалось в рамки общей большой темы — эстетики словесного творчества.

«Слово в романе» — работа, которая знаменовала собой поворот научно-теоретической мысли М. Бахтина в сторону исследования жанровой природы романа, вернее — романного слова. Именно романное слово становится теперь на долгие годы предметом пристального внимания ученого. За исследованием «Слово в романе» последуют: «Формы времени и хронотопа в романе» (1937—1938), «Из предыстории романного слова» (1940), «Эпос и роман» (1941) и другие. В исследовании «Слово в романе» обращает на себя внимание огромный фактический материал, привлеченный его автором для разработки поставленных проблем. М. Бахтин проследил путь становления романной формы и романного слова от их истоков (в поздней античности) до первых десятилетий XX века. Обобщающая мысль ученого коснулась истории развития романного жанра в литературах Востока, древней Греции и Рима, Испании и Англии, Германии, Франции и России.

В центре внимания М. Бахтина — «стилистика жанра», «преодоление разрыва между отвлеченным «формализмом» и отвлеченным же «идеологизмом» в изучении художественного слова» (III, 72). Разрыв этот пагубен, если принять во внимание неотделимость друг от друга содержания и формы. Их диалектическая взаимосвязь — в *слове*, «понятом как социальное явление,

социальное во всех сферах его жизни и во всех его моментах — от звукового образа до отвлеченнейших смысловых пластов» (III, 72).

Оригинальность мысли М. Бахтина в том, что он настаивает на философско-социологическом подходе к исследованию стилистической сущности романа, который до первых десятилетий XX века оставался лишь предметом только «отвлеченно-идеологического рассмотрения и публицистической оценки» (III, 73).

Обратившись к изучению романного слова в 1920-х годах, филологическая наука на первых же порах обнаружила и узость подхода. В романном слове увидели всего лишь «некую внехудожественную среду, лишенную особой и своеобразной стилистической обработки» (III, 74). На этом основании ведущие деятели ОПОЯЗа отказывались видеть в романе какое-либо поэтическое качество и значение. Так, В. М. Жирмунский считал, что Л. Толстой, в отличие от поэтов-лириков, «пользуется словом не как художественно-значимым элементом воздействия», а всего лишь как обычным средством общения или «системой обозначений». Такие произведения, считал В. М. Жирмунский, не могут называться произведениями «словесного искусства», подобным произведениям лирическим (III, 74)<sup>21</sup>.

В художественно-эстетической сущности отказывали роману Г. Г. Шпет и В. В. Виноградов.

Г. Г. Шпет видел в романе современную форму «моральной пропаганды», лишенную поэтического творчества (III, 81)<sup>22</sup>.

В. В. Виноградов, как известно, относил роман к «гибридному образованию», в котором наряду с элементами чисто риторическими наличествуют и элементы поэтические (III, 81)<sup>23</sup>.

В противовес деятелям ОПОЯЗа М. Бахтин говорил со всей определенностью: «Роман — художественный жанр. Романное слово — поэтическое слово, но в рамки существующей концепции поэтического слова оно, действительно, не укладывается» (III, 82).

В связи с этим выводом значительную часть своего исследования М. Бахтин посвятил анализу своеобразия поэтического слова в романе и в лирике. Он убедительно показал, что романное слово, в отличие от поэтического (в узком смысле), внутренне диалогизиро-

ванное слово. В большинстве же чисто поэтических (лирических) жанров внутренняя диалогичность слова не используется. «Язык поэта — его язык, он в нем до конца и нераздельно...» (III, 98) Даже о «чужом» поэт говорит на своем языке — на специально «поэтическом языке», «языке богов», «жреческом языке поэзии» (III, 100).

Не то в романе. В нем внутренняя диалогичность слова становится «одним из существеннейших моментов прозаического стиля. Романная стилистика — это «особые связи и соотношения между высказываниями и языками, это движение темы по языкам и речам, ее дробление в струях и каплях социального разноречия, диалогизация ее...» (III, 76).

В романе, по убеждению М. Бахтина, национальный язык, будучи единым, расслаивается «на социальные диалекты, групповые манеры, профессиональные жаргоны, жанровые языки, языки поколений и возрастов, языки направлений, языки авторитетов, языки кружков и мимолетных мод, языки социально-политических дней и даже часов (у каждого дня свой лозунг, свой словарь, свои акценты)...» (III, 76).

Роман, по словам М. Бахтина, распадается на целый ряд композиционно-стилистических единств. Это:

«1) прямое авторское литературно-художественное повествование (во всех его многообразных разнообразных разновидностях);

2) стилизация различных форм устного бытового повествования (сказ);

3) стилизация различных форм полулитературного (письменного) бытового повествования (письма, дневники и т. п.);

4) различные формы литературной, но внехудожественной авторской речи (моральные, философские, научные рассуждения, риторическая декламация, этнографические описания, протокольные осведомления и т. п.);

5) стилистически индивидуализированные речи героев.

Эти разнородные стилистические единства, входя в роман, сочетаются в нем в стройную художественную систему и подчиняются высшему стилистическому единству целого, которое нельзя отождествлять ни с одним из подчиненных ему единств» (III, 75).

Не входя в подробное рассмотрение ряда важных разделов исследования М. Бахтина, остановимся в общих чертах на его понимании проблем рождения и развития романной формы литературы.

Исходя из своих общих методологических предпосылок, ученый связывал рождение романа с «радикальным переворотом в судьбах человеческого слова» (III, 178). Речь, по его словам, идет о галилеевском перевороте в языковом сознании отказавшего «от признания своего языка единственным словесно-смысловым центром идеологического мира», осознавшего «множественность национальных и, главное, социальных языков, равно могущих быть «языками правды» (III, 178).

Художественно-литературному сознанию, считал М. Бахтин, необходимо было освоиться со словом как явлением объектным, научиться ощущать «внутреннюю форму» в чужом языке и «внутреннюю форму» в своем языке как чужом. Ощущать характерность «не только действий, жестов и отдельных слов и выражений, но и точек зрения, мировоззрений и мироощущений, органически единых с выражающим их языком» (III, 179).

Возникновение романной прозы М. Бахтин связывал с разноречивым и разноязычным миром эллинистической эпохи. Зачатки двуголосной и двуязычной прозы находили, по его убеждению, оформление в реалистических новеллах, в сатирах (Гораций, Варрон и др.), в сочинениях биографических и автобиографических («Апология Сократа», позднее — христианские автобиографии), в риторических жанрах (диатриба), исторических и эпистолярных (письма Цицерона).

М. Бахтин выделял в особенности жанр диатрибы, утверждая, что из всех риторических форм эллинизма диатриба «заключает в себе наибольшее количество романо-прозаических потенций». Диатриба, по его словам, «допускает и даже требует разнообразия речевых манер, драматизованного и пародийно-иронического воспроизведения чужих точек зрения, допускает смешение стихов и прозы и т. п.» (III, 183).

М. Бахтин полагал также, что в двуголосом длинно-прозаическом плане построены и дошедшие до наших дней варианты «романа об осле» (апулеевский и лжелукиановский) и роман Петрония.

Таковы, по мнению ученого, основные элементы дву-



голосого и двуязычного романа, сложившиеся на античной почве. Правда, в ту пору они, эти элементы, не слились еще в единое полноводное русло романа. Тем не менее и эти образцы оказали могущественное воздействие на важнейшие разновидности романного жанра в средние века и в новое время: на роман испытания (до Достоевского и наших дней), на роман воспитания и становления (на автобиографическую его ветвь), на бытовой сатирический роман и прочие.

К другой стилистической линии относил М. Бахтин «софистические романы» с их резкой и последовательной стилизацией всего материала. Стилистически они выдержаны монологично, но тематически и композиционно выразили природу романного жанра на античной почве наиболее полно. Именно софистический роман, считал автор «Слова в романе», «зачинает первую (как мы ее условно назовем) стилистическую линию европейского романа» (III, 186). Основную особенность этой линии М. Бахтин видел в ее одноязычности и одностильности. «... Разноречие остается вне романа, но оно определяет его как диалогизующий фон, с которым полемически и апологетически соотнесен язык и мир романа» (III, 186).

Что касается второй стилистической линии, она, считал исследователь, на античной почве только подготавливалась в разных жанрах и не успела оформиться в законченном романном типе. Но именно она, подчеркивал М. Бахтин, дала позднее величайших представителей романной формы, ее разновидностей и отдельных произведений. Именно эта вторая стилистическая линия ввела в роман социальное разноречие. Именно она оркестровала этим разноречьем свой смысл, часто совершенно отказываясь от прямого авторского слова.

Обобщая эти свои наблюдения, М. Бахтин утверждал: «Романы первой стилистической линии идут к разноречию сверху вниз... Романы второй линии, напротив, идут снизу вверх: из глубины разноречия они поднимаются в высшие сферы литературного языка и овладевают ими» (III, 211).

М. Бахтин говорил об энциклопедичности романной формы, усматривая ее, эту энциклопедичность, в том, что она вбирает в себя «множественность языков

эпохи», все ее «социально-идеологические голоса». Роман — «микрокосм разноречия» (III, 222).

Утверждая эту мысль, М. Бахтин исходит из убеждения в том, что «каждый язык раскрывается в своем своеобразии лишь тогда, когда он соотнесен со всеми другими языками, входящими в одно и то же противоречивое единство социального становления» (III, 222).

Резкое противостояние двух стилистических линий, полагал исследователь, кончилось к началу XIX столетия. Романы XIX—XX веков — в их сколько-нибудь значительных разновидностях — носят смешанный характер, хотя вторая линия в них и преобладает.

В заключительной части своего исследования М. Бахтин коснулся важного вопроса о социально-исторических предпосылках романного слова второй стилистической линии. Она, эта линия, сложилась в ту пору, когда возникли оптимальные условия для взаимодействия различных языков. «Языки разноречия,— писал исследователь,— как наведенные друг на друга зеркала, каждое из которых по-своему отражает кусочек, уголок мира, заставляя угадывать и улавливать за их взаимоотраженными аспектами мир более широкий, многоплановый и многокругозорный, чем это было доступно одному языку, одному зеркалу» (III, 225—226).

М. Бахтин всегда тяготел к большим обобщениям, к обоснованным историческим аналогиям, умел видеть развитие литературы и других искусств в общей перспективе развития научных знаний, не исключая знаний о природе. Одним из примеров такого рода может служить мысль, высказанная им в книге «Слово в романе»: «Эпохе великих астрономических, математических и географических открытий, разрушивших конечность и замкнутость старой Вселенной, конечность математической величины и раздвинувших границы старого географического мира, эпохе Возрождения и протестантизма, разрушивших средневековую словесно-идеологическую централизацию,— такой эпохе могло быть адекватно только галилеевское языковое сознание, воплотившее себя в романном слове второй стилистической линии» (III, 226).

В заключительной части «Слова в романе» автор подвел общие итоги, сделал ряд замечаний методологического характера.

М. Бахтин счел необходимым еще раз сказать о

«беспомощности традиционной стилистики», которая знает, по его словам, только «птоломеевское языковое сознание». Иначе говоря, исходит из понимания языка как единого целого, игнорируя стилеобразующее значение чужого слова. В результате «стилистический анализ романной прозы подменяется обычно нейтральным лингвистическим анализом языка данного произведения или, еще хуже, данного автора» (III, 226).

М. Бахтин еще раз подчеркнул мысль о том, что в романе мы имеем дело с художественной системой языков, вернее — «образов языков». И потому стилистический анализ романной прозы должен заключаться в том, чтобы «раскрыть все наличные в составе романа оркеструющие языки», понять «степени отстояния каждого языка от последней смысловой инстанции произведения» и определить их «диалогические взаимоотношения» (III, 227).

Автор «Слова в романе» утверждал, что решение стилистических задач немисливо без глубокого художественно-идеологического проникновения в роман. Надо, по его словам, исходить из художественного замысла целого. Только в этом случае, говорил он, мы сможем почувствовать «тончайшие оттенки авторской акцентуации языков и их различных моментов» (III, 227).

Большие трудности возникают, по мнению М. Бахтина, при стилистическом анализе произведений далеких от нас эпох и чужих языков, где «художественное восприятие не находит опоры в живом языковом чутье». В этих случаях, говорил автор, «весь язык, вследствие нашей отдаленности от него, кажется лежащим в одной плоскости» (III, 228), т. е. все его действительное стилистическое разнообразие нами не ощущается. Преодолеть этот «барьер» может помочь лингвистическое историко-языковое изучение наличных в данную эпоху языковых систем и стилей. О лингвистике нельзя забывать и при изучении современных произведений литературы на иностранных языках. Она — «необходимая опора стилистического анализа» (III, 228).

Серьезного внимания и изучения заслуживают идеи М. Бахтина о процессах канонизации и переакцентуации, происходящих в национальных литературах.

С течением времени, говорил автор «Слова в романе», элементы романного стилистического разноречия

утрачивают свои оркеструющие функции, обретая свойства канонического литературного языка. Такие явления наблюдаются в произведениях отдаленных от нас эпох. В этих случаях стилистический анализ труден. Он требует и особенной тщательности, и глубоких познаний.

Чаще и нагляднее происходит процесс переакцентуации, т. е. более или менее существенное переосмысление отдельных образов или целых произведений. М. Бахтин считал этот процесс законным и даже продуктивным. «Каждая эпоха,— писал он,— по-своему переакцентуирует произведения ближайшего прошлого. Историческая жизнь классических произведений есть, в сущности, непрерывный процесс их социально-идеологической переакцентуации. Благодаря заложенным в них интенциональным возможностям, они в каждую эпоху на новом диалогизирующем их фоне способны раскрывать все новые и новые смысловые моменты; их смысловой состав буквально продолжает расти, создаваться далее» (III, 231—232).

Исследователь считал, что в результате переакцентуации возник средневековый пародийный эпос, который, в свою очередь, сыграл существенную роль в подготовке романа второй линии.

Особенно нагляден процесс переакцентуации образов при переводе их из литературы в другие виды искусства — в драму, оперу, живопись. Классическим примером такой переакцентуации М. Бахтин считал оперу Чайковского «Евгений Онегин». По его словам, эта опера оказала сильное влияние на восприятие образов пушкинского романа, ослабив их пародийность. В особенности это относится к образу Ленского.

Считая процесс переакцентуации вполне закономерным, М. Бахтин предостерегал от возможных упрощений и вульгаризации. Упрощения неизбежны тогда, когда произведение прошлого, более или менее далекого, воспринимается на совершенно чуждом ему фоне. Еще более недопустимы случаи, когда переакцентуация оказывается во всех отношениях ниже авторского понимания. Двуголосый образ превращается в плоский одноголосый: в ходульно-героический, сентиментально-патетический или, напротив, в примитивно-комический. В этой связи М. Бахтин говорил не только об образе Ленского, но и Печорина, который воспринимается

иногда в героическом плане в стиле героев А. Бестужева-Марлинского.

Словом, завершая эту часть своего исследования, М. Бахтин вновь подчеркнул мысль о том, что «великие романские образы продолжают расти и развиваться и после своего создания, способны творчески изменяться в других эпохах, отдаленнейших от дня и часа их первоначального рождения» (III, 233).

Мы коснулись лишь некоторой, небольшой части содержания работы М. Бахтина «Слово в романе». Исходя из предшествующих своих исследований, автор этого произведения обратился к изучению новых и принципиально важных проблем философии литературы и языка — проблем прозаического, романного слова. Это изучение, продолженное им в других работах («Формы времени и хронотопа в романе», «Из предстории романного слова», «Эпос и роман» и других), вылилось в конечном счете в развернутую теорию романного слова.

Созданный в начале 1930-х годов, труд М. Бахтина «Слово в романе» не утратил своего научно-теоретического значения до наших дней. Идей, развитые в нем, все более и органичнее входят в нашу современную филологию, обогащая различные ее отрасли.

Основопологающей идеей творческого развития М. Бахтина была, как известно, идея диалога. В трактате «Автор и герой в эстетической деятельности» эта идея нашла свое выражение в форме диалога личностей (я и *другой*). Позднее, в работах конца 1920-х годов («Слово в жизни и слово в поэзии», «Марксизм и философия языка»), ученый приходит к пониманию того, что в жизни нет личностей абстрактных, а есть человек социальный. Стало быть, и диалог выступает теперь в форме диалога конкретных социально обусловленных личностей. В книге «Слово в романе» ее автор идет дальше, всесторонне обосновывая мысль о диалоге языков (-мировоззрений). В этом исследовании мы находим уникальный для нашей науки синтез «диахронического и синхронического анализов, в котором принцип историко-генетический и историко-эволюционный» развернут во всей своей полноте<sup>24</sup>.

Труд М. Бахтина «Слово в романе» воспринимается ныне как одно из примечательнейших явлений в нашем

литературоведении. С разных сторон рассматривался, в частности, роман. «Но никто до М. Бахтина не пытался понять роман, отправляясь от необычной функции романного слова... М. Бахтин был пионером на этом пути и настолько опередил остальных, что умозаключенное им много лет назад и сейчас еще воспринимается как откровение»<sup>25</sup>.

Исследователи последних 10—15 лет, отмечая важность бахтинских работ «Слово в романе» и «Из предистории романного слова», говорят о практическом их значении для писателей. «Если романист,— читаем мы в одной из статей,— утрачивает почву прозаического стиля диалогичности живого становящегося слова, то он никогда не поймет и не осуществит действительных возможностей и задач романного жанра. Он может, конечно, создать произведение, которое композиционно и тематически будет очень похоже на роман, будет «сделано» как роман, но романа не создаст. Его всегда выдаст стиль...»<sup>26</sup>

Высоко оценивая бахтинскую теорию поэтического слова, наши литературоведы обращают внимание на ее оригинальность. «В отличие от академика В. В. Виноградова и всех, кто безоговорочно за ним следовал,— говорит А. В. Чичерин,— М. М. Бахтин решительно обособляет литературоведческий подход к слову от лингвистического: «...мы имеем в виду слово, то есть язык в его конкретной и живой целокупности, а не язык как специфический предмет лингвистики... Как раз эти стороны жизни слова, от которых отвлекается лингвистика, имеют для наших целей первостепенное значение»<sup>27</sup>.

Проблема романной формы литературы исследовалась, в частности, и Гегелем. В связи с этим естественно встает вопрос об отношении М. Бахтина к немецкому мыслителю. Именно: чем близка бахтинская концепция романа к гегелевской и в чем состоят их различия. Исследуя эту проблему, один из наших литературоведов пришел к следующим заключениям: «Научные идеи Бахтина относительно романа обычно никак не связывают с теорией Гегеля, однако связь эта существует и должна быть осмыслена... Как и Гегель, Бахтин осмысляет роман, сравнивая его с героическим эпосом (правда, он противопоставляет, а не сближает эти жанры). Как и Гегель, Бахтин хорошо видит

историческую обусловленность появления и развития романа... Но, в отличие от Гегеля, Бахтин не занимается проблемой романной коллизии, он исследует романное слово — область, не привлекавшую внимание Гегеля. Через специфику романного слова Бахтин выходит к широкому кругу проблем теории романа...

Весьма существенны высказанные Бахтиным соображения о типе пространственно-временной организации романа на разных этапах его истории. В отличие от Гегеля, Бахтин не привязывает развитие романа к развитию буржуазных отношений — он видит его историю в античности, а перспективы считает неограниченными»<sup>28</sup>.

Так оценивается труд М. Бахтина «Слово в романе» в нашем литературоведении в последние полтора десятилетия.

\* \* \*

Годы казахстанской ссылки М. Бахтина оставили глубокий след в его душе, во всем духовном облике. Расправа, которую учинили над ним карательные органы Ленинграда в 1928—1930 годах, была жестокой и ничем не оправданной. Больного, еще не оправившегося от тяжелой операции, его отправили в степную глухомань, лишили возможности общаться с друзьями, пользоваться научными библиотеками и таким путем грубо оборвали его связи с научным миром. В этих обстоятельствах недостаток силы воли и глубокой веры в свои силы и высокие идеалы добра грозили талантливому ученому таким внутренним кризисом, который был бы равносильным духовной смерти.

— Но М. Бахтин преодолел все невзгоды изгнаннической жизни. Выжил, выстоял! Произвол и жестокость властей не убили в нем жажды жизни и творчества. Только результаты этого труда шли теперь не на страницы научных журналов и книг, а в ... «стол». И не один он пострадал от заданных и определенных ему условий жизни и деятельности. Огромный урон понесла от такого положения дел наша отечественная наука: философия, филология, искусствоведение и другие отрасли гуманитарных знаний.

## VI. БЛИЗ МОСКВЫ

(1938—1945)

*....Давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жесточе гонения и тем суровее страдания.*

П. А. Флоренский



15 июля 1937 года М. И. Каган писал своей жене: «Вчера был у Бориса Владимировича (Залесского.— Авторы), у которого остановились Бахтины. Пришел часов в 8 и ушел в 12. Часов в 9 пришла Мария Вениаминовна (Юдина.— Авторы). Бахтины были весь последний год в столице Мордовской республики, в Саранске (около Пензы). Он там преподавал в Педвузе литературу. Сейчас ему пришлось уйти, и он в состоянии поисков и работы, и города, где эта работа найдется. Намерен он поехать в Ленинград и там сориентироваться основательнее. Большая часть партийного состава преподавателей из Педвуза там (в Саранске.— Авторы) удалена. У М(ихаила) М(ихайловича) тоже была передряга большая, но дело кончилось весьма благополучно для него: пострадали те, которые его травили безо всякого основания. Теперь он будет устраиваться на такой же работе, но в другом городе. За этот год М(ихаил) М(ихайлович) и Е(лена) А(лександровна) немного похудели, он потерял почти все зубы, хотя питались они неплохо. Тем, что они уехали из Казахстана, они очень довольны. Примерно через час они приедут ко мне. Настроение у них бодрое»<sup>1</sup>.

Трехнедельное пребывание М. Бахтина в Ленинграде летом 1937 года снова оказалось для него безрезультатным. Найти там для себя работы он не смог — ни в высших учебных заведениях, ни в научных учреждениях. Все упиралось в жилищную прописку, о получении которой в эти годы не могло быть и речи.

Неудачными для ученого оказались и какие-то надежды на получение вузовской работы в Алма-Ате<sup>2</sup>. Ничего отрадного в этом смысле не оказалось и в Москве: без жилищной прописки сам собой отпадал и



вопрос о какой-либо штатной работе. Руководители Института мировой литературы им. М. Горького АН СССР согласились принять его лишь на нештатную должность научного сотрудника, которая в материальном отношении практически ему ничего не давала.

Бахтины поселились в Савелове (конечно, не без помощи и ходатайств друзей). Михаила Михайловича это пока устраивало, потому что он мог теперь беспрепятственно пользоваться книжными и архивными богатствами столицы. И потому он смог уделить время для осуществления своих обширных научных планов. На первом месте стояли «Роман воспитания и его значение в истории реализма» и диссертация «Франсуа Рабле в истории реализма».

Продолжал Михаил Михайлович работу и над проблемами романного жанра, начатую, возможно еще в Ленинграде и продолженную в Кустанае («Слово в романе»). Позднее эти статьи были опубликованы под названиями: «Формы времени и хронотопа в романе», «Очерки по исторической поэтике», «Из предыстории романного слова» и «Эпос и роман». По материалам двух последних работ он выступал с докладами на заседании сектора теории литературы и эстетики Института мировой литературы им. М. Горького АН СССР (соответственно 14 октября 1940 года и 24 марта 1941 года)<sup>3</sup>.

В «Листке по учету кадров» М. Бахтин записал, что с осени 1941 года он начал работу в средней общеобразовательной школе села Ильинского Кимрского района бывшей Калининской (теперь Тверской) области. Не исключено, однако, что работу в Ильинской средней школе он начал раньше, по крайней мере, на один год. Дело в том, что приказом заведующего Кимрским роно от 15-го ноября того же 1941 года Михаил Михайлович был уволен уже с работы в Ильинском (с группой других учителей) в связи с сокращением классов и учебных часов. Вряд ли бы он стал писать об этом селе в своей «Автобиографии», если бы он проработал там всего лишь около двух месяцев.

Из Ильинского М. Бахтин переехал в Кимры, где в январе 1942 был назначен на работу в школу № 14<sup>4</sup>. Кроме того, он имел какое-то количество недельных часов еще и в школе № 39. В обеих школах Михаил

Михайлович вел в старших классах уроки по русскому и немецкому языкам и по русской литературе. В апреле 1942 года занятия по немецкому языку были переданы другому учителю, а ему поручили взамен вести уроки по истории.

До нас дошли воспоминания о М. Бахтине-учителе некоторых его учеников военных лет. Так, В. Г. Рак рассказывала: «В 1944 году я училась в 10-м классе. Помню, что Бахтин преподавал у нас литературу. В те годы всем было очень тяжело, Бахтин не был исключением. Он голодал и мерз в холодной школе так же, как и мы все. Но как только начинался урок, он забывал обо всем. Рассказывал нам вздохом, размахивал руками и неустанно ругал школьные учебники: «Какого черта вы их читаете,— говорил он нам.— Надо читать произведение, само произведение, целиком и полностью». И мы все сидели с раскрытыми ртами, забыв, что уже давно прозвенел звонок. Его можно было слушать сколько угодно. Бахтин был довольно откровенен в своих отношениях к литературе. Помню, по программе должен был быть Маяковский. Михаил Михайлович пришел к нам в класс и резко отчеканил: «Маяковского я не люблю и читать его не буду».

Вспоминает М. И. Крылова: «В 1943—1944 годах Бахтин был у нас классным руководителем. Но больше всего запомнилось то, как он преподавал литературу. Хотя мы и не готовили домашнего задания, просто было некогда, мы могли слушать его объяснения нового материала сколько угодно. Он вел также литературный кружок. Нам было мало его уроков, и весь класс ходил заниматься в этот кружок. В классе тишина, никто не шевелится, не двигается, хотя и очень холодно. Бахтин читает нам стихи. Он ужасно много знал наизусть из Гете, Шекспира. Нам с ним было интересно, и нам иногда казалось, что он благодарен нам за то, что мы его слушаем. Он обращался к нам на «вы», чего другие учителя не делали»<sup>5</sup>.

Подобные воспоминания о М. Бахтине-учителе оставили не только бывшие его ученики, но и студенты, которым довелось слушать его вузовские лекции.

Несколько иные воспоминания о Михаиле Михайловиче как учителе средних школ села Ильинского и города Кимры остались у некоторых его коллег,

работавших в названных школах рядом с ним. Одна из них, М. В. Вайцева, говорила так: «Был очень замкнут, с нами почти совсем не общался. О его близких друзьях и даже товарищах сказать ничего не могу. Я их не знаю. Может быть, их у него и не было»<sup>6</sup>.

Время было трудное и суровое. Ильинское и Кимры, в сущности, находились в прифронтовой полосе (в 1941 году) или в непосредственной близости от нее (в 1942—1943 годах). В этих условиях некоторая замкнутость М. Бахтина в учительской среде понятна и объяснима.

Кроме четырех военных лет, трудной для М. Бахтина была зима 1937—1938 годов. Обострившийся воспалительный процесс хронического остомиелита надолго приковал его к постели. В результате обычного больничного лечения улучшения не произошло, и 13 февраля 1938 года была произведена ампутация правой ноги. Только в середине апреля того же года Михаил Михайлович выписался из больницы.

В годы жизни в Подмосковье М. Бахтин нередко бывал в Москве, где в те годы жила и работала М. В. Юдина. Она занималась со студентами-пианистами и в Московской консерватории, и в Институте Гнесиных. Позднее она вспоминала: «Давали в Институте Гнесиных тематические концерты, весьма посещаемые; я всегда перед ними читала длинные доклады на данную тему. Дважды приглашала специалистов перед вечерами «Романсы и песни на тексты Пушкина» — Николая Павловича Анциферова и Сергея Михайловича Бонди. Однажды для расширения поэтико-познавательной стороны всех участников вообще пригласила на открытую лекцию «Баллада и ее особенности» Михаила Михайловича Бахтина (какой это был праздник!), сама много занималась балладой как жанром»<sup>7</sup>.

Жизнь в Подмосковье для М. Бахтина была нелегкой, а временами — необычайно трудной. Особенно — в материальном отношении. Много сил и времени отнимали повседневные заботы о хлебе насущном, особенно в дни военного лихолетья. И вместе с этим — тяжелое хроническое заболевание. Но и в это время Михаил Михайлович никогда не забывал о главном в своей жизни — о научных занятиях. Каждый час относитель-

ного досуга отдавался этому делу. Только в мире науки он мог жить и свободно дышать, забывая на время о всех повседневных невзгодах.

\* \* \*

В 1937—1945 годах у М. Бахтина «в заделе» находилось несколько научных работ, объединенных единством замысла и концептуальных идей. В центре внимания было, по-видимому, диссертационное исследование «Франсуа Рабле в истории реализма». «Диссертация эта (книга в 40 печатных листов), — писал он в своей «Автобиографии», — была закончена в 1940 году и представлена в Институт мировой литературы Академии наук СССР в Москве и в Институт западно-европейской литературы Академии наук в Ленинграде»<sup>8</sup>.

Об этом же исследовании М. Бахтин говорит еще и в списке научных работ, приложенных к «Автобиографии». Здесь он счел необходимым заметить, что в Институте мировой литературы в Москве рукопись его диссертации (отпечатанная на машинке) находится у профессора Дживелегова, а в Институте западно-европейской литературы в Ленинграде — у профессора Смирнова, что о его работе имеется развернутый отзыв профессоров — Б. В. Томашевского и А. А. Смирнова.

В помянутом списке научных работ Михаил Михайлович назвал еще другую свою большую работу — «Теорию романа». Это, по его словам, «книга в 30 печатных листов», содержание которой было изложено им в ряде докладов в 1939—1941 годах в Институте мировой литературы Академии наук (по отделу теории литературы у профессора Л. И. Тимофеева).

Значится в списке литературы и книга «Роман воспитания и его история» — в 12 печатных листов. По рекомендации Л. И. Тимофеева книга принята к опубликованию в издательстве «Советский писатель» в 1938 году.

Указал М. Бахтин и на рукопись книги «К истории Менипповой сатиры», дальнейшая судьба которой, к сожалению, осталась неизвестной<sup>9</sup>.

В книгу «Теория романа» были, по-видимому, включены М. Бахтиным работы, известные теперь в качестве

самостоятельных статей и под другими названиями. Именно — «Слово в романе», «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике», «Из предыстории романного слова» и «Эпос и роман» (*О методологии исследования романа*)».

Подробное рассмотрение этих работ — дело специальных исследований. Здесь же обратим внимание лишь на некоторые их идеи и авторские обобщения.

Теорию литературы М. Бахтин никогда не отделял от ее истории, говоря как о методологическом идеале об изучении их в органическом единстве. С этих позиций он подошел и к исследованию проблем романа, в частности, романного хронотопа.

С понятием «хронотопа» М. Бахтин столкнулся еще в 1925 году, о чем свидетельствует собственное его подстрочное примечание к этому исследованию: «Автор этих строк присутствовал летом 1925 года на докладе А. А. Ухтомского о хронотопе в биологии; в докладе были затронуты и вопросы эстетики» (III, 235).

Проявляя постоянный интерес к философским проблемам современного естествознания, М. Бахтин нередко здесь находил ответы на некоторые вопросы гуманитарных знаний, в частности — филологических. Так было, например, в этом конкретном случае. Термин «хронотоп» он использовал как содержательную форму развития литературы, в первую очередь и в особенности — в романном творчестве.

Опираясь М. Бахтин и на И. Канта, о чем в другом подстрочном примечании писал так: «В своей «Трансцендентальной эстетике» (один из основных разделов «Критики чистого разума») Кант определяет пространство и время как необходимые формы всякого познания, начиная от элементарных восприятий и представлений. Мы принимаем кантовскую оценку значения этих форм в процессе познания, но, в отличие от Канта, мы принимаем их не как «трансцендентальные», а как формы самой реальной действительности. Мы пытаемся раскрыть роль этих форм в процессе конкретного художественного познания (художественного видения) в условиях романного жанра» (III, 235).

Займствуя термин «хронотоп» (времяпространство) из теории относительности Эйнштейна, М. Бахтин заме-

тил, что в литературоведении этот термин позволяет осмыслить пространственно-временные приметы в художественном целом. Хронотопы — своеобразные организующие центры романа, в них завязываются и развязываются его основные узлы. Ими определяются и жанровые разновидности романа. Ведущим началом в хронотопе является *время*. Будучи центральной формально-содержательной категорией, хронотоп в значительной мере определяет и «образ человека в литературе» (III, 235).

Свою книгу М. Бахтин и посвятил анализу романских хронотопов, начиная с античных времен и до конца XIX столетия. К решению своих задач он подошел с позиций последовательного историзма, о чем свидетельствует, в частности, и ее подзаголовок.

Формирование первых трех типов художественных хронотопов автор исследования связывал с Грецией и Римом II—V веков (н. э.), когда сложился «авантюрный роман испытания» («Эфиопская повесть» Гелиодора, «Дафнис и Хлоя» Лонга и др.). Ко второму типу относил «авантюрно-бытовой роман» («Сатирикон» Петрония, «Золотой осел» Апулея и пр.). Третий тип, по словам ученого, составили романы биографический и автобиографический («Апология Сократа» и «Федон» Платона, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха и др.).

Каждому типу романа присуще *свое* время — авантюрное или биографическое (автобиографическое) со всеми особенностями и нюансами. Все эти формы — каждая в отдельности и в своей совокупности — оказали огромное влияние на жанровые формы романа XVIII—XIX столетий.

М. Бахтин считал, что авантюрное время греческого типа нашло свое продолжение и развитие в средневековом рыцарском романе, хотя здесь встречается близость и к авантюрно-бытовому типу («Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха). Возникло в рыцарском хронотопе и нечто новое: случайное и чудесное становится явлением обычным и всеопределяющим. «Герой греческих романов, — говорит М. Бахтин, — стремился восстановить закономерность, снова соединить разорванные звенья нормального хода жизни, вырваться из игры случая и вернуться к обычной, нормальной жизни... Герой рыцарского романа устремляется в приключения

как в родную стихию... Он по самому своему существу может жить только в этом мире чудесных случайностей и в них сохранять свое тождество» (III, 302).

На рубеже средневековья и Возрождения, считал М. Бахтин, появляется роман энциклопедический (синтетический), в котором большая роль отводится видениям, аллегориям, символам. Таковы «Видение о Петре-пахаре» Ленгленда и «Божественная комедия» Данте. В этих произведениях представлено острое ощущение противоречий эпохи как вполне созревших и, в сущности, ощущение конца эпохи» (III, 306). Это противоречивое многообразие предстает перед нами в разрезе одного момента. «Ленгленд собирает на лугу (во время чумы) и затем вокруг образа Петра-пахаря представителей всех сословий и слоев феодального общества, от короля до нищего,— представителей всех профессий, всех идеологических течений,— и все они принимают участие в символическом действе (паломничество за правдой к Петру-пахарю, помощь ему в земледельческом труде и т. д.)» (III, 306).

Данте вытягивает противоречивое многообразие по вертикали — вверх и вниз. «... Девять кругов ада ниже земли, над ними семь кругов чистилища, над ними десять небес. Грубая материальность людей и вещей внизу и только свет и голос вверху. Временная логика этого вертикального мира — чистая одновременность всего (или сосуществование всего в вечности)». Все, что на земле разделено временем, в вечности сходится в чистой одновременности сосуществования» (III, 307).

М. Бахтин считал, что после Данте попытку разрешения исторических противоречий по вертикали предпринимали многие писатели. Однако наиболее успешными оказались только опыты Достоевского.

Особые главы посвятил М. Бахтин раблезианскому хронотопу и его фольклорным корням.

Говоря о знаменитом романе Ф. Рабле, его исследователь обратил внимание на необычайные пространственно-временные просторы этого романа. И дело тут, говорит М. Бахтин, не только в том, что действие в нем протекает «под открытым небом, в движениях по земле, в военных походах и путешествиях, захватывает различные страны». Главное — «в особой связи человека и всех его действий и всех событий его жизни с

пространственно-временным миром» (III, 316). Главнейшей категорией этого мира является «категория роста, притом реального пространственно-временного роста» (III, 317).

Рабле, говорит М. Бахтин, воссоздал пространственно-временной хронотоп «для нового гармонического, цельного человека и новых форм человеческого общения» (III, 318). В разрешении своих положительных задач знаменитый писатель опирается на фольклор и на античность. Что касается задачи отрицательной (критической), здесь автор «Гаргантюа и Пантагрюэля» использует *смех*, уходящий своими корнями «в глубины доклассового фольклора». Задача Ф. Рабле, по убеждению М. Бахтина, заключалась в том, чтобы «собрать распадающийся мир (в результате разложения средневекового мировоззрения) на новой материальной основе». Возникла необходимость в том, чтобы «найти новую форму времени и новое отношение времени к пространству, новому земному пространству... нужен был новый хронотоп, позволяющий связать реальную жизнь (историю) с реальной землей... Основы этого создающего времени были намечены в образах и мотивах фольклора» (III, 355).

Выяснению и анализу этих фольклорных основ М. Бахтин посвятил особую (VIII) главу. В заключение этой главы М. Бахтин подчеркнул, что «ближайшим и непосредственным источником Рабле была народная смеховая культура средних веков и Возрождения, анализ которой мы даем в другой нашей работе» (III, 373).

Этой «другой работой» ученого является его книга «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».

В истории романа, считал М. Бахтин, важное место занял «идиллический хронотоп» в различных его разновидностях: идиллии любовной (пастораль), земледельчески-трудовой, ремесленно-трудовой, семейной. Но всему этому разнообразию присуще нечто общее: органическая прикрепленность жизни и ее событий к определенному месту — к родной стране, к родному дому, к родным лесам и полям, горам и рекам.

Возникнув еще на античной почве (Феокрит, Гораций, Лонг и др.), идиллический романский хронотоп, пройдя через столетия, получил широкое распростране-



ние и приобрел большое значение в XVIII веке. Под его влиянием возникают и развиваются романы областнические (Иммерман, Готфрид Келлер и др.), воспитания и становления (Гете, Гиппель, Жан-Поль и др.), сентиментальные (Руссо, Ричардсон и пр.), семейные и романы поколений (Филдинг, Теккерей, Диккенс, в России — Гончаров, Л. Толстой и др.), различных разновидностей (в том числе с «человеком из народа»).

Важное значение в романах различного типа, считал М. Бахтин, имеет хронотоп *встречи*, которая чаще всего происходит на *дороге*. «Дорога особенно выгодна для изображения события, управляемого случайностью... Дорога проходит через античный бытовой роман странствий... На дорогу выезжают герои средневековых рыцарских романов... На рубеже XVI—XVII веков на дорогу выехал Дон-Кихот, чтобы встретить на ней всю Испанию, от каторжника, идущего на галеры, до герцога... Дорога и встречи на ней сохраняют свое сюжетное значение и в «Годах учения» и «Годах странствия Вильгельма Мейстера»... Встреча Гринева с Пугачевым в пути и в метели определяет сюжет «Капитанской дочки». Вспомним и о роли дороги в «Мертвых душах» Гоголя и «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова (III, 392—393).

В Англии в конце XVIII века появляется (в готическом романе) новая территория совершения романских событий — «замок», в связи с чем появляется и понятие «замкового времени». В XIX веке — местом встреч романских героев становится гостиная — салон (у Стендаля, Бальзака, Л. Толстого и др.), «провинциальный городок» (у Флобера), городская улица или площадь (у Достоевского).

М. Бахтин считал, что хронотоп, помимо своего сюжетного значения, имеет еще и важное изобразительное значение. Время в нем, по его убеждению, приобретает «чувственно-наглядный характер». О том или ином событии романист может просто осведомить читателя. Но в этом случае «событие не становится образом». Хронотоп же сгущает и конкретизирует приметы времени в определенном пространстве. «Все абстрактные элементы романа, — продолжает М. Бахтин, — философские и социальные обобщения, идеи, анализы причин и следствий и т. п. — тяготеют к хронотопу и через него

наполняются плотью и кровью, приобщаются художественной образности» (III, 399).

Понятно, что творцом хронотопа является автор, который активен, но который находится вне изображенного им хронотопа, точнее — на касательной линии к хронотопу. «Вот почему термин «образ автора», — заключает М. Бахтин, — кажется мне неудачным: все, что стало образом в произведении и, следовательно, входит в хронотопы, является созданным, а не создающим» (III, 405).

Таково основное содержание исследования М. Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе».

Рассмотренное монографическое исследование М. Бахтина высоко оценено современным литературоведением. Так, один из видных его представителей писал в своей рецензии: «Перед нами великолепный очерк истории жанра, прослеженный на некоторых важнейших его разновидностях, изобилующий увлекательными частными наблюдениями, вроде лишь похода брошенной мысли о «вертикальном строении мира у Данте. Однако все это лишь своеобразные «избытки». Главное же — выявление духа романного жанра, преломленного линзой пространственно-временных отношений. Наблюдения исследователя выстраиваются в поразительно интересную цепь, объемлющую и специфику античной биографии, и мотивы встречи и дороги, и особенности фольклорного и романного времени, и пересечения романов испытания и воспитания, и функцию шута, плута, дурака в европейской романной традиции»<sup>10</sup>.

После работ М. Бахтина понятие «хронотопа» прочно вошло в практику нашей современной литературной науки.

В органической связи с только что рассмотренным произведением М. Бахтина стоит и другая большая его работа — «Из предыстории романного слова». Автор посвятил ее всестороннему рассмотрению стилистической природы романа. Изучение это, по его словам, началось совсем недавно, в сущности только с 1920-х годов. При этом оно в ту пору пошло по неправильному пути, вследствие чего «особенности романного слова, стилистический *specificum* романного жанра — остаются нераскрытыми» (III, 409). Внимание исследователей было устремлено либо на анализ только авторского слова,

либо искали в этом слове выражение авторской индивидуальности, либо анализ стиля подменялся «нейтральным лингвистическим описанием языка романиста», либо, наконец, романное слово оценивалось с точки зрения его риторической эффективности.

Несостоятельность такого подхода к анализу романного стиля (ставшего уже традиционным) убедительно показана М. Бахтиным на примере пушкинского «Евгения Онегина». Рассмотрев в нем стилистические «зоны» автора, образов Ленского, Онегина и Татьяны, исследователь пришел к выводу, который внешне может показаться парадоксальным: «В «Онегине» почти ни одно слово не является прямым пушкинским словом в том безоговорочном смысле, как, например, в его лирике или поэмах. Поэтому единого языка и стиля в романе нет... Белинский назвал роман Пушкина «энциклопедией русской жизни». И это не немая вещно-бытовая энциклопедия. Русская жизнь говорит здесь всеми своими голосами, всеми языками и стилями эпохи... Со стилистической точки зрения, перед нами сложная система образов языков эпохи, охваченная единым диалогическим движением, причем отдельные «языки» по-разному отстают от объединяющего художественно-идеологического центра романа» (III, 415, 416).

Роман — молодой жанр (в сравнении с другими литературными жанрами). Что касается образов его языка и стиля, они возникли в глубокой древности — задолго до возникновения письменности и самой книги. Истоки романного слова, говорит М. Бахтин, теряются «в малоизученных еще фамильярных речевых жанрах народного разговорного языка, а также в некоторых фольклорных и низких литературных жанрах». Романное слово отразило в себе «древнюю борьбу племен, народов, культур и языков». «Оно, в сущности, всегда развивалось на меже культур и языков» (III, 417).

Вторая, большая часть работы посвящена М. Бахтиным исследованию предыстории романного слова. В этом процессе, по его словам, действовали два основных фактора, именно — *смех и многоязычие*.

Смех, по убеждению исследователя, обладает большой организующей силой. Все начиналось с осмеяния чужого языка и чужого прямого слова, с народного смехового творчества. Из этой стихии в древней Греции

в ее классическую пору вырастает обширная и разнообразная в жанровом отношении серьезно-смеховая литература, связанная с *современностью*. Эту литературу, по словам М. Бахтина, составляли мимы Софрона, вся буколическая поэзия и басня, ранняя мемуарная литература, памфлеты, сократические диалоги и диалоги лукиановского типа, римская сатира (Луциллий, Гораций, Персий и Ювенал), наконец, и мениппова сатира (включая и «Сатирикон» Петрония). Вся эта многообразная литература, находившаяся в зоне непосредственного контакта с современностью, предшествовала роману и подготовила почву для его возникновения и развития на античной почве.

М. Бахтин утверждал, что наряду с многоязычием — основы взаимоосвещения языков, — действовало и внутриязыковое разноречие, всегда свойственное всем национальным языкам. Романное слово, по его мнению, всегда ощущало себя на границе господствующего литературного языка и *внелитературных* языков народного разноречия.

Одной из распространенных форм смеха М. Бахтин считал пародийно-травестирующие формы. Не было, по его словам, «ни одного типа прямого слова — художественного, риторического, философского, религиозного, бытового, — которые не получили бы своего пародийно-травестирующего двойника...» (III, 419). Ученый указывал при этом на художественное сознание римлян, которое «с начала и до конца творило» на фоне греческого языка и греческих форм» (III, 426).

Пародийно-травестирующее слово, преодолевая все преграды, говорил М. Бахтин, ворвалось на исходе средних веков и в эпоху Возрождения во все строгие и замкнутые жанры литературы и в конечном счете привело к рождению великих произведений — романов Рабле и Сервантеса.

«Из предыстории романного слова» (наряду с книгой «Слово в романе») — это монографическое исследование М. Бахтина по праву расценивается как одна из лучших теоретических работ такого типа. Об этом свидетельствуют единодушные отзывы видных наших литературоведов. Так, один из рецензентов справедливо говорил о глубоко новаторском характере этого исследования. Отправляясь в понимании сущности жанра

романа от необычной функции романного слова, М. Бахтин, по его словам, был «пионером на этом пути и настолько опередил остальных, что умозаключенное им много лет назад и сейчас еще воспринимается как откровение»<sup>11</sup>.

Автор другой рецензии писал: «При всем многообразии научных интересов и литературных пристрастий предметом исследования Бахтина является слово, его жизнь. Не частности привлекают его внимание, не механизм словообразования, а духовная сущность слова... Его работы «Слово в романе» и «Из предыстории романного слова» — это по сути гимн слову, его свободному организующему началу в художественном творчестве»<sup>12</sup>.

Все больше и чаще используются концептуальные идеи названных здесь работ М. Бахтина нашими литературоведами, лингвистами, эстетиками и философами в практике их исследований, помогая им в достижении плодотворных результатов.

Составной частью цикла теоретических работ М. Бахтина, посвященных теории романа, является его большая статья «Эпос и роман (О методологии исследования романа)». В ней обстоятельно, с привлечением значительного историко-литературного материала исследована жанровая природа романа. Исследуется эта природа давно. Накоплено много разных наблюдений и обобщений. Особенно много было сделано в этом смысле некоторыми писателями и теоретиками искусства в XVIII веке, во второй его половине, когда роман стал ведущим жанром литературы. Речь идет о таких писателях и мыслителях этого времени, как Филдинг, Виланд, Бланкенбург, Руссо, Гегель. При всем разнообразии мнений, все, в сущности, сходились на том, что «роман должен стать для современного мира тем, чем эпопея являлась для древнего мира (эта мысль со всею четкостью была высказана Бланкенбургом и затем повторена Гегелем)» (III, 453—454).

Гегель называл роман «современной буржуазной эпопеей». «Здесь, с одной стороны,— писал Гегель,— вновь выступает во всей полноте богатство и многосторонность интересов, состояний, характеров, жизненных условий, широкий фон целостного мира, а также эпическое изображение событий. Но здесь отсутствует

изначально поэтическое состояние мира, из которого вырастает настоящий эпос. Роман в современном смысле предполагает уже *прозаически* упорядоченную действительность, на почве которой он в своем кругу вновь завоевывает для поэзии... утраченные ею права...»<sup>13</sup>

Сущность романной формы, по убеждению М. Бахтина, отчетливо вырисовывается в процессе сопоставления романа с эпоеей.

Три особенности, говорил М. Бахтин, отличают эпопею: национальное эпическое прошлое, национальное предание и далекая дистанция, отделяющая национальное эпическое прошлое и национальное предание от современности. «Мир эпопеи,— писал он,— национальное героическое прошлое, мир «начал» и «вершин» национальной истории, мир отцов и родоначальников, мир «первых» и «лучших» ... Эпопея никогда не была поэмой о настоящем, о своем времени...» (III, 456, 457).

Далекая «эпическая дистанция» отделяет «абсолютное прошлое национальных начал и вершин» от современности. Современная жизнь, текущая и преходящая,— это «жизнь без начала и конца». Она может быть предметом изображения только «в низких жанрах», какими являются различные жанры «народного смехового творчества». В эпосе даже события современности переводятся в далекой план прошедшего или будущего. Эпические поэмы, считал М. Бахтин, возникли из эпических песен, которые были некогда откликом на совершившиеся события современности. В поэмах эти песни приобрели новые качества. В своей совокупности они составили тот эпический мир, который «нельзя ни изменить, ни переосмыслить, ни переоценить» (III, 460). Это — застывший, окостеневший жанр.

Говоря об «абсолютном прошлом» эпических поэм, М. Бахтин подчеркивал, что «абсолютное прошлое» нельзя рассматривать как время в нашем ограниченном смысле. «Абсолютное прошлое» — категория иерархическая, ценностно-временная.

Коренное отличие романа от эпопеи М. Бахтин усматривал в том, что роман — «единственный становящийся и еще неготовый жанр». Его «жанровый костяк... еще не затвердел, и мы не можем предугадать всех его пластических возможностей» (III, 447).

Исследователь утверждал, что три основные особенности отличают роман: во-первых, ему присуща стилистическая трехмерность, связанная с многоязычным сознанием, в нем реализующемся; во-вторых, коренное изменение временных координат литературного образа; в-третьих, максимальный контакт романного образа с настоящим (современностью) в его незавершенности.

Эти особенности, органически связанные друг с другом, говорил М. Бахтин, были обусловлены переломным моментом в истории европейских народов, именно — их выходом из «социально-замкнутого и глухого патриархального состояния в новые условия международных, междуязычных связей и отношений» (III, 455). Прямым следствием этих перемен явился тот факт, что в жизнь и мышление народов Европы вошло «многообразие языков, культур и времен» (III, 455).

О стилистическом своеобразии романа М. Бахтин подробно говорил в предыдущей своей работе «Из предыстории романного слова». В исследовании «Эпос и роман» ученый обратил внимание лишь на некоторые новые детали этой большой проблемы. Он заметил, в частности, что многоязычие существовало уже и в пору классической Греции. Но это многоязычие там было упорядочено и канонизировано между отдельными жанрами. Там еще имело место сосуществование различных диалектов и жаргонов — территориальных, социальных, профессиональных. Поэтому творческое сознание греков проявляло себя еще «в замкнутых чистых языках».

В новых условиях языковой замкнутости пришел конец. Теперь все пришло в движение, взаимодействие и взаимоосвещение. В это время каждый данный язык «как бы рождается заново, становится качественно другим для творящего на нем сознания» (III, 456), хотя его состав (фонетика, словарь, морфология и т. д.) остается прежним и неизменным. Роман как раз и сложился и вырос «в условиях обостренной активизации внешнего и внутреннего многоязычия» (III, 456).

Первые существенные признаки романной формы М. Бахтин находил в сократических диалогах и менипповой сатире. Их предметом и исходным пунктом служила современная жизнь — без какой-либо далекой дистанции. Такая дистанция отсутствовала даже и в тех случаях, когда предметом изображения служили нацио-

нальное предание, миф, поскольку определяющим моментом является современность. Особое значение в этом процессе принадлежит смеху, почерпнутому из фольклора. «... Все смешное,— говорит М. Бахтин,— близко; все смеховое творчество работает в зоне максимального приближения. Смех обладает замечательной силой приближать предмет, он вводит предмет в зону грубого контакта, где его можно фамильярно ощупывать со всех сторон, переворачивать, выворачивать наизнанку, заглядывать снизу и сверху, разбивать его внешнюю оболочку, заглядывать в нутро, сомневаться, разлагать, расчленять, обнажать и разоблачать, свободно исследовать, экспериментировать. Смех уничтожает страх и пиетет перед предметом, перед миром, делает его предметом фамильярного контакта и этим подготавливает абсолютно свободное исследование его. Смех — существеннейший фактор в создании той предпосылки бесстрашия, без которой невозможно реалистическое постижение мира» (III, 466).

История становления романа — история пародирования или травестиования всего, что утратило или утрачивает свою способность к дальнейшему движению, развитию и совершенствованию. Он пародировал самого себя (пародии на романы рыцарские, пастушеские, барокко и т. д.). «Эта самокритичность романа,— подчеркивал М. Бахтин,— замечательная черта его как становящегося жанра» (III, 450).

Коренной перестройке подвергся в романе и образ человека. И в этом процессе первостепенная роль принадлежала народно-смеховым источникам. Свободное и фамильярное исследование человека привели к тому, что сюжет перестал исчерпывать человека до конца. Появились образы устойчивых народных масок (Пульчинелла, Арлекин и пр.). В них отсутствует тождество с самим собой. «Это,— говорит ученый,— герои свободных импровизаций, а не герои предания, герои неистребимого и вечно обновляющегося, всегда современного жизненного процесса, а не герои абсолютного прошлого» (III, 479).

Характерную особенность романного героя М. Бахтин видел в том, что он либо больше своей судьбы, либо меньше своей человечности. Нельзя воплотить его в существующую социально-историческую плоть. Но эта



избыточная человечность может найти свое выражение не в герое, а в авторской позиции.

С распадом эпической цельности человека в романе появляется противоречие между «внешним и внутренним человеком».

В романе появляется новый и высший тип индивидуализации образа — идеологическая и языковая инициативность человека. Такими героями-идеологами являются Сократ и Эпикур, Диоген и Менипп.

В периоды, когда жанр романа становится господствующим, все другие жанры испытывают его неотразимое воздействие, романизируются. Романизируется драма и поэма, романизируется даже лирика (например, у Гейне). «...романизация других жанров, — говорил М. Бахтин, — не есть их подчинение чуждым жанровым канонам; напротив, это и есть их освобождение от всего того условного, омертвевшего, ходульного и нежизненного, что тормозит их собственное развитие... что превращает их рядом с романом в какие-то стилизации отживших форм» (III, 482).

Относя возникновение жанра романа к эпохе эллинизма, М. Бахтин считал вместе с тем, что на античной почве он не мог развить всех тех возможностей, которые раскрылись в новом мире. Это стало возможным только в эпоху Возрождения. «Настоящее в эпоху Ренессанса, — утверждал исследователь, — впервые почувствовало себя со всею отчетливостью и осознанностью несравненно ближе и роднее будущему, чем прошлому» (III, 483).

В заключительных строках своей работы М. Бахтин говорит о своем убеждении в том, что «процесс становления романа не закончился», что для нашей эпохи «характерно необычайное усложнение и углубление мира, необычайный рост человеческой требовательности, трезвости и критицизм». «Эти черты, — по его словам, — определяют и развитие романа» (III, 483).

Высокую оценку получила и эта теоретическая работа М. Бахтина. В одной из рецензий на книгу «Вопросы литературы и эстетики», где статья «Эпос и роман» была впервые опубликована, рецензент писал: «Сама постановка вопроса требует конституирования через размежевание со всеми застывшими, давно «готовыми» жанрами. За систему отсчета принимается

эпос. Так поступали почти все, кто хотел понять сущность романа, — от Гегеля до Лукача. Но Гегель видел в романе «буржуазную эпопею», а Лукач почитал эпос за «золотой век» искусства, да еще утопически опрокинутый в романное будущее. Бахтин смотрит на эпос и на роман как на разные эстетические миры, порожденные различием эпох исторических... Даже если бы статья представляла собою единственную у М. Бахтина теоретическую работу о романе, его вклад в разработку поэтики жанра был бы значительным»<sup>14</sup>.

С теорией романного жанра связана книга М. Бахтина «Роман воспитания и его значение в истории реализма». В своих автобиографических материалах он писал, что эта «книга в 12 печатных листов, по отзыву проф. Л. И. Тимофеева, была принята к печати издательством «Советский писатель» в 1938 году, но до сих пор не напечатана ввиду сокращения листажа издательства»<sup>15</sup>.

В годы Великой Отечественной войны рукопись издательством была утеряна. У автора сохранились лишь немногие черновые записи, подготовительные материалы и проспект книги, опубликованные теперь в книге «Эстетика словесного творчества».

В отличие от предшествующих теоретических работ о романе, в этой книге ее автор поставил своей целью исследовать лишь одну жанровую форму — роман воспитания. Верный принципу историзма, ученый предпринял обширный экскурс в предысторию европейского романа, положив в основу классификации жанра метод построения образа главного героя. Так очерчены им жанровые особенности романов странствования, испытания, биографического, автобиографического, романа воспитания и становления, барокко с двумя его разновидностями: авантюрно-героической ветви (Льюис, Радклиф и др.) и ветви патетико-психологической (Ричардсон, Руссо).

Эта классификация в известном смысле условна, потому что «чистых» видов нет. Есть преобладание того или иного принципа оформления героя.

Конкретизируя свою тему, М. Бахтин писал, что он стремится исследовать реальное историческое время и исторического человека в нем. Более конкретно — «образ становящегося человека в романе» (IV, 209).

Особое место в развитии реалистического романа становления М. Бахтин отводит здесь Рабле, Гриммельсгаузену и в особенности Гете. В романах «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Симплициссимус» и «Вильгельм Мейстер» человек «становится *вместе с миром*, отражает в себе историческое становление самого мира» (IV, 214). Герой этих произведений стоит уже «не внутри эпохи, а на рубеже двух эпох, в точке перехода от одной к другой» (IV, 214).

Отдельную главу своей книги М. Бахтин посвятил Гете. Творец «Вильгельма Мейстера», по словам ученого, умел видеть и читать время в пространственном целом мира, так же как умел воспринимать пространство и его наполнение как становящееся целое, т. е. как событие.

Заслуживает внимания мысль М. Бахтина относительно того, что «видение и изображение исторического времени подготовляются в эпоху Просвещения» (IV, 217), что распространенное об этой эпохе мнение особенно несправедливо. «Пресловутая неисторичность эпохи Просвещения,— говорит исследователь,— должна быть вообще в корне пересмотрена». Исторический XVIII век нужно мерить не с точки зрения только этой поздней историчности, но по сравнению с предшествующими эпохами. «При таком подходе,— продолжает он,— XVIII век раскрывается как эпоха могучего *пробуждения чувства времени*, прежде всего чувства времени в природе и в человеческой жизни» (IV, 217).

Новаторство Гете-романиста М. Бахтин видел в том, что он рассматривал земное пространство и человеческую историю неотделимыми друг от друга. Для творца «Вильгельма Мейстера» «все в этом мире — *времяпространство*, подлинный *хронотоп* (IV, 236). Это обстоятельство, по словам исследователя, «делает историческое время в его творчестве таким густым и материализованным, а пространство таким человечески осмысленным и интенсивным» (IV, 233).

Великие достижения творческой мысли Гете были бы невозможны, говорит М. Бахтин, если бы не было ростков этой мысли еще в эпоху Возрождения. «В эпоху Возрождения,— писал он,— «весь мир» начал сгущаться в реальное и компактное целое. Земля точно округлилась и заняла определенное место в реальном

пространстве вселенной, сама она начала приобретать географическую определенность...» (IV, 237—238).

Этот процесс закругления, восполнения и оцельнения реального мира достиг своего первоначального завершения в XVIII веке, именно — ко времени Гете. «Определилось положение земного шара в солнечной системе и его отношение к другим мирам этой системы,— продолжает М. Бахтин,— определился его размер, моря и материки, геологический состав... Такая вещь, как закон тяготения Ньютона, помимо своего прямого естественно-научного и философского значения, оказала исключительное содействие онагляднению мира, она делала почти наглядно-зримым и ощутимым новое единство реального мира, новую природную закономерность его» (IV, 238).

«Громадной» назвал М. Бахтин ту роль, которую сыграла «в процессе очищения и сгущения реальности» философская и публицистическая критика.

Заслуживает пристального внимания и осмысления мысль М. Бахтина об энциклопедичности всякого большого романа во все эпохи развития этого жанра. Речь идет не о конспективном изложении целого мира, не о резюме всех его частей. Нет этого и у Гете. Действие может происходить на ограниченном участке земного пространства и охватывать небольшой отрезок исторического времени. «... Тем не менее,— продолжает М. Бахтин,— за миром романа все время стоит здесь этот новый, оцельненный мир; весь он посылает в роман своих представителей-заместителей, которые и отражают его новую и реальную полноту и конкретность (географическую и историческую в наиболее широком смысле этих слов)» (IV, 240).

В подтверждение этой мысли М. Бахтин приводит размышления Гете о Сицилии, где, по словам поэта, «сходится столько радиусов мировой истории» (IV, 234).

Можно вспомнить в этой связи и о рассуждениях самого М. Бахтина по поводу энциклопедичности «Евгения Онегина» (III, 416).

Характерной особенностью литературы второй половины XVIII столетия М. Бахтин считал переориентацию художественного образа по отношению к реальной действительности. «Художественный образ,— писал он,— почувствовал как бы органическое стремление при-

крепляться к определенному времени, а главное — к определенному конкретному и наглядно-зримому месту пространства» (IV, 241).

Так появились своеобразные «местные культы», возникшие под влиянием литературных произведений («Новая Элоиза» Руссо, «Клариса Гарлоу» Ричардсона, «Новый Парис» Гете, «Бедная Лиза» Карамзина). Все это стало возможным в результате нового ощущения пространства и времени.

Гете в XVIII столетии не одинок. Хронотопичным было и художественное воображение Руссо, открывшего для литературы *природу*. «Время природы и время человеческой жизни,— говорит М. Бахтин,— вступили у него в теснейшее взаимодействие и взаимопроникновение» (IV, 245—246).

Подобно Гете, Руссо населяет свои пейзажи людьми. Главным образом людьми «идиллической и индивидуально-биографической жизни» (IV, 246). Любовь и труд, утопическое представление о будущем как о «золотом веке».

Важным средством очеловечения и интенсификации романного хронотопа в европейской литературе второй половины XVIII века явился фольклор, интерес к которому в это время необычайно возрос особенно в Англии и Германии. «С фольклором,— утверждает М. Бахтин,— в литературу ворвалась новая, мощная и чрезвычайно продуктивная волна народно-исторического времени, оказавшего громадное влияние на развитие исторического мировоззрения вообще и в частности на развитие исторического романа» (IV, 247—248).

Исследователю важен один аспект этой большой проблемы, именно — выяснение роли местного фольклора в процессе подготовки жанра исторического романа. Речь идет об исторических легендах, преданиях, сагах и пр. Использование местного (локального) фольклора в литературе практиковалось уже в древней Греции. Так, Пиндар мог искусно переплести местные мифы с общеэллинскими, приобщая таким путем каждый уголок греческой земли к единству всего эллинского мира.

Широко пользовался местным фольклором Вальтер Скотт в Англии. «Каждый клочок земли,— говорит М. Бахтин... был насыщен для него определенными собы-

тиями местных легенд, был интенсифицирован легендарным временем, и, с другой стороны, всякое событие было строго локализовано, сгущено в пространственных приметах. Его глаз умел видеть время в пространстве» (IV, 248—249).

Правда, в ранний период творчества, считал М. Бахтин, время у Вальтера Скотта было еще ограничено: видимое настоящее вызывало лишь воспоминание о прошлом. Позднее это ограничение писатель преодолевает, хотя и не до конца. В этом и заключалось его существенное отличие от Гете. Тем не менее глубокая хронотопичность художественного мышления, освоение элементов фольклорного народно-исторического времени оказались высокопродуктивными для исторического романа, ставшего основным жанром в творчестве знаменитого английского писателя.

Таким представлялся М. Бахтину один из важнейших этапов на пути освоения реального исторического времени литературой западной Европы, в котором первостепенное место он отвел Гете.

Таково основное содержание работы М. Бахтина «Роман воспитания и его значение в истории реализма».

Большую роль в возникновении и развитии романного жанра на античной почве М. Бахтин отводил Менипповой сатире. Этому жанру он посвятил специальное исследование. Однако рукопись его книги «К истории Менипповой сатиры», по-видимому, была утеряна и до нас не дошла. Имеются лишь отдельные суждения и замечания ученого по этому предмету в ряде других его работ. Выразительную характеристику Менипповой сатиры мы находим, в частности, в только что рассмотренной статье «Эпос и роман».

Мениппову сатиру М. Бахтин относил (в соответствии с общим своим взглядом на роман) к «серьезно-смеховым» жанрам античной литературы, генетически связанной с сократическим диалогом. Считал, что фольклорные корни ее те же, что и у сократического диалога. Отличие усматривал лишь в том, что фамильяризирующая роль смеха в ней резче и грубее. Пародирование и травестирование в сатирах этого рода столь вольны и грубы, что могут иной раз шокировать читателя. И вместе с тем за этой исключительной смеховой фамильярностью скрывается острая проблемность и

утопическая фантастика. Далекая дистанция, отделяющая эпическое прошлое от настоящего, начисто отсутствует. Все высокое и священное включено в зону грубого контакта с современностью. «В этом до конца фамильяризованном мире,— говорит автор исследования, — сюжет движется с исключительной фантастической свободой: с неба на землю, с земли в преисподнюю, из настоящего в прошлое, из прошлого в будущее. В смеховых загробных видениях... деятели различных эпох исторического прошлого (например, Александр Македонский) и живые современники фамильярно сталкиваются друг с другом для бесед и даже потасовок; чрезвычайно характерно это столкновение времен в разрезе современности. Необузданно-фантастические сюжеты и положения... подчинены одной цели — испытанию и разоблачению идей и идеологов. Это — экспериментально-провоцирующие сюжеты» (III, 469).

Заметную особенность Менипповой сатиры М. Бахтин видел и в том, что в ней содержались элементы утопизма, хотя и неуверенные и неглубокие. Отчетливо ощущалось, что незавершенное настоящее ближе к будущему, чем к прошлому, что настоящее начинает уже искать для себя ценностных опор в будущем. На римской почве это будущее рисовалось пока в форме возврата золотого Сатурнова века, где сатира была тесно связана со свободой сатурналиева смеха.

Другую очевидную особенность Менипповой сатиры М. Бахтин усматривал в ее диалогичности и многостильности. Произведения этого типа были наполнены пародиями и травестиями, отличались двуязычием (например, у Марка Варрона).

Исследователь Менипповой сатиры был убежден в том, что она содержала в себе элементы, способные разрастись в большое полотно, в котором многообразный и разноречивый мир современности может найти реалистическое отражение. Наглядный пример такой возможности — «Сатирикон» Петрония.

Таким представлялся М. Бахтину жанр Менипповой сатиры, сыгравшей, по его убеждению, огромную роль в становлении античного романа.

Более десяти лет своей творческой работы посвятил М. Бахтин разработке теории романа,— теории глубоко оригинальной и всесторонне обоснованной. В процесс

исследования был вовлечен им громадный историко-литературный, лингвистический и философско-эстетический материал, свидетельствующий об удивительной эрудиции и работоспособности ученого. И это при самых неблагоприятных условиях жизни.

\* \* \*

Работа в средних общеобразовательных школах Подмосковья не удовлетворяла М. Бахтина. Большое и оригинальное диссертационное исследование «Франсуа Рабле в истории реализма» открывало ему дорогу для работы в высших учебных заведениях страны. О Москве и Питере не могло быть и речи. Такую работу ученый мог получить только в провинции. И потому нет ничего удивительного в том, что осенью 1945 года Михаил Михайлович снова отправился в Саранск.



## ВИ. В САРАНСКЕ

(1936—1937, 1945—1969)

Над широкою рекой,  
Пояском-мостком перетянутой,  
Городок стоит небольшой,  
Летописцем не раз помянутый.

Н. Гумилев



Четверть века из своей полувековой трудовой жизни М. Бахтим прожил в Саранске. Это — в пятистах пятидесяти километрах к востоку от Москвы в направлении к Средней Волге.

История Саранска начинается с 1641 года, когда он был основан в виде сторожевого пункта на высоком берегу небольшой реки Саранки при ее впадении в реку Инсар. Неподдалеку от деревянной крепости был насыпан высокий земляной вал для охраны юго-восточных границ Российского государства. Через десять лет после основания небольшой городок-крепость получил статус уездного города, которым управляли воеводы. Одним из первых таких правителей уездного Саранска был Петр Лермонт (предок поэта М. Ю. Лермонтова).

Историки отмечали выгодное географическое положение Саранска, оказавшегося на перекрестке больших торговых путей, связывавших Пензу с Арзамасом и Нижним Новгородом, Астрахань и Саратов с Москвой. Благоприятны и климатические условия города, который с годами разрастался в большой лесопарковой зоне.

До 1928 года Саранск и Саранский уезд входили в состав бывшей Пензенской губернии. В 1928 году был создан Мордовский национальный округ с административным центром в городе Саранске. Округ был включен в границы Средневолжского края. Через два года округ получил статус Мордовской автономной области, а еще через четыре года — Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики (МАССР).

В 1931 году в Саранске было открыто первое высшее учебное заведение — Мордовский агропединститут, ставший вскоре только педагогическим институтом. Позднее, в феврале 1938 года, институту было присвоено

имя поэта А. И. Полежаева, детские годы которого были связаны отчасти и с Саранском.

Мы, к сожалению, не знаем ни точной даты выезда М. Бахтина из Кустаная, ни точного дня его приезда в 1936 году в Саранск. Известно лишь, что приказ о его зачислении на работу в должности преподавателя всеобщей литературы был издан директором Мордовского пединститута А. Ф. Антоновым только 25 декабря того же 1936 года<sup>1</sup>. Поселившись в новой городской гостинице, М. Бахтин приступил к исполнению своих обязанностей.

Следует сказать о том, что время для педагогической деятельности в Саранске бывшего политического ссыльнопоселенца было самым неблагоприятным. Летом 1936 года в Москве завершился громкий политический процесс над Зиновьевым, Каменевым и их единомышленниками. В связи с этой акцией был приведен в движение огромный идеологический аппарат ЦК ВКП(б) с тем, чтобы поддержать на «должном уровне» круто подымавшуюся волну новых политических репрессий. Цель одна: искоренить в стране все ростки и проявления инакомыслия, возвеличить Сталина и его «боевых соратников», всеми силами и средствами укрепить тоталитарный режим, казавшийся еще не достаточно прочным.

Еще до приезда М. Бахтина в Саранск в Мордовском пединституте в начале сентября 1936 года состоялось общее собрание профессорско-преподавательского и студенческого состава. Формально оно было посвящено началу нового учебного года. В действительности же центральным оказался первый пункт предложенной повестки дня собрания, сформулированный так: «О троцкистско-зиновьевской банде». С докладом на эту тему выступил заместитель директора института и исполняющий обязанности доцента кафедры политэкономии А. П. Инкин.

Об атмосфере, воцарившейся на собрании, можно судить по содержанию и пафосу выступлений его участников. Так, некая П. Г. Иванова одобрила доклад Инкина за то, что в нем содержался самый решительный призыв к искоренению остатков троцкистско-зиновьевского блока. При этом имелся в виду не «общий» призыв, а вполне конкретный, относящийся к мордовскому пединституту. Иванова говорила о «контр-

революционной деятельности» некоторых преподавателей института, в частности, филологического факультета. Было названо имя преподавательницы Т. Тарле (в это время уже осужденной к пятилетнему сроку заключения в одном из лагерей). Т. Тарле, по словам оратора, «хотела подорвать работу института, настроить студентов против линии партии и товарища Сталина»<sup>2</sup>.

Другой оратор бил тревогу по поводу того, что на проходящем собрании не слышно голосов комсомольцев; жаловался на то, что студенты плохо посещают собрания, многие из них не бывают на праздничных демонстрациях<sup>3</sup>.

Прозвучал на собрании и странный призыв покончить «с традициями гуманности», будто бы опасно укоренившимися на литфаке. Оратор назвал эту традицию «старой и грязной», поскольку она мешает бороться с такими преподавателями, как Т. Тарле и ее единомышленники<sup>4</sup>.

Звучал призыв к «заострению нашей бдительности», к борьбе с разного рода «разговорчиками».

Директор пединститута призвал своих слушателей к глубокому изучению истории партии, диалектического и исторического материализма<sup>5</sup>.

По обсуждавшемуся вопросу было принято решение о проведении проверки «идеологической стороны конспектов литературного факультета», т. е. имелись в виду студенческие конспективные записи преподавательских лекций<sup>6</sup>.

Такой была нравственно-политическая обстановка в Мордовском пединституте, в котором предстояло работать М. Бахтину в 1936/37 учебном году (скажем в скобках: типичная для учебных заведений страны тех лет). Не трудно понять, что вся его предстоящая работа на факультете, взятом под особый контроль, была заведомо обречена на неудачу. Так оно в действительности и произошло.

В обстановке взаимной подозрительности и нервозности, недоверия друг к другу и неизбежного в таких ситуациях страха, начались интриги, взаимные обвинения и... доносы в соответствующие инстанции.

В конце 1936 года была произведена тщательная проверка состояния дел на филологическом факультете. Члены специальной наркоматской комиссии и ее предсе-

датель активно посещали лекции и другие занятия преподавателей со студентами, читали студенческие конспективные записи. Бывали члены комиссии, конечно, и на лекциях М. Бахтина. Идейный их уровень (в ту пору об этом главным образом и заботились) находили весьма невысоким. С ученым беседовали, его наставляли и... предупреждали<sup>7</sup>.

В процессе обследования филологического факультета между его деканом и членами проверочной комиссии возникали конфликты. Отчасти, может быть, и по этой причине результаты обследования оказались неудовлетворительными. Наказан прежде всего был декан факультета: приказом директора института А. Ф. Антонова от 7-го января 1937 года С. М. Петров был освобожден от занимаемой должности. Мало того, по прошествии десяти дней он был освобожден и от должности преподавателя института<sup>8</sup>.

С. М. Петрову напомнили, конечно, и тот факт, что именно по его рекомендации директор института А. Ф. Антонов принял на кафедру всеобщей литературы М. Бахтина — человека, который совсем «недавно отбыл пятилетнюю ссылку за контрреволюционную работу»<sup>9</sup>.

Что касается самого М. Бахтина, дело ограничилось пока лишь его предупреждением. Но ненадолго. 10 марта 1937 года Михаил Михайлович вынужден был подать заявление об освобождении от занимаемой должности преподавателя кафедры всеобщей литературы. Мотивировал он свою просьбу ухудшением состояния здоровья, именно — резким обострением хронической болезни (множественный остеомиелит)<sup>10</sup>.

Больного преподавателя директор института уволить с работы не мог. Такой приказ по институту А. Ф. Антонов издал только 5-го июня того же 1937 года (за № 76). Текст той части приказа, которой он касался М. Бахтина, был сформулирован так: «§ 6. Преподавателя всеобщей литературы Бахтина М. М. за допущение в преподавании всеобщей литературы буржуазного объективизма, несмотря на ряд предупреждений и указаний, он все еще не перестроился, с работы в институте снять с 21 июня 1937 г.»<sup>11</sup>.

Вышло, однако, так, что 21 июня в пединституте появился приказ № 86, в котором сам Антонов был назван уже «бывшим директором» на том основании, что

уже «разоблачен как враг народа». Новый приказ был подписан новым директором — П. Д. Ереминым.

По этой причине 3 июля 1937 года М. Бахтин обратился с заявлением к директору П. Д. Еремину и просил об увольнении от должности преподавателя кафедры всеобщей литературы. В этот же день последовал приказ № 94, в котором просьба Михаила Михайловича была удовлетворена: он освобождался от работы в институте, но «по собственному желанию»<sup>12</sup>.

Заметим, кстати, что 21 июня, одновременно с А. Ф. Антоновым, был освобожден от занимаемой должности заместитель директора по учебной работе М. Д. Смирнов, тоже объявленный «врагом народа».

Несколько позже, 29 июня того же 1937 года, в пединституте появился приказ № 89, в котором говорилось: «За связь, пособничество и укрывательство врагов народа, за саботаж в производственной работе помощника директора по заочному обучению и преподавателя политэкономии Инкина А. П. ...с работы снять»<sup>13</sup>.

Так развернулись события в Мордовском пединституте в 1936/37 учебном году.

Следует сказать, что Мордовский пединститут в этом отношении не был тогда каким-то досадным исключением. Напротив, в Саранске было все так же, как и всюду в ту пору в «великих штатах СССР». Одна из отличительных особенностей репрессий этого времени заключалась, пожалуй, только в том, что развернулись они главным образом внутри ВКП(б), когда одна часть большевиков пожирала другую, чтобы «плыть в революцию дальше».

... Летом 1937 года М. Бахтин оставил Саранск, отправившись в Москву. Здесь он встретился со своими старыми и добрыми друзьями — Б. В. Залесским (на квартире которого всегда останавливался, бывая в Москве), М. И. Каганом и М. В. Юдиной. 15 июля М. И. Каган, сообщив жене о неожиданной встрече с Бахтиными и о том, что из Саранска им пришлось уехать, писал так: «Большая часть партийного состава преподавателей из Педвуза там (в Саранске.— Авторы) удалена. У Михаила Михайловича тоже была передрыга большая, но дело кончилось весьма благополучно для него: пострадали те, которые его травили безо всякого основания. Теперь он будет устраиваться на такой же

работе, но в другом городе. За этот год Михаил Михайлович и Елена Александровна немного похудели, он потерял почти все зубы, хотя питались они неплохо. Тем, что они уехали из Казахстана, они очень довольны»<sup>14</sup>.

«Другой город», о котором говорил в письме М. И. Каган, найти было нелегко, как и непросто было найти в то время постоянную работу в высшем учебном заведении. Именно ему, М. Бахтину, бывшему ссыльно-поселенцу. Двухнедельное пребывание летом 1937 года в Ленинграде и последующая поездка в Кустанай (возможно, и в Алма-Ату) оказались для Михаила Михайловича безрезультатными. Друзья помогли остановиться в Подмоскovie с надеждой в будущем найти здесь работу, близкую к его научным интересам. Здесь Бахтины оставались восемь лет (1937—1945).

... Завершив 1944/45 учебный год в Кимрах, М. Бахтин предпринял новую попытку найти штатную работу в одном из высших учебных заведений страны. В наркомате просвещения РСФСР ему предложили штатную работу в Мордовском пединституте. Предложение было принято. В связи с этим был издан приказ по наркомпросу РСФСР от 18 августа 1945 года. В нем говорилось: «Назначить товарища Бахтина Михаила Михайловича и. о. доцента по всеобщей литературе Мордовского государственного педагогического института в порядке перевода из средней школы № 14 гор. Кимры. Зам. народного комиссара просвещения РСФСР Котляров»<sup>15</sup>.

В сентябре 1945 года Бахтины были уже в Саранске. 6 октября директор Мордовского пединститута издал приказ № 299 следующего содержания: «Назначить Бахтина Михаила Михайловича заведующим кафедрой всеобщей литературы с 19 сентября 1945 года с окладом 1320 рублей в месяц. П/п директор института Юлдашев»<sup>16</sup>.

Следует, однако, сказать, что эта инициатива директора Мордовского пединститута не была поддержана в Наркомпросе РСФСР: М. Бахтин не имел ученой степени. В должности заведующего кафедрой всеобщей литературы в течение двух лет оставался еще А. И. Панферов (брат писателя Ф. И. Панферова), занимавшийся вопросами истории советской литературы.

Сразу же по приезде в Саранск Бахтиным была предоставлена комната в институтском доме в центре города. Заметим, кстати, что дом этот в прошлом представлял собой один из корпусов Саранской уездной тюрьмы. После ликвидации тюрьмы корпус переоборудовали в жилой дом для преподавателей пединститута.

Послевоенный Саранск являл собой пример сравнительно небольшого города глубокой провинции: одноэтажные деревянные дома полугородского и полусельского типа, немощеные улицы (за исключением двух-трех центральных), деревянные тротуары — старые и ветхие.

Весь этот (и другой) провинциализм, однако, не обескураживал М. Бахтина. Напротив, он как-то даже отступал на второй план перед тем неподдельным радужием, с которым ученый был здесь встречен. Всеми: и на кафедре, и на факультете, и в дирекции института<sup>17</sup>. Это было совсем непохоже на то, что он видел в этом же институте в 1936/37 учебном году.

В годы Отечественной войны пединститут находился в эвакуации в городе Темникове — старейшем городе Мордовии. По окончании войны учебное заведение было возвращено в Саранск. В связи с этим на весь преподавательский коллектив легло много дополнительной работы по налаживанию нормального учебного процесса. Свою долю такой работы с воодушевлением выполнял и М. Бахтин, отдававший много сил и времени различным занятиям со студентами. Дело в том, что за годы войны уровень общеобразовательной подготовки абитуриентов значительно упал, и потому требовались немалые усилия на то, чтобы восполнить значительные пробелы в их школьном образовании. Обо всем этом свидетельствуют и сами студенты-выпускники тех трудных лет, и скупые записи в протоколах заседания кафедры<sup>18</sup>.

В продолжение двенадцати лет работы в Мордовском пединституте (1945—1957) М. Бахтин вел целый ряд лекционных курсов: по введению в литературоведение и по теории литературы, по истории западно-европейских литератур, начиная с литературы древней Греции и древнего Рима и до середины XX столетия. Читал он и курс лекций по методике преподавания литературы в средней школе.

Особенной популярностью пользовались лекции Михаила Михайловича по истории античной литературы, искусства и философии. И не только у студентов филологического факультета. Один из студентов-выпускников института рубежа 1940—1950-х годов так вспоминал позднее о М. Бахтине и его лекциях: «Он устроился за столом и встретился глазами с каждым, словно считая — сколько здесь тех, кто явился прослушать очередную лекцию, и тех, кто пришел узнавать. А потом сразу забыл об этом...

Мы, собственно, так и не заметили, когда началась лекция. Просто интересно стало слушать некоторые существенные подробности далекой от нас жизни, слушать рассказ человека, который представлял нам своих хороших и содержательных знакомых. Тем более, что лектор обращался к каждому из нас, приглашая, как создатель, влюбленный в свое творение. Он хорошо знал здесь буквально все. И мог, остановившись чуть дольше возле Гомера, вдруг протянуть нити мысли во все стороны — к нашим чувствам, надеждам, пониманию жизни, — в наши дни.

Получалось как-то так, что некогда скучные гекзамеры вдруг открывались в неимоверную глубину. Строка становилась мыслью, образ — идеей, сюжет и все остальное — самой жизнью, понятой, осмысленной и вдруг интересной. Наш лектор вместе с нами разделял нашу радость узнавания, жил ею, увлекался этой радостью и вот уже нет педагога и студентов, есть исследователи, готовые дружно переворачивать и переворачивать страницы поэм и од, как геологи — камни, искать и искать в содержательной стране *литература*. Порой нам даже казалось, что мы пришли сюда уже только уточнять, вспомнить, поспорить с вариантами толкования... Он не пересказывал историю литературы, он ее писал сейчас, здесь, для нас и вместе с нами. Писал как великий художник свое главное полотно, делая широкие мазки мастера — смелые и точные, обозначающие главное, приглашая тем самым нашу фантазию домысливать, тянуться, напрягаться. Он никогда не отрывался от факта, никогда его не забывал. Но никогда не забывал раскрыть этот факт, как орех, чтобы дать радость узнавания»<sup>19</sup>.

А вот что рассказала о М. Бахтине другая его



выпускница второй половины 1940-х годов: «Впервые я услышала Михаила Михайловича на лекции по античной литературе спустя год, как он надолго поселился в Саранске (это было в первый день наших занятий в институте). Отличался он и манерой поведения, и манерой говорить, как, разумеется, и внешностью. И даже то, что он единственный на факультете носил обручальное кольцо, было для нас ново, необычно. ... Был он очень живым, подвижным, энергичным... И голос был своеобразный. Бахтин любил говорить громко, ясно, чрезвычайно эмоционально, как на сцене, только без суфлера... Иногда казалось, что его лекции — это своеобразный диалог с невидимым оппонентом»<sup>20</sup>.

Подобных воспоминаний — множество. Все они хранят в себе облик человека и ученого, оставившего неизгладимый след в их душах и определившего пути их духовного развития.

М. Бахтин не имел ученой степени в первые семь лет работы в Мордовском пединституте, хотя большое диссертационное исследование было завершено им еще в 1940 году. Защита диссертации состоялась лишь 15 ноября 1946 года в Москве в Институте мировой литературы имени М. Горького Академии наук СССР. Ее тема — «Франсуа Рабле в истории реализма». Официальными оппонентами по диссертации выступили виднейшие ученые той поры — доктора филологических наук А. А. Смирнов и И. М. Нусинов, доктор искусствоведческих наук А. К. Дживелегов. Оппоненты дали высокую оценку труду Михаила Михайловича и выразили убеждение в том, что диссертант заслуживает присуждения ему степени доктора филологических наук. Эта оценка была поддержана другими членами Ученого совета академического Института, выступивших в ходе обсуждения бахтинского исследования. Указывалось, в частности, на то, что обсуждаемая работа представляет для нашего литературоведения «большой и принципиальный интерес».

Трезвые голоса, однако, тонули в хоре хулителей бахтинского исследования. «Разносный» стиль иных выступлений в ту пору (после известных постановлений ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» и печально памятных речей и прочих выступлений А. А. Жданова) был неплохо отработан. Ученого упре-

кали во всем том, в чем по справедливости надо бы упрекать самого Франсуа Рабле — великого писателя Возрождения. Как отмечалось вскоре после этого в одном из хроникальных обзоров, «с принципиальными возражениями против основных положений диссертанта выступили член-корреспондент АН СССР Н. К. Пиксанов, профессора Н. Л. Бродский и В. Я. Кирпотин»<sup>21</sup>. Это обстоятельство вызвало вторичные выступления всех трех оппонентов, которые еще раз подтвердили свои обоснованные оценки и свои предложения. Дискуссия длилась более семи часов. Степень кандидата филологических наук была присуждена М. Бахтину единогласно. Вслед за этим было поставлено на голосование предложение оппонентов о присуждении диссертанту ученой степени доктора филологических наук. За это предложение было подано семь голосов членов Ученого совета, против проголосовало шесть членов.

В Высшей аттестационной комиссии Комитета по делам высшей школы результаты второго голосования не были поддержаны и утверждены, и М. Бахтину было отказано в присуждении ученой степени доктора филологических наук. Все это привело к тому, что названное исследование ученого осталось в рукописи и пролежало без движения почти двадцать лет, вследствие чего наша филологическая наука понесла большие потери. И не только филологическая...

Диплом кандидата филологических наук Михаил Михайлович смог получить только в 1952 году. В его личном деле сохранился документ следующего содержания:

«Копия диплома кандидата наук. МФЛ № 01287. Москва 2 июня 1952 года.

Решением Совета института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР от 15 ноября 1946 года (протокол № ) гражданину Бахтину Михаилу Михайловичу присуждена ученая степень кандидата филологических наук.... Подписи»<sup>22</sup>.

Вскоре после защиты диссертации М. Бахтин был утвержден в должности заведующего кафедрой всеобщей литературы, о чем свидетельствует документ следующего содержания: «Приказ по Главному управлению высшими учебными заведениями Министерства

просвещения РСФСР № 231 от 21 февраля 1947 года. Утвердить кандидата филологических наук тов. Бахтина М. М. и. о. заведующего кафедрой всеобщей литературы Мордовского государственного педагогического института. Начальник Главного управления высшими учебными заведениями Министерства просвещения Орлов»<sup>23</sup>.

Так определились жизнь и научно-педагогическая деятельность М. Бахтина в Саранске.

В официальных документах пединститута (в приказах и характеристиках) деятельность М. Бахтина в 1946—1950-х годах оценивалась руководством института только с положительной стороны. Отмечались и его большие научные познания, и высокий авторитет у студентов и преподавателей. И не только в институте, но и за его стенами<sup>24</sup>. И действительно, Михаила Михайловича в это время уже хорошо знали и писатели, с которыми часто встречался, и артисты музыкально-драматического театра, где он в продолжение многих лет вел постоянный семинар по общей и театральной эстетике.

Положение М. Бахтина несколько изменилось после состоявшегося в 1949 году XIX съезда КПСС и, в особенности — после выхода в свет «трудов» Сталина по вопросам языкознания и его же книги «Экономические проблемы социализма в СССР».

Так, в одной из официальных характеристик ученого этого времени были уже такие вот слова: «В работе т. Бахтина по руководству кафедрой имеется существенный недостаток, заключающийся в том, что кафедра медленно перестраивает свою работу на основе учения товарища И. В. Сталина по вопросам языкознания и на основе гениального труда товарища И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»<sup>25</sup>.

В другой характеристике (от 13 марта 1954 г.) повторяется эта же мысль, но по другому поводу: «В работе тов. Бахтина по руководству кафедрой имеется существенный недостаток в том, что кафедра медленно перестраивает свою работу в свете решений XIX съезда КПСС»<sup>26</sup>.

М. Бахтин не мог быть равнодушным к подобным характеристикам и публичным упрекам институтского начальства на собраниях и совещаниях. Не мог потому, что в ту пору всему этому придавалось слишком боль-

шое и серьезное значение. Понимал также и то, что говорить обо всем этом по существу и возражать невозможно. Приходилось только терпеть и ждать. Ждать перемен в общественном сознании...

В 1957 году на базе Мордовского государственного педагогического института решением правительства РСФСР было основано новое высшее учебное заведение — Мордовский государственный университет. Среди других факультетов университета был сформирован историко-филологический, в рамках которого было создано пять кафедр, и среди них — кафедра русской и зарубежной литературы. Новую кафедру в новом учебном заведении возглавил М. Бахтин после того, как в ректорате университета был получен приказ такого содержания: «Приказ по Главному управлению университетов, экономических и юридических вузов № III, 14 марта 1958 года о допуске М. М. Бахтина к исполнению обязанностей заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Мордовского государственного университета.

Допустить кандидата филологических наук, доцента Бахтина Михаила Михайловича к исполнению обязанностей заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Мордовского государственного университета. Обязать ректорат университета провести конкурс на замещение должности заведующего указанной кафедрой. Заместитель начальника Главного управления А. Шебанов»<sup>27</sup>.

Вскоре после этого был проведен и конкурс и голосование в Совете университета, члены которого единодушно отдали Михаилу Михайловичу свои голоса.

Так начались последние четыре года в педагогической деятельности М. Бахтина.

Возглавив кафедру русской и зарубежной литературы, ученый направил свои усилия на то, чтобы последовательно и настойчиво осуществлять *переход* на университетский стиль работы. Об этом он постоянно говорит, к этому неустанно призывает своих коллег, стремясь привить им и соответствующие навыки в повседневной работе. Михаил Михайлович убеждает их в необходимости преодоления прежних навыков, сложившихся на основе институтских учебных планов и программ, страдавших нередко утилитарной ограничен-

ностью. Четыре основных и существенных недостатка видел он в прежней работе кафедры, ее преподавателей: 1, догматическая форма изложения материала в лекциях, сообщение *готовых* положений науки без анализа истории вопроса, без освещения борьбы мнений и без развернутой аргументации; 2, ненужное дублирование учебников, обзорность и сухость в изложении; 3, отсутствие проблемности, без чего трудно рассчитывать на исследовательский интерес к нашим лекциям со стороны студентов; 4, отсутствие или недостаточно ясно выраженная творческая индивидуальность преподавателей, их собственных научных интересов и позиций.

Говоря об этих недостатках в деятельности возглавляемой им кафедры, М. Бахтин, конечно, понимал, что недостатки эти являются типичными для всего строя мышления людей в обстановке царящего вокруг и повсюду догматического единомыслия. Тем не менее он все-таки призывал своих коллег искать и находить пути и формы преодоления торжествующего догматизма. Сам он умел это делать, вследствие чего и выслушивал нередко упреки в приверженности к «буржуазному объективизму».

Особенно нетерпимым в работе преподавателя университетской кафедры М. Бахтин считал дублирование учебников, «одобренных и рекомендуемых» соответствующими инстанциями. Бездумное повторение чужого и «всякой элементарщины», говорил он, притупляет сознание студентов и ведет к тому, что они перестают творчески мыслить и работать, теряют интерес к знаниям и учению.

Большой интерес представляют для нас те идеи М. Бахтина, которые составили круг его *положительных* представлений относительно того, о чем должен думать литературовед, работающий со студентами университета, выступающий перед ними со своими лекциями. По убеждению ученого, три основные цели должен ставить перед собой преподаватель в лекциях по литературоведению: 1, сообщение необходимых положительных сведений по *данному* вопросу с определением круга знаний по конкретной теме; 2, постоянно думать о воспитании научного мышления студентов; 3, стремиться к пробуждению и воспитанию у молодых слушателей эстетических чувств и вкусов.

М. Бахтин считал, что в общий объем знаний студентов должны войти прежде всего основные знания, уже проверенные наукой. Это — наш фундамент. Однако, наряду со знаниями основными, студенты должны быть информированы и относительно знаний дискуссионных. При этом преподаватель должен четко отделять один вид знаний от другого направления. Следует помнить также и о том, что «научное мышление» студентов воспитывается в ознакомлении с борьбой мнений, с научными дискуссиями».

Излагая материал дискуссионный, преподаватель не может и не должен оставлять студентов на распутье. Он обязан дать собственную оценку научным спорам, присоединиться к той или иной позиции, аргументируя при этом свою точку зрения. В этом деле особенно важна опора преподавателя на собственные исследования в той или иной области. В этом случае он может сказать студентам много нового и интересного для них. Нашим слушателям всегда интересно знать, какое место занимаем в науке мы сами, насколько серьезен наш собственный вклад в литературную науку. Словом, «лекция должна давать живой процесс мышления» с его сомнениями, с доводами «за» и «против» и т. д.

М. Бахтин постоянно говорил о том, что «каждое произведение (литературы) имеет свои источники, которые «должны быть раскрыты в лекции». Понятно, что преподаватели должны хорошо знать «историю текста».

Много и плодотворно занимавшийся проблемами литературных жанров (и в годы работы в Саранске), М. Бахтин считал, что этим проблемам в университетских лекциях «нужно уделять особое внимание». «Студенты, — говорил он, — часто не имеют никакого представления о жанре того или иного произведения. И потому его анализ надо всегда начинать с жанра. Анализ художественной формы следует всегда подчеркнуть, выдвинуть в лекции, прояснить и обязательно показать свое мнение (о любой книге)».

М. Бахтин всегда видел в эстетическом воспитании студентов-филологов одну из главных задач вузовского преподавателя. «Литературоведение, — говорил он, — наука, а предметом этой науки являются эстетические явления». Литература — один из видов искусства, и это должны всегда понимать и чувствовать студенты. В

этих целях необходимо умело раскрывать и показывать художественную сущность литературы. При этом полезно сравнить ее с другими видами искусства — музыкой, живописью и пр.

Выступая против увлечений преподавателей биографическими материалами, М. Бахтин, вместе с тем считал, что обо всех новых фактах такого рода информировать студентов надо. Новые биографические материалы могут пролить новый свет на творческий облик писателя. Биографические сведения — не самоцель, а только одно из средств для правильного понимания всего того, что им создано.

Преподаватель обязан всегда заботиться о расширении и углублении общего кругозора студента. Этому в немалой степени содействует библиографическая работа с ним. Михаил Михайлович предлагал даже небольшой спецкурс по библиографии русской литературы для студентов пятого года обучения.

В лекциях историко-литературных М. Бахтин считал необходимым затрагивать, обсуждать и вопросы теории литературы. История литературы немыслима без ее теории, как и сама теория литературы невозможна без ее истории. Словом, история литературы должна быть теоретической, а теория — исторической.

В каждой отдельной лекции М. Бахтин видел всего лишь звено в общем курсе. И потому здесь, по его мнению, возникает необходимость связывать каждую лекцию с предыдущей и протягивать от нее нити к лекции последующей. Такой подход требует хорошей подготовки от каждого преподавателя, который обязан ответственно готовиться к каждому своему выступлению в студенческой аудитории.

Творческое развитие студентов, приобщение их к науке М. Бахтин не мыслил без хорошо продуманной системы спецкурсов и спецсеминаров. Говорил о том, что «практические занятия имеют чисто учебную цель, спецсеминары — научно-исследовательскую цель». Только в спецсеминарах можно и нужно научить студентов читать монографии...

Мы коснулись здесь лишь некоторой части того опыта, который был накоплен М. Бахтиным в годы его плодотворной педагогической деятельности в высших учебных заведениях Саранска в 1945—1961 годах.

Опыта, которым он щедро делился со своими молодыми коллегами по кафедре<sup>28</sup>.

Из всего здесь отмеченного видно, как много и настойчиво трудился М. Бахтин над тем, чтобы поднять уровень филологического образования в провинциальном вузе до высоты лучших достижений старых русских университетов, с опытом и традициями которых он хорошо был знаком и не из вторых рук. Сохранившиеся и дошедшие до нас материалы говорят о том, как страстно хотелось ему привить студентам обширные и глубокие научные знания — историко-литературные, теоретические, философско-эстетические, общекультурные. Недаром с таким уважением и с такой благодарностью вспоминают о нем до сих пор все, кто прошел его школу...

Возглавляя в продолжение многих лет вузовские кафедры и отдавая много сил и времени повседневной работе со студентами, М. Бахтин находил время и досуг для научных исследований. По нашим наблюдениям, в Саранске ученый осуществил не менее двенадцати научных исследований. Кроме того, здесь он подготовил к изданию две своих капитальных монографии — «Проблемы поэтики Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».

Приведем здесь названия лишь тех работ, которые написаны М. Бахтиным в годы его работы в высших учебных заведениях Мордовии.

В плане научных работ кафедры всеобщей литературы Мордовского пединститута значится тема «Стилистика романа». В графике запланированных научных командировок записано: «М. Бахтин. «Стилистика романа». Работа в основном закончена, но нуждается в некоторых дополнениях»<sup>29</sup>.

Во второй половине 1940-х годов Михаил Михайлович работал над двумя своими исследованиями: «Рабле и Гоголь» (фрагмент из диссертации «Франсуа Рабле в истории реализма») и «Буржуазные концепции эпохи Возрождения» (предполагались две части: «Концепции Возрождения до Буркхарда и «Критический очерк концепции Буркхарда»). Исследование условно относится к 1949 году.

Первой половиной 1950-х годов датируются такие



работы М. Бахтина, как «Проблема речевых жанров», «Слово как образ». В эти же годы он занимался и вопросами исторической поэтики. В плане научных работ кафедры значатся две темы: «Источники концепции А. Н. Веселовского» и «Критика концепции А. Н. Веселовского».

Дальнейшая судьба названных здесь работ ученого (кроме «Проблем речевых жанров») остается пока неизвестной.

Во второй половине 1950-х годов в планах научных работ кафедры за М. Бахтиным значатся две статьи: «Проблемы эстетических категорий» и «Проблема сентиментализма во французской литературе». Последняя статья была уже подготовлена к печати. К сожалению, остается пока неизвестной и судьба этих его работ.

Постоянная связь со студентами, заботы о подготовке их к плодотворной самостоятельной работе определили постоянный и глубокий интерес М. Бахтина к вопросам методики преподавания литературы в средней общеобразовательной школе. В этом ряду мы можем назвать темы таких его исследований, как «Вопросы теории литературы в средней школе», «Анализ жанра, композиции и сюжета произведения в школе», «Методика самостоятельной работы с книгой»<sup>30</sup>. Сохранилась только одна из них — «Методика самостоятельной работы с книгой» (которую мы публикуем в «Приложении» к нашей книге)...

Из исследований М. Бахтина, осуществленных им в Саранске, в настоящее время опубликованы только четыре из них. Это — «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа», «Рабле и Гоголь (*Искусство слова и народная смеховая культура*)», «Проблема речевых жанров», «К переработке книги о Достоевском». Все эти работы смогли увидеть свет только после смерти ученого.

Мы говорили уже ранее о постоянном общении Михаила Михайловича с артистами Мордовского музыкально-драматического театра, для которых он прочитал не один цикл лекций по проблемам театра и театральной эстетики. Выступал он иногда и с рецензиями на некоторые, наиболее интересные их постановки. Укажем, в частности, на одну из рецензий, в которой

М. Бахтин обстоятельно проанализировал драму В. Гюго «Мария Тюдор» в постановке Мордовского драматического театра<sup>31</sup>. Оценивая творческую работу актерского коллектива, занятого в спектакле, рецензент писал: «Режиссер спектакля М. Г. Григорьев дал глубоко продуманное и верное решение спектакля в целом как в идейном и стилистическом, так и в историческом плане. На зрителей пахнуло со сцены мрачной и жестокой атмосферой Англии середины 16 века. Каменное, суровое, почти тюремное внешнее обрамление всей сцены настраивало зрителей на правильное восприятие изображенной жизни, как жизни в тюрьме: тюрьма — это не только Тоэр (древняя «королевская тюрьма» Англии, где проходят два последних действия спектакля), тюрьма — это и дворец королевы, и набережная Темзы, и Лондон, и вся жизнь Англии той эпохи с ее казнями, палачами, виселицами, кострами, чудовищным насилием и вечным страхом. Такое обрамление сцены помогает правильному раскрытию идейного замысла В. Гюго».

Рассмотрев игру актеров в главных ролях драмы В. Гюго, М. Бахтин заключал: «Спектакль «Мария Тюдор» — творческая удача коллектива Мордовского театра»<sup>32</sup>.

Такой предстает перед нами научно-педагогическая деятельность М. Бахтина в Саранске, как отразилась она в уцелевших архивных материалах.

1960/61 учебный год был последним годом работы М. Бахтина в Мордовском университете. Ему шел шестьдесят шестой год. Трудно стало ежедневно ходить в университет на занятия даже на небольшое расстояние. Было решено оставить учебную работу и употребить время для завершения начатых исследований. Так, 24 июля 1961 года на стол ректора университета Г. Н. Меркушкина легло заявление Михаила Михайловича следующего содержания: «Вследствие моего выхода на пенсию по возрасту, прошу Вас освободить меня от работы в университете с 1-го августа 1961 года»<sup>33</sup>.

Просьба была удовлетворена. Начинался новый период в жизни ученого. Надо было привыкать к новому режиму повседневного быта, теперь уже не связанному с кафедральными заботами, с чтением лекций, с составлением различных планов и отчетов, с непременною участием в различных заседаниях и совещаниях.

Жили Бахтины теперь в новой квартире — тоже в центре города. Две комнаты, одна из которых служила и гостиной и рабочим кабинетом Михаила Михайловича. Рядом с рабочим столом — полки с книгами. Стол всегда аккуратно прибран. Хозяин кабинета встречал гостей, сидя за столом в глубоком кожаном кресле, почти всегда окутанный клубами папиросного дыма. Курил — папираса за папирсой. Перед ним на столе всегда стоял кофейник с круто заваренным чаем и стакан с чайной ложкой. Часто можно было видеть еще и чистый лист бумаги и карандаш, остро заточенный (по привычке, усвоенной еще в молодости, писал карандашом). По бокам стола — стопки аккуратно сложенных журналов и газет. Работа мысли не прерывалась, хотя прожитые годы и оставили глубокий след во всем — и в душевном складе, и во внешнем облике. Глядя на него в такие минуты, на память приходили строки поэта М. Кузьмина (которого Михаил Михайлович хорошо знал):

Пошли нам долгое терпенье,  
И легкий дух, и крепкий сон,  
И милых книг святое чтение,  
И неизменный небосклон.

Связь с университетом не прекращалась. Были аспиранты, изредка навещали друзья и знакомые. Бывали гости из Москвы и других городов. Еще до выхода Михаила Михайловича на пенсию, в самом конце 1950-х годов в Саранск приезжала Мария Вениаминовна Юдина. Приезжала погостить, повидаться с Бахтиными, с которыми дружила многие годы. Одна из учениц М. В. Юдиной, Б. С. Урицкая, организовала концерт, на котором присутствовал и М. Бахтин со своими студентами. Великая пианистка, зная о музыкальных пристрастиях и вкусах своего друга, исполнила в этот вечер все то, что он любил, что мог слушать с самозабвением. Большею радости, кажется, для него в эти два часа не могло и быть...

Материальная сторона жизни не вызывала у Бахтиных никаких тревог. В продовольственных магазинах Саранска в 1950—1960-х годах в продуктах питания недостатка не было<sup>34</sup>. Об этом можно было бы и не пи-

сать, если бы не странные воспоминания некоторых друзей: М. Бахтина, появившиеся в самые последние годы. Мы, в частности, имеем в виду статьи-воспоминания В. Турбина, о которых мы ранее уже говорили<sup>35</sup>.

...Шли дни, месяцы, годы жизни М. Бахтина-пенсонера в Саранске. Незаметно подошел и год 1967-й. Для Бахтиных он стал памятным потому, что в то лето из Ленинграда до них дошла весть о реабилитации Михаила Михайловича<sup>36</sup>. Почти четыре десятилетия прошло с той поры, когда в июле 1929 года коллегией Ленинградского ОГПУ он безосновательно был обвинен в антисоветской деятельности и осужден на пятилетнюю ссылку. Поначалу — на Соловецкие острова, а затем (после повторного рассмотрения дела) — в Кустанай на тот же срок. Многие годы висел над ним, словно Дамоклов меч, этот жестокий приговор, лишивший его возможности нормально заниматься научно-творческой деятельностью. И вот — неожиданное известие! Не из официальных инстанций (как можно было бы ожидать), а от старых питерских друзей. В частности, И. И. Канаев мог прислать своим друзьям в Саранск даже официальную справку из Ленинградского городского суда, где по протесту прокурора города дело М. Бахтина 1928—1930 годов было пересмотрено 30 мая 1967 года. В нашем распоряжении имеется копия «Постановления Президиума Ленинградского городского суда», в котором речь идет о сорока пяти «однодельцах» М. Бахтина. Президиум городского суда установил: «все вышеуказанные лица «...» обвинялись в том, что были участниками нелегальной антиевоветской организации «правой интеллигенции», существовавшей в течение ряда лет в Ленинграде под названием «Воскресенье», которая ставила своей целью свержение Советской власти. Протест прокурора внесен на предмет отмены постановления ОГПУ в отношении вышеперечисленных лиц и прекращении дела производством.

Проверив материалы дела и обсудив доводы протеста, Президиум находит протест подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела видно, что никакой оформленной организации осужденными создано не было. Все вышеуказанные лица собирались на своих квартирах, где обсуждали религиозно-философские вопросы. Мно-

гие из этих лиц в прошлом являлись слушателями Богословского института, который существовал в Ленинграде до 1925 года «...» Никаких данных, подтверждающих, что осужденные «...» на своих сборах обсуждали методы борьбы с Советской властью или проявляли другие какие-либо действия, направленные на свержение Советской власти, в деле не имеется. По делу всего было осуждено 70 человек. Протест прокурора внесен в отношении 45 человек».

Исходя из этих материалов, Президиум Ленинградского городского суда решил: «Постановление Коллегии ОГПУ от 22 июля 1929 года «...» а также постановление Коллегии ОГПУ от 23 февраля 1930 года в отношении Бахтина Михаила Михайловича «...» отменить и дело производством прекратить за отсутствием в «его» действиях состава преступления»<sup>37</sup>.

Справедливость наконец восторжествовала, хотя и с опозданием на целых тридцать семь лет. Можно было бы, кажется, сказать об этом с удовлетворением, если бы можно было забыть, не вспоминать о том, что было пережито М. Бахтиным в эти долгие и тяжелые для него годы и десятилетия.

Последние два года жизни в Саранске были нелегкими для Бахтиных. Уходили последние силы, одолевали недуги. Михаил Михайлович уже с большим трудом мог передвигаться в своей квартире. На Елену Александровну легли новые нелегкие заботы. Стационарное лечение в городских больницах (при всем искреннем желании врачей помочь своим пациентам) оказывалось малоэффективным. В один из таких трудных дней показалось им соблазнительным предложение полечиться в спецбольницах Москвы. Например, в Кремлевской больнице в Кунцеве. Предложение это исходило от В. Турбина<sup>38</sup>. Тут можно было бы и засомневаться, и понедоумевать, и поудивляться, зная о том, что В. Турбин не имел никакого отношения к Кремлевской больнице. Но он не шутил: Бахтины действительно были помещены в Кремлевскую больницу. Это необычайно трудное дело В. Турбин осуществил с помощью КГБ в лице его тогдашнего председателя Ю. В. Андропова. Впрочем, послушаем самого В. Турбина. «Вообще же,— говорит он,— отношения Михаила Бахтина с ОГПУ, а впоследствии с КГБ — удивительный случай столь лю-

бимого нами диалога, и никак не вписываются они в схему: одна сторона строит козни, преследует, а другая мученически претерпевает. Вероятно, в который раз выпадая из моды, не могу не сказать: было время, когда наиболее серьезную, участливую и деятельную помощь ученому оказали КГБ и его тогдашний председатель Юрий Андропов».

Мало того, «диалог с властью претерпевающими Бахтин вел с огромным чувством собственного достоинства, иногда даже императивно». И потому В. Турбин осмеливается «думать, что он (М. Бахтин. — Авторы) прощал ту систему, которая царила вокруг».

Подобные рассуждения и размышления В. Турбина нельзя не назвать странными (по меньшей мере). Выходит, что *система*, царившая вокруг, вроде бы и не была столь бесчеловечной и опасной, как о ней принято думать. В самом деле, не сгубила же она М. Бахтина? Мало того, отдельные представители этой *системы* в разное время даже спасали его, помогали ему *выжить*. В 1929—1930 годах чья-то неведомая «рука» с Лубянки спасла его, молодого ученого, от неминуемой смерти: пятилетнее заключение в Соловецкой тюрьме особого назначения было заменено ему пятилетней ссылкой в Казахстан. Сорок лет спустя, в 1969 году, другая милостивая «рука» все с той же Лубянки легко и заботливо перенесла Бахтиных из их скромной саранской квартиры прямо в правительственную лечебницу в Москве. Самых радужных красок не пожалел В. Турбин для достойного описания лечебницы в Кунцево: «...на одном этаже — Анастас Микоян, на другом — Бахтины, Михаил Михайлович и Елена Александровна, супруга его. Лежат, лечатся в огромной светлой палате. Нешадно курят. Семь месяцев пробыли там, исцелялись с комфортом. Медики делали все, что могли»<sup>39</sup>.

Кого тут следует благодарить за столь комфортабельное лечение Бахтиных в Кремлевке — *систему*, Юрия Владимировича Андропова или Владимира Николаевича Турбина? Всякому, кто знал М. Бахтина, совершенно очевидно, что не мог он, скромный ученый, вступать в диалог с председателем КГБ СССР, тем более с «императивным» оттенком, относительно своего желания полечиться в Москве в правительственной больнице. Да вряд ли Ю. Андропов, занимаясь

государственными делами особого свойства, и знал что-нибудь о существовании М. Бахтина и его супруги. Но бывший председатель КГБ СССР, наверное, хорошо знал В. Турбина, и этого ему было вполне достаточно, чтобы свершить благое дело в отношении Бахтиных...

Странные воспоминания-размышления В. Турбина о взаимоотношениях М. Бахтина с высокопоставленными чиновниками ОГПУ — НКВД — КГБ не могут не вызвать чувств протеста. Более того, они уже вызвали этот протест. Мы имеем в виду письмо С. Каган, опубликованное на страницах «Литературной газеты» вскоре после появления в этой же газете статьи В. Турбина. Софья Исаковна Каган — вдова Матвея Исаевича Кагана, одного из самых близких друзей Бахтиных 1920—1930-х годов. Софье Исаковне восемьдесят восемь лет, и она является теперь единственной свидетельницей горестного положения Бахтиных в 1929—1930 годах, когда неугомонные «стражи революции» в кожанках подвели больного Михаила Михайловича буквально к самому краю могилы и когда лишь немногие, но верные его друзья, рискуя многим, вступились за него. Среди этих немногих были великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина и Софья Исаковна Каган. М. В. Юдиной давно уже нет в живых. Послушаем Софью Исаковну: «В 1929 году, когда Михаила Михайловича арестовали, известная пианистка М. В. Юдина и я обивали пороги, хлопотали о замене Соловков ссылкой в Кустанай. И добились этого через Е. П. Пешкову. Заявление с просьбой о «замене наказания» больной М. М. Бахтин писал не в ОГПУ и не в НКВД, а в Наркомздрав СССР. Если он и вел диалог с учреждением, которое так пылко защищает в своей статье Турбин, то исключительно только на допросах. Следователь спрашивал, подследственный отвечал. Частично эти диалоги (в форме протоколов) опубликованы сейчас в газете «Советская Мордовия» (26 марта 1991 г.)...

Наконец последнее — вероятно, самое главное. О прощении. Мне кажется, что простить человек может зло, совершенное по отношению к нему самому. ОГПУ, НКВД, КГБ — учреждения сатанинского зла такого свойства и масштаба, что я не знаю, как и о каком прощении здесь можно думать. В старину о гораздо бо-

лее простых обстоятельствах говорили: «Бог простит». Тем более, что и суда-то никакого над учредителями и служителями ГУЛАГа до сих пор не было. И речь может идти не о каких-то репрессиях за содеянное ими, а об открытом словесном осуждении сотворенного злодейства.

Полагаю, что Михаил Михайлович понял бы то, мягко говоря, недоумение, которое вызвала у меня статья В. Н. Турбина»<sup>40</sup>.

Нет сомнения в том, что Бахтины, будь они живы, разделили бы гневный пафос только что приведенных нами строк из письма С. И. Каган...

Конечно, о «бездарной озлобленности» (о которой говорит в одной из своих статей В. Турбин) здесь не может быть и речи. Ни о какой «мести» или «возмездии» Михаил Михайлович и Елена Александровна никогда не помышляли и помышлять не могли — в силу своей прирожденной гуманности, условий домашнего воспитания и религиозных убеждений. Да и многие годы, прошедшие с тех пор (1928—1930), не могли не сказаться на их настроении. Но и при всем при этом Бахтины не могли остаться равнодушными к той фальши, которая отчетливо видна в интерпретации В. Турбиным фактической стороны их жизни и человеческой судьбы...

Возвратимся, однако, к прерванному рассказу о переезде Бахтиных из Саранска в Москву. Случилось это в один из погожих октябрьских дней 1969 года. Саранские друзья сердечно проводили их в эту дорогу. Михаил Михайлович ехал туда с призрачной надеждой на выздоровление, т. е. с желанием получить возможность более или менее свободно передвигаться, хотя бы и с помощью двух клюшек.

Позади оставалась относительно спокойная жизнь в небольшом провинциальном городе среди людей, которые относились к ним с искренним уважением и любовью. Впереди их ждали новые испытания...

\* \* \*

С жизнью и работой в Саранске связаны многие важные научные исследования М. Бахтина, вошедшие



теперь в золотой фонд русской филологии. Среди них — «Проблема речевых жанров» (1952—1953), «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа» (1959—1961), «К переработке книги о Достоевском» (1961), «Из пред-дыстории романного слова» (1967), «О некоторых особенностях стилистики Рабле»<sup>41</sup>. Наконец, здесь же, в Саранске, ученый подготовил к изданию две свои книги — «Проблемы поэтики Достоевского» (1963) и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965).

Ранее мы уже говорили (в разной связи) о некоторых из названных здесь работах, и поэтому скажем теперь лишь о самом существенном.

Речевые жанры — одна из «сквозных» тем в движении творческой мысли М. Бахтина. Впервые он обратился к ней еще в 1920-х годах в таких своих исследованиях, как «Слово в жизни и слово в поэзии» и «Марксизм и философия языка (Основные проблемы социологического метода в науке о языке)». Эту проблему ученый так или иначе затрагивал и в своих работах 1930-х годов. В Саранске же М. Бахтин имел намерение обобщить все свои наблюдения в этой области в отдельной книге. Но работа над ней не была завершена. Сохранились лишь ее фрагменты, впервые опубликованные в 1978 году под заглавием «Проблема речевых жанров»<sup>42</sup>.

Исследователь исходит из убеждения в том, что язык используется людьми в «форме единичных конкретных высказываний (устных и письменных)». Эти формы разнообразны, и разнообразие это зависит от характера деятельности людей, от целей и задач, которые они перед собой ставят. Выражается это в отборе «словарных, фразеологических и грамматических средств языка». В особенности же — композиционном построении высказывания. Каждое высказывание индивидуально. Но в процессе речевого общения в каждой сфере использования языка с течением времени возникают «свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы и называем *речевыми жанрами*» (IV, 250).

Виды человеческой деятельности бесконечно разнообразны, и это, по словам М. Бахтина, находит свое

выражение и проявление в практической необозримости речевых жанров.

М. Бахтин различал два основных типа речевых высказываний: первичные (простые) и вторичные (сложные).

Первичные — это высказывания, складывающиеся в условиях непосредственного речевого общения. На их основе (вбирая их в себя и перерабатывая) возникают сложные речевые жанры — «романы, драмы, научные исследования всякого рода, большие публицистические жанры и т. п.» (IV, 252). Следовательно, роман, как и другие крупные литературные формы, — такие же речевые жанры, как и реплика бытового диалога или частное письмо. Природа у них общая, хотя одни (роман и другие литературные жанры) — относятся к высказываниям сложным, другие (реплики бытового диалога и пр.) — к высказываниям простым.

Ученый призывал исследователей к внимательному изучению различных форм высказываний, считая, что игнорирование такой работы приводит к формализму, в конечном счете — к ослаблению связей языка с жизнью. Вновь и вновь говорит он о том, что «язык входит в жизнь через конкретные высказывания (реализующие его), через конкретные же высказывания и жизнь входит в язык» (IV, 253). В связи с этим еще раз напомнил о том, что «высказывание — это проблемный узел исключительной важности» (IV, 253).

М. Бахтин утверждал неразрывную связь речевых жанров со стилем речи. Прямым следствием игнорирования таких связей считал отсутствие у нас общепризнанной классификации языковых стилей...

Отрыв стилей от жанров пагубно сказывается при разработке исторических вопросов литературы. Например — языка литературного, представляющего собой сложную динамическую систему языковых стилей. Еще более сложной системой является язык литературы (художественной) — язык, который включает в себя и стили нелитературного языка.

М. Бахтин решительно отстаивал мысль о коммуникативной сущности языка, вступая с этих позиций в полемику и с В. Гумбольдтом, и с фоссерианцами. При всем различии взглядов и позиций конечный результат у них был один: «...недооценка коммуникативной

функции языка, язык рассматривается с точки зрения говорящего, как бы *одного* говорящего без *необходимого* отношения к *другим* участникам речевого общения» (IV, 259).

В связи с этим М. Бахтин полемизировал с теми лингвистами, которые оперировали такими понятиями, как «слушающий» и «понимающий», называя эти понятия «фикциями». При таком подходе к языковому общению не принимается во внимание возможность и неизбежность ответной реакции. «... Всякое понимание чревато ответом и в той или иной форме обязательно его порождает: слушающий становится говорящим» (IV, 260).

Отвергал М. Бахтин и понятия «речевой поток» и «наша речь». «Что же это за «речевой поток», — спрашивал он, — что же это за «наша речь»? Какова их протяженность? Имеют они начало и конец? Если они неопределенной длительности, то какой отрезок их мы берем для разделения его на единицы? По всем этим вопросам господствует полная неопределенность и недосказанность» (IV, 262).

Все это — результат игнорирования высказывания, как единицы речевого общения. Границы высказываний — смена речевых субъектов: говорящий кончает свое высказывание, чтобы передать слово другому — слушающему.

Лингвисты до сих пор оперируют понятием «предложение». В отличие от высказывания (единицы речевого общения), предложение — единица языка. Оно никогда не определяется сменой речевых субъектов. Если такая смена есть, предложение приобретает качества высказывания. Отсутствие разработанной теории высказывания приводит к путанице: высказывание не отличают от предложения и — наоборот. Забывают о том, что «предложениями не обмениваются, как не обмениваются словами (в строгом лингвистическом смысле) и словосочетаниями, — обмениваются высказываниями, которые строятся с помощью единиц языка: слов, словосочетаний, предложений...» (IV, 267).

М. Бахтин считал, что речевыми жанрами мы овладеваем так же свободно, как мы овладеваем вообще родным языком, хотя при этом и не знаем теоретической грамматики. В связи с этим он писал: «Родной

язык — его словарный состав и грамматический строй — мы узнаем не из словарей и грамматик, а из конкретных высказываний, которые мы слышим и которые мы сами воспроизводим в живом речевом общении с окружающими нас людьми... Формы языка и типические формы высказываний, то есть речевые жанры, приходят в наш опыт и в наше сознание вместе и в тесной связи друг с другом... Речевые жанры организуют нашу речь почти так же, как ее организуют грамматические формы (синтаксические)» (IV, 217).

Каждое высказывание рассматривалось как звено в цепи речевого общения. В нем отражаются «чужие высказывания», иногда — очень далекие по времени. «Говорящий — это не библейский Адам, имеющий дело только с девственными, еще не названными предметами, впервые дающий им имена» (IV, 289), — писал М. Бахтин.

Существенный признак высказывания — его обращенность к другому (или — другим). Высказывание всегда имеет своего адресата и предполагает его ответную реакцию.

Единицы языка — слово и предложение, в отличие от речевых жанров, не знают адресата: они ничьи и ни к кому не обращены. Они лишены всякого отношения к чужому слову или высказыванию...

Эта проблема затрагивалась М. Бахтиным еще в 1930-х годах в большой работе «Слово в романе». Он писал тогда, что в большинстве лингвистических дисциплин слово воспринимается «сплошь объектно (в сущности, как вещь)». «В таком объектном слове, — продолжал он, — и смысл овеществлен: к нему не может быть диалогического подхода... Поэтому понимание здесь абстрактно: оно полностью отвлекается от живой идеологической значимости слова — от его истинности или лжи, значительности или ничтожности, красоты или безобразия. Познание такого объектного, вещного слова лишено всякого диалогического проникновения в познаваемый смысл, с таким словом и нельзя беседовать» (III, 164):

Важнейшим свойством высказывания М. Бахтин считал его экспрессивный характер, т. е. несущим в себе «эмоционально оценивающее отношение говорящего к предметно-смысловому содержанию своего вы-

сказывания» (IV, 278). Что касается языковых единиц (предложений), они лишены экспрессивности, они нейтральны. «... Эмоция, оценка, экспрессия,— писал он,— чужды слову языка и рождаются только в процессе его живого употребления в конкретном высказывании. Значение слова само по себе... внеэмоционально... Экспрессивную окраску они получают только в высказывании, и эта окраска независима от их значения...» (IV, 281).

О речевых жанрах М. Бахтин говорил и в набросках к предполагавшейся большой работе «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа» (1959—1961). Эта тема занимала ученого и в самые последние годы жизни, о чем свидетельствуют другие его наброски, опубликованные теперь под условным названием «Из записей 1970—1971 годов». Укажем, в частности, на одну из таких записей: «Говорящий человек. В качестве кого и как (то есть в какой ситуации) выступает говорящий человек. Различные формы речевого авторства от простейших бытовых высказываний до больших литературных жанров. Принято говорить об авторской маске. Но в каких же высказываниях (речевых выступлениях) выступает *лицо* и нет маски, то есть нет авторства? Форма авторства зависит от жанра высказывания. Жанр в свою очередь определяется предметом, целью и ситуацией высказывания. Форма авторства и иерархическое место (положение) говорящего (вождь, царь, судья, воин, жрец, учитель, частный человек, отец, сын, муж, жена, брат и т. д. ). Соотносительное иерархическое положение адресата высказывания (подданный, подсудимый, ученик, сын и т. д. ). Кто говорит и кому говорят. Всем этим определяется жанр, тон и стиль высказывания: слово вождя, слово судьи, слово учителя, слово отца и т. п. Одно и то же реальное лицо может выступать в разных авторских формах» (IV, 378).

В новое время возникли и развились профессиональные формы авторства, одной из которых стала авторская форма писателя. Она расчленилась даже на разновидности — писателя-прозаика, поэта-лирика, комедиографа и т. п.

Формы авторства, говорил М. Бахтин, могут быть и

условными («узурпированными»), т. е. писатель может усвоить тон жреца, пророка, судьи и т. д. Словом, многообразие речевых жанров и авторских форм необозримо. Здесь могут встретиться и встречаются «занимательные и интимные сообщения, просьбы и требования разного рода, любовные признания, препирательства и брань, обмен любезностями и т. п. Они различны по иерархическим сферам: фамильярная сфера, официальная и их разновидности» (IV, 378).

Оценивая бахтинскую теорию жанров, следует сказать, что она является единственной теорией, позволяющей с единой точки зрения рассматривать и оценивать все бесконечное разнообразие форм речевого общения — от бытовой реплики и элементарной (односложной) воинской команды до многотомного романа и большого научного исследования. Именно с этих позиций она оценивается едва ли не большинством современных филологов.

Несколько замечаний о фрагментах неосуществленной работы «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа». Исследователи уже обратили внимание на то, что работа эта характерна для М. Бахтина поздней поры его научной деятельности. «В этих и подобных материалах,— справедливо отмечают комментаторы,— особенно обнажена органическая внутренняя связность главных тем, интересовавших автора на протяжении десятилетий и тяготевших к философско-филологическому синтезу, который автор представлял как особую и новую гуманитарную дисциплину, образующуюся «в пограничных сферах», на границах лингвистики, философской антропологии и литературоведения» (IV, 421).

И действительно, в рассматриваемых фрагментах их автор затронул целый ряд «сквозных» тем своих прошлых (и предполагавшихся) исследований. Таких, как проблема авторства и диалога, речевых жанров и стилистических форм, соотношение объективных и субъективных начал в художественных образах и персонажах и т. д.

Одну из своих задач М. Бахтин видел в том, чтобы разработать философские основы и методологию «гуманитарно-филологического мышления» как самостоятельной отрасли знания (IV, 422). Замысел, однако, остался неосуществленным.

Текст (письменный и устный) М. Бахтин рассматривал в качестве первичной данности «всего гуманитарно-филологического мышления», не исключая философского и богословского. «Где нет текста,— утверждал он,— там нет и объекта для исследования и мышления» (IV, 297).

Автор рассматриваемых фрагментов говорил о том, что в широком смысле слова понятие «текст» применимо и к искусствоведению (музыковедение, теория и история изобразительных искусств).

В отличие от наук о природе, гуманитарные науки содержат в себе «мысли о мыслях, переживания переживаний, слова о словах, тексты о текстах» (IV, 297).

Подобно высказыванию, всякий текст имеет автора. За каждым текстом стоит определенная система языка: нет языка — нет текста. Подлинная жизнь текста всегда развивается «на рубеже двух сознаний, двух субъектов» (IV, 301).

Под понятием «текст» М. Бахтин подразумевал и человеческий поступок («потенциальный текст»).

Писатель (автор) — человек, обладающий способностью «непрямого говорения, т. е. способного выразить самого себя, сделать себя объектом для другого. Вторая стадия объективации — выразить свое отношение к себе как к объекту. «Увидеть и понять автора произведения — значит увидеть и понять другое, чужое сознание и его мир, то есть другой субъект» (IV, 306).

Писатель (автор) создает единое и целое произведение (высказывание), но создает его из разнородных, чужих высказываний. Даже собственная авторская речь полна осознанных чужих слов. Авторская речь — не прямое говорение, а отношение к своему языку как к одному из возможных языков.

Авторское отношение М. Бахтин рассматривал как конститутивный момент образа. «Это отношение,— писал он,— чрезвычайно сложно. Его недопустимо сводить к прямолинейной оценке... Их нет даже в хорошей сатире (у Гоголя, у Щедрина). Впервые увидеть, впервые осознать нечто — уже значит вступить к нему в отношение: оно существует уже не в себе и для себя, но для другого (уже два соотнесенных сознания)» (IV, 311).

Оставаясь вне изображенного им мира, автор осмыс-

ливаает весь этот мир с более высоких и качественно иных позиций. Его речи и речи созданных им персонажей (объекты авторского отношения) могут вступать в диалогические отношения.

М. Бахтин не приемлет чисто лингвистического объяснения языков и стилей, вводя понятие «металингвистики». «Предметом лингвистики,— писал он,— является только материал, только средства речевого общения, а не самое речевое общение, не высказывания по существу и не отношения между ними (диалогические), не формы речевого общения и не речевые жанры» (IV, 313—314).

Писатель трансформирует языковые средства (в том числе и диалекты, жаргоны и пр. ), создавая типические или характерные высказывания типических персонажей.

Автор рассматриваемых фрагментов говорил о том, что «высказывание никогда не является только отражением или выражением чего-то вне его уже существующего, данного и готового». Писатель, по словам ученого, «всегда создает нечто до него никогда не бывшее, абсолютно новое и неповторимое», но притом «всегда имеющее отношение к ценности (к истине, к добру, красоте и т. п.)». Но вновь созданное всегда создается из чего-то данного (язык, наблюденное явление действительности, пережитое чувство, сам говорящий субъект, готовое в его мировоззрении и т. п. ), но все в преобразенном, трансформированном виде.

Лингвисты воспринимают текст в замкнутом контексте, не соотнесенном с другими текстами. Диалог выпадает, а вместе с ним и весь металингвистический смысл. Станным находил М. Бахтин тот факт, что лингвисты, принимая несобственно-прямую речь, не принимают ее как явление двуголосого слова. «Не только несобственно-прямая речь, но разные формы скрытой, полускрытой, рассеянной чужой речи и т. п. Все это осталось неиспользованным» (IV, 317).

Слово, считал М. Бахтин, «межиндивидуально»; т. е. оно не принадлежит одному говорящему. Свои права на слово имеют и слушатели. «Слово — это драма, в которой участвуют три персонажа... Она (драма.— Авторы) разыгрывается вне автора...» (IV, 317—318).

Исходя из ценностного понимания всякого выска-



звания, М. Бахтин считал неприемлемым чисто лингвистический подход. «Лингвистика имеет дело с текстом, но не с произведением... Каждое большое и творческое словесное целое есть очень сложная и многопланная система отношений... В каждом слове — голоса иногда бесконечно далекие, безыменные, почти безличные (голоса лексических оттенков, стилей и проч.) почти неуловимые, и голоса близко, одновременно звучащие» (IV, 319, 320).

Таково — в общих чертах — содержание заметок М. Бахтина, известных нам под заглавием «Проблема текста...»

Не трудно видеть, что в общей системе философских и филологических взглядов М. Бахтина проблеме текста принадлежало одно из ключевых мест. «Текст, — говорил ученый, — как высказывание, включенное в речевое общение (текстовую цепь) данной сферы. Текст как своеобразная монада, отражающая в себе все тексты (в пределе) данной смысловой сферы. Взаимосвязь всех смыслов (поскольку они реализуются в высказываниях)» (IV, 299).

Не мудрено, что некоторые исследователи говорят о «взаимопревращении философии и текстологии» в творческой лаборатории М. Бахтина. «Гуманитарное «инонаучное знание», развиваемое Бахтиным, — это «антропология», «философская антропология». Этим сказано все, отсюда идут все определения и странности, все переформулировки бахтинского исследовательского пафоса. Уточним: «предмет гуманитарного знания — человек (субъект, личность, дух...), но «предмет» этот органически не может стать просто непосредственным предметом (объектом), именно поэтому здесь и необходим какой-то «метафорический» метод: философский... как метафора метода текстологического; текстологический — как метафора философского метода. Метод, позволяющий, не исследуя человека, исследовать его, но с ним только... общаться. Бахтин постоянно настаивает: «предмет» гуманитария таков, что метод гуманитарной работы направлен на феномен преобразования этого «предмета» (предметом быть не могущего) в нечто, внешне действительно уловимое как предмет («текст», или, иначе, — «граница между текстами»). В нечто, — оставляющее человека за своими пределами; а человеку

это только и надо, только тогда он сможет «заговорить», быть собой»<sup>43</sup>.

«Из предыстории романного слова» — большая статья, написанная М. Бахтиным в Саранске и опубликованная им здесь же в одном из кафедральных сборников<sup>44</sup>. Она стоит в одном ряду с целой серией работ, посвященных им исследованию жанра романа, его историей и теорией. Среди них — «Слово в романе», «Формы времени и хронотопа в романе», «Эпос и роман», «Роман воспитания и его значение в истории реализма». В этом же ряду следует назвать и книги — «Проблемы поэзии Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». Жанру романа посвятил М. Бахтин многие страницы и в целом ряде других своих работ. Словом, проблема романа и романного творчества заняла в его творчестве едва ли не центральное место: это был тот узел, к которому тянулись все нити. Это обстоятельство освобождает нас от подробного рассмотрения названной статьи. Укажем лишь на некоторые, наиболее характерные, на наш взгляд, моменты.

Автор статьи «Из предыстории романного слова» отмечал, что в условиях романного жанра слово живет совершенно особою жизнью, подчиняется особым стилистическим закономерностям, которые чужды другим жанрам словесного творчества. Оно «не только служит средством для изображения и выражения внесловесной действительности (как в других жанрах), но и само становится предметом изображения, само становится образом особого рода»<sup>45</sup>.

В романном творчестве впервые, говорил далее М. Бахтин, появляются образы чужого слова, образы чужого языка, чужого стиля, чужой речевой манеры. Мало того, эти образы становятся в нем ведущими. Всякое «прямое» слово объективируется, овнешняется, т. е. показывается. Появляется двуголосое слово. В связи с этим перед стилистикой романа встают такие задачи, которых не знает стилистика других («прямых») жанров.

М. Бахтин считал (и убедительно это показал в некоторых своих работах), что роман — сравнительно очень поздний жанр. Между тем «непрямое» слово, т. е. изображенное чужое слово, возникло давно, на самых

ранних ступенях словесного творчества, до рождения самого романного жанра. «... Задолго до появления романа,— говорит ученый,— мы находим богатый мир разнообразных форм, передающих, передразнивающих, изображающих под разными углами зрения чужое слово, чужую речь, чужой язык, в том числе и языки прямых жанров»<sup>46</sup>.

«Непрямое», «передразнивающее» слово вызревало в фамильярных речевых жанрах народного разговорного языка, в фольклорных и «низких» литературных жанрах. В них отразилась древняя борьба племен, народов, культур и языков. Романное слово всегда развивалось «на меже культур и языков». Все это, говорил М. Бахтин, мало еще изучено, хотя необходимость такого изучения очевидна.

М. Бахтин утверждал, что в предыстории романного слова действовали разнородные факторы. Однако наиболее существенными среди них были смех и многоязычие. «Смех организовывал древнейшие формы изображения языка,— заключал М. Бахтин,— организовывал древнейшие формы изображения языка, которые первоначально были не чем иным, как *осмеянием* чужого языка и чужого прямого слова. Многоязычие и связанное с ним *взаимоосвещение языков* подняли эти формы на новый художественно-идеологический уровень, на котором стал возможным романский жанр»<sup>47</sup>.

Свою статью М. Бахтин и посвятил анализу этих двух факторов в предыстории романного слова. При этом он показал становление и развитие этих факторов на большом историко-литературном фоне. Так, значительное место отведено в статье различным пародийным и пародийно-травестирующим формам, различным формам стилизации, явлениям карнавализации и пр. То есть, говоря словами исследователя, «романное слово рождалось и развивалось не в узколитературном процессе борьбы направлений, стилей, отвлеченных мировоззрений, а в сложной многовековой борьбе культур и языков», «связано с большими сдвигами и кризисами в судьбах европейских языков и речевой жизни народов» (III, 446).

\* \* \*

С самого начала 1960-х годов М. Бахтин начал подготовку ко второму изданию (дополненному и переработанному) книги «Проблемы творчества Достоевского». В 1963 году она вышла в свет, но под названием «Проблемы поэтики Достоевского». О путях и способах переработки книги, о дополнениях и изменениях в ней он рассказывал в статье под заглавием «К переработке книги о Достоевском». В краткой конспективной форме М. Бахтин изложил основные идеи своего труда, имея при этом в виду и своих оппонентов. В этой связи и следует рассматривать его утверждение: «Главное же — проблема полифонии» (IV, 326).

В статье-конспекте ее автор подчеркнул мысль о трех художественных открытиях Достоевского: 1) писатель создал совершенно новую структуру образа человека — «полнокровное и полнозначное чужое сознание, не вставленное в завершающую оправу действительности». Художник не может «завершить» своих героев, потому что «он открыл то, что отличает личность от всего, что не есть личность» (IV, 326—327);

2) Достоевский дал изображение (воссоздание) саморазвивающейся идеи, которая раскрывается «в плане человеческого события» (IV, 327);

3) художник открыл «диалогичность как особую форму взаимодействия «между равноправными и равнозначными сознаниями» (IV, 327).

Эти три открытия — три грани одного и того же явления. Они носят формально-содержательный характер. Изображение впервые становится многомерным.

М. Бахтин констатирует тот факт, что идеи полифонии, диалога получили широкое развитие и распространение, что он объяснял растущим влиянием Достоевского и теми изменениями в самой действительности, которые раньше других пророчески сумел раскрыть и показать автор «Бесов» и «Братьев Карамазовых».

В критике 1929—1930-х и последующих годов большее место заняли вопросы монологизма и полифонизма. М. Бахтин еще раз остановился на разъяснении своей позиции.

В монологизме ученый видел отрицание равноправности сознаний в отношении к истине. Сущность сокра-

тического диалога в том и заключается, что в нем участвуют учитель и ученик. «Бог может обойтись без человека, а человек без него нет» (IV, 328).

Иначе складывается путь к истине при диалоге, в котором участвуют равноправные личности, являющиеся носителями своей правды. Полифония, говорит М. Бахтин, вовсе не означает того, что автор отказывается от защиты своей правды, что он обречен на пассивность, на то, чтобы только монтировать чужие сознания и чужие правды. Автор полифонического романа «глубоко активен, но его активность носит особый, диалогический, характер». «Одно дело,— продолжал М. Бахтин,— активность в отношении мертвой вещи, безгласного материала, который можно лепить и формировать как угодно, и другое — активность в отношении чужого живого и полноправного сознания. Это активность вопрошающая, провоцирующая, отвечающая, соглашающаяся, возражающая и т. п., то есть диалогическая активность... Достоевский часто перебивает, но никогда не заглушает чужого голоса, никогда не кончает его «от себя», то есть из другого, своего сознания. Это, так сказать, активность Бога в отношении человека, который позволяет ему самому раскрыться до конца (в имманентном развитии), самого себя осудить, самого себя опровергнуть. Это активность более высокого качества. Она преодолевает не сопротивление мертвого материала, а сопротивление чужого сознания, чужой правды» (IV, 328).

Активность автора монологического романа другого свойства. Она — активность завершающая, овеществляющая, заглушающая чужой голос. Таковы диалогические отношения между Базаровым и братьями Кирсановыми в романе «Отцы и дети» Тургенева. Они полностью «сняты» завершающим голосом самого романиста.

М. Бахтин подчеркивал мысль о том, что Достоевский противостоит всей декадентской литературе. Противостоит именно тем, что принципиально осуждал и отвергал философию одиночества. Всякое внутреннее переживание, говорил ученый, оказывается на границе, встречается с другим переживанием, и в этой встрече — вся сущность человеческого бытия. Всмотриваясь в себя, человек «смотрит в глаза другому или

глазами другого» (IV, 330). Философия «гордого одиночества» — философия смерти.

Не приемлет Достоевский и философии, которая оправдывает право «высших» решать судьбу «низших», низведенных предварительно до состояния безгласных вещей. Развивая эти мысли, М. Бахтин продолжал: «Достоевский сделал дух, то есть последнюю смысловую позицию личности, предметом эстетического созерцания, сумел *увидеть* дух так, как до него умели видеть только тело и душу человека. Он продвинул эстетическое видение в глубь, в новые глубинные пласты, но не в глубь бессознательного, а в глубь-высоту сознания. Глубины сознания есть одновременно и его вершины... Сознание гораздо страшнее всяких бессознательных комплексов» (IV, 331).

Важным наблюдением М. Бахтина является мысль о Человеке у Достоевского, который всегда изображается «на пороге», «в состоянии *кризиса*». Расширил Достоевский и понятие сознания, отождествляющегося с личностью человека, который может реализовать себя только в диалоге, незавершимым по самой своей сущности. Монолог, напротив, претендует на то, чтобы быть *последним* голосом.

М. Бахтин считал, что в творчестве Достоевского большое место принадлежит исповеди, в которой писатель видел форму свободного самораскрытия человека *изнутри*.

По мнению М. Бахтина, Достоевский знал два типа людей: людей, не могущих жить без высшей ценности и не могущих осуществить выбор этой ценности, и напротив, — людей, строящих свою жизнь без всякого отношения к высшей ценности (хищники, аморалисты, карьеристы и пр.).

Достоевского, по убеждению М. Бахтина, интересовали не типы людей и судеб, объектно завершенные, а типы мировоззрений (например, Чаадаева, Герцена, Грановского, Бакунина, Белинского и др.). «С начала замысла появляются *мировоззрения*, а уже затем сюжет и сюжетные судьбы героев... Достоевский начинает не с идеи, а с идей — героев диалога. Он ищет цельный голос, а судьба и событие (сюжетные) становятся средством выражения голосов» (IV, 340).

В мире Достоевского смерть человека ничего не решает (не завершает). Смерть — это уход, человек *сам* уходит. Но уходит, сказав свое *последнее слово*, которое остается в незавершившем диалоге.

Таковы лишь основные идеи, развитые М. Бахтиным в статье «К переработке книги о Достоевском». Эти идеи и были положены в основу переработки книги. Ученый вел свою работу с убеждением в том, что влияние Достоевского еще далеко не достигло своей кульминации. «Наиболее существенные и глубинные моменты его художественного видения, переворот, совершенный им в области романного жанра и вообще в области литературного творчества, до сих пор еще не освоены и не осознаны до конца» (IV, 334).

Диалектику жизни М. Бахтин усматривал и в том, что преходящая эпоха способна рождать непреходящие ценности. Шекспир не сразу стал тем Шекспиром, каким он живет теперь в нашем сознании. «Достоевский еще не стал Достоевским, он только еще становится им» (IV, 335).

В новом издании книги М. Бахтин и стремился показать Достоевского как одного из величайших новаторов в области художественной формы. «Он создал, по нашему убеждению,— писал ученый,— совершенно новый тип художественного мышления, который мы условно назвали полифоническим... Можно даже сказать, что Достоевский создал как бы новую художественную модель мира, в которой многие из основных моментов старой художественной формы подверглись коренному преобразованию» (II, 3).

М. Бахтин возражал против того, чтобы в области художественного познания продолжать требовать «самой грубой, самой примитивной определенности, которая заведомо не может быть истинной» (II, 314).

В то же время ученый утверждал, что полифонический роман, открытый Достоевским, не отменяет как устаревшие и уже ненужные монологические формы романа — биографического, исторического, бытового, романа-эпопеи и пр. «... Каждый жанр имеет свою преимущественную сферу бытия, по отношению к которой он незаменим... ибо всегда останутся и будут расширяться такие сферы бытия человека и природы, которые требуют именно объектных и завершающих, то есть

монологических, форм художественного познания» (II, 313).

Мало того, полифонический роман Достоевского плодотворно сказался на дальнейшем развитии монологического романа, помог лучше осознать его возможности, расширить его границы. Но при всем, при этом *«мыслящее человеческое сознание и диалогическая сфера бытия этого сознания во всей своей глубине и специфичности недоступны монологическому художественному подходу»* (II, 313).

Новое издание книги М. Бахтин дополнил главой под названием: «Жанровые и сюжетно-композиционные особенности произведений Достоевского». Она составляет почти одну третью часть объема книги. Здесь, к сожалению, нет возможности говорить об этом более или менее подробно. Приведем лишь содержание заключительных строк этой главы.

Цель этой новой главы в книге М. Бахтин видел в том, чтобы (говоря его словами) «прощупать и проследить жанровую традицию Достоевского вплоть до ее истоков в античности». «Связав Достоевского с определенной традицией,— продолжал он,— мы, разумеется, ни в малейшей степени не ограничились глубочайшей оригинальности и индивидуальной неповторимости его творчества. Достоевский — создатель *подлинной полифонии*, которой, конечно, не было и не могло быть ни в «сократическом диалоге», ни в античной «Менипповой сатире», ни в средневековой мистерии, ни у Шекспира и Сервантеса, ни у Вольтера и Дидро, ни у Бальзака и Гюго. Но полифония была *существенно* подготовлена в этой линии развития европейской литературы. Вся традиция эта, конечно, от «сократического диалога» и мениппеи, возродилась и обновилась у Достоевского в неповторимо оригинальной и новаторской форме полифонического романа» (II, 208—209).

Выход в свет в 1963 году «Проблем поэтики Достоевского» всколыхнул научную и литературную общественность страны. С особым вниманием и интересом отнеслись к ней те, кто только что начинал свой путь в науке. О М. Бахтине говорили повсюду, книга его широко обсуждалась, словно речь шла о неординарном произведении литературы, затронувшем самые душевные струны читателей и критиков. Сужде-



ния и оценки были самые разные, во многих случаях — полярные по своему содержанию и смыслу.

Едва ли не первым откликнулся на выход в свет нового издания книги М. Бахтина о Достоевском журнал «Русская литература». В февральской книжке этого журнала за 1964 год с большой обзорной статьей «Новые книги о Достоевском» выступил Г. Фридендер. Значительное место в статье было отведено «Проблемам поэтики Достоевского». Статья не содержала в себе ни особенных восторгов, ни наставительных порицаний. «Как справедливо показывает автор этой книги,— писал Г. Фридендер,— непосредственное сведение идейного содержания романов Достоевского к «философии» того или иного из их персонажей несостоятельно «...» по двум причинам. Прежде всего, в каждом из произведений Достоевского в центре внимания автора находится, как правило, не один, а несколько главных героев соотнесенных друг с другом, причем в отличие от ряда других романистов, предшественников и современников Достоевского, великого русского писателя интересует не столько внешний, бытовой облик героя, сколько его самосознание, его точка зрения на окружающий мир. Таким образом, в романах Достоевского перед нами звучит не один, а множество различных «голосов», излагается не одна, авторская, а целый ряд противоборствующих точек зрения на действительность»<sup>48</sup>.

С этой «многоголосостью», продолжал Г. Фридендер, М. М. Бахтин связывает внутреннюю форму романов Достоевского, самую их эстетическую природу. Книга М. Бахтина, следовательно, противостоит и модному на современном Западе экзистенциализму.

Отмечена в статье Г. Фридендера и другая особенность монографического исследования М. Бахтина, заключающаяся в том, что в борьбе противоположных идей и умонастроений автор книги видит не только одну из главных тем художественного изображения, но и проявление внутренней борьбы в душе самого Достоевского<sup>49</sup>.

Эти выводы М. Бахтина Г. Фридендер назвал наиболее ценными в его книге, что и отметил в свое время еще А. В. Луначарский. Такой подход, по мнению рецензента, позволил автору книги дать «ряд образцов тонкого и вдумчивого прочтения художественных тек-

стов Достоевского,— таких, как рассказы «Бобок» и «Сон смешного человека».

Отверг Г. Фридлиндер выводы М. Бахтина о «полифонизме» и «монологизме». «Подобное противопоставление «монологического» и «полифонического» романа (как двух полярных противоположностей),— писал рецензент,— с нашей точки зрения, не выдерживает критики. Ибо художественный полифонизм романов Достоевского отнюдь не равнозначен отказу писателя от активного отношения к своим героям, от их художественно-идеологической оценки, и, следовательно, и от изображения их в освещении определенного авторского мировоззрения (хотя, по Бахтину, подобное освещение является будто бы принципом «монологического» и исключается полифоническим романом)»<sup>50</sup>.

В заключительной части своей статьи Г. Фридлиндер охарактеризовал как заслуживающие внимания бахтинские гипотезы о роли карнавальных образов и представлений для формирования одной из линий античного западно-европейского романа, о позднегреческой «мениппее» и сократическом диалоге как об отдаленных предшественниках диалогизма, характерного для романов Достоевского. Но и эти соображения М. Бахтина, считал рецензент, «ни в коей мере не делают более убедительной ту весьма субъективную интерпретацию художественной природы полифонизма Достоевского, которую предлагает М. М. Бахтин»<sup>51</sup>.

Оживленная полемика вокруг книги М. Бахтина завязалась летом 1964 года на страницах «Литературной газеты». Начало этой полемике положил А. Дымшиц, выступивший со статьей под ироническим заглавием: «Монологи и диалоги».

В целях внешней объективности автор статьи указал на ряд, с его точки зрения, «верных мыслей, соображений, наблюдений». «Самое определение романа Достоевского как романа полифонического уже вошло в науку... Литературная наука всегда будет обязана М. Бахтину за множество тончайших наблюдений над поэтикой и языком Достоевского»<sup>52</sup>.

А дальше рецензент продолжал так, как это свойственно было «проработанным» статьям той поры. «Расхождения с М. Бахтиным,— писал А. Дымшиц,— серьезные и принципиальные. Они лежат в сфере эсте-

тики, в области методологии. Это спор, направленный против формального, метафизического мышления, против субъективистских и формалистических мотивов в исследовании».

Автор статьи выразил решительное несогласие с концепцией М. Бахтина о диалогической сущности романов Достоевского. «Иначе говоря,— писал рецензент,— Достоевский выступает под пером исследователя как художник, никогда не приходящий к конечным выводам... И это о Достоевском — одном из самых тенденциозных писателей! О Достоевском, который всегда боролся, всегда «учительствовал» в искусстве, все «диалоги» которого всегда стремились к утверждению конечной идейной задачи...»

В заключительных строках рецензии ее автор решил дойти до самого «корня» «странных мифов» М. Бахтина. «Книга Бахтина,— заключал он,— возникла в период кризиса и крушения формальной школы. В чем-то ее автор стремился уйти от формализма, но в чем-то (и притом весьма существенном) он оставался и — увы! — остался поныне на поприще формализма»<sup>53</sup>.

С возражениями (в существенных моментах) А. Дымшицу здесь же, на страницах «Литературной газеты», выступили И. Василевская и А. Мясников. В статье «Разберемся по существу» они показали противоречивый характер статьи А. Дымшица: с одной стороны, открытия в книге М. Бахтина, с другой — автор этих открытий — формалист. Как формалист мог сделать значительные открытия? Как можно, признавая полифонизм романов Достоевского, отрицать их диалогический характер?

Авторы статьи показали абсурдность упреков А. Дымшица в адрес М. Бахтина в том, что он будто бы отрицает авторскую активность в романах Достоевского. Со ссылками на автора книги И. Василевская и А. Мясников показали, что в полифоническом романе (открытие которого у Достоевского сам А. Дымшиц поставил в заслугу М. Бахтину) авторская активность выражается по-иному, нежели в романах монологического типа. Именно: автор не подчиняет себе героя, не подавляет его, а относится к нему с полным доверием, раскрывает его внутреннюю сущность во всей ее самобытности и неповторимости. Автор не уходит от оценки

изображаемого, которая складывается в процессе движения-самостоятельных и противоречивых образов. В этом и усматривал М. Бахтин единство принципов полифонизма и диалогичности. В отличие от М. Бахтина, А. Дымшиц не понимает того, что полифоничность диалогична по самой своей природе.

И. Василевская и А. Мясников заключили свою статью словами: «Прочитана статья... Что она доказывает? Что М. Бахтин, написавший одно из лучших исследований о поэтике,— формалист?.. Формализм — враг содержательной формы. Он бессилён решить как раз ту задачу, на монопольное решение которой он претендует. Форма для формалиста мертва. У Бахтина она социально значима. Он не просто «помогает» раскрыть лежащее вне ее «содержание», она сама содержательна. Бахтин противопоставляет формализму не бессильные заклинания и проклятия, а объективный научный анализ. И поэтому книга Бахтина антиформалистична»<sup>54</sup>.

А. Дымшиц попытался продолжить полемику, выступив со второй статьёй под названием: «Восхваление или критика?». Но здесь, в этой статье, ему пришлось уже не столько нападать, сколько защищаться. Правда, он и здесь еще продолжал настаивать на своих упреках в адрес М. Бахтина. Однако тон этих упреков был уже иным. Так, ему пришлось «не согласиться» и с высокой оценкой труда М. Бахтина А. В. Луначарским (о чем ранее мы уже говорили): последний будто бы «переоценил» книгу М. Бахтина (в 1930 г.), увлекшись «новациями» ее автора<sup>55</sup>.

Одновременно со статьёй А. Дымшица в «Литературной газете» было опубликовано письмо группы известных литературоведов в защиту книги М. Бахтина. Отметив ряд справедливых замечаний А. Дымшица, авторы письма (В. Асмус, В. Ермилов, В. Перцов, М. Храпченко, В. Шкловский) в целом признали его критику неудачной, противоречивой, чисто негативной, поскольку у самого А. Дымшица нет своей концепции творчества Достоевского. Чего стоят, например, упреки рецензента в адрес М. Бахтина за то, что он призывает к изучению художественных реальностей, а не заниматься «вылушиванием» реакционных идей из отдельных высказываний и реплик его героев. Или — упреки А. Дымшица автору книги за то, что он объявил поли-

фонический роман высшей формой. Между тем сам тут же произвел в полифонисты всех великих русских писателей. И потому непонятно, то ли М. Бахтин переоценил полифонизм, то ли недооценил<sup>56</sup>.

Так была остановлена попытка положить начало «проработочной» критике, живо напомнившей времена РАППА и периода «войны» с космополитизмом.

С тех пор и поныне полемика вокруг книги М. Бахтина продолжается в сущности в тех же «рамках», в которых она и началась: верны или неверны основные идеи концепции автора «Проблем поэтики Достоевского». Этот вопрос и разделил литературоведов на две большие группы: одни — приемлют и поддерживают концепцию М. Бахтина (С. С. Аверинцев, С. Г. Бочаров, В. В. Кожинов, В. Н. Турбин, В. С. Библер и многие другие исследователи), для многих других авторов эта концепция неприемлема, и она ими отвергается (В. Я. Кирпотин, В. Д. Днепров, Л. О. Зунделович, Г. Н. Пospelов и пр.).

Здесь нет ни возможности, ни даже необходимости в более или менее подробном рассмотрении всех доводов противников бахтинской концепции: это могло бы составить предмет особого исследования. Скажем лишь о том, что доводы эти мало отличаются друг от друга. В этом отношении наиболее типичными можно признать основные положения статьи Г. Н. Пospelова под названием «Преувеличения от увлечения». Обнаружив во многом из того, о чем говорит автор «Проблем поэтики Достоевского», значительную или даже большую «долю истины», Г. Н. Пospelов заявляет далее, что бахтинская теория полифонического романа страдает не только описательностью, но и очевидной неубедительностью. Проистекает она, эта неубедительность, из того, что, «увлеченный этой основной своей задачей (делением произведений на монологические и диалогические. — Авторы), автор впадает при этом, как нам кажется, в значительные крайности и преувеличения»<sup>57</sup>.

Не приемлет Г. Н. Пospelов и бахтинской теории жанров, как и его идеи карнавализации. Достоевский, конечно, необычный художник, но в целом находится в рамках тех традиций, которые определяли и творческий облик его великих современников — Тургенева, Гончарова и Л. Толстого. Убедительной аргументации в

сущности нет никакой. Между тем как у М. Бахтина она всегда налицо.

Нередко противореча друг другу, иные критики М. Бахтина прибегают к таким доводам, которые нельзя не назвать странными. Так, в статье «Полифонический ли?» (О романе «Преступление и наказание») ее автор В. Д. Павлюк отверг не только бахтинскую теорию полифонии, но обнаружил существенный изъян и в личности самого Достоевского. «Интересно,— писал он,— почему в жизни Достоевский чувствовал рядом не «равноправные чужие сознания», а очень часто воспринимал их как враждебные? Например, чем объяснить его яростную борьбу с идеями Чернышевского, нападки на Салтыкова-Щедрина»<sup>58</sup>.

Объяснить это действительно нелегко, если при этом забыть, что ведь и Чернышевский не жаловал идей Достоевского, которыми великий писатель дорожил не менее, чем Чернышевский своими идеями. Что касается Салтыкова-Щедрина, он тоже не церемонился с Достоевским, доходя нередко до оскорбительных выпадов...

Своеобразную линию в истолковании бахтинской теории полифонического романа наметил Б. О. Корман. «В основе парадоксального вывода, к которому пришел Бахтин,— писал он,— лежало, на наш взгляд, смешение автора как носителя концепции, выражением которой является все произведение, с одной из форм авторского сознания — повествователем, рассказчиком-героем, хроникером и т. п. Она действительно равноправна с героями, ее идеологическая и речевая зона — лишь одна из многих. И она отнюдь не господствует над героями, а сама, наряду с ними, является объектом воспроизведения и предметом анализа. Автор же как носитель концепции всего произведения в романах Достоевского весьма активен»<sup>59</sup>.

Эта идея активно пропагандируется некоторыми литературоведами<sup>60</sup>. Дело, однако, в том, что ничего нового в бахтинскую теорию полифонизма Б. О. Корман не внес: остался неясным вопрос о том, остается ли за «носителем концепции» целого произведения последнее (завершающее) слово или не остается? Если за этим «носителем» завершающая функция остается, ни о каком полифонизме речи быть не может. Образы рассказчиков, хроникеров, считал М. Бахтин,— обычные

образы, которые «строятся» точно так же, как строятся все другие художественные образы.

В одном солидарны все критики М. Бахтина — автора «Проблем поэтики Достоевского»: все они признают необычайную его эрудицию, глубину творческой мысли, мастерство в изложении материала.

«... М. М. Бахтин,— говорит Г. Фридлендер,— сумел дать в книге ряд образцов тонкого и вдумчивого прочтения художественных текстов Достоевского... Особую ценность представляет глава «Слово у Достоевского» — одна из лучших в нашей литературе теоретических работ этого рода, содержащая классификацию различных типов слова в романе, развивающая свое, оригинальное понимание путей и принципов научного изучения языка художественной прозы»<sup>61</sup>.

В статье «Возвращение к полемике» Б. Бурсов писал: «Книга М. Бахтина увлекает с первых страниц не только блеском изложения, колоссальной эрудицией автора, но так же редкой остротой и напряженностью мысли, неиссякаемым разнообразием наблюдений и соображений, удивительной изобретательностью аргументации... В смысле остроты постановки проблем художественной формы книга М. Бахтина резко выделяется на общем фоне нашего литературоведения. Особенно это относится к главе «Слово у Достоевского». Эта глава имеет общее теоретическое значение. М. Бахтин блестяще использует особенности творчества Достоевского для углубления теории образа как отчужденного авторского сознания. На основе этой теории разрабатывается еще более интересная теория функциональности слова, различия между словом автора и словом героя, особой ценности слова героя, который «сам» постигает и преподносит нам свою сущность»<sup>62</sup>.

Анализируя новые книги, посвященные творчеству Достоевского, Ф. И. Евнин выделил из них «Проблемы поэтики Достоевского», назвав ее «наиболее весомой и значительной». «... Она,— продолжал исследователь,— давно уже завоевала себе почетное место в научной литературе о Достоевском глубиной постановки основных проблем его поэтики, ценностью и новизной ряда выводов и наблюдений, тонкостью анализа художественной ткани. Мимо этой книги не может пройти не только ни один из советских литературоведов, причастных к

изучению Достоевского. Она прочно вошла в научный оборот и прогрессивных зарубежных исследователей»<sup>63</sup>.

Высоко ставит «Проблемы поэтики Достоевского» и Г. Н. Пospelов. По его словам, книга «отличается талантливостью изложения, целеустремленностью исследовательской мысли, большой увлеченностью автора своими идеями»<sup>64</sup>.

Так оценивалась книга М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» даже теми нашими литературоведами, которые в целом не приняли ее концептуальных идей. Эти оценки говорят сами за себя.

Таково место и значение научного труда М. Бахтина в истории русского литературоведения. Место и значение это трудно переоценить.

\* \* \*

В бытность свою в Саранске М. Бахтин подготовил к изданию вторую свою прижизненную книгу — «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».

Работа над этим большим монографическим исследованием была начата, по-видимому, еще в Петрограде, а продолжена уже в Кустанае, в Саранске (в 1936—1937 годах) и в Подмосковье, где и была завершена в 1940 году<sup>65</sup>. Рукопись в 40 авторских листов под заглавием «Франсуа Рабле в истории реализма» была тогда же сдана автором в Институт мировой литературы им. М. Горького АН СССР и в Институт западно-европейской литературы АН СССР (Ленинград). Ученый готовился к защите диссертации. Начавшаяся в июне 1941 года Великая Отечественная война перечеркнула эти планы. Защита состоялась только в ноябре 1946 года, после чего рукопись оставалась без движения до 1963—1964 годов. В это время М. Бахтин, по-видимому, имел уже договор с издательством «Художественная литература» на издание своей книги. В этом деле несомненна роль авторов письма, опубликованного в июне 1962 года в «Литературной газете» под заглавием: «Книга, нужная людям». В письме говорилось: «В связи с выходом нового, наиболее полного перевода «Гар-



гантюа и Пантагрюэля» резко возрос интерес к творчеству Франсуа Рабле — одного из величайших писателей всех времен. Искусство Рабле исключительно своеобразно и сложно. Естественно, что многие читатели испытывают потребность обратиться к научным работам, посвященным Рабле. Но наша литература о творчестве Рабле более чем не богата. Поэтому мы считаем очень важным и своевременным издание выдающегося исследования о Рабле, принадлежащего одному из интереснейших наших литературоведов — Михаилу Михайловичу Бахтину. Многим известна его прекрасная книга «Проблемы творчества Достоевского», опубликованная еще в 1929 году. Сейчас этот труд, заново переработанный автором, издается «Советским писателем»... Пришло время и для издания работы М. М. Бахтина «Франсуа Рабле в истории реализма»... Нельзя далее мириться с тем, что труд М. М. Бахтина, имеющий первостепенное научное и культурное значение, существует только в виде архивной рукописи. Его издание явится настоящим торжеством нашей науки о литературе и, без сомнения, вызовет самый живой отклик на родине Рабле и в других странах.

В заключение письма его авторы — академик В. Виноградов, переводчик романа Рабле на русский язык Н. Любимов и писатель Конст. Федин — обращались к издательству «Художественная литература» с предложением принять меры для скорейшего издания книги М. Бахтина «Франсуа Рабле в истории реализма»<sup>66</sup>.

В 1963—1964 годах М. Бахтин внес в свою рукопись последние исправления и дополнения, а в 1965 году вышла в свет и сама книга под известным теперь заглавием «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».

Два основных обстоятельства предопределили обращение М. Бахтина к изучению творчества великого французского писателя Рабле (1494—1553). Во-первых, широко был известен его роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». Между тем и само это произведение, и имя его творца казались загадочными, потому что оставались почти совершенно неизученными<sup>67</sup>. В то же время было очевидно, что место и значение Рабле в становлении новой западно-европейской литературы были столь же велики, как и роль Данте, Боккаччо, Сервантеса и

Шекспира. Во-вторых, исследование творчества Рабле позволяло вскрыть и показать во всей глубине и силе связь великого писателя Возрождения с многовековыми традициями народной смеховой культуры. «Шестнадцатый век,— говорит М. Бахтин, это вершина смеха, пик этой вершины — роман Рабле» (VI, 115).

Об истории смеха, о необходимости его воспроизведения говорили и писали многие. Но для практического решения этой огромной и сложной задачи делалось и сделано очень мало. «Народный смех и его формы,— пишет М. Бахтин,— это... наименее изученная область народного творчества. Узкая концепция народности и фольклора, слагавшаяся в эпоху предромантизма и завершенная в основном Гердером и романтиками, почти вовсе не вмещала в свои рамки специфической народно-площадной культуры и народного смеха во всем богатстве его проявлений. И в последующем развитии фольклористики и литературоведения смеющийся на площади народ так и не стал предметом сколько-нибудь пристального и глубокого культурно-исторического, фольклористского и литературоведческого изучения... Но при этом главная беда в том, что специфическая природа народного смеха воспринимается совершенно искаженно, так как к нему прилагают совершенно чуждые ему представления и понятия о смехе, сложившиеся в условиях буржуазной культуры и эстетики нового времени» (VI, 8).

Три основных вида форм выделил автор книги из многообразного проявления и выражения народной смеховой культуры: «*обрядово-зрелищные формы* (празднества карнавального типа, различные площадные смеховые действия и пр.); *словесные смеховые* (в том числе пародийные) *произведения* разного рода: устные и письменные, на латинском и на народных языках; *различные формы и жанры фамильярно-площадной речи* (ругательства, божба, клятва, народные блазоны и др.)» (VI, 9).

Вслед за этим в книге дана общая (предварительная) характеристика каждому из этих видов смеховых форм. Укажем лишь на некоторые моменты этих характеристик.

Книга М. Бахтина открыла нам возможность увидеть, какое большое значение имели в жизни западно-

европейских народов праздники карнавального типа. Всякое празднество, по словам нашего ученого,— это «очень важная *первичная форма* человеческой культуры», отнюдь не связанная с условиями и целями общественного труда или с физиологической потребностью в периодическом отдыхе. «Празднество,— продолжал он,— всегда имело существенное и глубокое смысловое, миросозерцательное содержание» (VI, 13).

Наиболее распространенной и популярной формой празднества был карнавал, в котором сама жизнь превращалась в игру, а игра — на время становилась самой жизнью. На время карнавала (а он занимал в жизни людей не менее трёх месяцев в году) отменялись существовавшие иерархические отношения и различия. В карнавале все были равны в общем карнавальном мироощущении. «Человек,— говорит М. Бахтин,— как бы перерождался для новых, чисто человеческих отношений... Вторая жизнь, второй мир народной культуры строится в известной мере как пародия на обычную, то есть внекарнавальную жизнь, как «мир наизнанку» (VI, 16).

На карнавале господствовал смех — праздничный и ликующий, направленный и на самих смеющихся. Смех амбивалентный, т. е. отрицающий и утверждающий одновременно.

Рядом с карнавалом жила и развивалась смеховая литература. Это была литература полупародийная и пародийная. В ее орбите оказывались Библия и Евангелия, церковные песнопения и молитвы.

Карнавал и смеховая литература включали в себя различные формы фамильярно-площадной речи — различные ругательства (в том числе и непристойные), божбу и клятвы. Эти и другие формы фамильярно-площадной речи «становились как бы искрами единого карнавального огня, обновляющего мир» (VI, 23).

Носителем и завершителем всей этой смеховой народной культуры и явился Франсуа Рабле.

С традициями народно-смеховой культуры связывал М. Бахтин приверженность Рабле к материально-телесным началам жизни. В этой приверженности ученый увидел самую суть реализма Рабле, который он условно назвал гротескным. Носителем материально-телесных начал жизни у автора «Гаргантюа и Пантагрюэля»

является не обособленная биологическая особь, а народ, вечно растущий и обновляющийся. Ведущий момент во всех этих образах — рост, плодородие, бьющий через край избыток. Это — «начало праздничное, пиршественное, ликующее, это — «пир на весь мир» (VI, 26).

М. Бахтин считал гротескный тип образности древнейшим. «... Мы, — говорит он, — встречаемся с ним в мифологии и в архаическом искусстве всех народов...» (VI, 38).

Вершиной расцвета гротескного реализма стала эпоха Возрождения, когда появился и сам этот термин.

Основной недостаток исследований, посвященных народно-смеховой культуре М. Бахтин усматривал в том, что она, за немногими исключениями, лишена теоретического пафоса, сколько-нибудь широких теоретических обобщений. Своим исследованием наш ученый восполнил этот пробел. По убеждению одного из современных исследователей, «дорога к Рабле ведет из темных глубин доклассового общества, через культ Диониса и римские сатурналии, через средневековые фарсы и соти, дьяблерии и химеры Нотр-Дам, шаривари и «пасхальный смех», «праздник дураков» и «праздник осла». Факты известны давно. М. Бахтин нанизывает их на прочный теоретический стержень. Стержень называется «гротескным реализмом»<sup>68</sup>.

Творчество Рабле — не средство и не повод для изучения сущности народной смеховой культуры. Напротив, в центре внимания М. Бахтина — сам Рабле, его знаменитый роман, в котором «народная смеховая культура собрана, сконцентрирована и художественно осознана на своем высшем ренессансном этапе» (VI, 67).

Рабле в истории смеха и основное содержание и пафос творческого наследия великого писателя-гуманиста раскрыты М. Бахтиным в семи главах его книги. В них представлен и обобщен столь огромный материал, что научный его анализ возможен лишь в специальных исследованиях. Поэтому обратим внимание только на общие заключения и выводы автора.

М. Бахтин писал о своем убеждении в важности тех задач, которые поставил и осветил в своей книге. «Нельзя, — утверждал он, — правильно понять культурную и литературную жизнь и борьбу прошлых эпох истории человечества, игнорируя особую народную

смеховую культуру, которая всегда существовала и которая никогда не сливалась с официальной культурой господствующих классов» (VI, 524).

М. Бахтин говорил о том, что в освещении прошлых эпох мы склонны «верить на слово каждой эпохе», ее идеологам, не слыша «голоса самого народа». Между тем «все акты драмы мировой истории проходили перед смеющимся народным хором». «Не слыша этого хора,— писал он,— нельзя понять и драмы в ее целом. Представим себе пушкинского «Бориса Годунова» без народных сцен,— такое представление о драме Пушкина было бы не только неполным, но и искаженным. Ведь каждое действующее лицо драмы выражает ограниченную точку зрения, и подлинный смысл эпохи и ее событий в трагедии раскрывается только вместе с народными сценами. Последнее слово у Пушкина принадлежит народу» (VI, 524—525).

Дело, однако, в том, что не всегда, не во все эпохи смеховой хор имел такого корифея, как Рабле. Автор «Гаргантюа и Пантагрюэля» — художник Возрождения, т. е. художник одной определенной эпохи. Но в своем творчестве он раскрыл своеобразный и трудный язык смеющегося народа с такой ясностью и полнотой, что «его творчество проливает свет и на народную смеховую культуру других эпох» (VI, 525).

Свое исследование М. Бахтин рассматривал всего лишь как первый шаг в деле изучения народной смеховой культуры прошлого. Ученый полагал даже, что, возможно, этот его шаг еще недостаточно тверд и не вполне правилен.

Эта оговорка, по-видимому, не случайна. По-видимому, были в его книге такие положения, которые он рассматривал как своеобразную уступку времени<sup>69</sup>. А время было суровое. Достаточно вспомнить, как трудно проходила дискуссия во время защиты им своей диссертации «Рабле в истории реализма» в ноябре 1946 года в Институте мировой литературы им. М. Горького АН СССР. Это был тот самый год, когда Сталин и Жданов железной рукой «подтягивали идеологический фронт» к потребностям тоталитарного режима<sup>70</sup>. Не исключено также, что какие-то изменения внес М. Бахтин в свою рукопись и по требованию редакторов издательства «Художественная литература».

В этой связи уместно поставить вопрос о неправомерных попытках некоторых читателей и исследователей книги М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» навязать ее автору атеистические взгляды<sup>71</sup>. Известно, что в этой книге М. Бахтин рассмотрел и такие материалы, в которых пародируются евангельские тексты и церковные богослужения. Он писал: «В дальнейшем развитии смеховой латинской литературы создаются пародийные дубликаты буквально на все моменты церковного культа и вероучения. Эта так называемая «*Parodia Sacra*», то есть «священная пародия», одно из своеобразнейших и до сих пор недостаточно понятых явлений средневековой литературы. До нас дошли довольно многочисленные пародийные литургии («Литургия пьяниц», «Литургия игроков» и др.), пародии на евангельские чтения, на молитвы, в том числе на священнейшие («Отче наш», «*Ave Maria*» и др.), на литании, на церковные гимны, на псалмы, дошли трагедии различных евангельских изречений и т. п.» (VI, 20).

Исследовать материал — не значит автоматически разделять и содержание этих материалов, и потому абсурдно относить все содержимое этих материалов на счет мировоззрения исследователя. В связи с этим уместно обратиться к самой книге М. Бахтина. В ней говорится, в частности, о том, что глупость (шутовство) — вторая природа человека, и надо хотя бы раз в году давать ей свободный выход. «Бочки с вином лопнут, если время от времени не открывать отверстия и не пускать в них воздуха. Все мы, люди, — плохо сколоченные бочки, которые лопнут от *вина мудрости*, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха божия. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим усердием вернуться к служению господу». Такова защита праздников дураков в XV веке «...» Перед нами здесь, следовательно, прямое признание второй праздничной жизни средневекового человека» (VI, 87, 88).

М. Бахтин не раз обращал внимание на то, что в средневековом смехе не было ничего сатирического, т. е. антицерковного и атеистического. Это был праздничный

смех, утверждавший ощущение свободы,— смех, столь же разрушающий, как и созидающий.

Амбивалентный смех знала и средневековая Русь. Д. С. Лихачев, исследовавший эту проблему, говорит: «В древнерусском смехе есть одно загадочное обстоятельство: непонятно, каким образом в древней Руси могли в таких широких масштабах терпеться пародии на молитвы, псалмы, службы, на монастырские порядки и т. п. Считать всю эту обильную литературу просто антирелигиозной и антицерковной, мне кажется, не очень правильным. Древнерусские люди в массе своей были, как известно, в достаточной степени религиозными, а речь идет именно о массовом явлении. Аналогичное явление было и на Западе в средние века... Дело, по-моему, в том, что древнерусские пародии вообще не являются пародиями в современном смысле»<sup>72</sup>.

Исследователь говорит далее, что средневековой смех был направлен по преимуществу на самих смеющихся, что, по словам Д. С. Лихачева, «отметил и достаточно хорошо показал М. М. Бахтин»<sup>73</sup>.

Так говорит исследователь древнерусского смеха, следуя в своих размышлениях и выводах за М. Бахтиным.

Книга «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» была встречена в нашей стране с неменьшим восторгом, чем и «Проблемы поэтики Достоевского». В связи с этим событием возникла уже большая литература. Со статьями и книгами выступили не только литературоведы, но и философы, и историки, и искусствоведы, и фольклористы, и культурологи, и ученые других отраслей знаний. Словом, сама эта литература уже нуждается в обобщениях. Единодушие в оценках — свидетельство того, что исследование такого типа давно ожидалось научной общественностью страны. Приходится только сожалеть о том, что в условиях тоталитарного режима околонучные силы отказали М. Бахтину в ученой степени доктора и на целых двадцать лет заблокировали рукопись его исследования...

Едва ли не все исследователи (как правило) говорят об общеметодологическом значении книги М. Бахтина.

Академик Д. С. Лихачев писал, что широко известная

книга М. Бахтина о Рабле «дает ключ к пониманию древнерусского смеха; указывает подход и, поскольку древнерусский смех является разновидностью средневекового смеха в целом, в какой-то мере касается, не называя его, и особенностей древнерусского смеха, как смеха средневекового»<sup>74</sup>.

Вяч. Вс. Иванов видит одно из крупнейших научных достижений М. М. Бахтина в том, что «ему удалось не только обнаружить роль карнавальной традиции и родственных ей явлений карнавализации в истории литературы и культуры, но и определить наиболее характерные черты карнавального образа»<sup>75</sup>.

Исследователи указывали на то, что книга М. Бахтина явилась одним из интереснейших опытов освещения проблемы народности в литературе и искусстве (где до сих пор преобладает дух отвлеченности и антиисторизма) «на «основе изучения... народных традиций», исследования «взаимоотношений литературы и фольклора»<sup>76</sup>.

За литературоведами идут историки. В статье «Михаил Михайлович Бахтин и медиевистика» ее автор писал: «М. М. Бахтин сделал очень много для объяснения средневековой литературы, и в этом его главная заслуга перед историей и перед историками... Путем тонкого и порой очень подробного анализа он с редким талантом показал, как нужно расчленять на составные элементы литературное произведение... Затем с неменьшим искусством он показал, как восстанавливается это временно утраченное единство, сверкающее теперь новым блеском и убедительно осмысленное во всех своих деталях»<sup>77</sup>.

Множество плодотворных идей нашли в книге М. Бахтина искусствоведы и культурологи. «... Материалы, поднятые М. Бахтиным, наблюдения и выводы, которые он сделал,— утверждает Л. А. Кашук,— важны не только для литературоведения. Основанные на фундаментальной культурологической базе, эти обобщения позволяют правильнее и глубже разобраться и в ряде смежных сфер проявления человеческого духа, в частности и в области изобразительного искусства». Так, анализ «карнавальной культуры», осуществленный М. Бахтиным на основе произведения Ф. Рабле, «дает возможность по-новому взглянуть и на творчество зна-



менитого нидерландского художника XVI века Питера Брейгеля Старшего...»<sup>78</sup>

Рассматривая феномен культуры как синтез явлений искусства, нравственности, теоретического и философского мышления, самого человеческого самосознания и самоизменения, В. С. Библер утверждает: «Не случайно культурно-логические теории становятся сейчас полем всеобщего философского размышления, полем напряжения многих проблем человеческого бытия и разума. Напомню только двух, значительнейших, на мой взгляд, мыслителей — Леви Стросса на Западе, и — особенно (особенно мне близкого) — М. М. Бахтина в нашей стране»<sup>79</sup>.

Из множества статей, посвященных книге М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле...» выделим две работы Л. М. Баткина. В одной из них, специально посвященной названной книге, автор говорит: «...Исследование М. Бахтина перерастает рамки раблеведения и становится событием в области эстетики смеха и философии культуры... Две самые привлекательные черты книги — вдохновенный стиль и неустранимость концепции. Анализ внутренней структуры карнавального смеха, по моему, безупречен и станет классическим»<sup>80</sup>.

У Л. М. Баткина возникло много различных вопросов к М. Бахтину, в книге которого он не нашел удовлетворяющих его ответов на них.

Нам представляется, что сами эти вопросы, их содержание и характер, в полной мере укладываются в концепцию бахтинского диалога. Любое исследование является научным только в той мере, в какой оно порождает новые идеи и новые исследования. В противном случае оно, по словам М. Бахтина, «овнешняется» и выпадает из диалога.

Давая общую оценку выдающемуся труду М. Бахтина, Л. М. Баткин заключает: «Книги такого уровня, как «Творчество Франсуа Рабле...», не могут появляться слишком часто. Когда же они появляются, нельзя не порадоваться за советскую гуманитарную науку... Мысль М. Бахтина движется в историческом материале и поэтому, в сущности, шире тех или иных формулировок»<sup>81</sup>.

Нельзя не указать еще на работы, авторы кото-

рых — так или иначе — затрагивают книгу М. Бахтина, говорят о ней в своих рецензиях или вступают в диалог с ее автором. Среди них — Л. Е. Пинский, А. В. Вулис, А. Аникст, А. Я. Гуревич, В. Б. Шкловский, С. М. Козлова, Д. Николаев<sup>82</sup>.

Мы привели здесь лишь небольшую толику из тех критических материалов, которые вызваны были к жизни выходом в свет знаменитой книги М. Бахтина.

Так завершил М. Бахтин свою деятельность в Саранске — в городе, в котором он в общей сложности прожил и проработал почти четверть века. Мы, к сожалению, ничего не можем сказать о том, каков был *общий объем* научных работ, выполненных Михаилом Михайловичем в городе на Саранке. Не знаем того, что осталось «в заделах» или бесследно утрачено (что отнюдь не исключено). Но и то, что нам теперь известно, достаточно внушительно и необычайно весомо, что навсегда вошло в историю русской гуманитарной науки как одна из ярчайших ее страниц.

## VIII. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ (1970—1975)

*Начинай сеять прямо с утра, и  
вечером не переставай трудиться...*

Из книги Экклесиаста



Семимесячное лечение в Кремлевской больнице в Кунцеве несколько улучшило состояние здоровья М. Бахтина, но радикального выздоровления все-таки не произошло.

Из больницы супругов выписали в мае 1970 года (по-видимому, в самом начале месяца). В предвидении этого неизбежного события Михаил Михайлович и Елена Александровна, надо полагать, не раз возвращались к волновавшему их вопросу о дальнейшей своей судьбе. Согласились с тем, чтобы с возвращением в Саранск несколько повременить. Именно *повременить* и отнюдь не порывать. Потому и просили о сохранении за ними их саранской квартиры (она и сохранялась до лета 1972 года).. Елене Александровне более приемлемой казалась возможность остаться пока в одном из пансионатов (для престарелых и одиноких людей) Подмосковья. Возможность такая была. В связи с этим были предприняты какие-то меры, потому что вопрос этот в условиях нашей действительности никогда не был простым. Меры оказались достаточными, и Бахтиным был предложен пансионат на окраине небольшого городка Климовска в районе Подольска. Пансионат считался едва ли не самым лучшим в ближайших окрестностях Москвы. Сюда супруги и были помещены сразу же по выходе из кунцевской больницы. Объясняя корреспонденту «Комсомольской правды» И. Виравову обстоятельства, при которых произошло вселение Бахтиных в климовский пансионат, В. Турбин (который, по-видимому, и занимался всеми этими делами) писал в полемическом задоре: «Потом Бахтины оказались в доме престарелых в Климовске, близ Подольска». А как «оказались»? Какие-то лихие люди их туда запроторили? Да нет же, супруга ученого требовала именно

дома престарелых. Неотступно, настоятельно требовала. И таинственным образом на пути Бахтиных появилось лучшее из того, чем располагали тогда наши богоугодные заведения»<sup>1</sup>.

Так ли все это было, действительно ли «супруга ученого» «настоятельно требовала» для себя дома для престарелых — говорить теперь не приходится. Во всяком случае у нас нет оснований в данном случае не верить мемуаристу. Скажем лишь о том, что и здесь В. Турбин остался верен самому себе, своему убеждению в том, что известные «инстанции» не только карали непокорных и строптивых, но и могли оказывать и оказывали помощь иным из них, творили для них благо. Так было вот с Бахтиными, перед которыми «таинственным образом» появился климовский пансионат... Это достаточно прозрачный намек на то, что и в решении судьбы Бахтиных после их лечения «решающее участие» приняло могущественное ведомство Юрия Андропова.

... Жизнь в Климовске поначалу показалась сносной. Была как раз такая пора, когда все зеленело, цвело и благоухало, было тепло и солнечно, дышалось легче, чем в Кремлевской больнице.

Бахтиным была предоставлена относительно просторная комната. Располагалась она на первом этаже большого трехэтажного дома. Для работы Михаилу Михайловичу была выделена небольшая свободная комната с письменным столом и с этажеркой для книг. В ней он мог уединиться, почитать и поразмыслить над тем, что занимало его всю творческую жизнь. Как всегда, курил папиросу за папиросой и, окутанный клубами табачного дыма, набрасывал на листах бумаги свои «Заметки», поражающие нас теперь широтой и глубиной обобщающей мысли. Мысли эти обретали нередко краткую, но необычайно емкую, афористическую форму. Читать их теперь можно бесчисленное количество раз, испытывая истинное эстетическое наслаждение. Перед нами поистине золотые россыпи человеческой мудрости. Обращаясь к ним, всякий раз обнаруживаешь в них все новые и новые грани, ассоциации и реминисценции. Все время ловишь себя на мысли о том, какие новые значительнейшие исследования вышли бы из-под его пера, если бы нормальной была его жизнь...

17 ноября 1970 года Михаилу Михайловичу испол-

нилось семьдесят пять лет. В Саранске в университете состоялось торжественное заседание Ученого совета, посвященное юбилару. В его адрес пришло много поздравительных телеграмм и от научных учреждений страны, и от виднейших ученых — литературоведов, лингвистов, философов, культурологов. На заседании совета была создана делегация, которой было поручено отправиться в Климовск для вручения Михаилу Михайловичу всех адресов и сувениров. Все это было исполнено, и все это доставило ему большую радость...

Настроение Бахтиных стало меняться с начала 1971 года. Михаил Михайлович не мог не видеть и не понимать того, что пансионат, дом для престарелых, в котором он оказался в конце жизненного пути, — это тупик. Выход из этого тупика был один — кладбище, которое было неподалеку от дома. Вокруг себя он видел только беспомощных стариков и старушек. В их потухших или потухающих глазах светилась не только беспомощность. Видны были еще и безысходная тоска, безнадежность. Встречались и такие, которые уже теряли рассудок. Все это угнетало, кажется, даже больше, чем однообразие повседневного быта, ограниченного размерами комнаты. Ученому, привыкшему иметь дело с научными журналами и книгами (притом — различных отраслей знания), испытывавшему потребность в постоянном общении с интересными для него людьми, общая атмосфера пансионата становилась невыносимой. Особенно после того, как обнаружилось, что Елена Александровна постепенно стала терять память, а общее состояние ее становилось все более удручающим. В этих условиях все чаще вспоминался Саранск, вспоминалась уютная квартира, которая за ними еще сохранялась. Одно время (осенью 1971 года) совсем было уже созрело решение возвратиться к давно обжитому очагу, к прежнему образу жизни. Решение не было осуществлено. То ли по недостатку воли и внутренних сил, то ли по другой какой-то причине. А вскоре пришла беда: 14 декабря 1971 года Елена Александровна скончалась...

Смерть Елены Александровны — неизменного друга и спутника жизни — потрясла Михаила Михайловича так, что и сам-то он оказался буквально у края могилы. Под новый, 1972-й год из Климовска его перевезли в Переделкино и поместили в Доме творчества писателей.

В это время он был уже членом Союза писателей СССР. Принят был в Союз еще 24 ноября 1970 года, притом — вне очереди (которая в обычных условиях растягивается на целый ряд лет). Стало быть, на пребывание в Доме творчества Михаил Михайлович имел право<sup>2</sup>.

Состояние здоровья ученого в эти недели внушало самые серьезные опасения. Но Михаил Михайлович преодолел критическое состояние, восстановил силы и даже некоторую работоспособность. Правда, оставался он в Переделкине до начала сентября 1972 года, то есть в продолжение восьми месяцев. Это было значительное отступление от существовавшего общего правила, ограничивавшего срок пребывания писателей в такого типа учреждениях одним-двумя сроками (по 24 дня каждый).

В те недели и месяцы, в которые М. Бахтин оставался в Доме творчества, восстанавливая свои силы, шли интенсивные хлопоты о получении для него московской прописки. Вопрос этот был решен положительно при участии К. А. Федина, который в то время возглавлял Правление Союза писателей СССР и пользовался поддержкой представителей самых высоких правительственных инстанций. Немало усилий приложил к этому делу и Ф. Ф. Кузнецов, занимавший в ту пору должность первого секретаря Московской писательской организации<sup>3</sup>.

Что касается квартиры, этот вопрос решился уже без участия Моссовета, поскольку она находилась в доме, принадлежавшем Союзу писателей (по ул. Красноармейской д. 21, кв. 42). Это была хорошо благоустроенная двухкомнатная квартира, в которой Михаил Михайлович прожил последние три года своей жизни.

Бытовая сторона жизни Михаила Михайловича хорошо устраивалась при помощи Галины Тимофеевны Гревцово́й, взявшей на себя все хлопотливые обязанности домработницы. Необходимыми денежными средствами он в это время уже располагал. Москва в те годы жила так, что М. Бахтин не испытывал каких-либо трудностей, в особенности — с питанием<sup>4</sup>.

Вскоре после вселения в собственную московскую квартиру из Саранска была привезена его библиотека и мебель. Среди этих вещей находилось и его любимое

кожаное кресло — удобное и теплое, в котором обычно его и видели все, кто навещал ученого. Появился на новом месте и большой его письменный стол, на котором всегда лежали аккуратно сложенные стопки журналов и книг. Выдавались такие часы, когда он мог еще работать — читать и писать, консультировать своих аспирантов из Саранска.

Весной 1973 года большую радость доставила М. Бахтину книга «Проблемы поэтики и истории литературы», подготовленная к изданию кафедрой русской и зарубежной литературы Мордовского университета, которую Михаил Михайлович возглавлял до ухода на пенсию. Книга, вышедшая в свет в Саранске, посвящена 75-летию со дня рождения и 50-летию его научно-педагогической деятельности. Со статьями, посвященными юбиляру, выступили виднейшие литературоведы страны — академики М. П. Алексеев и Д. С. Лихачев, доктора филологических наук С. С. Аверинцев, Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов и другие. В оформлении книги принял участие известный скульптор и график Эрнст Неизвестный: в качестве суперобложки был использован один из его офортов...

Большой интерес вызвала эта книга в научных кругах и нашей страны, и стран зарубежных.

В приличные дни в московской квартире М. Бахтина побывало много гостей, среди которых можно было видеть и хорошо знакомых ему людей, и совершенно незнакомых.

Так шли дни, недели, месяцы. Однако жизнь уже уходила, силы заметно ослабевали.

Состояние здоровья ученого стало резко ухудшаться к концу 1974 года<sup>6</sup>. По всему было видно, что трагическая развязка недалека. Она и наступила 6 марта 1975 года в два часа ночи<sup>7</sup>. Михаилу Михайловичу шел восьмидесятый год...

Погребение ученого состоялось 8 марта в Москве на Введенском кладбище.

Память Михаила Михайловича Бахтина почтили многие органы периодической печати страны. В некрологе, подписанном Д. Лихачевым, Л. Тимофеевым, К. Фединым, В. Шкловским и другими видными учеными и писателями, «Литературная газета» обращалась к своим читателям со словами: «На пороге своего

восьмидесятилетия умер Михаил Михайлович Бахтин, литературовед, филолог, историк культуры. Его широко-известные книги о Достоевском и Рабле не только открыли для нас заново наследие этих величайших художников, но и внесли существенный вклад в науку о литературе. Книги эти переведены на основные языки мира и получили широкое международное признание». Некролог заканчивался словами: «... Его труды ожидает долгая и славная жизнь. С нами остаются глубина мысли, размах обобщений, исследовательская объективность, воплощенные в его книгах»<sup>8</sup>.

Некролог М. Бахтина в день его похорон был опубликован и на страницах республиканской газеты «Советская Мордовия» в Саранске. «Советское литературоведение, — говорилось в нем, — понесло тяжелую утрату: ушел из жизни замечательный ученый, педагог, человек — Михаил Михайлович Бахтин, вся жизнь которого была посвящена научным поискам, воспитанию подрастающего поколения...

М. М. Бахтин был крупным ученым. Своими исследованиями он продолжил лучшие традиции отечественной филологии. Его книги «Проблемы поэтики Достоевского», «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», многочисленные научные статьи получили широкую признательность в нашей стране и за рубежом.

Смелость творческого поиска сочетались в Михаиле Михайловиче с широтой и глубиной обобщающей мысли. В своих поисках он всегда исходил из интересов науки.

Каждый, кому довелось работать с Михаилом Михайловичем Бахтиным, встречаться с ним, навсегда сохранят к нему чувство искреннего уважения и глубокой признательности»<sup>9</sup>.

Так завершился жизненный путь Михаила Михайловича Бахтина, путь, полный разных лишений, мучительных тревог и немногих, редких радостей. Бывали у него (как мы видели) такие повороты судьбы и состояния, когда он оказывался «на грани», на «последнем» рубеже. Надо было обладать поистине громадными нравственными силами и высокой философской мудростью, чтобы выстоять и, выстояв, преодолеть вставшие на пути «границы» и «рубежи». Помогал природный юмор,



полное безразличие к материальным благам, к внешним почестям и признаниям. Неисчерпаемым источником оптимизма и жизнелюбия были его научные увлечения, огромный исследовательский опыт. Михаил Михайлович никогда не считал свой жизненный путь каким-то исключением из общего правила. Напротив, он считал и говорил о том, что вполне счастлив тем, что разделил все невзгоды жизни с родным народом, с лучшей частью русской интеллигенции. Той интеллигенции, которая отказалась принимать режим ГУЛАГа, и признавать в последней инстанции «единственно правильное учение»...

\* \* \*

В последние годы жизни М. Бахтин не переставал заниматься исследовательской работой. К этим годам относится ряд его работ. Среди них: «Ответ на вопрос редакции «Нового мира», «Из записей 1970—1971 годов», «К методологии гуманитарных наук» и «Заметки». В них — итог его шестидесятилетних размышлений над принципиальными теоретическими проблемами литературоведения и филологии (в бахтинском понимании).

Основной порок литературоведения этого времени (1950—1970-х годов) М. Бахтин видел в отсутствии в ней «смелой постановки общих проблем», «открытий новых областей или отдельных значительных явлений в необозримом мире литературы», «настоящей и здоровой борьбы научных направлений». Боязнь исследовательского риска и смелых гипотез приводит к «господству трюизмов и штампов» (IV, 347).

Отрицательно оценивая общее состояние советского литературоведения той поры, Михаил Михайлович не отверг огульно всего того, что делалось отдельными учеными. Из общего серого фона он выделил и отрядные, хотя и немногие, явления. Выделил, в частности, книги Н. Конрада («Запад и Восток») и Д. Лихачева («Поэтика древнерусской литературы»), школу Ю. М. Лотмана («Труды по знаковым системам», издававшимся в Тарту).

Из многих задач, стоявших перед литературоведением тех лет, Михаил Михайлович выделил две, взаимо-

связанные друг с другом и касающиеся только истории литературы прошлых эпох. Он, во-первых, обратил свое внимание на то, чтобы наше литературоведение установило «более тесную связь с историей культуры»; во-вторых, предостерег исследователей от опасности, от соблазна замыкать культуру эпохи (как бы ни отстояла она от нас во времени) «в себе как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее, умершее» (IV, 352).

Развивая идеи, высказывавшиеся им ранее, ученый утверждал: «Литература — неотрывная часть культуры, ее нельзя понять вне целостного контекста всей культуры данной эпохи. Ее недопустимо отрывать от остальной культуры и, как это часто делается, непосредственно, так сказать, через голову культуры соотносить с социально-экономическими факторами» (IV, 348).

М. Бахтин предостерегал от увлечений вопросами специфики литературы, чуждых традициям русской науки (в трудах Потебни и особенно Веселовского). В связи с этим ученый повторил одно из принципиальных положений своих философско-литературоведческих воззрений: не забывать взаимосвязей и взаимозависимостей различных областей культуры, помнить, что «границы этих областей не абсолютны», что «наиболее напряженная и продуктивная жизнь культуры протекает на границах отдельных областей ее, а не там и не тогда, когда эти области замыкаются в своей специфике» (IV, 348—349). Ученый выступил против сведения изучения литературного процесса к поверхностному описанию борьбы литературных направлений, газетно-журнальной шумихи. В это же время «глубинные течения культуры (в особенности низовые, народные), действительно определяющие творчество писателей, остаются нераскрытыми, а иногда и вовсе не известными исследователям» (IV, 349).

Не менее пагубным считал М. Бахтин и стремление ограничить, «замкнуть» произведение литературы в рамках одной эпохи — эпохи его создания. При таком подходе к литературным явлениям мы не сможем понять ни его *глубинных* корней, ни его жизни в будущих веках. В связи с этим ученый вводит понятия «малого» и «большого» времени. Великие произведения литературы потому и являются великими, что они живут

в веках, т. е. в «большом времени». «Все, что принадлежит только к настоящему, умирает вместе с ним» (IV, 350).

Важнейшим моментом методологии М. Бахтина является его убеждение в том, что великие произведения искусства, перерастая рамки своего времени, вырываясь за грани этого времени, продолжают обогащаться новыми значениями и смыслами. «Смысловые явления, — утверждал он, — могут существовать в скрытом виде, потенциально и раскрываться только в благоприятных для этого раскрытия смысловых культурных контекстах последующих эпох. Смысловые сокровища, вложенные Шекспиром в его произведения, создавались и собирались веками и даже тысячелетиями: они таились в языке, и не только в литературном, но и в таких пластах народного языка, которые до Шекспира еще не вошли в литературу, в многообразных жанрах и формах речевого общения, в формах могучей народной культуры (преимущественно карнавальных), слагавшихся тысячелетиями, в театрально-зрелищных жанрах (мистерийных, фарсовых и др.), в сюжетах, уходящих своими корнями в доисторическую древность, наконец, в формах мышления» (IV, 351).

В жизни великих произведений искусства в «большом времени» большую роль отводил ученый жанровым формам. Для писателя-ремесленника жанр — шаблон, для истинного художника — форма реализации заложенных в нем возможностей.

В итоге размышлений, ученый приходит к выводу: «Автор — пленник своей эпохи, своей современности. Последующие времена освобождают его из этого плена, и литературоведение призвано помочь этому освобождению» (IV, 352).

Другую важную задачу литературоведения М. Бахтин видел в том, чтобы рассматривать единство определенной культуры как *открытое* единство. В этой связи ученый предостерегал литературоведов от повторения идей Освальда Шпенглера, представлявшего себе «культуру эпохи как замкнутый круг».

Говоря о новых смысловых глубинах, заложенных в культурах прошлого, Михаил Михайлович обратил внимание на то, что речь в данном случае идет не о расширении наших фактических, материальных знаний о

них, этих смысловых глубинах. Фактические данные постоянно добываются, и это очень важно. Добываются археологическими раскопками, открытиями новых текстов, усовершенствованием их расшифровки и т. п. Все это «новые материальные носители смысла», «тела смысла». «Но,— продолжает ученый,— между телом и смыслом в области культуры нельзя провести абсолютной границы: культура не создается из мертвых элементов, ведь даже простой кирпич, как мы уже говорили, в руках строителя что-то выражает своей формой» (IV, 353).

М. Бахтин против теории «вживания» в чужую культуру с целью ее лучшего понимания. Известное «вживание» необходимо, но оно односторонне: в этом случае мы не сможем выйти за ее границы, не вынесем из нее для себя ничего нового. Все сведется к простому дублированию. «Великое дело для понимания — это *внезаходимость* понимающего — во времени, в пространстве, в культуре — по отношению к тому, что он хочет творчески понять» (IV, 353).

Идея «внезаходимости» связывается теперь с диалогом. «Мы,— утверждает М. Бахтин,— ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины. Без *своих* вопросов нельзя творчески понять ничего другого и чужого... При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и *открытую* целостность, но они взаимно обогащаются» (IV, 354).

«Из записей 1970—1971 годов» — так называется условно вторая (по времени завершения) работа М. Бахтина. В ней он касается многих проблем филологических знаний.

Опираясь на многовековой опыт европейской литературы, ученый, в частности, высказал здесь свой взгляд на писателя (автора); несколько отличный от прежнего своего понимания.

Писатель нашего времени, по словам М. Бахтина, пришел на смену творцам былых «высоких, вещающих жанров» — жрецов, пророков, проповедников, судей, вождей, патриархальных отцов и пр., которые уже ушли

из жизни, оставив современным писателям свои стили. Писатели наших дней либо стилизуют своих предшественников, либо пародируют их. Своего стиля у современного писателя еще нет, ему еще надо его выработать. «Все вещающие жанры,— продолжает ученый,— сохраняются главным образом как пародийные и полупародийные конструктивные части романа. Язык Пушкина — это именно такой, пронизанный иронией (в разной степени), оговорочный язык нового времени» (IV, 355).

Проблема писателя (автора), по мнению М. Бахтина, остро встала в XVIII веке в связи с падением авторитетов и авторитарных форм языка. Возникла форма простого рассказа, близкого по языку к разговорному. Рассказчик — не маска, а обыкновенное лицо обыкновенного человека. Со ссылкой на Мартина Хайдеггера, М. Бахтин так формулирует свою мысль: «Само бытие говорит через писателя, его устами...» (IV, 373).

Хайдеггер, как известно, видел в писателе нечто вроде медиума, через посредство которого рождающееся в недрах бытия *слово* выговаривается миру...

Заслуживает внимания мысль М. Бахтина о *слове* как последней (высшей) цели. Ученый считал, что каждый элемент речи воспринимается в двух планах: в плане повторимости языка и неповторимого высказывания. «Через высказывание язык приобретает к исторической неповторимости и незавершенной целостности логосферы» (IV, 357).

В «Записях 1970—1971 годов» их автор часто возвращается к проблемам языка и поэтической речи. Все это в своих истоках восходит еще к 1920-м и более поздним годам. И снова — о высказывании. «Не может быть изолированного высказывания,— говорит он.— Оно всегда предполагает предшествующие ему и следующие за ним высказывания. Ни одно высказывание не может быть ни первым, ни последним. Оно только звено в цепи и вне этой цепи не может быть изучено. Между высказываниями существуют отношения, которые не могут быть определены ни в механических, ни в лингвистических категориях. Они не имеют себе аналогий» (IV, 359).

В процессе понимания, говорит М. Бахтин, про-

исходит встреча двух сознаний. Второе сознание, т. е. сознание понимающего и отвечающего, неисчерпаемо: «в нем потенциальная бесконечность ответов, языков, кодов. Бесконечность против бесконечности» (IV, 359—360).

Этому явлению М. Бахтин находит аналогию в природе, в мире материальном в соотнесении его с миром духовным. «С появлением создания в мире (бытии), а может быть и с появлением биологической жизни... мир (бытие) радикально меняется. Камень остается каменным, солнце — солнечным, но событие бытия в его целом (незавершенное) становится совершенно другим, потому что на сцену земного бытия впервые выходит новое и главное действующее лицо события — свидетель и судья. И солнце, оставаясь физически тем же самым, стало другим, потому что стало осознаться свидетелем и судьей. Оно перестало просто быть, а стало быть в себе и для себя (эти категории появились здесь впервые) и для другого, потому что оно отразилось в сознании другого (свидетеля и судьи): этим оно в корне изменилось, обогатилось, преобразилось. (Дело идет не об «инобытии». )

Этого нельзя понимать так, что бытие (природа) стало осознать себя в человеке, стало самоотражаться. В этом случае бытие осталось бы с самим собою, стало бы только дублировать себя самого... Нет, появилось нечто абсолютно новое, появилось *надбытие*. В этом надбытии уже нет ни грана бытия, но все бытие существует в нем и для него» (IV, 360—361).

М. Бахтин считал, что и человек в своем самосознании не остается одиноким. И в самосознании человека появляется нечто совершенно новое — надчеловек, т. е. свидетель и судья *всего* человека, т. е. появляется не *я*, а *другой*. Свобода свидетеля и судьи выражается в *слове*. «Истина, правда присущи не самому бытию, а только бытию познанному и изреченному» (IV, 361).

Мир литературы М. Бахтин считал необозримым, безграничным, подобно вселенной. Речь идет о смысловых глубинах мира культуры и литературы. Здесь — «бесконечное разнообразие осмыслений, образов, образных смысловых сочетаний, материалов и их осмыслений и т. п.». «Мы страшно сузили его путем отбора и путем

модернизации отобранного. Мы обедняем прошлое и не обогащаемся сами» (IV, 364).

Вновь и вновь обращается М. Бахтин к проблеме «чужого» слова, высказывания, речевого произведения. Под «чужим» словом понимается «всякое слово всякого другого человека», то есть «всякое не мое слово» (IV, 367). Отсюда следует, что «вся моя жизнь является ориентацией в этом мире, реакцией на чужие слова (бесконечно разнообразной реакцией), начиная от их освоения (в процессе первоначального овладения речью) и кончая освоением богатств человеческой культуры (выраженных в слове или в других знаковых материалах)» (IV, 367). Все это требует глубокого изучения, потому что именно на границах своих и чужих слов происходит «напряженная диалогическая борьба». Между тем гуманитарные науки, или науки о духе, игнорировали изучение этого явления. Не было ясного понимания того, что их предмет не один, а два «духа» (изучаемый и изучающий). Отсюда вывод: «настоящим предметом является взаимоотношение и взаимодействие «духов» (IV, 368).

М. Бахтин не приемлет попытку понять взаимодействие с чужим словом путем фрейдовского психоанализа и «коллективного бессознательного». То, что раскрывают психиатры, сохранилось не в бессознательном (хотя бы и коллективном), говорит ученый, а «закреплено в памяти языков, жанров, обрядов», откуда «оно проникает в речи и сны (рассказанные, сознательно вспомненные) людей...» (IV, 368).

В процессе диалогического общения чужое слово превращается в субъект (другое я).

Диалог — универсальная категория бахтинской мысли. То, что выпадает из диалога, лишено смысла. «Смыслами, — говорит ученый, — я называю ответы на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла» (IV, 369).

Смысл универсален, ему присущи «всемирность и всевременность». «Смысл, — продолжает М. Бахтин, — бесконечен, но актуализоваться он может, лишь соприкоснувшись с другим (чужим) смыслом, хотя бы с вопросом во внутренней речи понимающего. Каждый раз он должен соприкоснуться с другим смыслом, чтобы раскрыть новые моменты своей бесконечности (как и

слово раскрывает свои значения только в контексте)... Поэтому не может быть ни первого, ни последнего смысла, он всегда между смыслами, звено в смысловой цепи, которая только одна в своем целом может быть реальной. В исторической жизни эта цепь растет бесконечно, и потому каждое отдельное звено ее снова и снова обновляется, как бы рождается заново» (IV, 370).

М. Бахтин считал, что диалектика выросла из диалога, хотя и несводима к нему. Диалектика — абстрактное сознание, в котором отсутствуют голоса, эмоционально-личностные интонации.

Диалог М. Бахтин отличал и от риторического спора. Цель спора — победить противника, цель диалога — постижение истины. «В диалоге уничтожение противника, — говорит ученый, — уничтожает и самую диалогическую сферу жизни слова» (IV, 375)

Высшей диалогической формой М. Бахтин считал диалог полифонический. Это — диалог по последним вопросам бытия незавершимых личностей. Такой диалог отличен от диалога психологических субъектов. «Всякий большой писатель, — говорит он, — участвует в таком диалоге, участвует своим творчеством как одна из сторон этого диалога; но сами они не создают полифонических романов» (IV, 376).

Величие Достоевского М. Бахтин и видит прежде всего в том, что он, в отличие от своих современников, сумел «прощупать в борьбе мнений и идеологий (разных эпох) незавершимый диалог по последним вопросам (в большом времени)... Другие заняты разрешимыми в пределах эпохи вопросами» (IV, 376).

В области журналистики Достоевский-полифонист, по мнению М. Бахтина, утрачивал это свое качество. Здесь — «резкое сужение горизонта, исчезает всемирность его романов, хотя проблемы личной жизни героев сменяются проблемами общественными, политическими» (IV, 377).

Со спецификой речевого общения (высказывания) М. Бахтин связывал различные формы речевого авторства (от простейших высказываний до больших литературных жанров). Отмечал при этом, что форма авторства определяется жанром высказывания, а сам жанр — предметом, целью и ситуацией высказывания.



«Кто говорит и кому говорят. Всем этим определяется жанр, тон и стиль высказывания: слово вождя, слово судьи, слово учителя, слово отца и т. п. Этим определяется форма авторства. Одно и то же реальное лицо может выступать в разных авторских формах» (IV, 378).

Необозримым считал М. Бахтин многообразие речевых жанров и авторских форм в бытовом общении (занимательные и интимные сообщения, просьбы и требования разного рода, любовные признания, препирательства и брань, обмен любезностями и т. п.). При этом формы эти «различны по иерархическим сферам: фамильярная сфера, официальная и их разновидности» (IV, 378).

Мы коснулись здесь лишь части разнообразного по форме содержания бахтинских «Записей 1970—1971 годов». Они характерны именно тем, что в них в сжатой форме М. Бахтин затронул многое из того, что занимало его в продолжение всей предшествующей творческой деятельности.

«К методологии гуманитарных наук» — другая работа М. Бахтина, во многом сходная с его «Записями 1970—1971 годов». Последняя (по времени) авторская редакция этого материала относится к началу 1974 года. Однако работа над ним была начата еще на рубеже 1930—1940-х годов<sup>10</sup>.

В своем фрагменте «К методологии гуманитарных наук» мы находим определение самого понятия «гуманитарные науки». «Гуманитарные науки,— говорит М. Бахтин,— науки о духе — филологические науки (как часть и в то же время общее для всех них — слово)» (IV, 384)<sup>11</sup>.

М. Бахтин вновь возвращается здесь к всегда интересовавшей его проблеме авторства. Но повторения — нет. Напротив, есть развитие мысли и ее движение вперед.

Ведущая мысль М. Бахтина: «автор произведения присутствует только в целом произведении, и его нет ни в одном выделенном моменте этого целого «...» Он находится в том невыделимом моменте его, где содержание и форма неразрывно сливаются, и больше всего мы ощущаем его присутствие в форме» (IV, 382—383).

Литературоведы обычно ищут автора в содержании,

выделенном из целого произведения. В конечном счете отождествляют его с автором-человеком определенного времени, определенной биографии и определенного мировоззрения.

В трактате «Автор и герой в эстетической деятельности» М. Бахтин писал, что автор находится на границе создаваемого им художественного мира, занимая позицию вневходимости и обладая избытком видения. Это убеждение подтверждается. Именно поэтому, по его словам, автор «не может стать образом, ибо он создатель всякого образа, всего образного в произведении». И потому «так называемый образ автора может быть только одним из образов данного произведения (правда, образом особого рода)... Автор создающий не может быть создан в той сфере, в которой он сам является создателем... Творца мы видим только в его творении, но никак не вне его» (IV, 383).

Основные формы мышления — монологизм и диалогизм — привлекли внимание ученого и в данных фрагментах. Точные науки и науки гуманитарные — разные, принципиально несхожие науки.

В точных науках интеллекту (познающему, созерцающему) противостоит *безгласная вещь*. Интеллект созерцает *вещь* и выносит о ней свое суждение. Здесь возможна только монологическая форма знания.

В науках гуманитарных интеллекту (субъекту) противостоит не *безгласная вещь*, а *другой субъект* — «выразительное и говорящее бытие». В этом случае познание может быть только диалогическим. В диалоге каждое слово (знак) текста выводит за его пределы. Понимание есть не что иное, как соотнесение данного текста с другими текстами. В связи с этим М. Бахтин наметил своеобразную схему понимания (познания): «... исходная точка — данный текст, движение назад — прошлые контексты, движение вперед — предвосхищение (и начало) будущего контекста...».

Текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом)... Этот контакт есть диалогический...» (IV, 384).

За контактом текстов стоит контакт личностей. Если в диалоге исчезнут голоса личностей и диалог превратится в один сплошной текст (монологическая диалектика Гегеля), то глубинный (бесконечный) смысл

исчезнет, и мы ощутим границу, дно. Так рождаются догматические мысли. Это — «мысль, которая, как рыбка, в аквариуме, наталкивается на дно и на стенки и не может плыть больше и глубже» (IV, 385).

Мысль по природе своей безгранична: она «смыкает все поставленные раньше точки», она «знает только условные точки» (IV, 385).

М. Бахтин считал необычайно важным заставить *заговорить* вещную среду, превратить ее в *смысловой контекст* мыслящей, говорящей, поступающей и творящей личности (об этом шла речь еще в трактате 20-х годов «Автор и герой в эстетической деятельности») <sup>12</sup>.

В превращении вещи в смысл, по мнению ученого, наибольшей глубины достиг Достоевский, который умел раскрывать смысловой потенциал вещного мира и приобщать его к словесно-смысловому контексту.

Из писателей прошлого подобные творческие задачи гениально решал Шекспир. В одной из своих рецензий М. Бахтин так писал об этом: «Сцена шекспировского театра — весь мир (*Theatrum Mundi*). Это придает ту особую значительность, часто величественность каждому образу, каждому действию, каждому слову в трагедиях Шекспира, которые никогда уже более не возвращались в европейскую драму (после Шекспира все измельчало в драме). С этим связана и особая космичность (и микрокосмичность) образов. Шекспира. Космические тела и силы — солнце, звезды, воды, ветры; огонь — или прямо участвуют в действии, или постоянно фигурируют, притом именно в своем космическом значении, в речах действующих лиц» (IV, 431).

В художественную структуру произведения М. Бахтин включал и читателя (слушателя, созерцателя). В исследованиях 1920-х годов эта мысль звучала еще приглушенно. Теперь она зазвучала в полную силу. Читатель (слушатель) — третий участник эстетического события (наряду с автором и героем произведения).

М. Бахтин не приемлет представления об идеальном, всепонимающем слушателе, читателе. Такой идеальный слушатель (читатель) может только дублировать столь же идеального (и потому абстрактного) автора. В этом случае все сведется к тавтологическим абстракциям. Между тем слушатель (читатель, созерцатель) должен вступить с автором в сотворческий диалог. Только в

этом случае он может внести в произведение нечто новое, нечто свое и тем дать толчок, новый импульс развитию и движению мысли вперед. Подобное может состояться только в том случае, если слушатель (читатель) займет позицию другости по отношению к писателю (автору). Позиция другости даст ему тот избыток видения, без которого не может быть и истинного понимания, в конечном счете — эстетического события.

С этим убеждением М. Бахтина связан другой ряд его размышлений. Он считал, что текст произведения (записанный или устный) еще не равняется всему произведению (или «эстетическому объекту»). «В произведение, — говорит он, — входит и необходимый внетекстовый контекст его. Произведение как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста...» (IV, 390).

Каждая новая историческая эпоха рождает новый интонационно-ценностный контекст, новую музыку, вследствие чего произведение всякий раз приобретает новое звучание. Так складывается сложное единство культуры человечества. В связи с этим М. Бахтин писал: «Взаимопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и культур обеспечивает сложное единство всего человечества, всех человеческих культур..., сложное единство человеческой литературы. Все это раскрывается только на уровне большого времени. Каждый образ нужно понять и оценить на уровне большого времени. Анализ обычно копошится на узком пространстве малого времени, то есть современности и ближайшего прошлого и представимого — желаемого или пугающего — будущего... Особый характер пророческого отношения к будущему. Отвлечение от себя в представлениях о будущем (будущее без меня)» (IV, 390).

М. Бахтин считал, что есть два предела мысли и практики (поступка) или два типа отношений — вещь и личность. И потому утверждал: «Чем глубже личность, то есть ближе к личностному пределу, тем неприложимее генерализующие методы, генерализация и формализация стирают границы между гением и бездарностью» (IV, 391).

Наша мысль и наша практика (моральная, т. е. наши ответственные поступки) совершаются между двумя пределами — овеществлением и персонификацией. Предел персонализации — «я во взаимоотношении с дру-

гими личностями, то есть я и другой, я и ты» (IV, 391).

Двумя замечаниями заключил М. Бахтин свои размышления в статье, о которой идет речь: о своем отношении к формализму и структурализму.

Положительное значение формализма, по его мнению, заключалось (в прошлом) в постановке новых проблем, в исследовании новых сторон искусства. А «новое всегда на ранних, наиболее творческих этапах своего развития принимает односторонние и крайние формы» (IV, 393).

Что касается структурализма, М. Бахтин не приемлет «замыкания в текст» сторонников этого направления. В структурализме только один субъект — субъект самого исследователя. «Я же, — продолжает М. Бахтин, — во всем слышу *голоса* и диалогические отношения между ними» (IV, 393).

И здесь, в статье «К методологии гуманитарных наук», мы коснулись лишь некоторых основных проблем, поставленных ее автором.

«Заметки» — так условно называются записи М. Бахтина, начатые им еще в 1920-е годы и продолжавшиеся в последующие годы и десятилетия (последние записи относятся к 1974 году). В «Заметках», по словам их составителей, «продумывались главные темы его научного творчества и готовились его большие труды» (V, 534).

Начало «Заметок» составили идеи, которые были развиты ученым еще в его трактате «Автор и герой в эстетической деятельности». Речь, в частности, идет о единстве мира эстетического видения. Центром этого мира является человек. Все в этом мире приобретает значение; смысл и ценность только в соотношении с человеком, все располагается вокруг него как единственной ценности. Эстетическое видение здесь не знает границ. «Человек здесь вовсе не по хорошему мил, а по милу хорош» (V, 509). Человек здесь выступает «как любовно утвержденная конкретная действительность» (V, 510). Эстетическое видение не стирает границу между добром — злом, красотой — безобразием, истиной — ложью. Но и при всем при этом эти различия «объемлются всеприемлющим любовным утверждением человека» (V, 510).

Равнодушная или неприязненная реакция есть

всегда обедняющая реакция, разлагающая предмет. «Только любовь может быть эстетически продуктивной, только в соотношении с любимым возможна полнота многообразия» (V, 511). Только любовь способна развить достаточно силы, чтобы «напряженно замедлить над предметом, закрепить, вылепить каждую мельчайшую подробность и деталь его» (V, 511).

В связи с этим в «Заметках» рассмотрен и вопрос о человеке как об эмоционально-волевом центре конкретного многообразия бытия мира, который открывается ему с его «единственного места».

Заслуживают внимания размышления М. Бахтина о разложении эпопеи и создании новых эпических жанров. В этих процессах, считал он, велика роль Гесиода (автора «Теогонии» и «Трудов и дней») и авторов «Песни о Роланде» и «Слова о полку Игореве».

Особенность «Слова о полку Игореве» М. Бахтин видит в том, что «это не песнь о победе, а песнь о *поражении* (как и «Песнь о Роланде»). Поэтому сюда входят существенные элементы хулы и посрамления... Основой жанра остается форма героической эпопеи (*прославление* героического прошлого дедов и отцов). Но предметом здесь служит *выпадение* из дедовской славы». Отсюда фольклорные элементы «плача», с одной стороны, и «*посрамления*», с другой...» (V, 517).

С борьбой мрака со светом, жизни со смертью связан и круг образов битвы и смертей (как посева, жатвы, молотбы, пира... ).

«Слово о полку Игореве» — не только эпопея о поражении. Характерно, по мнению М. Бахтина, и то, что герой, претерпев временную смерть ( плен, «рабство»), возрождается и не погибает.

М. Бахтин говорит о своем убеждении в том, что «народ никогда не разделяет до конца пафоса господствующей правды» (V, 513—514).

Живя и работая в условиях тоталитарного режима, М. Бахтин не мог не видеть всей тщетности официальных идеологов проникнуть в народную душу. Не исключено, что и осознание этого факта легло в основу вывода, который сформулирован им следующим образом: «... Классовый идеолог никогда не может проникнуть со своим пафосом и своей серьезностью до ядра народной души: он встречается в этом ядре с непреодолимой для

его серьезности преградой насмешливой и цинической (снижающей) веселости, с карнавальной искрой (огоньком) веселой брани, растопляющей всякую ограниченную серьезность. Эта карнавальная искра насмешливо-веселой брани, никогда не потухающая в ядре народа,— частица великого пламени (пожара), сжигающего и обновляющего мира...» (V, 514).

Великие произведения искусства века и тысячелетия живут в памяти человечества. «Память,— говорит М. Бахтин,— не обедняет образа: он живет новой жизнью во времени, происходит непрерывное обогащение и обновление его смысла в развивающемся далее контексте мира, ослабляются моменты корыстной практичности, узкой заинтересованности» (V, 520).

М. Бахтин работал над очерками по философии антропологии. Этого вопроса он касался и ранее в своих записях, обратился к нему и в «Заметках». Речь идет о том, каково *мое* представление о *самом себе*. «Образ я или понятие, или переживание, ощущение и т. п. ... Мне не даны мои временные и мои пространственные границы, но другой дан весь. Я вхожу в пространственный мир, другой всегда в нем находится. Различия пространства и времени я и *другого*» (V, 523).

И здесь, в «Заметках», М. Бахтин снова обратился к проблеме автора. Новое в том, что вводятся понятия первичного и вторичного автора. Первичный автор — не созданный, вторичный — образ автора, созданный первичным. «Первичный автор,— говорит М. Бахтин,— не может быть образом: он ускользает из всякого образного представления. Когда мы стараемся образно представить себе первичного автора, то мы сами создаем его образ, то есть сами становимся первичным автором этого образа. Создающий образ (то есть первичный автор) никогда не может войти ни в какой созданный им образ» (V, 525).

И в другом месте: «Сам я могу быть только персонажем, но не первичным автором» (V, 526).

Таковы основные работы М. Бахтина последних лет его жизни.

Таковы основные идеи, развитые им в работах этого времени. В форме часто отрывочных размышлений, обобщений и выводов ученый как бы подытожил свой тернистый путь в науке, полный неустанных творческих исканий.

## IX. В ДИАЛОГЕ НАШИХ ДНЕЙ

(Вместо заключения)

*Нельзя быть великим в своем времени, величие всегда апеллирует к потомкам, для которых оно станет прошлым.*

М. Бахтин



В течение около шести десятилетий продолжалась научно-теоретическая деятельность М. Бахтина в области гуманитарных наук, важнейшей составной частью которых он считал всю совокупность филологических знаний. Это тем более поразительно, что сочеталась она с его неустанным трудом на ниве народного просвещения и образования.

Своеобразие творческого облика М. Бахтина определяется тем, что система его взглядов сложилась в основном в 1920-х годах. Сложилась в *диалоге* с важнейшими и *определяющими* тенденциями в развитии русской культуры и культуры Запада на рубеже двух великих столетий — XIX—XX. В этом сложном процессе трудно указать на примеры каких-либо непосредственных *влияний*, хотя они, наверное, были и со временем будут отмечены. Пока же перед нами непреложный факт: все воспринятое М. Бахтиным от его предшественников или современников вышло из-под его пера творчески преобразованным и в высшей степени *оригинальным*.

В сохранившихся фрагментах книги «Роман воспитания и его значение в истории реализма» М. Бахтин писал: «Человеческое творчество обладает своей внутренней закономерностью, оно должно быть человеческим (и граждански целесообразным), но оно должно быть *необходимым*, последовательным и истинным как природа. Всякая произвольность, выдуманность, отвлеченное фантазирование для Гёте отвратительны» (IV, 232).

Эти слова М. Бахтин мог бы с полным основанием



адресовать и самому себе. Все, что было им свершено, внутренне закономерно, необходимо и граждански целесообразно. Об этом едва ли не в один голос говорят исследователи его творческого наследия.

В статье «Философия литературы М. М. Бахтина» ее автор обоснованно утверждает: «Путь Бахтина в науке выглядит цельным и устойчивым. ... 1919—1974—таковы хронологические рамки известных сегодня работ М. М. Бахтина. Однако на протяжении этих 55 лет принципиальная позиция ученого в сущности не менялась. Можно говорить не об эволюции, развитии Бахтина-ученого, а о постепенном раскрытии, разворачивании определенного круга идей, объединяемых единым смысловым центром. В наброске предисловия к неосуществленной книге избранных статей Бахтин писал: «Предлагаемый сборник моих статей объединяется одной темой на разных этапах ее развития. Единство становящейся (развивающейся) идеи» (с. 360)»<sup>1</sup>.

Другой исследователь, автор недавно вышедшей книги «Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры», творческое наследие ученого, единое и цельное, уподобил «единовременному кристаллу»: «...Годы 1918—1975 сжимаются в один год, все произведения этих лет — в одно произведение»<sup>2</sup>.

В этом своем своеобразии М. Бахтин и вошел в научный диалог нашего времени. Основные его исследования, статьи и книги, «не устарели не только как «следы эпохи», но и в качестве участников современного, даже самоновейшего литературоведческого, эстетического поиска»<sup>3</sup>.

В заметках «К методологии гуманитарных наук», переработанных в самом конце жизненного пути, М. Бахтин писал о том, чтобы всякий исследователь обязательно стремился и умел «добраться, углубиться до творческого ядра личности», потому что «в творческом ядре личность продолжает жить, то есть бессмертна» (IV, 392).

Естественен вопрос о «творческом ядре» самого М. Бахтина и его творческого наследия. В ответах на этот вопрос принципиальных расхождений между исследователями нет, хотя в некоторых акцентах и есть своеобразие.

«При всем многообразии научных интересов и лите-

ратурных пристрастий,— говорит Н. Тюльпанов,— предметом исследования Бахтина является слово, его жизнь. Не частности привлекают его внимание, не механизм словообразования, а духовная сущность слова. Бахтин исследует синтетический образ слова, цельный и единый его характер, его поведение как в литературном произведении, так и в протяженности времени, в его взаимоотношениях с предметом, на который оно направлено»<sup>4</sup>.

Иной акцент в позиции Вл. Новикова, который как бы продолжил мысль Н. Тюльпанова. «Так или иначе,— писал он,— но до Бахтина никто столь остро не ощущал и так зримо не выявлял наличие в слове второго голоса. «Внутренний диалог» — едва ли не самое крупное общезстетическое открытие Бахтина. В этом смысле его прочтение романов Достоевского, замечания о «Евгении Онегине» еще долго будут школой понимания для историков литературы...»<sup>5</sup>

Мысль о диалоге как ключевом понятии в общей системе взглядов М. Бахтина поддержана А. П. Казаркиным. «Контрапункт, или диалог разнонаправленных начал, по Бахтину, есть основа движения культуры. Полифония идей — источник прогрессивного развития культуры — эта ключевая мысль легла в основу разработанного ученым функционального метода»<sup>6</sup>.

О диалоге как всеобщей, универсальной идее М. Бахтина, о сущности диалогического мышления, утверждаемом им, много и убедительно говорит в своих исследованиях последних лет В. С. Библер. Прежде всего и в особенности в недавно вышедшей его книге «Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры». «Для Бахтина,— читаем мы здесь,— «диалог» никоим образом не «сообщение» (некое одноразовое бытие...), но бездонная воронка, втягивающая в себя (виток за витком) все бытие человека. Бахтинский диалог есть лишь там, где есть «диалог диалогов»,— бесконечная и незавершимая (хотя и замкнутая «на смысл») спираль речевых высказываний (вопрос — ответ — вопрос; согласие; переосмысление; возмущение и моление; ожидание чужого слова и отталкивание от него... )»<sup>7</sup>.

В связи с бахтинским пониманием сущности диалога и диалогического мышления естественно встает вопрос о возможных предшественниках нашего ученого. Ука-

зывают обычно на таких «диалогистов», как Р. Гирцель и М. Бубер<sup>8</sup>, под влиянием которых к идее диалога будто бы пришел и М. Бахтин.

Имея в виду эти аналогии, В. С. Библер убедительно показал их несостоятельность. «Страшно некультурны,— говорит автор,— обычные речевые обороты любителей аналогий. К примеру, такие (слышать это приходилось не раз...): «Что Вы носитесь с «диалогизмом» Бахтина. Скажите — новость! Уже Гирцель (или — Бубер, или... Гёте говорили о диалоге то же самое... Да и надоел этот вечный диалог... Ведь и монологи на свете есть...» И т. д. и т. п.

... Сейчас, когда в связи с работой над книгой я перечитал всех иных «диалогистов», то поразился, насколько все непохоже, если только... не вырывать бахтинское понятие диалога (идею диалога) из силовых линий целостной его концепции»<sup>9</sup>.

О собственном же понимании бахтинского диалога В. С. Библер говорит: «Конечно, если взять у Бахтина лишь слово «диалог» и не заметить всей системы связанных воедино понятий, и не заметить ту преобразующую роль, которую играет бахтинское понятие диалога во всех сферах гуманитарного мышления, и если пройти мимо тех метаморфоз, которые происходят с этим понятием в каждой из этих сфер,— в «философской антропологии»,— в «текстологии»,— в «филологии»,— в «культурологии» (ведь после каждого из таких погружений бахтинский диалог выходит обновленным, конкретизированным, перестроенным) — если всего этого не заметить, то понятие «диалог» становится пустышкой, легко включаемой в любое словоупотребление этого термина. Ключ становится отмычкой, впрочем,— отмычкой, непригодной даже для взлома»<sup>10</sup>.

Собственную задачу автор усматривает в том, чтобы «понять цельность идей Бахтина, их неразложимое ядро, откуда излучаются все детали, понятия, повороты мысли. Мне необходимо показать, как опасно для такой цельности разложение концепции Бахтина на отдельные расхожие термины и заклинания»<sup>11</sup>.

Смысл творческой деятельности М. Бахтина В. С. Библер видит в открытии «основ гуманитарного мышления, понятого в его действительной, онтологически значимой всеобщности». Смысл этот, по его

убеждению, реально воплотился в поэтике культуры. «Бахтинская идея культуры,— продолжает исследователь, «...» — это идея культуры как средоточия всех иных (социальных, духовных, логических, эмоциональных, нравственных, эстетических) смыслов человеческого бытия. Таким средоточием мучений человеческой мысли и душевной жизни, полем «последних решений» человеческой судьбы культуры становится, на мой взгляд, только в XX веке (в начале века, в его первой четверти). В этом смысле культура в XX веке — это проблема не только так называемых «культурных людей», — нет, это проблема жизни (в той мере, в какой жизнь становится духовной проблемой) каждого человека, страдающего болезнями XX века, здорового его здоровьем... Загадка культуры,— ее возникновения, бытия и гибели,— становится личным мучением человеческого духа, даже в восприятиях явлений природы, в повседневности быта»<sup>12</sup>.

Здесь, к сожалению, не представляется возможным дать развернутую картину всего того, что нашло свое воплощение в книге В. С. Библера.

Различные аспекты проблемы диалогического мышления, разработанные М. Бахтиным, явились предметом внимательного рассмотрения в сборнике под названием «Диалог в культуре». Авторы исходят из убеждения в том, что «диалог, понятый именно как некий фундаментальный принцип жизнедеятельности культур, указывает на существенную потребность одной культуры в другой»<sup>13</sup>.

Одна из великих заслуг М. Бахтина усматривается в том, что он перевел понятие «диалог» из литературного жанра в «философскую категорию» и показал мертвящий характер монологизма, опирающегося на карающую мощь авторитарного режима власти. Эта проблема обстоятельно освещена, в частности, в статье И. В. Кондакова «О диалогизме культур».

И. В. Кондаков справедливо отметил тот непреложный факт, что «обоснование принципа диалогизма в отношениях между культурами — одна из самых глубоких, самых заветных и самых продуктивных идей М. М. Бахтина, получивших свое выражение и развитие в целом ряде его выдающихся работ, вошедших по праву в золотой фонд отечественной и мировой культуры»<sup>14</sup>.

В статье убедительно показана деградация человеческой личности в условиях тоталитарного строя. «Авторитарное слово,— читаем мы в ней,— рано или поздно запутывающееся во лжи, первоначально корыстно, ради собственного спасения, с оглядкой на «третьего» — высшую цель, оправдывающую любые средства, т. е. «лазеечное слово адресат» (IV, 323), обречено на смерть, разоблачение, компрометацию в большом времени. И это всегда так, несмотря на все тщетные, лихорадочные и агонизирующие притязания на прижизненное бессмертие, на вечность. Автор авторитарного слова не может, рано или поздно, пройдя через все круги кровавого террора и насилия, не прийти к неверию самому себе, к неуслышанности самого себя собою же. Потрясают зафиксированные Н. С. Хрущевым в его воспоминаниях слова Сталина, сказанные как бы самому себе (при свидетелях): «Я никому не верю, я сам себе не верю. Пропащий я человек» ... Таков логический конец абсолютного монолога, всеми силами борющегося с любым диалогизмом по отношению к себе и своему «авторитетному слову». Таков логический конец любого тирана, обрекшего себя на вечный страх, одиночество и всеобщую ненависть, внешне рядящуюся при его жизни в любовь, почитание и обожание — конец, блестяще раскрытый в художественной форме Гарсия Маркесом в романе «Осень патриарха»<sup>15</sup>.

При таких обстоятельствах «отстаивавшиеся Бахтиным идеи диалога культур и принцип диалогизма в истории культуры не могли не являться по самой своей сути формой идеологического сопротивления сталинизму и культу вождя, формой интеллектуальной оппозиции деспотическому режиму и идейно-эстетическому оправданию тоталитаризма как такового»<sup>16</sup>.

Возможность внутреннего раскрепощения личности и народа М. Бахтин связывал с существованием и развитием народной смеховой культуры. В книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» он убедительно показал великую и жизнеутверждающую силу смеха. Не удивительно, что этой проблеме посвящены многие сотни статей, реплик и полупных замечаний, заполнивших (и продолжающих заполнять) страницы многих и многих книг, журналов, сборников и газет. Обратим внимание лишь на

некоторые из них, представляющиеся нам принципиально важными.

Книги М. Бахтина, среди них и книгу о Ф. Рабле, академик Д. С. Лихачев назвал «стимулирующими». Ученый подтвердил эту мысль личным примером, выступив еще в самом начале 1970-х годов (при жизни М. Бахтина) со статьей «Древнерусский смех». Д. С. Лихачев писал: «Я не случайно поставил в заглавие этой статьи «древнерусский смех», а не «древнерусский юмор» или «комическое в древней Руси». Помимо того, что значение слов «юмор» и «комическое» существенно разнится от слов «смех» и «смешное», мне важно в самом заглавии подчеркнуть, что я продолжаю некоторые мысли М. М. Бахтина, введшего в литературоведение и фольклористику целый ряд важнейших понятий: «смеховая культура», «смеховые празднества», «средневековый смех», «народный смех», «карнавальный смех» и т. д.»<sup>17</sup>.

Вскоре после смерти М. Бахтина Д. С. Лихачев в соавторстве с А. М. Панченко выступил с книгой «Смеховой мир» Древней Руси». Опираясь на идеи М. Бахтина, авторы книги рассмотрели в ней две основные проблемы: смех как «мировоззрение» и одновременно — как зрелище. То и другое — на материале древнерусской литературы и культуры в целом.

В «Предисловии» авторы писали: «В эпохальном отношении древнерусский смех принадлежит к типу смеха средневекового. Блестящий анализ этого средневекового смеха,— правда, только в его западно-европейском выражении, без каких-либо попыток заглянуть в Древнюю Русь,— дан в замечательной; стимулирующей книге М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (М., 1963). Без этой — ставшей всемирно известной — книги не могла бы быть написана и эта книга о смехе в Древней Руси. Вот почему авторы с признательностью посвящают свой скромный труд памяти Михаила Михайловича Бахтина»<sup>18</sup>.

Внимательный, кропотливый анализ фактов, характеризующих «смеховой мир» Древней Руси, привел авторов рассматриваемой книги к следующему выводу: «Надлежит провести ряд многочисленных монографических исследований «мировоззрений смеха» в их

глубоких отношениях к взглядам на мир в данном обществе или в данном творчестве того или иного писателя. Задача таких монографических исследований исключительно трудна. И когда эти исследования будут проведены, станет возможным приступить к осуществлению некоторой сверхзадачи: написать «Историю смеха» как истории одной из важнейших частей человеческой культуры»<sup>19</sup>.

Укажем еще и на книгу А. Я. Гуревича «Категории средневековой культуры», несомненно, вдохновленной автором монографии о Франсуа Рабле<sup>20</sup>.

Некоторые исследователи считают особенно значимыми заслуги М. Бахтина в разработке проблем философии литературы.

Так, И. Н. Сухих считает, что все работы М. Бахтина «предстают как части большого, незавершенного, но целостного исследования форм литературного мышления и способов изображения человека в литературе». Автор продолжает: «Предметом философии литературы становится рассматриваемое конкретно-исторически... движение форм литературного мышления, литературного видения в контексте культуры или, говоря бахтинским языком, судьбы большой литературы (ибо малая не переживает своего времени) в большом времени. Предельной обобщающей категорией при таком направлении исследования становится не отдельное произведение, не творчество какого-то писателя и даже не та или иная литературная эпоха, а мировая литература как единое целое. Это примерно та область литературоведческих исследований, которую А. Н. Веселовский определил как «историческую поэтику»... О необходимости развертывания исследований в этом направлении все чаще пишут в последние годы. Так, Д. С. Лихачев ставит вопрос о создании «теоретической истории» русской литературы... В сущности разработанные Бахтиным формосодержательные категории, вся его система при творческом ее использовании может значительно способствовать созданию исторической поэтики, философии литературы, теоретической истории русской литературы и т. п. (понятия эти можно рассматривать как синонимические). И здесь ученый вступает в прямой диалог с современностью»<sup>21</sup>.

Предметом пристального внимания и изучения в

последнее десятилетие явилась система эстетических воззрений М. Бахтина. Это и понятно, если учесть, что эстетический аспект (как, впрочем, и нравственно-этический) жизни и деятельности людей он необычайно высоко ценил. В этой связи обращают на себя внимание исследования В. Л. Махлина, Н. К. Бонецкой, Е. В. Волковой и других авторов. Говоря об этих «других», мы имеем в виду, в частности, участников Первых Бахтинских чтений в Саранске в октябре 1989 года. Эти чтения целиком были посвящены исследованию эстетических взглядов ученого. Их результаты нашли свое отражение в книге «Эстетика М. М. Бахтина и современность» (Саранск, 1989).

В большой статье «Проблема авторства в трудах М. М. Бахтина» ее автор Н. К. Бонецкая отмечает тот факт, что *эстетике* в общей системе своих воззрений ученый отвел особое место. Главные модусы бытия человека (*я и другой*), по ее убеждению, М. Бахтин определяет с помощью эстетических терминов «автор» и «герой». «Вообще, — продолжает исследовательница, — для философской антропологии Бахтина характерна эстетизация всех аспектов мировидения; и, наоборот, его эстетика вся пронизана этическими, гносеологическими и онтологическими идеями. Таков синкретический — хотя и с преобладанием эстетического настроя — характер гуманитарной дисциплины, созданной Бахтиным»<sup>22</sup>.

Участниками эстетического события М. Бахтин считал *автора*, *героя* (произведения) и *слушателя*. Ведущая роль в этом своеобразном «трио» принадлежит автору как более активному по сравнению с другими. «Автор — это центр, сердце бахтинской философской антропологии; он трактуется Бахтиным — одновременно, синкретично — и как жизненное, и как эстетическое понятие. На протяжении творческого пути Бахтина — от 20-х до 70-х годов — категория автора будет в видимости меняться; однако вернее говорить не о противоречиях в ее понимании Бахтиным, но о развертывании во времени тех смысловых потенциалов, которые были заложены в нее изначально»<sup>23</sup>.

Эстетическое для М. Бахтина неотделимо от жизни, точнее — от общения личностей («жить — значит общаться»). Во всяком художественном произведении —



общение автора с его героями. Существует глубокая разница в том, как автор переживает самого себя и других действующих лиц его жизни и мечты. По отношению к герою («другому») автор обладает избытком видения, благодаря чему может представить его себе целостно, завершено — во времени и в пространстве. Себя созерцать так автор не в состоянии. В эстетической деятельности всегда присутствует принцип любви. Авторское сознание, — считал М. Бахтин, — это любящее эстетическое сознание. Наконец, эстетическое отношение всегда носит в себе творческое, воссоздающее и продуктивное начало. Именно благодаря этому началу в эстетическом событии «рождается новая ценность, герой переводится в иной, высший по сравнению со своим, план бытия...»<sup>24</sup>. Сопереживаемое творческое отношение автора, считал М. Бахтин, и «есть собственно эстетическое отношение...» (IV, 64).

Резюмируя, Н. К. Бонецкая говорит: «Представление об избыточном видении другого — основа эстетики Бахтина; суть этого представления — принципиальнейшая внаходимость другого по отношению ко мне, героя — к автору, чужого — к своему — встретится во всех поздних его концепциях. До своих крайних пределов — до полного освобождения героя от автора, до чистой «поэтики свободы» (С. С. Аверинцев) — идея внаходимости дойдет в книге о Достоевском; ее крайней противоположностью станет теория романного слова и концепция творчества Рабле, постулирующие тотальное одержание (термин Бахтина) автора чужим словом. Между этими двумя полюсами разыгрывается вся диалектика авторства; любое бахтинское представление об авторе — это определенная сбалансированность в нем «чужого» и «своего»<sup>25</sup>.

В результате тщательного анализа развития бахтинской эстетической мысли Н. К. Бонецкая приходит к следующему конечному выводу: «... У Бахтина немало идей, предваряющих собой идею авторского молчания (по мере возвышения роли читателя-зрителя. — Авторы)<sup>26</sup>. Но эта последняя идея — крайнее, очень сильное выражение бахтинского антимоналогизма, его неверия в творческую продуктивность человеческого одиночества, установки на соборный характер творчества. И по поводу этого противоположного полюса к «поэтике

свободы» — мысли о соборности человеческой природы, можно, вслед за С. С. Аверинцевым, сказать, что и в этом моменте видно, что Бахтин — подлинно русский мыслитель»<sup>27</sup>.

«Эстетика М. М. Бахтина» — так озаглавила свою брошюру Е. В. Волкова, справедливо полагающая, что именно эта часть творческого наследия ученого изучена меньше всего. Свою цель исследовательница и видит, конечно, в том, чтобы в известной мере восполнить этот пробел.

Начинает Е. В. Волкова свой анализ проблемы с выяснения и определения своеобразия терминологии М. Бахтина. «В эстетической системе М. Бахтина, — говорит автор брошюры, — особое место занимают оригинальные понятия: эстетическое событие (по аналогии «события бытия»...), диалогичность и монологичность, вненаходимость, фамильярно-смеховая культура, карнавализация, полифония, «внутренне убедительное и авторитарное слово», «автономная причастность» и «причастная автономия» искусства, «слезный аспект мира». Используются и понятия классической эстетики («созерцание», «трагическая вина»), а также эстетических концепций XX в. («вживание», «эстетическая любовь»). Встречаются непривычные сочетания, например, «материальная эстетика» (не путать с материалистической)»<sup>28</sup>.

Исследовательница обратила внимание на то, что М. Бахтин видел эстетическое начало не только в искусстве, но и в природе, как и в бытовой жизни людей, в их общении. Сославшись на высказывание ученого, она продолжает: «Эстетическое — в ритуалах культуры, в общении людей, в котором мы угадываем малейший сдвиг интонации, перебой голосов. Жизнь реального слова — передача из одних уст в другие, из одного контекста — в другой, от поколения — к поколению содержит глубокий резервуар эстетического»<sup>29</sup>.

Условие эстетического видения — конкретность целостного человека. «... Входя в науку, — читаем мы далее, — действительность как бы сбрасывает с себя все ценностные одежды, кроме того, отвлекается от единичного, чего нельзя сказать об искусстве. Эстетическая деятельность собирает рассеянные смыслы мира, находя для преходящего эмоциональный эквивалент и цен-

ностную позицию, с которой преходящее в мире обретает ценностный событийный вес, причастный бытию и вечности. В искусстве бытие рождается в новом ценностном мире, а автор находится на границах этого мира»<sup>30</sup>.

Далее исследовательница выясняет бахтинское понимание героя, эстетической вменяемости автора по отношению к герою, эстетического события как диалога, монологической и диалогической художественности и пр.

Е. В. Волкова не приемлет мнения о том, что в концепции М. Бахтина автор предстает пассивным, будто бы не имеющим своей правды, жизненной позиции. По ее убеждению, авторская позиция (позиция «извне») в полифонических романах только ослаблена и «лишена завершающего слова». В такого типа произведениях «автор необычайно расширяет кругозор героя, бросая в «тигль его самосознания» осмысление героем своего социального положения, душевного облика, наружности, перенеся рассказчика в кругозор героя. Поскольку последнее слово о себе принадлежит герою, он может уже в этом слове стать не тем, что он есть, оставить свое сознание открытым, незавершенным»<sup>31</sup>.

Правомерно акцентируется внимание читателей на том, что именно Достоевский-полифонист дал возможность Бахтину сделать ряд высокогуманных выводов, именно: «недопустимо обсуждать внутреннюю личность, не повернутую сознательно к другому», нельзя принуждать ее «к признанию или его предрешать». Если же сознание человека подвергнуть «внешним силам, влиянию среды, насилию, чуду, авторитету, то личность, утратив свободу, разрушается». «Бахтин,— резюмирует автор брошюры эту часть своих размышлений,— неоднократно отмечает, что Достоевский как художник пошел не в глубь бессознательного, а в высоту сознания. По мнению Бахтина, сознание оказывается страшнее бессознательных комплексов, о которых писал З. Фрейд»<sup>32</sup>.

Е. В. Волкова обратила внимание на понятие «эстетической любви» у М. Бахтина. Ученый, по ее словам, «последовательно связывает эстетическое с любованием», независимо от того, идет ли речь о положительных или отрицательных явлениях. Для художника, полагал ученый, всякий герой «не по хорошему мил, а

по милу хорош», поскольку к нему приковано его «заинтересованное внимание в эстетическом видении» (V, 509).

«На первый взгляд, может показаться,— говорит исследовательница, интерпретируя это положение М. Бахтина,— что концепция эстетической любви, акцентированная неокантианцем Г. Когеном и ассимилированная Бахтиным, вступает в противоречие со знаменитым принципом незаинтересованности и бескорыстия эстетического суждения, провозглашенным И. Кантом в качестве его первого признака. Мне, однако, видится в отношении к кантовской эстетике не альтернатива, а творческая диалогическая преемственность»<sup>33</sup>.

В своей работе Е. В. Волкова рассмотрела такие проблемы в эстетических воззрениях М. Бахтина, как «трагическая вина» и «слезный аспект мира», «смеховая культура» («философия смеха») и художественное содержание. Рассмотрен и вопрос об отношении М. Бахтина к состоянию нашего литературоведения в период застоя 1970-х годов.

Заслуживает внимания мысль об эволюции творческого сознания М. Бахтина. Полемизируя с некоторыми авторами, она утверждает, что, хотя ученый и возвращался нередко к своим прежним идеям, проверяя, углубляя и варьируя их, это вовсе не означает, что мысль его не эволюционировала. М. Бахтин, по словам исследовательницы, «умел изменяться с поразительной, диалогической пластичностью, слыша голоса культуры, других мыслителей, свое внутреннее слово». «Но в его движении к новым идеям была постоянная оглядка назад, к исходному, а также стремление увидеть перспективы, открывающиеся с занятой на данный момент научной позиции. Не было жестких отказов от прежнего, разительной непохожести, а было скорее, говоря его словами, «сходство несходного»<sup>34</sup>.

Обращено внимание и на оппонентов М. Бахтина, которые либо не приемлют некоторых положений бахтинской эстетики, либо подвергают их сомнению, различным оговоркам и пр. Оценивая эти явления, Е. В. Волкова справедливо заключает: «Это нормальный процесс развития науки. Бахтин, по словам С. Аверинцева, стал источником умственной энергии, а не складом готовых научных наблюдений: его не раз будут

преодолевать, к нему не раз будут возвращаться. Как классик, он задает масштаб и своим будущим оппонентам — к этим словам остается только присоединиться»<sup>35</sup>.

Укажем еще на сборник тезисов, изданных в Саранске в связи с проведением здесь Первых Бахтинских чтений под заглавием «Эстетика М. М. Бахтина и современность»<sup>36</sup>. В книгу включены тезисы докладов и сообщений 60 авторов. Конкретное рассмотрение всех этих материалов — дело исследователей, поскольку здесь не представляется возможной даже самая краткая их оценка.

В Саранске же в январе 1991 года состоялись и Вторые Бахтинские чтения, по итогам которых был издан второй сборник тезисов докладов и сообщений под названием «М. М. Бахтин и методология современного гуманитарного знания»<sup>37</sup>. В сборник включены материалы, принадлежащие 63 авторам.

Во введении к сборнику М. Бахтин охарактеризован как один из «властителей наших дум». «Настал тот час, — говорится здесь, — когда высветляется подлинное значение М. М. Бахтина в контексте отечественной и мировой культуры XX в., ибо его теоретические открытия предвосхитили многое из того, что составило сердцевину интеллектуальных исканий человека нашего времени».

Издатели сборника справедливы и в своем утверждении, что «менее всего М. М. Бахтин известен и изучен у нас... как создатель собственной системы нравственной философии». В связи с этим они и ставят перед собой задачу «восполнить этот пробел в бахтиноведении»<sup>38</sup>.

Предметом внимания исследователей явились новаторские идеи М. Бахтина в области языкознания, вернее — в той его части, которую он называл «философией языка». Исследовавший эту проблему Вяч. Вс. Иванов говорит: «Следует отметить, что сама дисциплина «философия языка», задачи и история которой были очерчены Бахтиным (В. Н. Волошинов. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929), под этим же названием окончательно сложилась лишь в последние десятилетия...»<sup>39</sup>.

М. Бахтин опередил европейскую науку в этой области на целых четыре десятилетия. «Если,— продолжает Вяч. Вс. Иванов,— многие из рассматриваемых в работах Бахтина проблем ставились им лишь в общем виде в качестве программы для будущей философии языка, то проблемы структуры высказывания (в особенности в связи с передачей чужого слова) и «металингвистики»...— были в его работах изучены достаточно детально и конкретно. В этом смысле его работы намного опередили позднейшие исследования в области «анализа речи»... и транслингвистики, отличаясь от них (как и от традиционной риторики) и в том отношении, что для Бахтина основная разница между «металингвистикой» и лингвистикой заключается не в размерах объекта исследования (предложение в лингвистике, текст из многих предложений в транслингвистике), а характером подхода: в «металингвистике» исследуется коммуникативный аспект. Поэтому ее предметом, по Бахтину, может быть и отдельный знак-слово, выступающий в контексте реального общения, тогда как Бенвенист продолжает использовать термин «знак» только в том смысле, который ему придавал Соссюр»<sup>40</sup>.

Ученые-языковеды единодушны в признании того факта, что работы М. Бахтина намного «опередили свое время», и только теперь они приобрели «полное звучание». Потому-то и необходимо их «основательное изучение» и «активное включение его идей в научную практику гуманитарных наук нашего времени»<sup>41</sup>.

Мы рассмотрели здесь лишь небольшую часть тех исследований, которые посвящены изучению научного наследия М. Бахтина. Нельзя не отметить, что даже это немного, как нам представляется, свидетельствует со всей непреложностью о том, как велик вклад нашего ученого в различные отрасли филологии и гуманитарного знания и как велика тяга наших и зарубежных исследователей к его научно-теоретическому наследию, отмеченному печатью подлинно творческого пафоса. Прав исследователь, который говорит: «... Бахтин-теоретик — настоящая потребность времени, пытающегося теоретически освоить накопленный им огромный художественный опыт»<sup>42</sup>.

Об этом же свидетельствует и другой исследователь: «То совершенно приемлемые, то вызывающие возраже-

ния, мысли Бахтина всегда движутся на очень значительной глубине, следовать за ним хотя и не легко, но в конечном смысле отраднo. Плодотворно преодоление того, с чем согласиться нельзя»<sup>43</sup>.

Все эти и многие другие суждения наших и зарубежных исследователей могут служить яркой иллюстрацией к одному из значительнейших обобщений М. Бахтина: «Нет ни первого, ни последнего слова и нет границ диалогическому контексту (он уходит в безграничное прошлое и в безграничное будущее). Даже прошлые, то есть рожденные в диалоге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильными (раз и навсегда завершенными, конченными) — они всегда будут меняться (обновляясь) в процессе последующего, будущего развития диалога. В любой момент развития диалога существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в определенные моменты дальнейшего развития диалога, по ходу его они снова вспомнятся и оживут в обновленном (в новом контексте) виде. Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник возрождения» (IV, 393).

---

## ПУБЛИКАЦИИ

Работая в высших учебных заведениях Саранска, М. Бахтин нередко выступал в республиканской периодической печати со статьями, с рецензиями на театральные постановки и книги местных авторов. Материалы эти, к сожалению, еще полностью не выявлены, не собраны и не обобщены.

Ниже мы предлагаем читателям две статьи Михаила Михайловича такого типа — статью «Некоторые замечания» и рецензию на постановку в Мордовском музыкально-драматическом театре драмы В. Гюго «Мария Тюдор».

Статья «Некоторые замечания», предназначавшаяся в качестве консультации для студентов и молодых преподавателей, была опубликована в многотиражной газете «Мордовский университет» (1958, 18 ноября (№ 5)).

Рецензия «Мария Тюдор» была опубликована в газете «Советская Мордовия» (1954, 12 декабря (№ 245)).

## НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В зависимости от специальности существуют различные виды самостоятельной работы студентов в вузе. Но основная и обязательная при всех специальностях форма — это работа над научной книгой.

Главное условие продуктивного чтения книги — активная заинтересованность в ее предмете. Чем выше и настойчивее наши требования к ней, тем больше скажет книга. Равнодушных же она не любит и не отвечает им. Настоящая, заинтересованная работа над книгой — это не пассивное усвоение, а живой и страстный диалог с ней.

Изучая любой научный труд, студент должен стремиться, прежде всего, к более полному и глубокому его пониманию, а не к запоминанию словесных формули-



ровок для последующего пересказа их на экзамене. Само собой ясно, что многие тексты легче запомнить наизусть, чем по-настоящему их осмыслить. В молодом возрасте, когда память свежа, а интеллект еще недостаточно развит, запоминание часто опережает понимание. Но все, что мы запомнили без глубокого понимания, и непрочное, и — главное — совершенно бесполезно.

Приступая к изучению научной книги, никогда не следует рассчитывать на быстрое и легкое ее усвоение. Наука всегда сложна, и серьезную монографию или даже учебник нельзя понять сразу: они требуют большой умственной сосредоточенности и напряженного труда.

Работая над любой книгой, важно усвоить не только содержащиеся в ней факты и готовые положения науки, но и методы, с помощью которых они найдены, установлены, доказаны. Надо овладевать самой логикой науки.

В ходе самостоятельной работы нельзя забывать о практике. Все теоретические положения необходимо связывать с жизнью, давать себе отчет в их возможном практическом приложении. Конечно, нельзя это делать упрощенно, вульгарно: некоторые положения науки не имеют непосредственного приложения, и получают его лишь через другие положения данной научной дисциплины. Но установка на практику — обязательное условие продуктивного усвоения всякой научной книги.

Научному работнику, инженеру, преподавателю потребуется в их работе такое количество научных сведений, которое невозможно удержать в памяти. Поэтому очень важно знать, где и как можно найти эти сведения. Для этого необходимо изучить библиографию своего предмета, приобрести умение пользоваться разного рода справочными пособиями, умение обращаться с книгами, быстро находить в них то, что нам нужно.

И в самой книге есть нечто выводящее нас за пределы текста. Это ее научный аппарат, которым обладают почти все научные издания.

Научный аппарат находится вне текста книги: перед ним, после него и в конце страницы, за чертой. В его состав обычно входят следующие элементы: заглавный лист, предисловия и послесловия, примечания и ссылки в конце страницы, отделенные от текста чертой. Сюда

относятся также примечания, вынесенные в конец книги (их называют иногда комментариями), оглавление или содержание, всякого рода указатели, и прежде всего, именной и предметный, карты, различные таблицы и чертежи.

Различия в составных элементах книги зависят от ее специальности. Однако работу над любым научным трудом надо начинать с предварительного ознакомления с его аппаратом, чтобы затем систематически пользоваться им с первой и до последней страницы текста.

Работа с научным аппаратом приучает студента к точности, строгой систематичности и прививает интерес к библиографии. Чтение книги без тщательного и полного использования ее научного аппарата является непродуктивным и научно неполноценным.

В наших замечаниях мы совершенно не касались важного вопроса о записях (конспектах, выписках и т. д.), которые делаются в процессе работы над книгой. Но это уже особая тема беседы.

*М. Бахтин, кандидат филологических наук.*

## МАРИЯ ТЮДОР

Два года тому назад наша страна вместе со всем прогрессивным человечеством отмечала 150-летие со дня рождения Виктора Гюго, прогрессивного писателя Франции, демократа и гуманиста. «Мария Тюдор» — одна из его лучших и наиболее насыщенных социальной проблематикой драм. Нельзя поэтому не приветствовать постановку этой драмы на сцене Мордовского драматического театра.

Виктор Гюго — романтик, но его творчество принадлежит к тому прогрессивному типу романтизма, который А. М. Горький называл «активным романтизмом», к которому мы относим М. Ю. Лермонтова, А. Мицкевича, Байрона. Этот романтизм характеризуется своим жизнеутверждающим оптимизмом и активным призывом к борьбе за высокие общественные идеалы.

Драматическая манера В. Гюго основана преимущественно на использовании всего необычного и неожиданного. Исключительные события (заговоры, мятежи, месть, казни, убийство), исключительные герои (короли

и королевы, шуты, разбойники, шпионы, комедианты, палачи, уроды, таинственные незнакомцы), необычная обстановка (дворцы, тюрьмы, места казней, подземелья и катакомбы, ночные площади и улицы), неожиданные повороты судеб, счастливые и несчастные случайности, стремительность действия, резкие контрасты — такова драматургическая поэтика В. Гюго.

Но вся эта яркая и своеобразная поэтика необычного и исключительного используется В. Гюго не для достижения внешних эффектов, не для пустой занимательности. Гюго подчиняет ее высоким познавательным и моральным целям: она служит более резкому раскрытию социальных противоречий — прежде всего непримиримого противоречия между угнетателями и угнетенными — и более глубокому проникновению в сущность человеческих характеров. В. Гюго выводит людей из их обычной жизненной колеи, ставит их в исключительные положения, чтобы заставить их раскрыться до конца, выявить все заложенные в них, скрытые в обычной жизни, и добрые и злые возможности, чтобы заставить своих героев действовать в полную меру своих сил и говорить с предельной откровенностью.

В. Гюго показывает в своих драмах жизнь раскаленной до белого накала, чтобы разжечь и в зрителях активную ненависть ко всему злomu и любовь к добromy.

Все эти особенности романтической драматургии В. Гюго очень ярко выражены и в «Марии Тюдор».

Перед творческим коллективом Мордовского театра стояла нелегкая задача — правильно понять и освоить эти особенности драмы Гюго. Нужно было не увлечься внешними романтическими эффектами, не сбиться на пошлую буржуазную мелодраму, а подчинить все и вся раскрытию глубокого идейного замысла автора.

На наш взгляд, театр хорошо справился с этой трудной задачей. Режиссер спектакля М. Г. Григорьев дал глубоко продуманное и верное решение спектакля в целом как в идейном и стилистическом, так и в историческом плане. На зрителей пахнуло со сцены мрачной и жестокой атмосферой Англии середины XVI века. Каменное, суровое, почти тюремное внешнее обрамление всей сцены настраивало зрителей на правильное восприятие изображений жизни, как жизни в тюрьме:

тюрьма — это не только Тоуэр (древняя «королевская тюрьма» Англии, где проходят два последних действия спектакля), тюрьма — это и дворец королевы, и набережная Темзы, и Лондон, и вся жизнь Англии той эпохи, с ее казнями, палачами, виселицами, кострами, чудовищным насилием и вечным страхом. Такое обрамление сцены помогает правильному раскрытию идейного замысла В. Гюго.

Уже с первых сцен первого акта отчетливо и резко — как этого требует стиль Гюго — разворачивается первая ведущая антитеза всей пьесы: противопоставление двух миров — мира угнетателей (королева, Фабиано, Ренар, лорды) с его заговорами, интригами, фаворитами, палачами, жестокостью, злобой, завистью и жадностью, и мира угнетенного народа («человек из народа», рабочий-чеканщик Гильберт, Джен, Джошуа) с его честным трудом, любовью, бескорыстием и справедливостью. Это противопоставление проходит в живом драматическом движении через всю пьесу и разрешается в конце ее торжеством «человека из народа».

Второе ведущее противопоставление, неразрывно связанное с первым; противопоставление двух типов любви — любви королевы Марии и любви рабочего Гильберта и Джен. И эта антитеза в напряженнейшем драматическом действии проходит через всю пьесу, разрешаясь в конце ее торжеством подлинной любви «человека из народа».

Режиссеру и артистам удалось, как уже отмечалось, правильно понять этот идейный замысел В. Гюго и сделать его основной задачей спектакля. Правильно решен, на наш взгляд, и ритм спектакля.

Обратимся к трактовке отдельных образов драмы, т. е. к игре артистов.

Роль королевы Марии — трудная роль. Образ королевы должен, по замыслу Гюго, вызывать у зрителей двойственное отношение: и отталкивать его, и вызывать сочувствие, причем отрицательное отношение должно доминировать. Такие образы с двойной оценкой трудно играть: всегда угрожает опасность упростить образ, сделать его однотонным. Артистка А. С. Капустина избежала этой опасности. Она создала правильный, достаточно сложный и тонкий рисунок роли, проявила настоящее мастерство и большой художественный такт.

По замыслу В. Гюго, в образе королевы раскрывается тот тип любви который только и возможен в отвратительном страшном мире угнетателей. Королева любит своего фаворита Фабиано сильной и страстной любовью, но эта любовь разъедается злобной ревностью, постоянным недоверием, надменностью. Королева любит не Фабиано, а «своего Фабиано», т. е. лишь постольку, поскольку он нераздельно и телом и душой будет принадлежать только ей. Чужого Фабиано она ненавидит всеми силами своей души. До самоотверженности такая любовь не способна подняться. Неспособна она и дать счастья: она может только мучить и терзать и Фабиано и собственное сердце королевы. Но все же это — любовь. А по Гюго, даже и такая любовь вносит проблеск человечности в развращенную и обесчелоченную самовластьем душу Марии Кровавой. В последних двух актах драмы любовь поднимает образ королевы почти до подлинного трагизма. А. С. Капустина раскрывает все это с большой силой и убедительностью, но нам кажется, что трагизм образа в последних двух актах следовало бы несколько усилить.

Яркий, обаятельный образ Гильберта создал артист Б. И. Карпов. Мужественность, твердость, решительность сочетается в этом человеке из народа с глубочайшей нежностью и чуткостью. Исключительные и страшные события, ворвавшиеся в скромную трудовую жизнь Гильберта, позволили раскрыться огромным богатствам его глубокой и цельной души. Он носитель той любви, которую В. Гюго считал любовью подлинной. Гильберт любит Джен самоотверженной и в то же время полнокровной, мужественной и страстной любовью: он хочет сделать Джен своею, он борется за Джен, он ненавидит ее соблазителя, но он любит Джен, а не «свою Джен» и сам готов ценою своей жизни устроить ее счастье с другим. Готовность к самопожертвованию сочетается у него с могучей жаждой жизни и счастья. Это мы видим в сцене перед побегом, в третьем акте, убедительно проведенной Б. И. Карповым. По мысли В. Гюго, только такая любовь способна создать подлинное человеческое счастье. Такая любовь в среде угнетателей невозможна, она — достояние простых людей из народа.

Все это прекрасно раскрыто актером в своем герое.

Только в одном месте, в начале сцены в покоях королевы, где Гильберт заявляет, что он «раздумал умирать», потому что измена Джен не доказана, игра Б. И. Карпова не вполне убедительна: в спокойном, почти бесстрастном анализе улик против Джен мы не чувствуем почти никаких следов той страшной борьбы с сомнениями и с отчаянием, которая всю ночь терзала и мозг и сердце Гильберта. Это несколько ослабляет драматизм сцены.

В образе Джен (артистка З. П. Улановская) показано рождение подлинной любви. В начале драмы Джен еще не любит Гильберта, точнее, любит его любовью-благодарностью, любовью-уважением: ведь он заменял ей отца. Но в ходе действия, когда перед ней раскрывается в борьбе и подвиге вся мощь души Гильберта и вся сила его любви к ней, в душе Джен рождается ответная любовь к нему, такая же сильная, страстная и самоотверженная. И Джен преображается, вырастает на наших глазах, вступает в борьбу за спасение Гильберта и побеждает в ней. З. П. Улановская дала правильное и глубокое решение образа Джен, очень важное в идейном замысле В. Гюго.

Прекрасный образ Джошуа создал артист Я. М. Коломасов. Мудрость много видевшего на своем веку старого человека сочетается в нем с большой душевной теплотой и с какой-то почти детской нежностью.

Симон Ренар (артист Н. А. Иванов), представитель Испании, ведет всю внешнюю интригу пьесы. Это — типичный представитель мира угнетателей, холодный и бездушный интриган, умеющий всех и все — и людей и самые высокие человеческие чувства (любовь Гильберта) — использовать как орудие в своей нечистой политической игре. Н. А. Иванов создал убедительный образ Ренара. Но следовало бы несколько усилить самоуверенную наглость этого всемогущего представителя могущественной Испании.

Вполне удачен образ Неизвестного в исполнении артиста В. И. Январева. Это — характерная романтическая фигура (она есть почти во всех драмах В. Гюго), таинственная и страшная, воплощающая в себе и рок, и совесть, и страшную неожиданность случая,рывающегося в жизнь.

Артист А. С. Новопавловский умело сыграл типич-

ного авантюриста той эпохи: беспринципного, аморального, наделенного красотой и темпераментом, использующего все и вся — и прежде всего любовь — для достижения власти и богатства. Особенно хорошо раскрывает актер нутро Фабиано в первом акте. Однако в сцене разоблачения, во втором акте, артист несколько упрощает рисунок своей роли. Но в этом повинен не один А. С. Новопавловский.

Дело в том, что в спектакле есть одно слабое место — массовые сцены с лордами во втором и третьем актах. В первом акте, в сцене заговора, лорды действуют прекрасно (это очень удачная сцена), но во втором акте, в покоях королевы, они словно забыли и о своем заговоре и о своей жестокой ненависти к Фабиано. А в сцене разоблачения этого последнего они присутствуют как безучастные зрители.

Нельзя допустить мысли, чтобы у наших артистов, воспитанных на заветах К. С. Станиславского, могло быть пренебрежительное отношение к участию в «массовках». Они, конечно, отлично знают, каким трудным и ответственным делом является игра в массовых сценах. Очевидно, не удалось найти правильного решения данной сцены. Только этим можно объяснить вялое и даже несколько унылое поведение лордов в покоях королевы. На наш взгляд, лорды в этой сцене должны быть охвачены еле сдерживаемой яростью против Фабиано, они были бы рады ринуться вниз и растерзать его в клочья, если бы это было возможно. Когда Фабиано разоблачен и повержен, ярость переходит в злобное ликование. Такое поведение лордов, заклятых врагов Фабиано, заставило бы и его реагировать ответною яростью затравленного волка. Между тем Фабиано ведет себя так, как если бы лордов и вовсе не было на сцене, он даже почти и не глядит в их сторону.

Правильное решение этой сцены помогло бы лучшему раскрытию идейного замысла пьесы, помогло бы ярче показать взаимную ненависть, разъедающую мир угнетателей.

В третьем акте, во время народного восстания, лорды охвачены страхом перед народом. Испуган и Ренар. Он сам через своих агентов содействовал восстанию, оно в данном случае в его интересах. Но когда оно вспыхнуло, когда он услышал могучий гнев народа,

он не мог не испытать животного страха всех угнетателей перед восставшим народом. Когда он пугает королеву, уговаривая ее уступить, он и сам боится.

Думается, что такое решение углубило бы идейный смысл сцены народного восстания.

В заключение хотелось бы еще отметить хорошую работу художника М. М. Матюнина. Эта работа немало содействовала созданию верной атмосферы всего спектакля.

Спектакль «Мария Тюдор» — творческая удача коллектива Мордовского театра.

*М. Бахтин, кандидат филологических наук.*

### ИЗДАННЫЕ КНИГИ М. М. БАХТИНА

Все ссылки на исследования М. Бахтина даны в тексте по нижеследующим изданиям его книг с указанием в скобках номера издания (лат. ) и страницы (араб. ).

- I. Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского.— Л.: Прибой, 1929.
- II. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского.—4-е изд.— М.: Россия, 1979.
- III. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики.— М.: Худож. литература, 1975.
- IV. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.—2-е изд.— М.: Искусство, 1986.
- V. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи.— М.: Худож. литература, 1986.
- VI. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.—2-е изд.— М.: Худож. литература, 1990.

### КНИГИ, НАПИСАННЫЕ С УЧАСТИЕМ М. БАХТИНА

- VII. Волошинов В. Н. Фрейдизм: Критический очерк.— М. ; Л.: Госиздат, 1927.
- VIII. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке.—2-е изд.— Л.: Прибой, 1930.
- IX. Медведев П. Н. Формализм и формалисты.—2-е изд.— Л.: Изд. писателей, 1934.



## ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

### I. Выдающийся филолог и мыслитель XX века

- <sup>1</sup> Аверинцев С. Личность и талант ученого // Литературное обозрение.—1976.— № 10.— С. 58.
- <sup>2</sup> См. об этом: Махлин В. Л. Наследие М. М. Бахтина в современном зарубежном литературоведении // Известия АН СССР. Сер. литературоведения и языка.— Т. 45.— № 4.— М., 1986.— С. 316—329.
- <sup>3</sup> В Москве считали и говорили даже о том, что М. Бахтина давно уже нет в живых. См. об этом: Кожин Вадим. Так это было... // Дон.—1988.— № 10.— С. 156.
- <sup>4</sup> См. личный листок по учету кадров от 14 июня 1945 года // Архив Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева.— Ф. 2, оп. 1, д. 54.— Л. 5.
- <sup>5</sup> Аверинцев С. С. Не утратить вкус к подлинности... // Огонек.—1986.— № 32.— С. 12.
- <sup>6</sup> Бахтин М. М. Автобиография // Архив Мордов. госуниверситета им. Н. П. Огарева.— Л. 1.
- <sup>7</sup> Библиер В. С. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры.— М.: Прогресс, 1991.— С. 78, 79.
- <sup>8</sup> В. В. Иванов считал бахтинскими не только книги П. Н. Медведева и В. Н. Волошинова, но и следующие статьи последнего: «Слово в жизни и слово в поэзии», «Новейшие течения лингвистической мысли на Западе», «Конструкция высказывания». По словам исследователя, В. Н. Волошинов и П. Н. Медведев «произвели лишь небольшие вставки и изменения отдельных частей (в некоторых случаях... и заголовков) этих статей и книг. Принадлежность всех работ одному автору, подтверждаемая свидетельствами очевидцев, явствует из самого текста, как можно убедиться по приводимым цитатам».— Иванов В. В. Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // В кн.: Труды по знаковым системам. VI. Ученые записки Тартуского университета.— Тарту, 1973.— С. 44.
- <sup>9</sup> Мы говорим о статье Н. Васильева, в которой, в частности, есть и такие строки: «Каковы причины, побудившие отдельных исследователей приписать авторство некоторых работ В. Н. Волошинова и П.

Н. Медведева М. М. Бахтину? Во-первых, то, что М. М. Бахтин в частных беседах не отрицал своего участия в их создании. Во-вторых, он не опроверг прижизненные публикации, приписывавшие ему эти работы. В-третьих, это некоторая стилистическая, методологическая и терминологическая близость авторизованных работ М. М. Бахтина и работ, приписываемых ему. Последний довод, будучи по духу главным, как ни парадоксально, наиболее уязвим по форме: мы же не приписываем Пушкину произведения его эпигонов. Родство идей, терминов, известная близость культуры научного слова и мышления у М. М. Бахтина, В. Н. Волошинова, П. Н. Медведева могли быть следствием обычного творческого общения, той атмосферы, в которой закладывалась и протекала творческая жизнь исследователей-единомышленников». — Васильев Н., М. М. Бахтин или В. Н. Волошинов? (К вопросу об авторстве книг и статей, приписываемых М. М. Бахтину) // Литературное обозрение.—1991.— № 9.— С. 39.

Все эти рассуждения, ставящие под сомнение искренность и правдивость признаний М. Бахтина, не только не корректны, но и несправедливы, поскольку запутывают дело. Насколько известно, никто не собирается издавать под именем М. Бахтина книги и статьи, о которых идет речь.

<sup>10</sup> Автор этих строк дважды затрагивал этот вопрос в беседах с Михаилом Михайловичем. Однажды он сказал, что Волошинов и Медведев в то время нуждались в его помощи (конечно, научной). Особенно нуждался в ней Волошинов, занимавшийся в аспирантуре в Институте сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока. Вопрос об авторстве в их кругу в ту пору считался не существенным. Что касается каких-либо нынешних его публичных заявлений по этим давно прошедшим делам, заметил, что считает это занятие для себя совершенно невозможным и неприемлемым хотя бы уже по одному тому, что Волошинова и Медведева давно нет в живых.

<sup>11</sup> Н. Васильев между тем ставит М. Бахтину это обстоятельство даже в упрек, именно: «... М. М. Бахтин не подтвердил официально (!), печатно своего участия в создании книг и статей В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева» (Указ. статья, с. 39).

<sup>12</sup> Библиер В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры — М., 1991.— С. 34—35.

<sup>13</sup> Аверинцев С. С. Михаил Бахтин: ретроспектива и перспектива... // Дружба народов.—1988.— № 3.— С. 259.

<sup>14</sup> Турбин В. Бахтин сегодня. Послесловие к научным конференциям в югославском городе Нови-Сад и Махачкале (Дагестан) // Литературная газета.—1991.—6 февраля (№ 5).— С. 11.

- <sup>15</sup> Тюльпанов Н. Энергия мысли // В мире книг.—1976.— № 10.— С.—69.
- <sup>16</sup> Бонецкая Н. К. Проблема авторства в трудах М. М. Бахтина // *Studia Slavica Hung.* 31. 1985 *Akademiai Kiado, Budapest.*— С. 61.
- <sup>17</sup> Аверинцев С. Личность и талант ученого // Литературное обозрение.—1976.— № 10.— С. 60.
- <sup>18</sup> Иванов Вячеслав. Борозды и Межи. Опыты эстетические и критические.— М.: Мусагет, 1916.— С. 98.
- <sup>19</sup> Волкова Е. В. Эстетика М. М. Бахтина.— М.: Знание, 1990.— С. 57.
- <sup>20</sup> Аверинцев С. Личность и талант ученого // Литературное обозрение.—1976.— № 10.— С. 59.
- <sup>21</sup> См.: Лихачев Д. С. Древнерусский смех // Проблемы поэтики и истории литературы (Сборник статей).— Саранск,—1973; Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» древней Руси.— Л.: Наука, 1976; Библиер В. С. Мышление как творчество. Введение в логику мысленного диалога.— М.: Госполитиздат, 1975; Баткин Л. М. Неуютность культуры (заметки на полях работ М. М. Бахтина) // *Театр.*—1989.— № 5; Бонецкая Н. К. Проблема авторства в трудах М. М. Бахтина // *Studia Slavica Hung.* 31. 1985 *Akademiai Kiado, Budapest.*— С. 61—108. Волкова Е. В. Эстетика М. М. Бахтина.— М.: Знание, 1990; Махлин В. Л. Михаил Бахтин: философия поступка.— М.: Знание, 1990.
- <sup>22</sup> Новиков Вл. Слово и слава.— Рец.: М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества.— М.: Искусство, 1979.— С. 423 // *Новый мир.*—1981.— № 4.— С. 257.
- <sup>23</sup> Фридлендер Г. Реальное содержание поиска // Литературное обозрение.—1976.— № 10.— С. 62.
- <sup>24</sup> Укажем на следующие очерки воспоминаний о М. Бахтине: Басихин Ю. Ф. О Михаиле Михайловиче Бахтине // Родные просторы.— Саранск: Морд. книжн. изд-во, 1978.— С. 203—209; Конкин С. С. Ученый с мировой известностью // В кн.: Штрихи к портретам. Деятели культуры Мордовии в воспоминаниях современников.— Саранск: Морд. книжн. изд-во, 1990.— С. 65—85; Довина Л. Замучен тяжелой неволей... Слово о М. М. Бахтине // Советская Мордовия.—1991.
- <sup>25</sup> См.: Қожин В., Конкин С. Михаил Михайлович Бахтин: Краткий очерк жизни и деятельности // В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы. Сборник статей.— Саранск: Изд-во МГУ им. Н. П. Огарева, 1973.— С. 5—19.
- <sup>26</sup> Конкин С. С. Путь ученого (Страницы жизни и творчества М. М. Бахтина) // Грани: Литературно-художественный

сборник.— Саранск: Морд. книжн. изд-во, 1984.— С. 213—230; Его же. Новые страницы жизни Михаила Бахтина // Портреты. Литературно-художественный сборник.— Саранск: Морд. книжн. изд-во, 1989.— С. 241—259; Его же. Арест и приговор: Новые материалы о М. М. Бахтине // Советская Мордовия.—1991.—26 марта.— № 60.— С. 3; Его же. Бахтин в ссылке // Мордовия.—1991.—5 июля.— С. 12.

<sup>27</sup> Карпунов Г. В., Борискин В. М., Естифеева В. Б. Михаил Михайлович Бахтин в Саранске. Очерк жизни и деятельности.— Саранск, 1989.

<sup>28</sup> Вирабов И. М. Бахтин: «Если народ на площади не смеется, то народ безмолствует» // Комсомольская правда.—1991.—30 марта.— С. 3.

<sup>29</sup> Турбин В. Михаил Бахтин или Павка Корчагин? // Литературная газета.—1991.—8 мая.— № 18.— С. 11.

<sup>30</sup> См.: Кожин Вадим. Так это было... // Дон.—1988.— № 10.— С. 156—159; Турбин В. Бахтин сегодня. Послесловие к научным конференциям в югославском городе Нови-Сад и Махачкале (Дагестан) // Литературная газета.—1991.—6 февраля.— № 5.— С. 11.

<sup>31</sup> Турбин В. Бахтин сегодня. Послесловие к научным конференциям в югославском городе Нови-сад и Махачкале (Дагестан) // Литературная газета.—1991.—6 февраля.— № 5.— С. 11.

<sup>32</sup> Турбин В. Н. Карнавал: Религия, политика, теософия // В кн.: Бахтинский сборник. 1.— М., 1990.— С. 10.

<sup>33</sup> Кожин В. Так это было... // Дон.—1988.— № 10.— С. 158.

<sup>34</sup> Если что-то подобное и писала Елена Александровна В. Кожинув в 1961 году (как он уверяет), то разве только в порядке комплимента. (ни к чему не обязывающего) молодому москвичу, заинтересовавшемуся судьбой Михаила Михайловича.

## II. Детские и юношеские годы

<sup>1</sup> Петропавловский Собор. Метрическая книга на 1895 год // Государственный архив Орловской обл.— Ф. 200, оп. 1, д. 837 «В», л. 48 об., 49. О родителях М. Бахтина см.: Метрическое свидетельство Н. М. Бахтина (родного брата Михаила Михайловича) // Государственный исторический архив С.-Петербурга.— Ф. 14, оп. 3, д. 65630, св. 3214, л. 7. См. также анкетные сведения, сообщенные М. Бахтиным во время следствия 24 декабря 1928 г. // Архив управления КГБ по Ленинградской обл. Арх. № 14284, д. 5, т. 3, л. 5.

<sup>2</sup> Кожин В., Конкин С. Михаил Михайлович Бахтин. Краткий

очерк жизни и деятельности // Проблемы поэтики и истории литературы. Сб. статей.— Саранск, 1973.— С. 5.

- <sup>3</sup> Конышев Е. М. Бахтин Михаил Михайлович // Писатели орловского края. Библиографический словарь.— Орел, 1981.— С. 208.
- <sup>4</sup> Кларк К., Холквист М. Михаил Бахтин. Изд-во Гарвардского ун-та, 1984.— С. 16. (Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin — Cambridge, Mass; London: Harvard university Press.— 1984.—С. 16)
- <sup>5</sup> Бахтин М. М. Автобиография // Архив Морд. ун-та им. Н. П. Огарева.— Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 2. Факт мещанского происхождения М. Бахтина отмечен и в постановлении президиума Ленинградского городского суда от 30 мая 1867 г. Здесь записано: «Президиум установил: по постановлению Коллегии ОГПУ от 22 июля 1929 года. 1. Бахтин Михаил Михайлович, 1895 года рождения, уроженец г. Орла, из мещан, русский, беспартийный, с высшим образованием...» (Копия этого постановления получена авторами из Ленинградского городского суда и хранится в их личном архиве).
- <sup>6</sup> В газете «Орловский вестник» (1897, 25 апреля) опубликован список избранных в городскую думу членов (гласных), в котором значится и Михаил Николаевич Бахтин. Сведения о «купеческом сыне» М. Н. Бахтице как члене Орловской городской думы содержатся также и в «Памятных книжках Орловской губернии» за 1898—1905 годы.
- <sup>7</sup> В «Списке усадебных мест г. Орла за 1877 год» под № 117 имеется следующая запись: Купцы Николай и Иван Кузьмины Бахтины. Общая усадебная площадь—442 саж. (около 0,2 га). Под строениями—282 саж., под садом—160. Основания приобретения: каменный дом достался им от орловского купца И. С. Чичикаслова по купчей, утвержденной 3 февраля 1873 г. // Госархив Орловской обл. Ф. 593, оп. 1, д. 618, л. 23. См. также «Книгу окладных сборов по 3-ей части г. Орла на 1892 г.» // Там же, д. 843, л. 25.
- <sup>8</sup> Книга окладных сборов г. Орла за 1876 г. В квартале 34: «Каменный двухэтажный дом купца Николая Кузьмича Бахтина. Цена имущества—3 тыс. руб.» (Там же, д. 617, л. 195). И здесь же: в квартале 39: «Деревянный дом, каменный флигель и надворные строения купца Николая Кузьмича Бахтина. Цена—2 тыс. руб.» (Там же, л. 209).
- <sup>9</sup> Книга окладных сборов г. Орла на 1893 год. Против фамилии Николая Кузьмича вписано другой рукой и другими чернилами: «ныне купчиха Екатерина Павловна Бахтина» (Там же, д. 868, порядок. № 117).
- <sup>10</sup> Имя купчихи Екатерины Павловны Бахтиной в списках домовла-

дельцев и в книгах окладных сборов г. Орла встречается с 1893 по 1902 год.

- <sup>11</sup> В «Списке усадебных мест г. Орла за 1877 г.» значится: купец Захар Данилович Овечкин. Общая усадебная площадь — 820 саж. (примерно, 0,3 га). В 1850 г. усадьба принадлежала купцу П. И. Некрасову. Стоимость строений — 6 тыс. руб. (по оценкам 1875 г.) // Госархив Орловской обл. Ф. 593, оп. 1, д. 618, л. 44.
- <sup>12</sup> Книга окладных сборов г. Орла на 1877 г. // Там же, д. 953а, порядковый № 722.
- <sup>13</sup> Бахтин М. М. Указ. «Анкета» // Архив управл. КГБ СССР по Ленинградской обл. Арх. № 14284, д. 5, т. 3, л. 5.
- <sup>14</sup> В «Метрическом свидетельстве» Н. Бахтина записано: «Тысяча восемьсот девяносто четвертого года, марта двадцатого рожден, а двадцать третьего крещен Николай; родители его: орловский купеческий сын Михаил Николаевич Бахтин и законная его жена Варвара Захаровна; оба православные; воспитанниками были: орловский купец Николай Косьмин Бахтин и орловская мещанка Евдокия Иванова Овечкина». В «Свидетельстве» отмечено, что эта запись произведена в метрической книге Петропавловской церкви Орловского кафедрального собора. Госархив Одесской обл., ф. 45, д. оп. 5, д. 873, л. 8.
- <sup>15</sup> Метрическая книга Петропавловского собора на 1895 год. Ноябрь, № 83 // Госархив Орловской обл.; Ф. 200, оп. 1, ед. хр. 837 «в», л. 48 об.—49.
- <sup>16</sup> Сведения о сестрах М. Бахтина получены нами от Елизаветы Тихоновны Ситниковой — двоюродной его сестры. Она считала, что старшая Мария — 1898 года рождения, младшая Наталья (в замужестве Перфильева) — 1909. О Екатерине могла сказать только то, что она работала учительницей в одном из сел под Ленинградом. Сам М. Бахтин записал в одной из своих анкет, что Марии в 1929 году было 29 лет. Все они умерли в 1942 году в блокадном Ленинграде.
- <sup>17</sup> Во время следствия М. Бахтин указал в «Анжете», что он с детства страдал костным заболеванием // Указ.: Архив управл. КГБ СССР по Ленинградской обл. 14284, д. 5, т. 3, л. 5 об. Подтверждено медицинским освидетельствованием (август 1929). Отмечено, что в прошлом М. Бахтин болел туберкулезом легких, менингитом и воспалением костного мозга // Там же. Д. 108, т. 5, л. 42.
- <sup>18</sup> Орловский календарь на 1903 год. — Орел, 1903. — С. 20.
- <sup>19</sup> Сведения об этом содержатся в «Памятных книжках Орловской губ.» за 1897—1906 годы.

Архивные материалы не дают никаких оснований считать, что купеческий сын М. Н. Бахтин управлял в Орле Коммерческим банк.

который будто бы и создан был его отцом. Купец Н. К. Бахтин не располагал таким капиталом. Семья Бахтиных временами испытывала большие денежные затруднения. Так, студент Николай Бахтин в 1914 году был отчислен из Петроградского университета за невзнос платы за обучение. Только после уплаты 6 ноября 1914 года 47 руб. он был восстановлен в правах студента // Н. М. Бахтин. Государственный исторический архив Ленинграда. Ф. 14, оп. 3, д. 65630, св. 3214, л. 3.

<sup>20</sup> М. Бахтин хорошо знал книжные фонды некоторых частных библиотек родного города. В марте 1921 года писал одному из своих друзей: «Что касается до книг, то я знаю в Орле несколько весьма недурных частных библиотек; если я приеду, мы сможем ими воспользоваться» // Портреты. Литературно-художественный сб.— Саранск, 1989.— С. 248.

<sup>21</sup> Орловский календарь на 1903 год.— Орел, 1903.— С. 18, 20.

<sup>22</sup> Указ. кн. К. Кларк, М. Холквист. Михаил Бахтин.— С. 21.

<sup>23</sup> В «Аттестате зрелости» Н. Бахтина засвидетельствовано: «Дан сей мещанину Николаю Михайловичу Бахтину, православного вероисповедания, родившемуся в городе Орле 1894 года марта 20-го числа, в том, что он, вступив в Виленскую первую гимназию в августе месяце 1905 года при отличном поведении, обучался по 5-е июня 1912 года и кончил полный восьмиклассный курс...» // Госархив Одесской обл. Ф. 45, оп. 5, д. 873, л. 7.

Н. Бахтин упоминается также в списках учеников Первой виленской гимназии за 1906—1909 годы // Центральный государственный исторический архив Литовской ССР. Ф. 574, оп. 1, д. 2040, 2060, лл. 77, 31.

Упоминается в списках родителей и опекунов учеников Первой виленской гимназии за 1908—1911 годы и Михаил Николаевич Бахтин. Здесь же названы и два адреса, по которым они проживали в Вильно в 1905—1912 годах: Витебский 1-й проезд, дом 23, кв. 1; ул. Могилевская, дом 6, кв. 1 // Там же. Дела 2069 и 2088, лл. 14, 18.

В Одессе Бахтины поселились на ул. Спиридоновской в доме № 8. Об этом свидетельствует прошение Н. Бахтина на имя ректора Новороссийского университета о зачислении его в число действительных студентов университета. Прошение датировано 12 августа 1912 года. Указан вышеназванный адрес // Н. М. Бахтин. Госархив Одесской обл. Ф. 45, оп. 5, д. 873, л. 6.

<sup>24</sup> М. М. Бахтин Анкета // Архив управл. КГБ СССР по Ленинградской обл. Арх. № 14284, д. 5, т. 3 л. 5.

<sup>25</sup> Материалы конференции посвященной 100-летию со дня рождения Н. Н. Ланге (1858—1958). Одесса, 1958, сс. 3—4, 6, 11, 15.

- <sup>26</sup> В 1913 году 31 августа Николай Бахтин просил ректора Петербургского университета о зачислении его «в число студентов факультета Восточных языков» // Н. М. Бахтин. Государственный исторический архив Ленинграда. Ф. 14, оп. 3, д. 65630, св. 3214, л. 52. 30 сентября (через месяц) появилось новое прошение — о переводе его «с факультета Восточных языков на филологический факультет» // Там же, л. 43.
- <sup>27</sup> Н. М. Бахтин // Там же, л. 13. Свидетельство Орловской городской управы о приписке к призывному участку было выдано просителю 2 августа 1912 года. В нем говорилось: «Мещанин губернского города Орла Николай Михайлович Бахтин, родившийся 20 марта 1894 года, приписан по отбытию воинской повинности к первому призывному участку губернского города Орла. Вероисповедания православного. Означенный Бахтин подлежит исполнению воинской повинности к 1915-му году» // Там же, л. 8.
- <sup>28</sup> Н. М. Бахтин // Там же, л. 35.
- <sup>29</sup> Сведения об этом взяты одним из авторов книги из воспоминаний о М. Бахтине. Достаточно подробно говорится об этом и в кн. К. Кларк и М. Холквиста «Михаил Бахтин». — С. 16—21.
- <sup>30</sup> Следственное дело М. М. Бахтина // Архив управл. КГБ СССР по Ленинградской обл. Арх. № 14284, д. 5, т. 3. л. 357.
- <sup>31</sup> В анкете, заполненной Марией Михайловной в 1920 году, значился пункт: «Служба после революции». М. Бахтина ответила так: «в б. м. отделении Народного банка в гор. Петрограде» // Госархив Псковской обл. Великолукский филиал. Ф. Р—608, оп. 2, д. 16, л. 21. Не исключено, что в этом же банке мог работать и отец Бахтиных Михаил Николаевич. Возможно и жили Бахтины в Петрограде по тому же адресу, который указывал в своих документах Николай Бахтин: Васильевский остров, 18-я линия, д. 19, кв. 22 // Государственный исторический архив Ленинграда. Ф. 14, оп. 3, д. 65630, св. 3214, л. 3, 12.
- <sup>32</sup> В списках штатных студентов историко-филологического факультета Петроградского университета за 1916—1918 годы имя Михаила Бахтина не встречается.
- <sup>33</sup> На вопрос анкеты о знаниях иностранных языков М. Бахтин в июне 1945 года ответил так: «Знает хорошо — греческий, латинский, немецкий, французский, английский. Знает слабо — датский, итальянский» // Архив Мордовского университета. Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 1.
- <sup>34</sup> В. Шкловский. Жили-были. Воспоминания. Мемуарные записи. — М.: Сов. Писатель, 1966. — С. 91.
- <sup>35</sup> В архиве Петроградского университета за 1916—1918 годы личное дело студента Михаила Бахтина отсутствует, в то время как личное



дело его брата Николая сохранилось. Не обнаружено нами его имя и в списках выпускников университета за 1917—1920-е годы. Не исключено, что он учился в университете на правах вольнослушателя. Уместно заметить, что в одном из архивных документов имеется запись о том, что в 1916—1917 гг. он работал какое-то время в гимназиях в Свенцянах и, возможно, в самом Петрограде (Витебский музыкальный техникум: анкеты и сведения о личном составе техникума // Госархив Витебской обл. Ф. 1050, оп. 1, д. 64, св. 3, л. 11, 104).

- <sup>36</sup> 24 декабря 1928 года М. Бахтин записал в анкете. «Учился в Одесском и Петербургском университетах, но диплома не получил» // Следственное дело М. Бахтина.— Архив управления КГБ СССР по Ленинградской обл. Арх. № 14284, д. 5, т. 3, л. 1.

### III. Первое десятилетие

(1918—1928)

- <sup>1</sup> Г и п п и у с З и н а и д а . Петербургский дневник. 1918 // Наше наследие, 1990.— № VI (18).— С. 89, 94, 95.
- <sup>2</sup> Там же.— С. 95.
- <sup>3</sup> Член ЦК партии кадетов академик В. И. Вернадский записал 17 ноября 1917 года в своем дневнике: «Черносотенные элементы находятся массами среди большевиков. К ним примыкают и преступные элементы. Это серьезная опасность».
- И на другой день, 18 ноября, ученый записал: «Зашел Васильев А. В. (профессор Казанского ун-та.— Авторы) «...» Он очень волновался, советовал уехать на время «...» Рассказывал конкретные факты продвижения вперед сейчас в большевизме самых больших негодяев в Казанской губернии, в том числе и черносотенцев. Это, по видимому, общее явление» // Огонек.— 1990.— № 49.— С. 15.
- <sup>4</sup> Ш а л я п и н Ф е д о р . Страницы из моей жизни. Маска и душа.— М., 1990.— С. 381.
- <sup>5</sup> Г о р ь к и й М . Несвоевременные мысли // Литературное обозрение.— 1988.— № 11.— С. 107.
- <sup>6</sup> Горький М. Там же // Литературное обозрение.— 1988.— № 12.— С. 86, 85.
- <sup>7</sup> Горький М. Там же.— № 11.— С. 106.
- <sup>8</sup> Есенин С. А. Собр. соч. в 6 томах.— М.: Худож. литература.— 1980.— Т 6.— С. 100.
- <sup>9</sup> В 1917 году в Петрограде проживало около 2,5 млн. человек. В 1919—оставалось только около 900 тыс. См. об этом: Жуков Дм.

- <sup>10</sup> Б. Савинков и В. Ропшин. Террорист и писатель // Наш современник, 1990.—№ 10.—С. 142.

### 1. В Невеле (1918—1920)

- <sup>1</sup> Бахтин М. М. Автобиография // Архив Мордовского ун-та им. Н. П. Огарева.—Ф. 2, оп. 1, л. 1—2.
- <sup>2</sup> Архивная справка Великолукского филиала Псковского госархива от 22 декабря 1980 года, № 233 (Личный архив авторов).
- <sup>3</sup> Отец Л. В. Пумпянского — мещанин г. Вильно Меер Лейбов Пумпян. После смерти отца сын принял православие. Акт крещения состоялся 22 декабря 1911 года. Отчество свое получил от восприемника Василия Алексеевича Новочадова — заслуженного преподавателя 1-й Виленской гимназии. Вместо «Пумпян» в книге записано «Пумпянский» // Л. В. Пумпянский. Личное дело студента Петербургского ун-та.—Государственный исторический архив Ленинграда. Ф. 14, оп. 3, д. 61407, лл. 5, 32, 35.
- <sup>4</sup> См. кн.: Мария Вениаминовна Юдина. Статьи, воспоминания, материалы.—М., 1978.—С. 31—32.
- <sup>5</sup> Каган М. И. Автобиография // В кн.: Память.—Вып. 4.—Париж, 1981.—С. 253—256.
- <sup>6</sup> Пумпянский Л. В.—Кагану М. И. // Указ. кн. «Память».—Вып. 4.—С. 266.
- <sup>7</sup> Там же.—С. 275—276.
- <sup>8</sup> Там же.—С. 276.
- <sup>9</sup> До Октября 1917 года в России было 1246 монастырей. К 1921 году 722 из них уже закрыты и разграблены.
- <sup>10</sup> См. указ. кн. «Память».—С. 276.

### 2. В Витебске (1920—1924)

- <sup>1</sup> Каменский А. Краска, чистота, любовь. Из бесед с М. Шагалом // Огонек.—1987.—№ 27.—С. 24
- <sup>2</sup> Малько Н. Воспоминания. Статьи. Письма.—Л., 1972.—С. 98—99. Его же. Вместо некролога // Искусство (Витебск).—1921.—№ 4—6.—С. 21—22.
- <sup>3</sup> Цитирую по кн.: Михеева Л. И. И. Соллертинский. Жизнь и наследие.—Л., 1985.—С. 22—23.
- <sup>4</sup> Ромм А. О музейном строительстве и Витебском музее современного искусства // Искусство (Витебск).—1921.—№ 2—3.—С. 6—7.
- <sup>5</sup> Бахтин М. М. Автобиография // Архив Мордовского ун-та им.

- Н. П. Огарева.— Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 1—2. См. также: Анкетные сведения о личном составе Витебского музыкального техникума // Госархив Витебской обл.— Ф. 1050, оп. 1, д. 64, св. 3, л. 11, 30. Астрономические суммы «жалованья» — свидетельство свирепствовавшей в ту пору в стране инфляции.
- <sup>6</sup> Бахтин М. М. Автобиография // Там же, л. 3.
- <sup>7</sup> Хроника // Искусство (Витебск). 1921.— № 4—6.— С. 48.
- <sup>8</sup> Витебская консерватория. Краткий отчет // Госархив Витебской обл. Ф. 1050, оп. 1, д. 64, св. 3, л. 133.
- <sup>9</sup> Медведев П. Н. // Государственный исторический архив Ленинграда.— Ф. 14, оп. 3, д. 54581, св. 2645, лл. 102—10, 21.
- <sup>10</sup> Михеева Л. И. И. Соллертинский. Жизнь и наследие.— Л., 1988.— С. 20—24.
- <sup>11</sup> Михеева Л. И. И. Соллертинский. Жизнь и наследие.— Л., 1988.— С. 28—29.
- <sup>12</sup> В семейном архиве С. И. Каган сохранились лишь письма М. Бахтина к М. И. Каган. Опубликовано К. Невельской в кн.: Память. 1 № 4.— Париж, 1981.— С. 257—264.
- <sup>13</sup> Орловский университет просуществовал лишь один учебный (1920—1921) год.
- <sup>14</sup> В письме упоминаются Редемейстер и Алексеевские. Редемейстер Валериан Адольфович заведывал в Витебске губернским подотделом подготовки работников просвещения, выступал как лектор. В 1920—1921 годах, не порывая с Витебском, читал курс лекций в Орловском университете. Алексеевские — семья доктора Алексеева, в доме которого (по ул. Смоленской, 61) М. Бахтин снимал квартиру.
- <sup>15</sup> Елена Александровна Околович (1901—1971) происходила из интеллигентной семьи небольшого городка близ Витебска.
- <sup>16</sup> В самом начале 1930-х годов Б. М. Зубакин подвергся аресту и ссылке в один из отдаленных районов Севера. В 1936 году нелегально приезжал в Ленинград на похороны В. Н. Волошинова. Снова был арестован и отправлен в один из концлагерей, где и погиб. Дата гибели неизвестна.
- <sup>17</sup> Шпет Густав Густавович (1879—?), талантливый русский ученый — философ, лингвист, литературовед, культуролог, переводчик. Дважды подвергался репрессиям. Погиб в одном из концлагерей. Дата смерти неизвестна.
- <sup>18</sup> Ильин Иван Александрович (1883—1954) — русский философ, правовед, автор значительных исследований. В 1919—1922 годах подвергался шестикратному аресту. В 1922 году выслан из страны вместе с другими русскими учеными, писателями, деятелями культуры. Умер в Швейцарии.

- <sup>19</sup> Цитируется по предисловию С. Хоружего к «Избранным статьям» И. А. Ильина // Юность.—1990.— № 8.— С. 61.
- <sup>20</sup> Речь идет, по-видимому, о жене доктора Ульриха, с семьей которого М. Бахтин был хорошо знаком. Известно, что 11 сентября 1920 года И. И. Соллертинский прослушал на квартире доктора Ульриха лекцию М. Бахтина на тему: «Нравственный момент в культуре» // Л. Михеева. И. И. Соллертинский. Жизнь и наследие.— Л., 1988.— С. 28.
- <sup>21</sup> По окончании консерватории (1920) М. В. Юдина некоторое время училась на историко-филологическом факультете Петроградского университета, занималась философией и литературой.
- <sup>22</sup> В витебском журнале «Искусство» сообщалось: «М. М. Бахтин продолжает работу над книгой, посвященной проблемам нравственной философии» — // Искусство.—1921.— № 1 (март).— С. 23.
- <sup>23</sup> Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984—1985.— М., 1986.— С. 80.
- <sup>24</sup> Подробней об этом: Бочаров С. Г. М. М. Бахтин. К философии поступка // Указ. кн.: Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984—1985.— С. 80—82.
- <sup>25</sup> Бахтин М. М. К философии поступка // Указ. кн.: Философия и социология науки и техники.— С. 114.
- <sup>26</sup> Там же.— С. 83.
- <sup>27</sup> Там же.— С. 124.
- <sup>28</sup> Там же.— С. 122.
- <sup>29</sup> Там же.— С. 88.
- <sup>30</sup> Там же.— С. 93.
- <sup>31</sup> Там же.— С. 101.
- <sup>32</sup> Там же.— С. 112.
- <sup>33</sup> Там же.— С. 124.
- <sup>34</sup> Там же.— С. 89.
- <sup>35</sup> Там же.— С. 115.
- <sup>36</sup> Там же.— С. 107.
- <sup>37</sup> Там же.— С. 123.
- <sup>38</sup> Там же.— С. 137.
- <sup>39</sup> Там же.— С. 122.
- <sup>40</sup> Там же.— С. 94—95.
- <sup>41</sup> Там же.— С. 105.
- <sup>42</sup> Там же.— С. 149.
- <sup>43</sup> Давыдов Ю. Н. У истоков социальной философии М. М. Бахтина // Социологические исследования.— М., 1986.— № 2.— С. 170.
- <sup>44</sup> Там же.— С. 171—172, 174.
- <sup>45</sup> Новиков Вл. Слова и слава // Новый мир.—1981.— № 4.— С. 258.

- <sup>46</sup> Б о н е ц к а я Н. К. Проблема авторства в трудах М. М. Бахтина.— Там же.— С. 66—67.
- <sup>47</sup> Там же.— С. 74.
- <sup>48</sup> М а х л и н В. Л. Михаил Бахтин: философия поступка.— М.: Знание, 1990.— С. 21—22.
- <sup>49</sup> В о л к о в а Е. В. Эстетика М. М. Бахтина.— М.: Знание, 1990.— С. 21.

### 3. В городе на Неве (1924—1930)

- <sup>1</sup> Современники пережившие эти годы в Петербурге, говорят о том, что в зимнюю пору по ночам по улицам и скверам нередко горели костры, у которых грелись беспризорники. В летнее время повсюду можно было видеть бурьян. Полынь росла даже на Ростральных колоннах у Биржи.
- <sup>2</sup> 23 марта 1923 года Л. В. Пумпянский, приглашая к себе на квартиру для обсуждения своей статьи М. И. Каган, писал: «Кроме Вас будут только Ив. Ив. Соллертинский и Ив. Ив. Канаев. Конечно, это вне всякой связи с тем, что мы делаем для Михаила Михайловича...» // Указ. «Память». Сб.— Вып. 4,— С. 265.
- <sup>3</sup> Речь идет о Валентине Платоновиче Зубове, который и в послеоктябрьские годы возглавлял созданный им Институт истории искусств в должности председателя его правления.
- <sup>4</sup> Российский институт истории искусств // Центральный госархив литературы и искусств. Ленинградское отделение.— Ф. 82, оп. 3, д. 21, л. 75.
- <sup>5</sup> Статьи опубликованы в кн.: М. М. Б а х т и н. Литературно-критические статьи.— М., 1986.— С. 90—120.
- <sup>6</sup> К л а р к К. и Х о л к в и с т М. Указ. кн.: Михаил Бахтин.— С. 98.
- <sup>7</sup> Подробнее об этом: Л. Михеева. И. И. Соллертинский. Жизнь и наследие.— Л., 1988; Л. М и х е е в а. Памяти И. И. Соллертинского. Воспоминания, материалы, исследования.— Л.; М., 1978.
- <sup>8</sup> В. Н. В о л о ш и н о в. Личное дело студента // Ленинградский государственный исторический архив.— Ф. 14, оп. 3, д. 62100, св. 3044, л. 4 об.
- <sup>9</sup> Из воспоминаний современников видно, что, например, И. И. Соллертинский владел едва ли не двумя десятками иностранных языков. М. И. Тубянский и Н. И. Конрад хорошо знали языки Индии, Китая, Тибета, Кореи. Что касается М. Бахтина, он, по собственному его признанию, хорошо знал языки древние — греческий и латинский, а также — немецкий, французский и английский. Знал плохо — итальянский и датский.— Листок по учету кадров. Архив МГУ им. Н. П. Огарева.— Ф. 2, оп. 1, д. 54, л. 2.

- <sup>10</sup> Кажется, все было так, как мечтал об этом В. Н. Волошинов. В конце 1921 года он так писал М. И. Кагану в Москву: «Вот было бы хорошо, если б мы все — ты, Михаил Михайлович, Борис Михайлович (Зубакин.— Авторы) и я — снова соединились в Москве, продолжая славную традицию Невеля: крепкий чай и разговоры до утра» // Указ. сб. «Память».— Вып. 4.— С. 278.
- <sup>11</sup> Укажем здесь лишь на следующие: «Русское библиологическое», «Любителей древней письменности», «Историко-литературный кружок им. А. С. Пушкина в Петроградском ун-те» (под руководством проф. С. А. Венгерова), «Тургеневское» (под председательством А. Ф. Кони), «Кружок друзей Пушкинского Дома». Л. Ильин. Ученая жизнь Петрограда // Научные известия. Сб. 2. Госиздат, 1922.— С. 277—283.
- <sup>12</sup> Об этом говорит в своих «Автобиографических заметках» М. И. Каган // Указ. сб. «Память».— Вып. 4.— С. 255.
- <sup>13</sup> Эта обстановка была сложной и трудной. О ней так писал М. И. Каган по своем возвращении из Германии: «Все, что делалось, тогда в России, меня ужаснуло, и я все более и более уходил вправо. Обратный поворот стал намечаться у меня два года назад. Вполне осмысленное приятие совершившейся революции как возмездия я должен отнести к началу лета 1924 года» // Указ. сб. «Память».— Вып. 4.— С. 256.
- <sup>14</sup> Гулыга Арсений. Владимир Сергеевич Соловьев // Литературная газета.—1989.—18 января.— С. 5.
- <sup>15</sup> Пумпянский Л. В.—Кагану М. И. // Указ. сб. «Память».— Вып. 4.— С. 265—266.
- <sup>16</sup> Оба они совершили православные обряды крещения. Такие случаи в то время были нередки среди молодежи иудейского и других вероисповеданий.
- <sup>17</sup> Статья предназначалась для журнала «Русский современник», по заказу которого и была написана. Журнал тогда же был закрыт, и работа Михаила Михайловича не увидела света. Впервые опубликована в его кн.: Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет.— М.: Худож. литература, 1975.— С. 6—71.
- <sup>18</sup> В Российском институте истории искусств в то время работали В. М. Жирмунский (заведывал отделом истории и теории словесных искусств), Б. М. Эйхенбаум; Ю. Н. Тынянов, В. В. Виноградов, С. И. Бернштейн, С. Д. Балухатый и др.
- <sup>19</sup> Затонский Д. Последний труд Михаила Бахтина // В. кн.: Д. Затонский. В настоящее время. Книга о зарубежных литературах.— М.: Сов. писатель, 1976.— С. 408.
- <sup>20</sup> Фрилендер Г. Реальное содержание поиска // Литературное обозрение.—1976.— № 10.— С. 62.

- <sup>21</sup> Аверинцев С. Личность и талант ученого // Литературное обозрение.—1976.— № 10.— С. 58.
- <sup>22</sup> Работы эти опубликованы: статья И. И. Канаева в журнале «Человек и природа», 1926, № 1-2; В. Н. Волошинова. «По ту сторону социального. О фрейдизме» («Звезда», 1925, № 5), «Слово в жизни и слово в поэзии» («Звезда», 1926, № 6), «Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке».— Л.: Прибой.—1927.—2-е издание.— Л.: Госиздат, 1930, «Фрейдизм. Критический очерк.— М. ; Л.: Госиздат, 1927, «Новейшие течения лингвистической мысли на Западе» («Литература и марксизм», 1928, № 5); «Что такое язык?» («Литературная учеба», 1930, № 2), «Конструкция высказывания» (Там же, № 3), «О границах поэтики и лингвистики» («В борьбе за марксизм в литературной науке. Сб. статей».— Л.: Прибой.—1930); П. Н. Медведева — «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику».— Л. 1928; издание 2-е вышло в 1934 г. под заглавием «Формализм и формалисты».
- <sup>23</sup> С 24 декабря 1928 года М. Бахтин находился в следственной тюрьме, а в конце марта 1930 года был отправлен в ссылку в Казахстан.
- <sup>24</sup> См.: Выготский Л. С. и Лурия Ал. Предисловие к русскому переводу работы З. Фрейда «По ту сторону удовольствия» // В кн.: Психология бессознательного. Сб. произведений.— М.: Просвещение,—1990.— С. 29.
- <sup>25</sup> Там же.
- <sup>26</sup> Волошинов В. По ту сторону социального. О Фрейдизме // Звезда.—1925.— № 5.— С. 209, 163—164.
- <sup>27</sup> Укажем на одну из статей такого типа: В. М. Борискин. Подлинная жизнь слова (Критика фрейдистской философии культуры в концепции М. М. Бахтина // В кн.: Родные напевы. Литературно-художественный сборник.— Саранск: Мордовск. книжн. изд-во, 1986.— С. 202—216.
- <sup>28</sup> Волошинов В. Н. Указ. статья «По ту сторону социального. О фрейдизме».— С. 198.
- <sup>29</sup> Там же.— С. 188.
- <sup>30</sup> Там же.— С. 200.
- <sup>31</sup> М. М. Бахтин и В. Н. Волошинов имели в виду следующие работы советских последователей З. Фрейда: 1. Быховский Б. О методологических основаниях психоаналитического учения Фрейда // Под знаменем марксизма.—1923.— № 11—12; 2. Лурия А. Р. Психоанализ как система монистической психологии // В сб.: Психология и марксизм.— М.: 1925; 3. Фридман Б. Д. Основные

- психологические воззрения Фрейда и теория материализма // Указ. сб.: Психология и марксизм; 4. Залкинд А. Б. Фрейдизм и марксизм // Красная новь.—1924.— № 4; Еггоже: Жизнь организма и внушение.— М., 1927.
- <sup>32</sup> Волошинов В. Указ. статья «По ту сторону социального. О фрейдизме».— С. 213—214.
- <sup>33</sup> Васильев С. Рец. на кн.; В. Н. Волошинов. Фрейдизм. Критический очерк.— М.: Л., 1927 // Печать и революция.— 1928.— № 1.— С. 164—165.
- <sup>34</sup> В. Н. Волошинов в это время, окончив аспирантуру, готовился к защите диссертации.
- <sup>35</sup> Канаев И. Современный витализм // Человек и природа. Популярный естественно-научный журнал.—1926.— № 1.— С. 3.
- <sup>36</sup> Канаев И. Там же.—1926.— № 2.— С. 22.
- <sup>37</sup> Канаев И. Там же.— С. 20.
- <sup>38</sup> Васильев Н. М. М. Бахтин или В. Н. Волошинов? К вопросу об авторстве книг и статей, приписываемых М. М. Бахтину // Литературное обозрение.—1991.— № 9.— С. 39.
- <sup>39</sup> Бахтин М. М.—Кагану М. И. // Указ. сб. «Память».— Вып. 4.— С. 260.
- <sup>40</sup> Бонцкая Н. К. Проблема авторства в трудах М. М. Бахтина // Studia Slavica Hung. 31. 1985. Akademiai Kiado, Budapest.— С. 63.
- <sup>41</sup> Волошинов В. Слово в жизни и слово в поэзии // Звезда.—1926.— № 6.— С. 255—256.
- <sup>42</sup> Волошинов В. Н. Конструкция высказывания // Литературная учеба.—1930.— № 3.— С. 77—78.
- <sup>43</sup> Волошинов В. Н. Там же.— С. 80.
- <sup>44</sup> Васильев Н. М. М. Бахтин или В. Н. Волошинов! Указ. соч.— С. 42.
- <sup>45</sup> Волошинов В. Слово в жизни и слово в поэзии // Звезда.—1926.— № 6.— С. 245.
- <sup>46</sup> Там же.— С. 246.
- <sup>47</sup> Там же.— С. 248.
- <sup>48</sup> Там же.— С. 249.
- <sup>49</sup> Там же.— С. 249.
- <sup>50</sup> Там же.— С. 251.
- <sup>51</sup> Там же.— С. 253.
- <sup>52</sup> Там же.— С. 254.
- <sup>53</sup> Там же.— С. 254—255.
- <sup>54</sup> Там же.— С. 257.
- <sup>55</sup> Там же.— С. 258.



- <sup>56</sup> Там же.
- <sup>57</sup> Там же.— С. 260.
- <sup>58</sup> Там же.— С. 262.
- <sup>59</sup> Там же.— С. 265.
- <sup>60</sup> По этому поводу в книге имеется следующее подстрочное примечание: «...отнюдь не в марксистских кругах. Мы имеем в виду пробуждение интереса к слову, вызванное «формалистами», а также такие явления, как книги Г. Шпега «Эстетические фрагменты», «Внутренняя форма слова», и, наконец, книгу Лосева «Философия имени» (VIII, 10). Помянутая книга А. Ф. Лосева вышла в свет в Москве в 1927 году.
- <sup>61</sup> И в а н о в Вяч. Вс. Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // Труды по знаковым системам. VI.— Тарту, 1973.— С. 5, 43—44.
- <sup>62</sup> Назовем здесь, в частности, такие сборники, как: Психологические исследования общения.— М.: Наука, 1985; Общение и развитие психики.— М., 1986; Общение и диалог в практике обучения, воспитания и психологии консультации. Сборник научн. трудов.— М., 1987.
- <sup>63</sup> В а с и л ь е в а И. И. О значении идеи М. М. Бахтина о диалоге и диалогических отношениях для психологии общения // Психологические исследования.— М.: Наука, 1985.— С. 82.
- <sup>64</sup> Ф л о р е н с к а я Т. А. Диалогические принципы в психологии // Общение и диалог в практике обучения, воспитания и психологической консультации. Сборник научн. трудов.— М., 1987.— С. 31. Укажем еще на следующие исследования: Л е о н т ь е в А. А. Психолингвистика.— Л.: Наука, 1967; П а д у ч е в а Е. В. Высказывание и его соотносительность с действительностью (референциальные аспекты семиотики местоимений).— М.: Наука, 1985; Р а д з и х о в с к а я Л. А. Значение работ М. М. Бахтина для научной психологии: К 90-летию со дня рождения // Ученые зап. Тартусского ун-та.—1986.— Вып. 753.—Труды по психологии: Ее же: Проблема диалогизма сознания в трудах М. М. Бахтина // Вопросы психологии.—1985.— № 6; Р о м а ш к о С. А. Творческое наследие М. М. Бахтина и проблемы спецификации речевых единиц // В кн.: Проблемы типологии текста.— М., 1984.
- <sup>65</sup> Укажем, в частности, на следующие работы: Проблемы типологии текста. Сборник научно-аналитических обзоров.— М., 1984; Н. Л. В а с и л ь е в. Проблемы высказывания (речевых жанров) в лингвистической концепции М. М. Бахтина и ее значение для развития филологических наук // Проблемы научного наследия М. М. Бахтина. Межвузовский сборник научн. трудов.— Саранск, 1985; Л. К. Ч и к и н а. Лингвистика — а. Учебное пособие.— Саранск, 1986.

- <sup>66</sup> Волкова Е. В. Эстетика М. М. Бахтина.— М.: Знание, 1990.— С. 57.
- <sup>67</sup> Васильев Н. М. М. Бахтин или В. Н. Волошинов?.. // Литературное обозрение.— 1991.— № 9.— С. 42.
- <sup>68</sup> Государственный институт истории искусств (1912—1927).— Л., 1927.— С. 22—23.
- <sup>69</sup> Эйхенбаум Б. М. Теория «формального» метода // Литература. Сборник.— Пг., 1926.— С. 119.
- <sup>70</sup> Белая Г. Нравственные ценности и литература // Аргументы и факты.— 1988.— № 31.— С. 4.
- <sup>71</sup> Добрынин М. К. Вопросы теории литературы (В связи с книгой П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении (Критическое введение в социологическую поэтику)» // Литература и марксизм.— 1929.— № 1.— С. 51, 53.
- <sup>72</sup> Там же.— С. 56.
- <sup>73</sup> Там же.— С. 64.
- <sup>74</sup> Там же.— С. 67.
- <sup>75</sup> Там же.— С. 70.
- <sup>76</sup> Там же.— С. 71—72.
- <sup>77</sup> Там же.— С. 72.
- <sup>78</sup> Прозоров А. Формальный метод (О кн. П. Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении. (Критическое введение в социологическую поэтику)» // На литературном посту.— 1929.— № 5—6.— С. 31.
- <sup>79</sup> Прозоров А. Там же.— С. 33.
- <sup>80</sup> Прозоров А. Там же.
- <sup>81</sup> Прозоров А. Там же.— С. 38.
- <sup>82</sup> Прозоров А. Там же. Говоря о «формалистах-социологах», рецензент имел, конечно, в виду Б. И. Арватова и других «форсоцев», предпринимавших попытку дополнить формальный метод элементами социологии и таким образом обосновать формально-социологическую поэтику.— См.: Арватов Б. И. Формально-социологический метод // Печать и революция.— 1927.— № 3.
- <sup>83</sup> Фридлиндер Г. Реальное содержание поиска // Литературное обозрение.— 1976.— № 10.— С. 62.
- <sup>84</sup> Гаспаров М. Л. М. М. Бахтин в русской культуре XX века // Вторичные моделирующие системы.— Тарту,— 1979.— С. III.
- <sup>85</sup> Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры.— М.: Прогресс, 1991.— С. 14.
- <sup>86</sup> Берковский Н. Рец. на кн.: М. М. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского.— Л.: Прибой, 1929 // Звезда.— 1929.— № 7.— С. 188.

- <sup>87</sup> Там же.
- <sup>88</sup> Там же.— С. 188—189.
- <sup>89</sup> Гроссман-Рощин И. О «социологизме» М. М. Бахтина, автора «Проблемы творчества Достоевского» // На литературном посту.—1929.— № 18.— С. 7.
- <sup>90</sup> Там же.— С. 8.
- <sup>91</sup> Там же.— С. 9.
- <sup>91</sup> Стариков М. Многоголосый идеализм (О книге М. М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского») // Литература и марксизм.—1930.— № 3.— С. 94.
- <sup>93</sup> Там же.— С. 105.
- <sup>94</sup> Там же.
- <sup>95</sup> Луначарский А. В. О «многоголосности» Достоевского (По поводу книги М. М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского») // Собр. соч.: В. 8 т.— М.: Худож. литература, 1963.— Т. 1.— С. 157.
- <sup>96</sup> Там же.— С. 159.
- <sup>97</sup> Там же.— С. 159—160.
- <sup>98</sup> Там же.— С. 171.
- <sup>99</sup> Белая Г. Схема и образ (К проблеме ценностных критериев) // История советской литературы: новый взгляд. По материалам Всесоюзной научно-творческой конференции 11—12 мая 1989 года. Москва, Часть 1.— М.: Наука, 1990.— С. 41.

#### IV. Арест и приговор (1928—1930)

- <sup>1</sup> Бахтин М. М. Следственное дело. 108 (1929) // Архивное управление КГБ СССР по Ленинградской обл., д. 5, т. 3, л. 5.  
Все другие сведения о времени ареста М. М. Бахтина, указанные в статьях и книгах (в кн. «Михаил Бахтин» К. Кларк и М. Холквиста, «Архипелаг Гулаг» А. Солженицына и др.) являются неверными.
- <sup>2</sup> Еленин С. и Овчинников Ю. «Примечания» к кн. «Три главы из воспоминаний» Н. П. Анциферова // Память. Исторический сборник.— Вып. 4.— Париж.—1981.— С. 112.
- <sup>3</sup> Цитируем по роману Романа Гуль «Дзержинский. Начало террора» // «Москва»,—1991.— № 5.— С. 39.
- <sup>4</sup> Анциферов Н. П. Три главы из воспоминаний // Указ. «Память».— Вып. 4.— С. 57—110.
- <sup>5</sup> Федотова Е. Н. «Предисловие» к кн.: Федотов Г. П. Лицо России.— Париж.—1967.— С. X.
- <sup>6</sup> Еленин С. и Овчинников Ю. «Примечания» к кн. Анциферова Н. П. «Три главы из воспоминаний» // Указ. «Память».— Вып. 4.— С. 112.

- <sup>7</sup> Анциферов Н. П. Три главы из воспоминаний // Указ. «Память». — Вып. 4. — С. 58.
- <sup>8</sup> Еленин С. и Овчинников Ю. // Указ. «Память». — Вып. 4. — С. 116.
- <sup>9</sup> Там же. — С. 112. Подробнее о Г. П. Федотове: Бочаров С. Сила духа, творящего историю. Вступит. статья к кн.: Г. Федотов. Статьи о культуре // Вопросы литературы. — 1990. — № 2. С. 189—193.
- <sup>10</sup> Еленин С. и Овчинников Ю. // Указ. «Память». — Вып. 4. — С. 113.
- <sup>11</sup> Там же.
- <sup>12</sup> Там же. — С. 114.
- <sup>13</sup> Там же.
- <sup>14</sup> Там же. — С. 125.
- <sup>15</sup> Там же. — С. 114.
- <sup>16</sup> Бахтин М. М. Указ. Следственное дело. — Л. 5 об.
- <sup>17</sup> Лацис был вторым лицом (после Петерса, тоже латыша) в коллегии Дзержинского. Не удивительно, что он нередко повторял мысли своего патрона. Так, он говорил: «ЧК — это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это боевой орган, действующий по внутреннему фронту. Он не судит врага, а разит. Не милует, испепеляет всякого... Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого образования, воспитания, происхождения или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора». — Цитирую по книге Романа Гуля «Дзержинский. Начало террора» // Москва, 1991. — № 5. — С. 51.
- <sup>18</sup> Об этом можно судить по воспоминаниям Н. П. Анциферова «Не помню, сколько дней прошло на этот раз до вызова на допрос. Привели меня в тот самый кабинет, где было свидание с матерью. Стромин начал: «Ну что же, обдумали ваше положение, всю его серьезность? Признаетесь, что вы принадлежали к контрреволюционной организации? — «Ни о какой организации я не слышал, тем более не могу признать, что я к ней принадлежал». — «А показания Рождественского?» — «Я не знаю, каким путем вы добились таких показаний».

По лицу Стромина пробежала судорога. У него задрожали губы, он схватился за голову, после чего у него вырвался сдавленный звук, словно ему трудно было произнести это слово. «Нет! Я не могу! Вот тут сидела ваша мать. Она ждет вас. Зачем вы губите себя? Я еще попробую вас спасти. Вы не представляете, какое это страш-

ное дело, участником которого вы являетесь. Если вы не покаетесь, вам нет спасения!» — Указ. «Память». — Вып. 4. — С. 92.

<sup>19</sup> В 1935—1937 годах Стромин начальствовал в Саратовском УНКВД. Избирался в Верховный Совет СССР. Из-за карьеристских соображений решил создать «громкое» дело. С провокационными целями организовал взрыв на городском крытом рынке, повлекшем за собой много человеческих жертв. Был изобличен в этой провокации, осужден и в 1938 году расстрелян.

<sup>20</sup> Бахтин М. М. Указ. Следственное дело. — Л. 18—19.

<sup>21</sup> Там же. — С. 9.

<sup>22</sup> Там же. — С. 22.

<sup>23</sup> Там же. — С. 23, 24, 25.

<sup>24</sup> Там же. — С. 26.

<sup>25</sup> Еленин С. и Овчинников Ю. Указ. «Примечания» // Указ. «Память». — Вып. 4. — С. 113.

<sup>26</sup> Упоминаемый М. Бахтиным Александров бы, по-видимому, школьным учителем, недавно (в 1920—1923 годах) окончившим Богословский институт. В 1923—1928 годах постоянно посещал собрания «воскресенцев» и лекции М. Бахтина. Борис Михайлович Назаров (1884—?), окончив Морскую академию, служил инженер-механиком Балтийского флотского экипажа. Был знаком с Мейером, но собраний «Воскресения» не посещал. Арестован был вместе с женой Е. А. Назаровой-Заржецкой, умершей в ДПЗ от психического расстройства. Сам Назаров был приговорен к 10 годам. Судьба его осталась неизвестной. Об именах других лиц, упоминаемых в протоколе, сведений нет.

<sup>27</sup> Бахтин М. М. Указ. Следственное дело. — Л. 27.

<sup>28</sup> Там же. — С. 272.

<sup>29</sup> Там же. — Л. 379.

<sup>30</sup> Там же. — Л. 364.

<sup>31</sup> Там же. — Л. 350.

<sup>32</sup> Там же. — Л. 356.

<sup>33</sup> Там же. — Л. 357. Слова: «марксистом-ревизионистом» — описка составителей «Обвинительного заключения».

<sup>34</sup> Бахтин М. М. Указ. Следственное дело. № 108—1929. — Т. 5. — Л. 35.

<sup>35</sup> Там же. — Л. 38.

<sup>36</sup> Там же. — Л. 34.

<sup>37</sup> Подробней об этом: Минин Дм. Еще о политическом Красном Кресте // Память. Исторический сборник. — Вып. 3. — Париж. — 1980. — С. 523—538.

<sup>38</sup> В статье «О многоголосности» Достоевского» А. В. Луначарский дал высокую и благожелательную оценку книге М. Бахтина

«Проблемы творчества Достоевского» // Новый мир.—1929.— № 10.

<sup>39</sup> В больницу имени Эрисмана М. Бахтин был взят, по-видимому, 18 августа и оставался в ней до 23 декабря 1929 года // Указ. Следственное дело.— № 108—1929.— Т. 5.— Л. 85.

<sup>40</sup> Бахтин М. М. и Каган М. И. (По материалам семейного архива) // Указ. сборник «Память».— Вып. 4.— С. 267.

<sup>41</sup> Бахтина Е. А.— Каган С. И. // Указ. «Память».— Вып. 4.— С. 280.

<sup>42</sup> Бахтин М. М. Указ. Следственное дело.— № 108—1929.— Т. 5.— Л. 42.

<sup>43</sup> Там же.— Л. 82.

<sup>44</sup> Там же.— Л. 78.

<sup>45</sup> Там же.— Л. 89.

<sup>46</sup> См.: Шенталинский Виталий. Удел величия // Огонек.—1990.— № 45.— С. 24.

<sup>47</sup> Бахтин М. М. Указ. Следственное дело.— № 108—1929.— Т. 5.— Л. 74, 95.

<sup>48</sup> Там же.— Л. 76.

<sup>49</sup> В связи с завершением дела о «Воскресении» в газете «Ленинградская правда» была дана информация под заглавием: «Раскрыта контрреволюционная организация». Было сообщено: «Полномочным представительством ОГПУ раскрыта и ликвидирована существовавшая в Ленинграде в течение нескольких лет контрреволюционная организация под названием «Воскресение».

Во главе этой организации стояли активные деятели бывшего «петроградского религиозно-философского общества». Организация «Воскресение» была связана с парижской белой эмиграцией и имела своей конечной целью свержение Советской власти. Одна из ячеек организации занималась систематической обработкой школьной молодежи в антисоветском духе и под видом религиозной пропаганды готовила членов ячейки к индивидуальному политическому террору. Агитация проводилась в вузах, школах, на собраниях, в частных квартирах. По своему социальному составу арестованные члены этой контрреволюционной организации — осколки бывших дворян: бывшие помещики, статские советники, придворные чиновники, бывшие офицеры, попы, монахи и т. п. Значительная часть их состояла слушателями богословского института, закрытого в 1925 году.

Некоторые из них в свое время уже привлекались по делу кронштадтского мятежа и по таганцевскому заговору. Всего осуждено по этому делу 70 человек, которые приговорены к различным срокам наказания» // Ленинградская правда.—1929.—15 сентября.— С. 5.

<sup>50</sup> Об одном из актов антицерковного вандализма М. Пришвин так писал в марте 1930 года. «Месяц тому назад я был свидетелем гибели редчайшего, даже единственного в мире музыкального инструмента растреллевской колокольни: сбрасывались величайшие в мире колокола Годуновской эпохи. Целесообразности не было никакой в смысле материальном: 8 тыс. пудов бронзы можно было набрать из обыкновенных колоколов. С точки зрения антирелигиозности поступок не может быть оправдан, потому что колокола на заре человеческой культуры служили не церкви, а общественности... Я являюсь смертельным врагом того мрачного фанатизма, который несомненно живет в сердцах некоторых влиятельных членов партии и порождает те преступления относительно живой жизни, которые называются искривлением партлинии». — Михаил Пришвин. Из дневниковых записей 1909—1930 годов // Наше наследие.—1990.— № 1.— С. 85.

#### В. В казахстанской ссылке (1930—1936)

- <sup>1</sup> Автор этих строк был одним из немногих, слышавший от самих Бахтиных в разное время их воспоминания о Кустанае, об их жизни и работе там в 1930—1936 годах.
- <sup>2</sup> См.: Характеристика Бахтина Михаила Михайловича — экономиста Кустанайского райпотребсоюза. В ней отмечено: «Бахтин Михаил Михайлович работал экономистом Кустанайского райпотребсоюза с 23-го апреля 1931 года по 26 сентября 1936 года» // Указ.: Архив МГУ им. Н. П. Огарева.— Л. 8.
- <sup>3</sup> Об этом писал сам М. Бахтин в своей «Автобиографии» так: «Здесь (в Кустанае.— Авторы) мною была произведена исследовательская работа по изучению спроса покупательной способности колхозного сектора, опубликованная в журнале «Советская торговля», 1934 г. № 3 и удостоенная похвальным отзывом Комакадем» // Там же.— Л. 2.
- <sup>4</sup> Бахтин М. Опыт изучения спроса колхозников // Советская торговля.—1934.— № 3.— С. 107.
- <sup>5</sup> Из личного архива авторов книги.
- <sup>6</sup> Кандалин Н. И. Кто знал М. Бахтина? // Ленинский путь.—1989.—15 сентября.— С. 3.
- <sup>7</sup> См.: Справку Госархива Кустанайской обл. № 296/40 от 26. 01. 90, в которой говорится: Бахтина Елена Александровна, картотетчик, 35 лет, русская, образование среднее, специального образования нет. Общий трудовой стаж 7 лет, стаж в кооперации 1 год, по счетоводству 1 год, работает в данной организации 1 год // Госархив

Кустанайской обл. ф. 329, оп. 1, д. 10.— Л. 110 (Личный архив авторов).

- <sup>8</sup> Из личного архива авторов книги См.: также Кларк К. и Холквист М. Михаил Бахтин.— Указ. изд.— С. 201.
- <sup>9</sup> Каган М. И.— Каган С. И. // В кн.: М. М. Бахтин и М. И. Каган (По материалам семейного архива). Публикация К. Невельской.— С. 268.
- <sup>10</sup> Каган М. И.— Каган С. И. // Там же.— С. 269.
- <sup>11</sup> Там же.
- <sup>12</sup> См. указ. «Характеристику Бахтина Михаила Михайловича — экономиста Кустанайского райпотребсоюза // Указ. : Архив МГУ им. Н. П. Огарева.— Л. 8.
- <sup>13</sup> Каган М. И.— Каган С. И. // Указ. сб. «Память».— Вып. 4.— С. 269.
- <sup>14</sup> Каган М. И.— Каган С. И. // Там же.— С. 270.
- <sup>15</sup> Каган М. И.— Каган С. И. // Там же.
- <sup>16</sup> Каган М. И.— Каган С. И. // Там же.— С. 271.
- <sup>17</sup> Каган М. И.— Каган С. И. // Там же.— С. 272.
- <sup>18</sup> Статья, о которой говорит М. И. Каган, не была опубликована, а ее рукопись не сохранилась // Указ. сб. «Память».— Вып. 4.— С. 280.
- <sup>19</sup> Каган М. И.— Каган С. И. // Указ. сб. «Память».— Вып. 4.— С. 268.
- <sup>20</sup> Каган М. И.— Каган С. И. // Там же.— С. 270.
- <sup>21</sup> М. Бахтин ссылается на статью В. М. Жирмунского «К вопросу о «формальном методе», опубликованной в сб. его статей «Вопросы теории литературы».— Л., 1928.— С. 173.
- <sup>22</sup> М. Бахтин цитирует вывод Г. Г. Шпета в его кн. «Внутренняя форма слова».— М., 1927.— С. 215.
- <sup>23</sup> В. В. Виноградов развивал подобные взгляды в кн. «О художественной прозе».— М; Л., 1930.— С. 75—106.
- <sup>24</sup> Волкова Е. В. Эстетика М. М. Бахтина.— М., 1990.— С. 12.
- <sup>25</sup> Затонский Д. Последний труд М. Бахтина // В кн.: В настоящее время. Книга о зарубежных литературах.— М., 1976.— С. 411—412.
- <sup>26</sup> Тюльпанов Н. Энергия мысли // В мире книги.—1976.— № 10.— С. 69.
- <sup>27</sup> Чичерин А. В. Ритм образа. Стилистические проблемы. Изд. 2-е — М. 1980.— С. 320.
- <sup>28</sup> Лейтес Н. С. Теория Гегеля и концепция Бахтина (К методологии изучения романа как жанра) // В кн.: Проблемы истории и методологии литературоведения и литературной критики. Материалы научно-теоретической конференции.— Душанбе,—1982.— С. 23.



## VI. Близ Москвы (1938—1945)

- <sup>4</sup> Каган М. И.— Каган С. И. // Указ. сб. «Память».— Вып 4.— 269—270.
- <sup>2</sup> Там же.— С. 272.
- <sup>3</sup> Кожин В., Конкин С. Михаил Михайлович Бахтин. Краткий очерк жизни и деятельности // В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы. Сборник статей.— Саранск, 1973.— С. 9. См. также: Кожин В. «Так это было...» // Дон.—1988.— № 10.— С. 156.
- <sup>4</sup> Бахтин М. М. Указ. «Автобиография».— С. 3-4. См. также: Пономарева Е. и Строганов М. Страницы истории // За коммунистический труд, 1990, 1 мая (№ 53).— С. 4.
- <sup>5</sup> Пономарева Е. и Строганов М. Страницы истории // Там же.
- <sup>6</sup> Там же.
- <sup>7</sup> Юдина Мария Вениаминовна. Статьи, воспоминания, материалы.— М.: изд-во «Советский композитор».—1978.— С. 259.
- <sup>8</sup> Бахтин М. М. Указ. «Автобиография».— Л. 2.
- <sup>9</sup> Бахтин М. М. Список научных работ // Указ.: Архив МГУ им. Н. П. Огарева.— Л. 4.
- <sup>10</sup> Затонский Д. Последний труд Михаила Бахтина // Д. Затонский. В настоящее время. Книга о зарубежных литературах.— М.: Советский писатель, 1976.— С. 411—412.
- <sup>11</sup> Там же.— С. 411—412.
- <sup>12</sup> Тюльпанов Н. Энергия мысли // В мире книг.—1976.— № 10.— С. 69.
- <sup>13</sup> Гегель Г. Поэзия // Г. В.-Ф. Гегель. Эстетика: В 4 т.— М.: Искусство, 1971.— Т. 3.— С. 474—475.  
 Подробнее об отношении Гегеля и Бахтина к роману: Лейтес Н. С. Теория Гегеля и концепция Бахтина (К методологии изучения романа как жанра // В кн.: Проблемы истории и методологии литературоведения и литературной критики. Материалы научно-теоретической конференции 3—5 ноября 1982 г.— Душанбе.— 982.— С. 22—23.
- <sup>14</sup> Затонский Д. Последний труд Михаила Бахтина // Там же.— С. 409—410.
- <sup>15</sup> Бахтин М. М. Список научных работ // Указ. Архив МГУ им. Н. П. Огарева.— Л. 4.

## VII. В Саранске (1945—1969)

- <sup>1</sup> Карпунов Г. В., Борискин В. М., Естифеева В. Б. Михаил Михайлович Бахтин в Саранске. Очерк жизни и деятельности.— Саранск: Изд-во Саратовского ун-та. Саранский филиал.—1989.—С. 8.
- <sup>2</sup> См.: Протоколы общих собраний студентов и профессорского-преподавательского состава и резолюции собраний // Центральный госархив МССР.— Ф. Р.—546, оп. 1, д. 70.—Л. 6.
- <sup>3</sup> Об этом говорил Васькин (возможно, И. А. Васькин) // Там же.—Л. 7.
- <sup>4</sup> Говорил об этом Горбунов (возможно, В. В. Горбунов) // Там же.—Л. 8.
- <sup>5</sup> Там же.—Л. 9.
- <sup>6</sup> Там же.—Л. 10.
- <sup>7</sup> В одном из документов говорится о том, что с М. Бахтиным беседовал наедине один из членов проверочной комиссии, именно — Абушев // Приказы и распоряжения директора // Центральный госархив МССР.— Ф. 936, оп. 1., д. 61.—Л. 22.
- <sup>8</sup> См.: Приказ от 7.01.37. // Там же.—Л. 27, 31.
- <sup>9</sup> Ку克林 В. С чистой страницы // Советская Мордовия.—1991, 15 октября.—С. 3.
- <sup>10</sup> Карпунов Г. В., Борискин В. М., Естифеева В. Б.— Указ брошюра «Михаил Михайлович Бахтин в Саранске...» — С. 8.
- <sup>11</sup> Приказы и распоряжения директора // Центральный госархив МССР.— Ф. 936, оп. 1, д. 61.—Л. 97.
- <sup>12</sup> Карпунов Г. В., Борискин В. М., Естифеева В. Б. // Там же.—С. 8.
- <sup>13</sup> Приказы и распоряжения директора // Центральный госархив МССР.— Ф. 936, оп. 1., Д. 61., Л. 112.
- <sup>14</sup> Каган М. И.—Каган С. И. // Указ. сб. «Память» —. Вып. 4.—С. 270.
- <sup>15</sup> Бахтин М. М. // Указ.: Архив МГУ им. Н. П. Огарева.—Л. 10.
- <sup>16</sup> Там же.—Л. 9.
- <sup>17</sup> На кафедре всеобщей литературы М. Бахтин встретил людей с серьезной филологической подготовкой. Назовем здесь прежде всего воспитанника Петербургского университета М. А. Петракеева, декана филологического факультета А. А. Савицкого, занимавшегося немецкой литературой.  
С пониманием и отзывчивостью относился к Михаилу Михайловичу и директор института М. Ю. Юлдашев.
- <sup>18</sup> См.: Басихин Ю. Ф. О Михаиле Михайловиче Бахтине // Родные просторы.— Саранск, 1978.—С. 203.

- <sup>19</sup> Ш и б а к о в Н. Свет учителя // Из личного архива авторов книги.
- <sup>20</sup> В д о в и н а Л. Замучен тяжелой неволей. Слово о М. М. Бахтине // Советская Мордовия.—1991, 23 января.— С. 4.
- <sup>21</sup> Вестник Академии наук СССР.— М., 1947.— № 5.— С. 123.
- <sup>22</sup> Б а х т и н М. М. // Указ.: Архив МГУ им. Н. П. Огарева.— Л. 7.
- <sup>23</sup> Там же.— Л. 11.
- <sup>24</sup> Там же.— Л. 20.
- <sup>25</sup> Там же.— Л. 22.
- <sup>26</sup> Там же.— Л. 23.
- <sup>27</sup> Там же.— Л. 13.
- <sup>28</sup> Материалы, характеризующие взгляды М. Бахтина по затронутым вопросам методологии и методики вузовского преподавания литературоведческих дисциплин, извлечены из кратких кафедральных отчетов, протокольных записей и других документов, сохранившихся в архивах Саранска.— См.: Протокол № 5 от 27 декабря 1960 г. // Центральный госархив МССР.— Ф. Р — 2542, оп. 1, д. 138.— Л. 10 об., 11, 11 об., 12, 12 об.
- <sup>29</sup> Ведомость научных командировок // Центральный госархив МССР.— Ф. Р.— 546, оп. 1.— д. 76.— Л. 37.
- <sup>30</sup> План работы кафедры русской и зарубежной литературы Мордовского госуниверситета на первое полугодие 1957/58 учебного года // Центральный госархив МССР.— Ф. Р — 2542, оп. 1 д. 13, л. 82.
- <sup>31</sup> Театральные и другие рецензии М. Бахтина, публиковавшиеся в периодической печати Мордовии, пока не собраны и не обобщены.
- <sup>32</sup> Б а х т и н М. Мария Тюдор // Советская Мордовия.—1954.—12 декабря.
- <sup>33</sup> Б а х т и н М. М. Указ.: Архив МГУ им. Н. П. Огарева, л. 30.
- <sup>34</sup> Об этом может свидетельствовать автор этих строк, живший в эти годы в Саранске и работавший на той университетской кафедре, которую до 1961 года возглавлял М. Бахтин. В магазинах Саранска в это время были в полном достатке все основные продукты питания (мясо, колбасные изделия, масло и молочные изделия и т. д.). Что касается рынка, он отличался таким изобилием и такой дешевизной, какие редко можно было встретить в других городах. Картофель, яблоки, вишни и прочие фрукты продавались только ведрами...
- <sup>35</sup> См.: Т у р б и н В. Бахтин сегодня. Послесловие к научным конференциям в югославском городе Ниви-Сад и Махачкале (Дагестан) // Литературная газета.—1991.— № 6.— С. 11. Е го же: Карнавал: религия, политика, теософия // Бахтинский сборник. 1.— М., 1990.— С. 10, 12.
- <sup>36</sup> Бахтины знали о решении Ленинградского городского суда от 30

- мая 1967 года, о чем в то же лето Елена Александровна доверительно сказала соседке по квартире А. М. Шепелевой.— См. об этом: // Советская Мордовия.— 1991.— 23 января.— С. 4.
- <sup>37</sup> Из копии «Постановления Президиума Ленинградского городского суда от 30 мая 1967 года // Личный архив авторов.
- <sup>38</sup> «Был я,— говорит В. Турбин,— и личным шофером его (М. Бахтина.— Авторы), и поставщиком для него продуктов, лекарств; вообще в какой-то мере устройтеlem его быта, в частности, инициатором его переезда из Саранска в Москву — чрезвычайно своевременной и исполненной доброжелательства акции, решающую роль в которой сыграл депутат Верховного Совета страны, председатель Комитета Государственной безопасности Юрий Владимирович Андропов // Бахтинский сборник. 1.— М., 1990.— С. 9.
- <sup>39</sup> Турбин В. Михаил Бахтин или Павка Корчагин // Литературная газета.— 1991.— 8 мая (№ 18).— С. 11.
- <sup>40</sup> Каган С. Есть ли право простить систему? // Литературная газета.— 1991.— 26 июля (№ 25).— С. 10.
- <sup>41</sup> Автор этих строк получил статью «О некоторых особенностях стилистики Рабле» из рук самого Михаила Михайловича для опубликования в нашем кафедральном сборнике. Но только в 1976 году, уже после смерти нашего друга, мы смогли ее опубликовать. См.: Из истории русской и зарубежной литературы. Учен. зап. Мордовского ун-та.— Саранск, 1976.— С. 3—19.
- <sup>42</sup> См. журнал «Литературная учеба».— 1976.— № 1.— С. 200—219.
- <sup>43</sup> Библер В. С. Указ. кн.: Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры.— С. 74—75.
- <sup>44</sup> Бахтин М. М. Из предыстории романного слова // Русская и зарубежная литература. Исследования, статьи, публикации. Учен. зап. Мордовск. ун-та.— Саранск, 1967.— С. 3—43. Заметим, что текст саранской публикации — статьи несколько отличается от текста, опубликованного позднее в книге «Вопросы литературы и эстетики».— М.: Художественная литература, 1975.
- <sup>45</sup> Бахтин М. М. Из предыстории романного слова // Указ. сб.: Русская и зарубежная литература.— С. 3.
- <sup>46</sup> Бахтин М. М. Там же.
- <sup>47</sup> Бахтин М. М. Там же.— С. 4.
- <sup>48</sup> Фридлиндер Г. Новые книги о Достоевском // Русская литература.— 1964.— № 2.— С. 186.
- <sup>49</sup> Фридлиндер Г. Там же.
- <sup>50</sup> Фридлиндер Г. Там же.— С. 187.
- <sup>51</sup> Фридлиндер Г. Там же.— С. 187—188.
- <sup>52</sup> Дымшиц А. Монологи и диалоги // Литературная газета.— 1964.— 11 июля.— С. 2.

- <sup>53</sup> Дымшиц А. Там же. С.—3.
- <sup>54</sup> Василевская И., Мясников А. Разберемся по существу // Литературная газета.—1964.—6 августа.— С. 2—3.
- <sup>55</sup> Дымшиц А. Восхваление или критика? // Там же.—13 августа. С. 3.
- <sup>56</sup> Асмус В., Ермилов В., Перцов В., Храпченко М., Шкловский В. // Письмо в редакцию.— Там же.— С. 2.
- <sup>57</sup> Поспелов Г. Преувеличения от увлечения // Вопросы литературы.—1965.— № 1.— С. 97, 99, 101.
- <sup>58</sup> Павлюк В. Д. Полифонический ли? (О романе Достоевского «Преступление и наказание» ) // В кн.: Вопросы литературы. Научн. труды Новосибирского пединститута.— Новосибирск, 1971.— Вып. 36.— С. 68—69.
- <sup>59</sup> Корман Б. О. Итоги и перспективы изучения проблемы автора // В сб.: Страницы истории русской литературы.— М.: Наука, 1971.— С. 200.
- <sup>60</sup> См.: Гохштейн Г. М. О жанровой природе полифонизма // В кн.: Проблема автора в русской литературе XI—XX вв. Межвузовский сб.— Ижевск. 1978— Свительский В. А. Об изучении авторской оценки в произведениях реалистической прозы // Там же.
- <sup>61</sup> Фридлиндер Г. Новые книги о Достоевском // Русская литература.—1964.— № 2.— С. 186.
- <sup>62</sup> Бурсов Б. Возвращение к полемике // Октябрь.—1965.— № 2.— С. 198, 202.
- <sup>63</sup> Евнин Ф. И. О некоторых вопросах стиля и поэтики (К выходу некоторых книг о Достоевском-художнике) // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка.—1965.— Т. XXIV.— Вып. 1.— С. 73.
- <sup>64</sup> Поспелов Г. Преувеличение от увлечения // Вопросы литературы.—1965.— № 1.— С. 95.
- <sup>65</sup> Если в книге «Слово в романе» мы встречаемся лишь с отдельными бахтинскими ссылками на Рабле, в работе «Формы времени и хронотопа в романе» (1937—1938) автору «Гаргантюа и Пантагрюэля» отведены уже две большие главы (II, 316—373).
- <sup>66</sup> Виноградов В., Любимов Н., Федин Конст. Книга, нужная людям // Литературная газета.—1962.—23 июня.
- <sup>67</sup> В связи с этим уместно вспомнить об одном из наших исследователей, который писал: «Имя Рабле окружено почтением. Но о том, что составляет примечательную особенность его романа, не принято говорить вслух. Исследователи восхищаются небывалой мощью воображения и языка, толкуют о гуманизме и антифеодалной сатире, цитируют эпизоды из жизни Телемского аббатства или воспитания Гаргантюа. Однако роман нельзя читать с эстрады и приходится прятать от детей» (Баткин Л. М. Смех Панурга и философия

- культуры // Вопросы философии.—1967.— № 12.— С. 114).
- <sup>68</sup> Баткин Л. М. Там же.— С. 115.
- <sup>69</sup> Михаил Михайлович говорил иногда, что и на него надо смотреть как на человека *своего времени*, что и он в ряде случаев оказывался «не выше» своих современников. Так, он согласился с критическим замечанием Л. М. Баткина относительно того, что неправомерно сгустил краски, говоря о «мраке готического века» и столь же неоправданно резко противопоставил смеховую народную культуру «официальной» культуре «господствующих классов». Л. М. Баткин, в частности, писал, имея в виду противоречивость позиции М. Бахтина: «Никто у нас до М. Бахтина так хорошо не показал смеющееся и брызжущее соками средневековье. Но, кажется, старая догма о «страшной» эпохе, изгнанная в дверь, заглядывает в окно. Смеется только народ на площади. А вокруг балаганных подмостков сгущается «готическая тьма» (Баткин Л. М. Смех Панурга и философия культуры // Вопросы философии.—1967.— № 12.— С. 117).
- <sup>70</sup> Авторы коллективного письма (В. Виноградов, Н. Любимов и Конст. Федин) справедливо писали в 1962 г., имея в виду книгу М. Бахтина о творчестве Рабле: «... В условиях, создавшихся в период культа личности, это исследование, полное глубоких и новаторских идей, не могло увидеть света» (Литературная газета.— 1962.— 23 июня).
- <sup>71</sup> См.: Борискин В. М. Веселая вселенная: Проблемы атеизма в кн. М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле...» // Борискин В. М. Атеизм и творчество.— Саранск, 1986.— С. 93—108.
- <sup>72</sup> Лихачев Д. С. Древнерусский смех // В кн.: Проблемы поэтики и истории литературы. Сб. статей.— Саранск, 1973.— С. 75
- <sup>73</sup> Лихачев Д. С. Там же.— С. 80.
- <sup>74</sup> Лихачев Д. С. Там же.— С. 73.
- <sup>75</sup> Иванов Вяч. Вс. Из заметок о строении и функциях карнавального образа // Там же.— С. 37.
- <sup>76</sup> Фридлиндер Г. М., Мейлах Б. С., Жирмунский В. М. Вопросы поэтики и теории романа в работах М. М. Бахтина // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка.— Т. XXX.— Вып. 1.—1971.— С. 56.
- <sup>77</sup> Люблинская А. Д. Михаил Михайлович Бахтин и медиевистика // В кн.: Средние века. Сборник.— Вып. 40.— М.: Наука, 1976.— С. 284.
- <sup>78</sup> Кашук Л. А. Обрядово-зрелищные формы народной жизни в концепции М. Бахтина (По материалам творчества Питера Брейгеля Старшего) // В кн.: Проблемы научного наследия М. М. Бахтина.

- Межвузовский сборник научн. трудов.— Саранск.—1985.— С. 51.
- <sup>79</sup> Библиер В. С. К философской логике парадокса // Вопросы философии.—1988.— № 1.— С. 40. См. его же: Мышление как творчество (Введение в логику мысленного диалога).— М., 1975.
- <sup>80</sup> Баткин Л. М. Смех Панурга и философия культуры // Вопросы философии.—1967.— № 12.— С. 115, 116. См. его же: Неуютность культуры // Театр.—1989.— № 5.— С. 90—96.
- <sup>81</sup> Там же.— С. 123.
- <sup>82</sup> Пинский Л. Е. Рабле в новом освещении // Вопросы литературы.—1966.— № 6; Гуревич А. Я. Смех в народной культуре средневековья // Вопросы литературы.—1966.— № 6; его же: Категории средневековой культуры.— М.: Искусство, 1984; Вулис А. В. В лаборатории смеха.— М., 1966; Аникст А. Смех — дело веселое // Театр.—1967.— № 1; Шкловский В. Б. Собр. соч.: В 3 т.: М., 1974.— Т. 3.— С. 689—726; Козлова С. М. М. М. Бахтин и современные проблемы теории комического // В кн.: Проблемы научного наследия М. М. Бахтина. Межвузовский сборник научных трудов.— Саранск. 1985; Николаев Д. Границы гротеска // Вопросы литературы.— 1968.— № 4.— С. 76—97.

### VIII. Последние годы жизни (1970—1975)

- <sup>1</sup> Турбин В. Михаил Бахтин или Павка Корчагин // Литературная газета.—1991.—8 мая (№ 18).— С. 11.
- <sup>2</sup> В архиве Союза писателей СССР сохранилось «Личное дело писателя Бахтина М. М.». В нем имеется его заявление следующего содержания: «В Президиум Правления Союза писателей СССР от Бахтина М. М. Прошу принять меня в Союз советских писателей. М. Бахтин. 1 октября 1970 г.»  
Заявление Михаила Михайловича было рассмотрено сначала на заседании Бюро творческого объединения критиков и литературоведов (2 ноября), затем — в Комиссии по приему членов Союза писателей (24 ноября) и, наконец, — в Правлении Союза писателей Москвы (2 декабря 1970 г.). Всюду были вынесены положительные решения.
- <sup>3</sup> Наставная на том, что все вопросы с московской пропиской М. Бахтина и с предоставлением ему столичной квартиры были решены с «решающим участием» ведомства Андропова, В. Турбин утверждает: «... Московская писательская организация действительно отнеслась к Бахтину с пониманием, проявив к нему максимум пиетета. Но нетрудно же сообразить: не по силам ей, немощной, было перевести из Саранска в Москву одинокого пенсионера, заниматься

его лечением и устройством его быта, дать ему недостижимую прописку». — Указ. статья «Михаил Бахтин или Павка Корчагин».

Мы располагаем, однако, и другим свидетельством. В упоминавшемся ранее письме в редакцию «Литературной газеты» С. Кагана мы читаем: «Квартира, в которую привезли Михаила Михайловича после смерти Елены Александровны, была кооперативной, то есть за нее он заплатил. А помогала хлопотать об этой квартире на первом этаже писательского дома А. И. Цветаева, ужаснувшаяся жизни Бахтиных в инвалидном доме и написавшая об этом Д. Д. Благому, жена которого Б. Я. Брайнина передала это письмо К. Федину — тогдашнему руководителю Союза писателей СССР. Писательская организация была достаточно могущественной, чтобы добиться для Бахтина московской прописки. О других милостях по отношению ко всемирно известному теперь ученому если и велись какие-нибудь диалоги с КГБ, то не Бахтин их вел, а, вероятно, сам Турбин, но, возможно, и еще какие-нибудь почитатели Бахтина». — Указ. письмо «Есть ли право простить систему» // Литературная газета. — 1991. — 26 июня (№ 25). — С. 10.

- <sup>1</sup> Гревцова Галина Тимофеевна (1909 года рождения) ныне живет в Москве на ул. Станкевича, дом 9, кв. 24.
- <sup>5</sup> Подробней об этом: Конкин С. С. Ученый с мировой известностью // В кн.: Штрихи к портретам. Деятели культуры Мордовии в воспоминаниях современников. Саранск: Мордовское книжное изд-во, 1990. — С. 74—76.
- <sup>6</sup> В это время постоянно опекавшие М. Бахтина Л. С. Мелихова и В. Н. Турбин отстранили от дел Г. Т. Гревцову. К «дежурству» около больного нередко привлекались В. Н. Турбиным студенты-филологи Московского университета, которые не могли, конечно, заменить уволенной домработницы. В целом же все «импровизации» эти не могли не угнетать медленно угасавшего ученого.
- <sup>7</sup> В протоколе медицинского заключения отмечено, что смерть М. Бахтина наступила вследствие «острой сердечно-сосудистой недостаточности».
- <sup>8</sup> Некролог // Литературная газета. — 1975. — 12 марта. — С. 3.
- <sup>9</sup> Некролог // Советская Мордовия. — 1975. — 8 марта. — С. 4.
- <sup>10</sup> Подробней об этих заметках М. Бахтина в «Примечаниях» С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова (IV, 429—431).
- <sup>11</sup> В другом варианте этой статьи (опубликованной под заглавием «К методологии литературоведения») имеется и такое определение предмета гуманитарных наук: «Предмет гуманитарных наук — *выразительное и говорящее бытие*. Это бытие никогда не совпадает с самим собою и потому неисчерпаемо в своем смысле и значении»



(М. М. Бахтин. К методологии литературоведения // Контекст. 1974.— М.: Наука, 1975.— С. 205

<sup>12</sup> См. об этом гл. «Смысловое целое героя» (IV, 128—172).

## IX. В диалоге наших дней

(Вместо заключения)

- <sup>1</sup> Сухих И. Н. Философия литературы М. М. Бахтина // Вестник Ленинградского университета. Сер. История. Язык. Литература.— Вып. 1.— Л., 1982.— № 2.— С. 45.
- <sup>2</sup> Библиер В. С. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры // М.: Прогресс, 1991.— С. 36.
- <sup>3</sup> Затонский Д. Последний труд Михаила Бахтина // Д. Затонский. В настоящее время. Книга о зарубежных литературах.— М.: Сов. писатель, 1976.— С. 406.
- <sup>4</sup> Тюльпанов Н. Энергия мысли // В мире книг.—1976.— № 10.— С. 69.
- <sup>5</sup> Новиков Вл. Слова и слава // Новый мир.—1981.— № 4.— С. 259.
- <sup>6</sup> Казаркин А. П. К постановке проблемы оценки (Учение М. Бахтина о диалогичности искусства слова) // Проблемы метода и жанра.— Вып. 5.— Томск.—1977.— С. 4.
- <sup>7</sup> Библиер В. С. Указ. кн. «Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры».— С. 27.
- <sup>8</sup> В. С. Библиер приводит ссылки на Р. Гирцеля, имея в виду его книгу «Диалог. Литературно-исторический опыт» (Лейпциг, 1895). «Я и Ты» — книга Мартина Бубера, о которой в начале 1920-х годов высоко отзывался М. Бахтин.
- <sup>9</sup> Библиер В. С. Указ. кн. «Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры».— С. 33.
- <sup>10</sup> Там же.
- <sup>11</sup> Там же.— С. 7.
- <sup>12</sup> Там же.— С. 38—39.
- <sup>13</sup> Немировская Е. М. От составителя // Брошюра «Диалог в культуре».— М., 1989.— С. 1—2.
- <sup>14</sup> Кондаков И. В. О диалогизме культур // Там же.— С. 22.
- <sup>15</sup> Там же.— С. 39.
- <sup>16</sup> Кондаков И. В. О диалогизме культур // Там же.— С. 23.
- <sup>17</sup> Лихачев Д. С. Древнерусский смех // Проблемы поэтики и истории литературы (Сборник статей).— Саранск.—1973.— С. 73.
- <sup>18</sup> Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней

- Руси.— М.: Наука, 1976.— С. 4.
- <sup>19</sup> Там же.— С. 194.
- <sup>20</sup> Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры.— М., 1972.
- <sup>21</sup> Сухих И. Н. Философия литературы М. М. Бахтина // Вестник Ленинградского университета. Сер.: История. Язык. Литература.— Вып. 1.— Л.— № 2.— С. 49, 51.
- <sup>22</sup> Бонецкая Н. К. Проблема авторства в трудах М. М. Бахтина // *Studia Slavica Hung.* 31. 1985 *Akademiai Kiado, Budapest.*— С. 63.
- <sup>23</sup> Там же.— С. 63.
- <sup>24</sup> Там же.— С. 66—67.
- <sup>25</sup> Там же.— С. 65.
- <sup>26</sup> В «Записях 1970—1971 годов» М. Бахтин писал о «сотворчестве понимающих», т. е. читателей (зрителей). «... понимание,— писал он,— восполняет текст: оно активно и носит творческий характер. Творческое понимание продолжает творчество, умножает художественное богатство человечества» (IV, 365—366).
- <sup>27</sup> Бонецкая Н. К. Указ. статья.— С. 108.
- <sup>28</sup> Волкова Е. В. Эстетика М. М. Бахтина.— М.: Знание, 1990.— С. 16.
- <sup>29</sup> Там же.
- <sup>30</sup> Там же.— С. 17.
- <sup>31</sup> Там же.— С. 27.
- <sup>32</sup> Там же.— С. 28.
- <sup>33</sup> Там же.— С. 34.
- <sup>34</sup> Там же.— С. 58.
- <sup>35</sup> Там же.— С. 62.
- <sup>36</sup> Эстетика М. М. Бахтина и современность —. Саранск, 1989.— С. 172.
- <sup>37</sup> М. М. Бахтин и методология современного гуманитарного знания. Тезисы докладов участников Вторых саранских Бахтинских чтений 28—30 января 1991 года.— Саранск: изд-во Мордов. унта.—1991.— С. 120.
- <sup>38</sup> Там же.— С. 3, 4.
- <sup>39</sup> Иванов Вяч. Вс. Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // В кн.: Труды по знаковым системам. VI.— Тарту, 1973.— С. 13.
- <sup>40</sup> Иванов Вяч. Вс. Там же.
- <sup>41</sup> Ревзина О. Г. Отчет о заседании Лингвистического объединения при Лаборатории вычислительной лингвистики МГУ, посвященное семидесятипятилетию со дня рождения М. М. Бахтина // Вопросы языкознания.—1971.— № 2.— С. 162.
- <sup>42</sup> Неретин С. Эстетика словесного творчества (рец. на кн. М. Бах-

тина «Эстетика словесного творчества» ) // Декоративное искусство.—1980.— № 9.— С. 45.

- <sup>43</sup> Ч и ч е р и н А. В. Ритм образа. Стилистические проблемы.—2-е изд., расширенное.— М : Сов. писатель, 1980.— С. 326.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абушев 381  
 Авербах Л. 152  
 Аверинцев С. С. 9—10, 17, 20, 23, 93, 115, 296, 314, 340—341, 343, 356—358, 370, 388  
 Алесандр Македонский 250  
 Алексеев-Аскольдов С. А. 44, 177, 188  
 Александров Н. А. 187, 376  
 Алексеев М. П. 314  
 Алексеевские 69, 366.  
 Андреев 193  
 Андреев Л. Н. 37  
 Андреевский (Андриевский) И. М. 188  
 Андропов Ю. В. 272—273, 311, 383, 387  
 Аникст А. 309, 386  
 Антонов А. Ф. 253, 255—256  
 Анциферов Н. П. 176, 200, 230, 374—375  
 Апулей Луций 253  
 Апухтин А. Н. 37  
 Арватов Б. И 373  
 Аристотель 77  
 Арнсон Т. Н. 177  
 Асмус В. Ф. 295, 384  
 Бакунин М. А. 289  
 Байрон Джордж 25, 349  
 Балакирев М. А. 37  
 Бальзак О. 236, 291  
 Балухатый С. Д. 369  
 Бартольд В. В. 44  
 Басихин Ю. Ф. 358, 382  
 Баткин Л. М. 23, 308, 358, 385—386  
 Батюшков Ф. Д. 46  
 Бах И. С. 105  
 Бахтин Н. К. 32, 34, 70, 360—361  
 Бахтин И. К. 34, 70  
 Бахтин М. Н. 32, 34—36, 38, 41, 43, 52, 360—361  
 Бахтин П. Н. 32, 34  
 Бахтин И. И. 32  
 Бахтин Н. И. 32  
 Бахтин В. В. 177, 189  
 Бахтина Е. П. 32, 34, 36  
 Бахтина (Овечкина) В. З. 32, 35—36, 41  
 Бахтина М. М. 35, 43, 52, 361, 363  
 Бахтина Е. М. 35, 53, 361  
 Бахтина (Перфильева) Н. М. 35, 53, 361  
 Бахтина (Околович) Е. А. 30, 70—74, 76, 98, 171, 181, 192—198, 202, 211—214, 257, 273, 310, 312, 360, 366, 383, 387  
 Бедный Д. 148  
 Белая Г. 373—374  
 Белый А. (Бугаев Б. Н.) 37, 151  
 Белинский В. Г. 238, 289  
 Бенвенист Э. 345  
 Бергсон А. 87, 119, 124, 128—129, 131  
 Бердяев Н. А. 17, 20, 48, 107  
 Берковский Н. Я. 166, 373  
 Бернштейн С. И. 149, 369  
 Бестужев (Марлинский) А. А. 224  
 Бетховен Людвиг 37, 62, 105  
 Библиер В. С. 12, 16, 23, 296, 308, 333—335, 356—358, 373, 384, 386, 388—389  
 Благой Д. Д. 387  
 Бланкенбург Х.-Ф. 240  
 Блок А. А. 37, 49, 106, 148, 183, 200  
 Бодуэн де Куртенэ И. А. 46  
 Боккаччо Дж. 300  
 Бокий Г. И. 173  
 Бонецкая Н. К. 23, 339—340, 358, 368, 371, 389

- Бонди С. М. 230  
 Бор Нильс 23  
 Борискин В. М. 359, 370, 381—382, 385—386  
 Бочаров С. Г. 29, 93, 296, 367, 375, 388  
 Брейгель Питер Старший 308  
 Брайнина Б. Я. 387  
 Бродский Н. Л. 261  
 Бруни Л. А. 177  
 Брюсов В. Я. 151  
 Бубер Мартин 334  
 Булгаков С. Н. 107  
 Бунин И. А. 32, 37  
 Буркхард Я. 267  
 Бурсов Б. И. 298, 384  
 Бухарин Н. И. 172.  
 Быховский Б. 370
- Вавиловы 36  
 Вагинов К. К. 103—104  
 Вагнер Р. 105  
 Вайцева М. В. 230  
 Варламов А. Е. 37  
 Варрон М. 219, 250  
 Васильев А. В. 364  
 Васильев Н. Л. 15, 356, 371—374  
 Васильев С. 371  
 Васильева И. И. 146, 372  
 Василевская И. 294—295, 384  
 Васькин Г. А. 381  
 Вебер М. 94  
 Введенский А. И. 11, 44—45, 55, 133  
 Венгеров С. А. 46, 369  
 Вергилий Марон 25, 37  
 Вернадский В. А. 364  
 Веселовский А. Н. 46, 150, 268, 338  
 Вдовина Л. 382—383  
 Виланд Х.—М. 240  
 Виनावер М. Л. 194, 196  
 Виндельбанд В. 94  
 Виноградов В. В. 110, 149, 159, 217, 225, 300, 369, 379, 385  
 Винокур В. О. 149  
 Вирабов И. 28—30, 310, 359  
 Волкова Е. В. 23, 339, 341—343, 358, 368, 373, 379, 389  
 Вольтер 291  
 Волошинов В. Н. 14—15, 21, 53—54, 62—63, 66, 69, 73, 76, 101—102, 115, 117—118, 123—126, 132—135, 137—138, 148, 161, 181, 183, 216, 344, 355—357, 366, 368—371  
 Воронцов М. С. 39  
 Вулис А. В. 309, 386  
 Вундт В. 87  
 Выготский Л. С. 116, 370
- Ганслик Э. 87  
 Гаспаров М. 159, 373  
 Гачев Г. 29  
 Гегель Г. 18, 45, 55, 81—82, 127, 225—226, 240, 245, 325, 379—380  
 Гейне Г. 244  
 Гелиодор 233  
 Гердер И. Г. 301  
 Герцен А. И. 103, 113—114  
 Геснод 329  
 Гёте И. В. 25, 202, 229, 236 246—249, 331  
 Гильдебрандт 87  
 Гиппель Т. Г. 236  
 Гиппиус З. Н. 49, 175, 364  
 Гирцель Р. 334, 389  
 Глазунов А. К. 101  
 Глинка М. И. 37  
 Гнесины 230  
 Гоголь Н. В. 75, 83, 163, 236, 267—268, 282  
 Голощекин Ф. И. 206  
 Гомер 25, 37, 259  
 Гомперц Т. 128  
 Гончаров И. А. 83, 236, 296  
 Гораций 219, 235, 239  
 Горбунов 381  
 Горький А. М. 34, 50—51, 162, 183, 194, 209, 228, 260—261, 299, 304, 349, 364  
 Гошштейн Г. М. 384  
 Грановский Т. Н. 289  
 Гревс И. М.  
 Гревцова Г. Т. 313, 387—388  
 Грибоедов А. С. 32, 83  
 Григорьев М. Г. 269, 350  
 Гримельсгаузен Х. Я. 246  
 Гриневич К. Э. 46  
 Гроос К. 87  
 Гроссман-Рошин И. 166—167  
 Гуль Р. 374—375  
 Гумбольдт В. 144, 277  
 Гулыга А. 369  
 Гумилев Н. С. 252  
 Гуревич А. Я. 309, 338, 386, 389

- Гуревич. 57, 66, 68  
 Гурий 183  
 Гуссерль Э. 107—108, 129, 187, 200  
 Гюго В. 269, 347, 349—352
- Давыдов Ю. Н. 367  
 Данте Алигьери 77, 234, 300  
 Дарвин Ч. 37  
 Дебюсси К. 62  
 Дейхман 58.  
 Державин Г. Р. 183  
 Джемс У. 119, 128, 131  
 Дживелегов А. К. 231, 260  
 Дзержинский Ф. Э. 173, 374—375  
 Дидрод 291  
 Диккенс Ч. 236  
 Дильтей В.  
 Диоген 244  
 Днепров В. Д. 296  
 Добрынин М. К. 155, 157, 373  
 Добужинский М. В. 61  
 Достоевский Ф. М. 10—11, 14, 20, 75, 96—97, 102, 108, 161—171, 183, 200, 216, 220, 234, 236, 267, 276, 287—294, 296—299, 306, 315, 323, 340, 342, 355, 373—374, 376—377, 384—385  
 Дриш Г. 129  
 Дымшиц А. Л. 293—295, 384  
 Дягилевы 36
- Евнин Ф. И. 298, 385  
 Еленин С. 374—376  
 Еремин П. Д. 256  
 Ермилов В. В. 295, 384  
 Есенин С. А. 51, 183, 364  
 Естифеева В. Б. 359, 381—382
- Жан-Поль 236  
 Жданов А. А. 260, 304  
 Житмунский В. М. 44, 110, 149, 159, 217, 369, 379, 386  
 Жупахин С. Г. 185
- Залесский Б. В. 103—105, 211, 213, 227, 256  
 Залкинд А. Б. 371  
 Затонский Д. В. 114, 369, 379—380, 388  
 Зелинский Ф. Ф. 46
- Зиммель Г. 119, 128, 131  
 Зиновьев (Апфельбаум) Г. Е. 50, 209, 253  
 Зубакин Б. М. 53—54, 56, 59, 68, 72, 76, 184, 366, 369.  
 Зубов В. П. 44, 99, 368  
 Зунделович Л. О. 296
- Иван IV (Грозный) 50  
 Иванов Вяч. Вс. 145, 307, 314, 344—345, 358, 386, 390  
 Иванов Вяч. И. 20, 37, 64, 108, 151, 183, 200  
 Иванов Е. П. 182—183, 189, 200  
 Иванов Н. А. 353  
 Иванова П. Г. 253  
 Иммерман 236  
 Ильин Л. 369  
 Ильин И. А. 20, 73—75, 366—367  
 Инкин А. П. 253, 255  
 Иов (библ.) 165
- Каган М. И. 16, 53, 55—56, 59, 64—75, 103, 107, 134, 194—195, 211—216, 227, 256—257, 274, 362, 365, 368, 371, 379—380, 382  
 Каган С. И. 194—196, 213—214, 274—275, 366, 369, 376, 379—380, 382—383, 387  
 Каган Ю. М. 212—213  
 Казанский Б. В. 46  
 Казаркин А. П. 333, 388  
 Каменев Л. Б. 253  
 Каменский А. 365  
 Канаев И. И. 15, 21, 98, 103, 105, 115, 129—130, 194, 208, 271, 368, 370—371  
 Кандалин Н. И. 207, 378  
 Кант И. 18, 45, 55—56, 73, 107—108, 127, 154, 187, 200, 232, 343  
 Капустина А. С. 351  
 Карамзин Н. М. 248  
 Карпов Б. И. 352—353  
 Карпунов Г. В. 359, 381—382  
 Карсавин Л. П. 20, 107  
 Карташев А. В. 190  
 Кассирер Э. 55  
 Кашук Л. А. 307 386  
 Келлер Г. 236  
 Киров С. М. 177  
 Кирпотин В. Я. 261, 296

- Кларк К. 33, 360, 362, 368, 374, 379  
 Ключев Н. А. 104, 182—183  
 Коган П. С. 72  
 Коген Г. 55, 73—74, 87, 107—108, 343  
 Кожин В. В. 29—30, 32—33, 296, 356, 358, 380  
 Козлова С. М. 309, 386  
 Кокошкин Ф. Ф. 50  
 Коломасов Я. М. 353  
 Комарович В. Л. 188  
 Кондаков И. В. 355, 389  
 Кони А. Ф. 369  
 Конкин С. С. 358—359, 380, 387  
 Конрад Н. И. 103, 316, 368  
 Копышев Е. М. 33, 360  
 Корман Б. О. 297, 384  
 Корнилов К. И. 116  
 Котляров 257  
 Кржевский Б. А. 46  
 Крылова М. И. 229  
 Кузьмин М. А. 104, 270  
 Кузнецов Ф. Ф. 313  
 Куклин В. 381
- Ланге Н. Н. 11, 40, 133, 362  
 Ланге Р. О. 46  
 Лапшин И. И. 188  
 Лацис М. И. 180  
 Ленгленд У. 234  
 Леонтьев А. А. 372  
 Лейтес Н. С. 379  
 Лермонт П. 252  
 Лермонтов М. Ю. 252, 349  
 Лесков Н. С. 37  
 Липпс Т. 45, 87  
 Лихачев Д. С. 23, 188, 306, 314, 316, 337—338, 358, 386, 389  
 Льюис М. Г. 245  
 Лозинский Г. Л. 46  
 Ломоносов М. В. 183  
 Лонг 233, 235  
 Лопачев 198  
 Лосев А. Ф. 372  
 Лосский Г. О. 44—45, 107, 119, 133, 188  
 Лотман Ю. М. 314, 316  
 Лотце 87  
 Лукач Д. 245  
 Луначарский А. В. 151, 169—170, 194, 292, 295, 374, 376  
 Лурия А. Р. 116, 370
- Луциллий Г. 239  
 Любимов Н. М. 300, 385  
 Люблинская А. Д. 386
- Малевич К. С. 61  
 Малько Н. А. 61, 365  
 Мамонтовы 36  
 Маркс К. 124, 148, 181  
 Маркес Г. 336  
 Маркус С. Л. 177  
 Мартов Ю. О. 209  
 Матфей (библ.) 9  
 Матюнин М. М. 355  
 Махлин В. Л. 339, 356, 368  
 Маяковский В. В. 149, 152—153, 229  
 Мелихова Л. С. 388  
 Медведев П. Н. 15, 21, 63, 66, 69, 103, 115, 133—134, 139, 147—149, 154, 156—159, 161, 171, 181, 183, 211, 355—357, 366, 370, 379  
 Мейер А. А. 175—178, 183, 187, 200, 376  
 Мейлах Б. С. 386  
 Менжинский В. Р. 173  
 Менипп 244, 249—250  
 Мережковский Д. С. 37, 151, 162, 175—176  
 Меркушкин Г. Я. 269  
 Мечников И. И. 40  
 Микоян А. 273  
 Минин Д. М. 376  
 Михайлов Д. Д. 177  
 Михеева Л. 366—368  
 Морозов П. О. 46  
 Морозовы 36  
 Моцарт В. А. 37, 118  
 Мясников А. С. 294—295, 384
- Назаров Б. М. 108, 177, 182, 187, 200, 376  
 Назарова-Загржецкая Е. А. 183, 187, 376  
 Натроп П. 55  
 Некрасов Н. А. 236  
 Некрасов П. И. 361  
 Немировская Е. М. 389  
 Неретин С. 390  
 Неслуховская М. К. 177  
 Николаев Д. П. 309, 386  
 Николаи П. Н. 188  
 Николай П. 50, 206  
 Никитин 198

- Ницше Ф. 64, 94, 108, 119, 200  
 Ньютон И. 247  
 Новиков Вл. 333, 358, 367, 388  
 Новопавловский А. С. 353—354  
 Новочадов В. А. 365  
 Нусинов И. М. 260
- Обновленский А. П. 188  
 Обнорский С. П. 46  
 Овечкин З. Д. 35, 70, 361  
 Овчинников Ю. 374—376  
 Огарев Н. П. 27—28, 356, 358, 365—366, 368, 378, 380, 382  
 Олсуфьевы 174  
 Орбели Л. А. 177  
 Орлов 262  
 Орлов 32  
 Осокин П. М. 108, 182—183  
 Островский А. Н. 36
- Павлов И. П. 116, 172  
 Павлюк В. Д. 297, 384  
 Падучева Е. В. 372  
 Панферов Ф. И. 257  
 Панферов А. И. 257  
 Панченко А. М. 337, 358, 389  
 Парсонс Т. 94  
 Переверзев В. Ф. 66, 151, 167  
 Переверзев Л.  
 Персий Ф. 239  
 Петерс Я. Х. 375  
 Петракеев М. А. 382  
 Петрарка Ф. 25  
 Петров С. Г. 255  
 Петров 171, 182, 184—186  
 Петров Д. К. 46  
 Петров-Водкин К. С. 177  
 Петроний Г. 132, 219, 233, 239, 250  
 Пешкова Е. П. 194, 196, 274  
 Пигулевский 178—179  
 Пигулевская Н. В. 178—179  
 Пиксанов Н. К. 261  
 Пиндар 248  
 Пинский Л. Е. 309, 386  
 Пиппар 197  
 Пирогов Н. И. 39  
 Писарев Д. И. 37  
 Платон 165, 233  
 Платонов С. Ф. 44, 181, 199  
 Плутарх 37, 233  
 Полежаев А. И. 253  
 Полозов 193
- Половцева К. А. 176, 178—179, 189  
 Пономарева Е. 380  
 Попов 198  
 Пospelов Г. Н. 296, 299, 384  
 Потембня А. А. 144, 150  
 Потемкин Г. А. 39  
 Пришвин М. Н. 37, 378  
 Прозоров А. 373  
 Пумпян М. Л. 365  
 Пумпянский Л. В. 53, 55—57, 63—64, 67, 75—76, 102—104, 107, 172, 177, 182—183, 365, 368  
 Пустынин М. Я. 63  
 Пушкин А. С. 39, 110, 145, 183, 194, 216, 236, 238, 304, 357, 369  
 Пяткин З. Е. 207—208
- Рабле Франсуа 10—11, 25—26, 136, 228, 231, 234—235, 239, 251, 260—261, 267—268, 276, 299—308, 315, 336—338, 340, 355, 383, 385  
 Радклиф А. 245  
 Радзиховская Л. А. 372  
 Радлова А. Д. 104, 183  
 Рак В. Г. 229  
 Ранк О. 122—123  
 Ревзина О. Г. 390  
 Редемейстер В. А. 69, 366  
 Ригль А. 87  
 Риккерт Г. 94  
 Ричардсон С. 236, 245, 248  
 Рождественский В. А. 44, 104, 182—183  
 Розанов В. В. 17, 107, 162  
 Роллан Р. 75  
 Ромашко С. А. 372  
 Ромм А. Г. 365  
 Ростовцев М. И. 46  
 Ругевич А. С. 108, 182—183, 200  
 Руссо Ж.-Ж. 236, 240, 245, 248
- Савинков Б. (Ропшин В.) 365  
 Савицкий А. А. 382  
 Сакулин П. Н. 138, 158  
 Салтыков-Щедрин М. Е. 282, 297  
 Свительский В. А. 384  
 Северянин И. В. 149



- Семашко Н. А. 145  
Сервантес 236, 239, 300  
Серафим (Саровский) 175,  
188—189  
Сеченов И. М. 40  
Ситников Е. Т. 361  
Смирнов А. А. 231, 260  
Смирнов М. Д. 256  
Смотрицкий П. Ф. 178, 189  
Скотт В. 248—249  
Соколов 187  
Сократ 219, 233, 244  
Солженицын А. И. 171, 186, 374  
Соловьев В. С. 20, 107, 369  
Соллертинский И. И. 63—64, 105,  
365—368  
Сорокин П. 107  
Соссюр Ф. 144, 345  
Софокл 120, 122  
Софрон 239  
Сталин (Джугашвили) И. В. 172,  
209, 253, 262, 304, 336  
Станиславский К. С. 354  
Стариков М. 167—168, 374  
Стендаль 25, 236  
Степун Ф. А. 119  
Стерн Л. 154  
Стравинский И. Ф. 62  
Строганов М. В. 380  
Строганов С. Г. 39  
Стромин А. Р. 180—181, 184—187,  
375—376  
Стросс Леви 308  
Суворов А. В. 39  
Суровцева (Торопова) О. Ф.  
207—208  
Суханов Н. Н. 209—210  
Сухих И. Н. 338, 388—389
- Тагор Р. 103  
Тарле Е. В. 181  
Тарле Т. 254  
Теккерей У. М. 236  
Тепчинская 187  
Тимофеев Л. И. 231, 245, 314  
Тихонов Н. С. 177  
Тихон (патриарх) 200  
Толстой Л. Н. 83, 99—100, 108,  
160, 217, 236, 296  
Толстой А. Н. 194  
Толстых З. Т. 208  
Томашевский Б. В. 149, 231  
Трегьяковы 36  
Томсон А. И. 40
- Троцкий Л. Д. 51  
Трубецкие 174  
Тубянский М. И. 103, 105,  
107—108, 182, 368  
Тураев Б. А. 44  
Турбин В. Н. 7, 17, 29—30,  
271—275, 296, 310—311, 357,  
359, 383, 386—388  
Тургенев И. С. 34, 37, 296  
Тынянов Ю. Н. 149, 153, 159,  
369  
Тюдор М. 351  
Тюльпанов Н. 333, 358, 379—381,  
388  
Тютчев Ф. И. 37, 108, 200
- Улановская З. П. 353  
Ульрих Е. Р. 75  
Умов Н. А. 40  
Урицкий М. С. 193, 195  
Урицкая Б. С. 270  
Успенский 32  
Ухтомский А. А. 146—147, 232
- Фармаковский Б. В. 46  
Федин К. А. 300, 313—314, 385  
Федотов Г. П. 20, 176—178,  
190, 200, 374—375  
Федотова Е. Н. 374  
Феокрит 235  
Фет А. А. 37  
Фигнер В. Н. 194  
Фидлер 87  
Филдинг Г. 236, 240  
Фихте 127  
Фишер Р. 87  
Фишер Т. 87  
Флобер Г. 236  
Флоренский П. А. 17, 20, 107,  
174, 199, 227  
Флоренская Т. А. 146, 372  
Фолькельт И. 37  
Фосслер К. 144—145, 277  
Франк С. Л. 119  
Фрейд З. 24, 108, 116—123, 132,  
182—183, 342  
Фридлиндер Г. М. 114, 292—293,  
298, 358, 369, 373, 384, 386,  
Фридман В. Д. 370  
Фриче В. М. 151
- Хайдеггер М. 129, 320  
Ханутин А. Б. 207—208  
Ханутин П. А. 207

- Харламова 187  
 Хлебников В. В. 149, 152  
 Холквист 33, 360, 362, 368, 374, 379  
 Хоружий С. 367  
 Храпченко М. Б. 295, 384  
 Хрущев Н. С. 336
- Цветаева А. И. 387  
 Цицерон 219
- Чаадаев П. Я. 289  
 Чайковский П. И. 37, 62, 223  
 Чаянов А. В. 116, 199  
 Челпанов Г. И. 116  
 Чернец Л. В. 380—381  
 Чернышевский Н. Г. 297  
 Чичерин А. В. 225, 379, 390  
 Чичикаслов И. С. 360  
 Чуковский К. И. 151
- Шагал М. З. 61—62  
 Шаляпин Ф. И. 49—50, 364  
 Шахматов А. А. 44, 46  
 Шаховские 174  
 Шебанов А. 263  
 Шекспир В. 25, 202, 229, 290—291, 301, 318, 326  
 Шеллинг Ф. 18  
 Шелер М. I, 107, 126, 128—129, 182—183, 187, 200  
 Шеллинг Ф. 18  
 Шелль Г. 108  
 Шепелева А. М. 383  
 Шенталинский В. 377  
 Шестов Л. 162  
 Шибяков Н. И. 382  
 Шидловский А. Ф. 177  
 Шингарев А. И. 50  
 Шишмарев В. Ф. 46  
 Шкловский В. Б. 46, 149, 151—154, 159, 295, 309, 314, 384, 386
- Шопен Ф. 37  
 Шостакович Д. Д. 101  
 Шпенглер О. 94, 107, 119, 127, 131, 131, 318  
 Шпет Г. Г. 72, 217, 366, 372, 379  
 Штейнер 124
- Щепкина-Куперник Т. Л. 104, 108, 182—183  
 Щепкин М. С. 104  
 Щерба Л. В. 46  
 Щерба 187, 189  
 Щукины 36
- Эйхенбаум Б. М. 149—151, 153—154, 369, 373  
 Эйнштейн А. 232  
 Экклесиаст (библ.) 97, 310  
 Энгельгардт Б. М. 44, 149  
 Энгельс Ф. 148, 181  
 Эпикур 244  
 Эрисман Ф. Ф. 195  
 Эшенбах Вольфрам 233
- Ювенал 239  
 Юдина М. В. 53—56, 59, 64, 76, 100, 105, 107—108, 176, 181—183, 194, 227, 230, 256, 270, 274, 365, 380,  
 Юдин Г. А. 54  
 Юлдашев М. Ю. 257, 382  
 Юнг 24
- Ягода Г. Г. 173  
 Якобсон Р. О. 149, 153  
 Яковлев Н. Ф. 133  
 Якубинский Л. П. 44  
 Якушкин П. И. 37  
 Январева В. И. 353

## ОГЛАВЛЕНИЕ

От авторов . . . . .	7
I. ВЫДАЮЩИЙСЯ ФИЛОЛОГ И МЫСЛИТЕЛЬ XX ВЕКА (Вместо предисловия) . . . . .	9
II. ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ . . . . .	32
III. ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1918—1928) . . . . .	48
1. В Невеле (1918—1920) . . . . .	52
2. В Витебске (1920—1924) . . . . .	60
3. В городе на Неве (1924—1930) . . . . .	97
IV. АРЕСТ И ПРИГОВОР (1928—1930) . . . . .	171
V. В КАЗАХСТАНСКОЙ ССЫЛКЕ (1930—1936) . . . . .	202
VI. БЛИЗ МОСКВЫ (1938—1945) . . . . .	227
VII. В САРАНСКЕ (1936—1937, 1945—1969) . . . . .	252
VIII. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ (1970—1975) . . . . .	310
IX. В ДИАЛОГЕ НАШИХ ДНЕЙ (Вместо заключения) . . . . .	331
ПУБЛИКАЦИИ . . . . .	347
ИЗДАННЫЕ КНИГИ М. М. БАХТИНА . . . . .	355
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ . . . . .	356
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН . . . . .	391

Массово-политическое издание

*КОНКИН* Семен Семенович  
*КОНКИНА* Лариса Семеновна

## **МИХАИЛ БАХТИН**

Редакторы

В. А. Терехин, Н. П. Борискина

Оформление

Ю. С. Тимофеева

Художественный редактор

Ю. В. Смирнов

Технический редактор

Е. И. Синяева

Корректор

С. С. Маркова

ИБ 2481

Сдано в набор 28.12.92. Подписано к печати  
28.06.93. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типо-  
графская № 2. Гарнитура литературная. Пе-  
чать офсетная. Усл. печ. л. 21,0+1,68 вкл.  
Усл. кр.-отт. 22,68. Уч.-изд. л. 21,42+1,18  
вкл. Заказ № 744. Тираж 2000 экз.  
«С»—048

Мордовское книжное издательство. 430000,  
г. Саранск, ул. Советская, 55.

Республиканская типография «Красный Ок-  
тябрь». 430000, г. Саранск, ул. Советская, 55 а.

**Конкин С. С., Конкина Л. С.**  
К 64 Михаил Бахтин: (Страницы жизни и творчества).— Саранск: Мордов. кн. изд.-во, 1993.— 400 с.  
ISBN 5—7595—0741—9

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена жизни и научно-творческой деятельности Михаила Михайловича Бахтина. Исследование такого типа выходит в нашей стране впервые. В его основу положены многочисленные архивные материалы, ранее никем из исследователей не привлекавшиеся. Используются и личные воспоминания одного из авторов, близко знавшего М. М. Бахтина, многие годы общавшегося с ним. В книге широко представлен значительный иконографический материал — редкие фотографии ученого, его родных и близких друзей, фотокопии с документов, живописных портретов, офортов, рисунков.



Варвара Захаровна Бахтина-  
Овечкина (мать)



Михаил Николаевич Бахтин  
(отец)

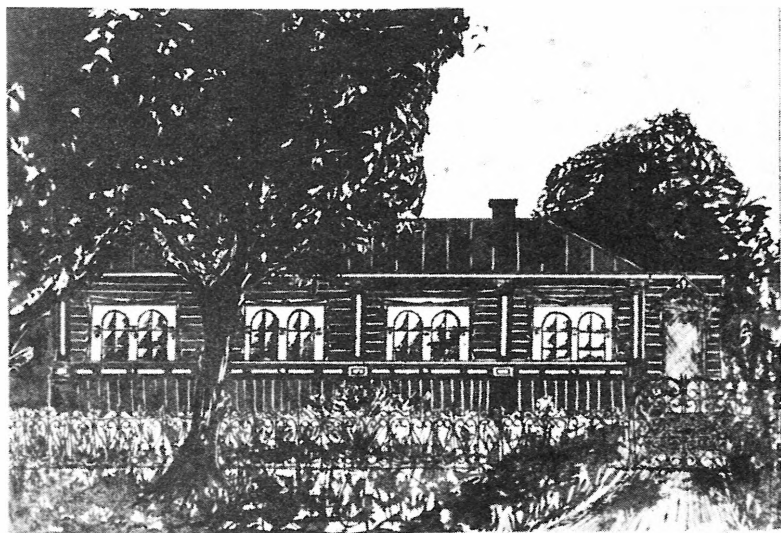


Варвара Захаровна и Павел Николаевич Бахтин (дядя)

Мария Михайловна Бахтина  
(сестра)



Николай Михайлович Бахтин  
(брат)



Дом в Орле, в котором жили Бахтины





Наталья Михайловна Бахтина  
(сестра)



М. М. Бахтин (1920 г.)



Елизавета Тихоновна Ситникова  
(двоюродная сестра)



Орел, ул. Садовая, на которой жили Бахтины



Орел. Собор

Орел. Городской бульвар





Орел. Общий вид

Орел. Мост через р. Оку

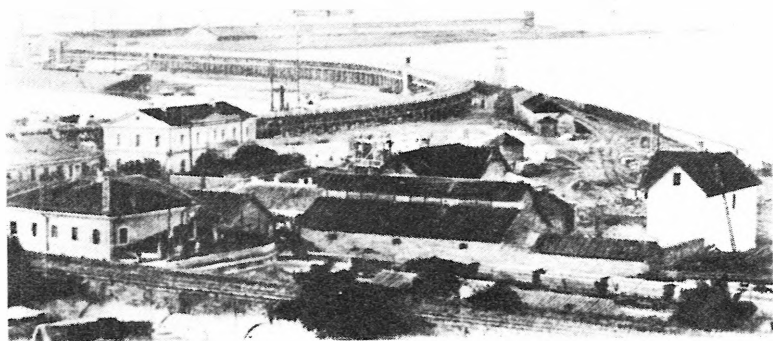




Орел. Собор Михаила-Архистратига

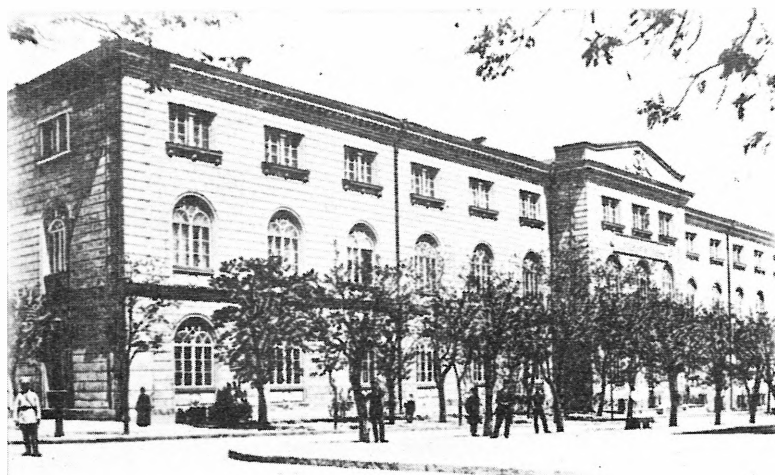
Орел. Общий вид 3-й части, в которой находилась усадьба и дом Бахтиных





Одесса. Вид гавани

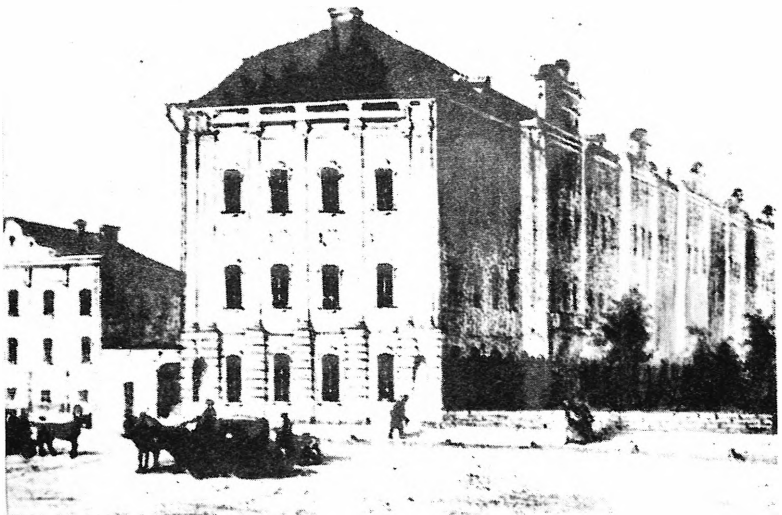
Новороссийский университет



Александр Иванович Введен-  
ский — профессор Петербург-  
ского университета



С.-Петербург. Университет



Николай Михайлович Бахтин  
(брат)



Студенческий билет Н. М. Бахтина

 <p><i>Н. М. Бахтин</i></p>	<p><b>БИЛЕТЪ</b> </p> <p>для входа</p> <p>въ ИМПЕРАТОРСКІЙ С.-Петербургскіи Университетѣ</p> <p>студента <i>Бахтина</i> <i>Николая Михайловича</i></p> <p><u>На 1914 15 уч. годъ.</u></p> <p>Депроизводителъ </p> <p><b>Примѣчаніе:</b> Слѣдуетъ представить этотъ билетъ въ Университетъ. На случаи утери этого билета, новый можетъ быть выданъ лишь по представлению администраціи университета.</p>
---	---





Лев Васильевич Пумпянский



Валентин Николаевич Волошинов

М. М. Бахтин (крайний справа) в кругу невельской интеллигенции. Крайний слева — М. И. Каган.





М. М. Бахтин



Матвей Исаевич Каган

Витебск. Вид на реку Видьбу



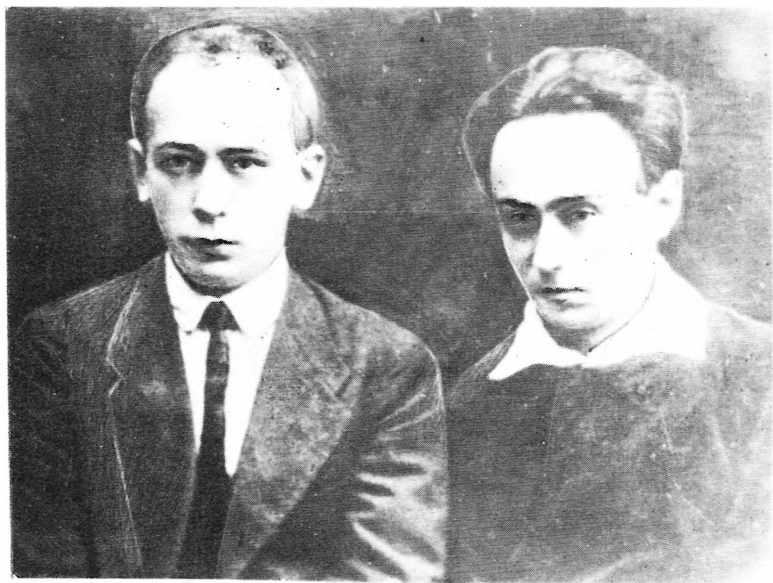


М. М. Бахтин с женой Еленой Александровной

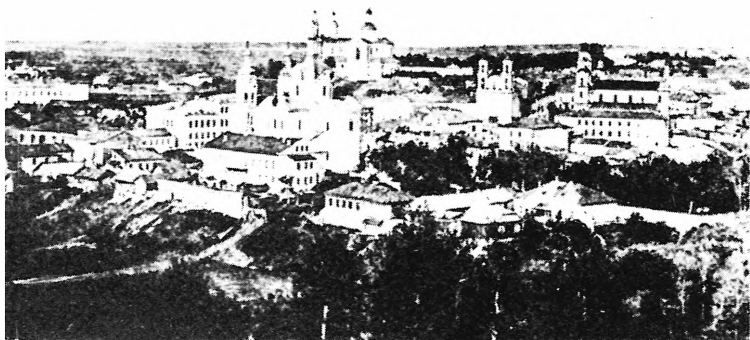
Соллертинский Иван Иванович



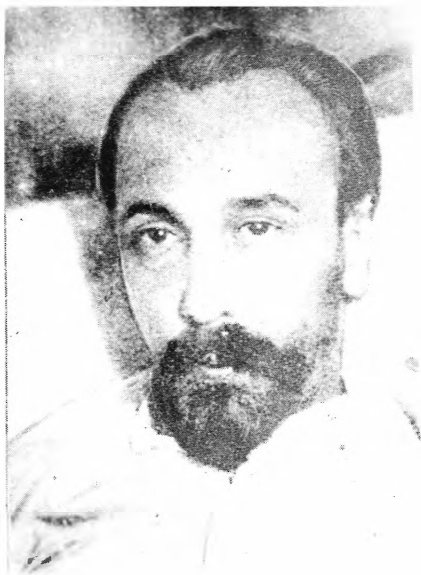
М. М. Бахтин



М. М. Бахтин и М. И. Каган



Витебск. Общий вид города



М. М. Бахтин



Медведев Павел Николаевич

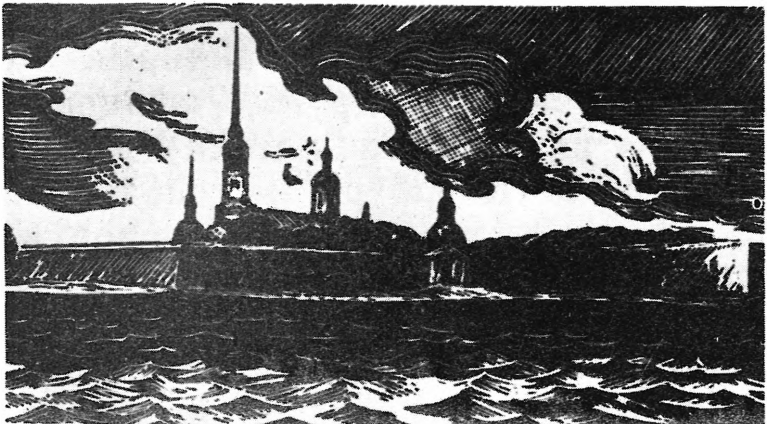


Клюев Николай Алексеевич



Рождественский Всеволод  
Александрович

С.-Петербург. Петропавловская крепость

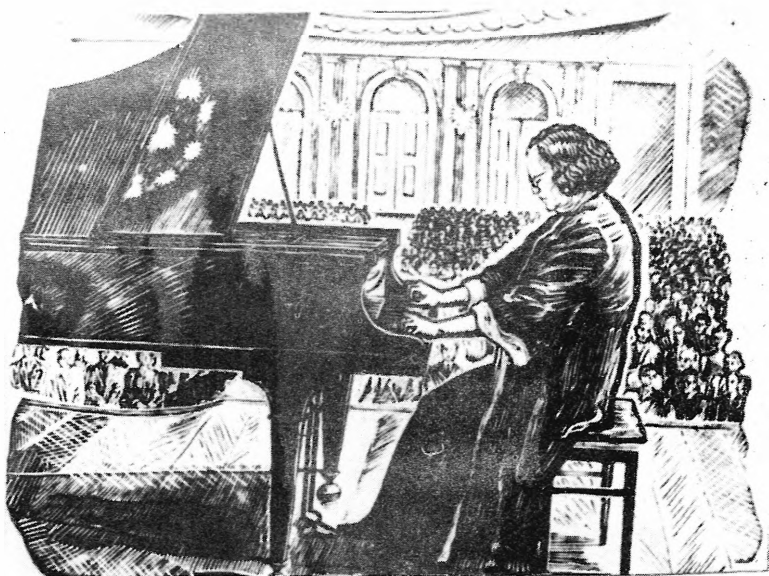




Шенкина-Куперник Татьяна Львовна



Д. Д. Шостакович и  
И. И. Соллертинский



Мария Вениаминовна Юдина за фортепиано

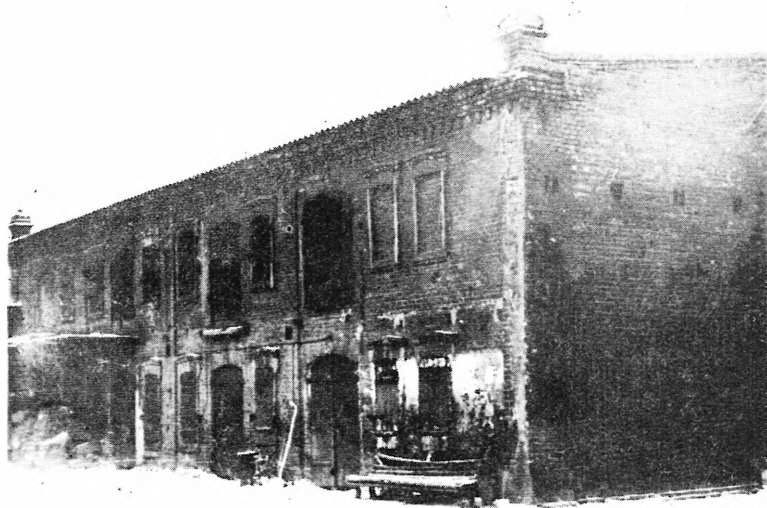
Мария Вениаминовна Юдина



М. М. Бахтин



Здание Кустанайского райпотребсоюза





М. М. Бахтин среди работников Кустанайского райпотребсоюза

Саранск. Вид на центральную часть города





Саранск. Главный учебный корпус университета

Саранск. Дом, в котором М. М. Бахтин жил в 1945—1958 гг.

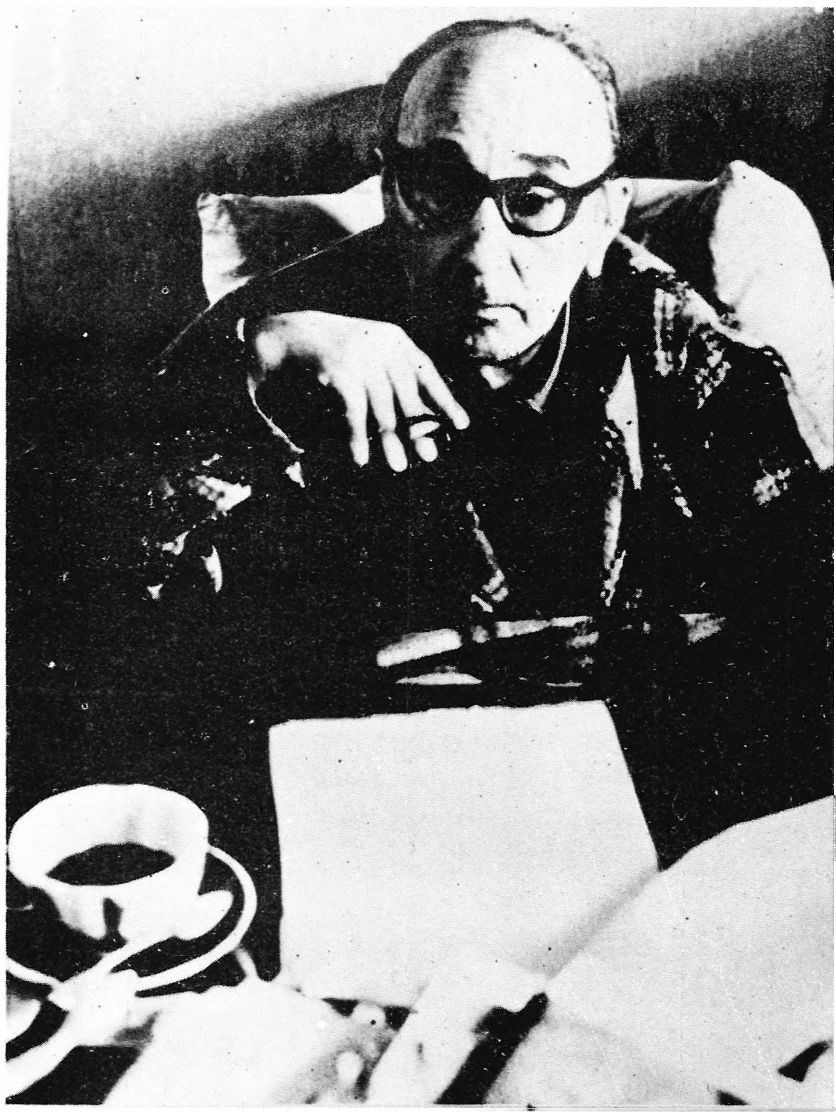


М. М. Бахтин



М. М. Бахтин среди выпускников Мордовского пединститута



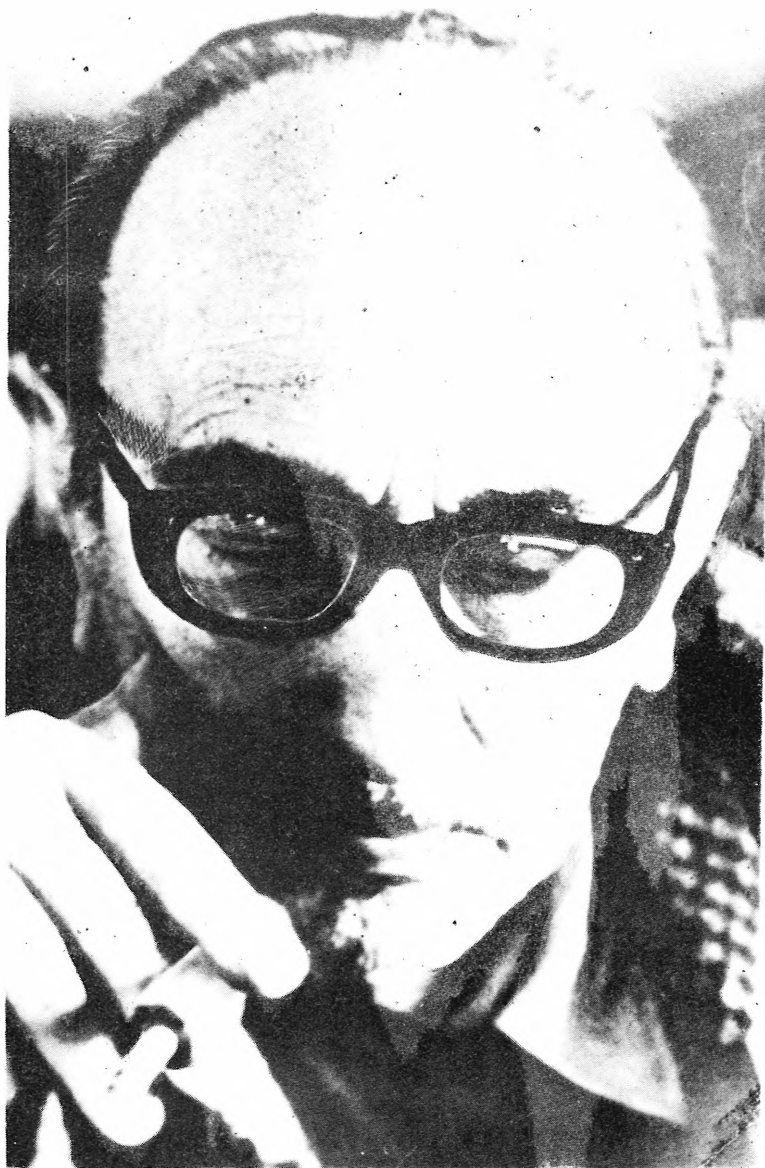


М. М. Бахтин за рабочим столом



Саранск. Дом, в котором М. М. Бахтин жил в 1959—1969 гг.





М. М. Бахтин

М. М. Бахтин (Москва,  
1972—1973 гг.)



М. М. Бахтин и Галина Тимофеевна Гревцова (Москва, 1973)

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

от 30 мая 1967 года

ПРЕЗИДИУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА В СОСТАВЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - ЕРМАКОВА Н.А.

ЧЛЕНОВ - ИСАКОВА, ПОЗДНЯКОВ, КАРЛОВ и ДМИТРИЕВ

С УЧАСТИЕМ Зам. прокурора гор.Ленинграда Аверьянова С.Г.

рассмотрел по протесту прокурора г.Ленинграда дело по обвинению Бахтина М.М., Болдырева А.В., Арнсон Т.Н., Салиско М.И. и другие.

Заслушав доклад члена президиума Дмитриева П.Д. и заключение прокурора, поддержавшего протест

ПРЕЗИДИУМ УСТАНОВИЛ:

По постановлению Коллегии ОГПУ от 22 июля 1929 года

1. БАХТИН Михаил Михайлович, 1895 года рождения, уроженец г.Орла, из мешан, русский, б/п, с высшим образованием, работавший преподавателем в Ленинградском Государственном Университете.
2. БОЛДЫРЕВ Александр Васильевич, 1896 года рождения, уроженец г.Ленинграда, из дворян, русский, б/п., с высшим образованием, работавший преподавателем в Ленинградском Государственном университете.
3. АРНСОН Тамара Наумовна, 1899 года рождения, уроженка г.Ленинграда, из мешан, еврейка, б/п., со средним образованием, работавшая секретарем детской юридической консультации при райсовете ЦР в г.Ленинграде.
4. ГОДУБИНСКИЙ Александр Иванович, 1887 года рождения, уроженец Харьковской губ. Волчанского уезда, села Хомотья, из мешан, русский, б/п., со средним образованием, работавший счетоводом государственного оптического завода в г.Ленинграде.
5. МАКСИМОВИЧ Алексей Яковлевич, 1908 года рождения, уроженец г.Ленинграда, из дворян, русский, б/п., студент высших курсов искусствоведения при Государственном институте истории искусств в г. Ленинграде.
6. НАЗАРОВА-ЗАРЯЕВА Елена Адамовна, 1874 года рождения, уроженка г.Сухуми, русская, б/п., с высшим образованием,

Постановление Ленинградского городского суда о реабилитации  
М. М. Бахтина



430000, г.Саранск,  
ул.Коммунистическая, д.16, кв.58  
гр-ну Ковквну С.С.

ПРОКУРАТУРА СОЮЗА ССР

133793, ГСП, Москва, К-9, Пушкинская, 15-а

2 09.88 № 13/557-88

Сообщив, что по поручению Комиссии Политбюро ЦК КПСС Ваде заявление о реабилитации Бахтина М.М. в Прокуратуре Союза ССР проверено.

Установлено, что Бахтин Михаил Михайлович за участие в антисоветской организации постановлением Коллегии ОГПУ от 22 июля 1929 года лишен свободы сроком на 5 лет.

Проведенная проверка показала, что Бахтин М.М. к уголовной ответственности был привлечен необоснованно.

30 мая 1967 года президиум Ленинградского городского суда дело в отношении Бахтина М.М. прекратил за отсутствием в его действиях состава преступления, он реабилитирован.

Справки о реабилитации Бахтина М.М. Вам направлены 25 мая 1988 года.

Связанность Вас с материалами уголовного дела не представляется возможной, так как законом такой порядок не предусмотрен.

Старший помощник  
Генерального прокурора СССР  
государственный советник  
3-го класса

  
В.М.Андреев



Титульный лист Юбилейного сборника М. М. Бахтина (1973)



М. М. Бахтин. Офорт Ю. Селиверстова



М. М. Бахтин. Офорт Э. Неизвестног